А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 Р1
Д 70

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
С. В. Белова и В. А. Туниманова

Д $\frac{4702010100-1472}{080(02)-87}$ 1472—87

Текст печатается по изданию: А. Г. Достоевская. Воспоминания.— М.: Художественная литература, 1981.

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ И ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Известный русский актер Л. М. Леонидов так передает впечатление от встречи с Анной Григорьевной Достоевской: «Я увидел и услышал «что-то», ни на что не похожее, но через это «что-то», через эту десятиминутную встречу, через его вдову я ощутил Достоевского: сто книг о Достоевском не дали бы мне столько, сколько эта встреча. Я ощутил около себя дыхание его, Достоевского. Я убежден, что у него с женой всегда была такая атмосфера...» [1]. Слова Леонидова вполне могут быть отнесены и к воспоминаниям Анны Григорьевны, занимающим совершенно особое место в обширной и противоречивой мемуарной литературе о писателе. Это наиболее достоверный, основанный на тщательно отобранных и проверенных фактах, живой рассказ о Достоевском в самый плодотворный период творчества писателя (с 1866 по 1881 г.), когда им были созданы великие романы-трагедии от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых».

* * *

Анна Григорьевна родилась 30 августа 1846 года в семье мелкого петербургского чиновника Григория Ивановича Сниткина. Ее отец обладал легким и жизнерадостным нравом, в молодости увлекался театром, литературой, был большим поклонником творчества Достоевского. Впервые от отца Анна Григорьевна и услышала это имя. В шестнадцать лет она зачитывалась «Неточкой Незвановой» (в семье ее даже прозвали «Неточкой»), а над страницами «Записок из Мертвого дома» проливала горькие

---

[1] Л. М. Леонидов. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. Статьи и воспоминания о Л. М. Леонидове. М., «Искусство», 1960, с. 126—127.

слезы. Достоевский стал ее любимым писателем еще в ранней юности.

Мать Анны Григорьевны — Анна Николаевна Мильтопеус, шведка финского происхождения — полная противоположность своему увлекающемуся и непрактичному мужу: энергичная, властная, она была подлинной хозяйкой дома. Веселый и открытый характер отца, сдержанный, ровный — матери создавали на редкость спокойную и радостную обстановку в семье Сниткиных, так что юность «Неточки» протекала вполне безмятежно. Над будущим она еще мало задумывалась; не принимала всерьез своих занятий на известных в то время стенографических курсах профессора Ольхина. Однако этому юношескому увлечению вскоре суждено было сыграть исключительную роль в жизни Анны Григорьевны. В 1866 году умер отец, положение в семье изменилось — и вот тогда-то пришлось Анне Григорьевне, не желавшей находиться в материальной зависимости от матери, применить на деле свои стенографические знания. Начинающую стенографистку порекомендовали Достоевскому, и 4 октября 1866 года состоялось их знакомство. «Ольхин, профессор стенографии, прислал мне лучшую свою ученицу...— рассказывает Достоевский в одном из своих писем.— Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно...» [1].

Напряженная, полная захватывающего интереса и новизны самостоятельная деятельность воодушевляла молодую девушку. Исповедь Достоевского о его трагически сложившейся жизни вызвала в Анне Григорьевне восхищение несгибаемой натурой писателя и чувство глубокой симпатии и сострадания к одинокому, неустроенному, так много испытавшему человеку. Достоевский постепенно завладел всеми ее мыслями. «При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит,— рассказывал Достоевский о необычных обстоятельствах своей женитьбы,— хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти... Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть, и любить она умеет» [2].

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II. М.—Л., 1930, с. 3.
[2] Там же.

Но и для Анны Григорьевны не явилось неожиданностью предложение Достоевского, внутренне она давно была к этому готова и не колеблясь ответила твердым согласием, которое отнюдь не обрадовало ее близких (равно, как и родню Достоевского) Решительно всем этот союз представлялся неравным, непонятным и опрометчивым. Однако «благоразумные» советы друзей и родственников Анна Григорьевна оставила без всякого внимания, отвергла их с непреклонностью и смелостью, характерной для молодого поколения тех лет. Позднее на вопрос, как она решилась на брак с человеком вполовину старше ее, бывшим каторжником, вдовцом, обремененным многочисленной родней и долгами, Анна Григорьевна отвечала: «Я же была девушкой шестидесятых годов». Конечно, в полном смысле Анна Григорьевна «шестидесятницей» не была; религиозность и консерватизм взглядов жены Достоевского очевидны. Но живительный воздух шестидесятых годов, поры светлых надежд, коснулся и Анны Григорьевны. И решение поступить на стенографические курсы, и смелый, в духе времени, ответ Достоевскому, и будущие споры с мужем о «нигилистках», о призвании женщины, наконец, ее жизнь-подвиг с Достоевским и неустанная деятельность после его смерти — все это корнями уходит в шестидесятые годы, к этике «мыслящего пролетариата», к нравам той молодежи, которая с беспримерной отвагой отказалась подчиняться старым догмам и домостроевским канонам.

Первые месяцы после скромной и тихой свадьбы оказались и самыми трудными для Анны Григорьевны: нелегко было привыкать, применяться к очень непростому, «больному» характеру Достоевского, страдавшего неизлечимым недугом — эпилепсией. Сложно складывались отношения и с родственниками писателя. Совсем иной жизненный уклад — нервный, беспокойный, хаотичный, разительно непохожий на патриархальный быт семьи Сниткиных; несправедливые мелочные обиды, наносимые Анне Григорьевне эгоистичным и недобрым пасынком, во многом еще чужой, далекий муж — словом, все так угнетало и пугало молодую женщину, что разрыв ей представлялся почти неминуемым

Анна Григорьевна откровенно пишет о своих сомнениях и переживаниях той поры: «Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение перед человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья... <...> Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность. Благодаря окружающей

обстановке для меня мало-помалу наступило время недоразумений и сомнений. Хотя я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него, если б я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела».

Разрыва, катастрофы, однако, не произошло, главным образом благодаря решительности и энергии Анны Григорьевны (тем более удивительным, что она тогда, по собственному позднему признанию, была совершенным ребенком). Она сделала все для перемены обстановки, для отъезда за границу, подальше от домашних неурядиц, от безалаберной петербургской жизни. Правда, рассказывая впоследствии о причинах отъезда за границу, Анна Григорьевна несколько субъективно, односторонне их объясняет только желанием спасти семью. В письме к А. Н. Майкову сам Достоевский называет эту поездку жизненно необходимым, хотя и тяжелым шагом: «Главных причин две,— пишет он своему другу.— 1) Спасать не только здоровье, но даже жизнь <...> 2-я причина — мои обстоятельства: кредиторы ждать больше не могли» [1]. Анна Григорьевна ничего не говорит также о смятенном, подавленном состоянии Достоевского, в котором на этот раз он уезжал из России. Писателя терзали опасения — страх перед наваждением рулетки, боязнь, что за границей он не сможет писать, волнения за Анну Григорьевну, впервые предпринявшую такое путешествие. «Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе: в заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние заграницы будет очень дурное,— рассказывает Достоевский о своих тяжелых предчувствиях А. Н. Майкову.— Один <...> с юным созданием, которое с наивною радостью стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень <...> Характер мой больной, и я предвидел, что она со мной измучается. (NB Правда, Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я ее знал)...» [2].

Между тем вдали от петербургских будней, в Дрездене, Бадене, Женеве, Флоренции и состоялось их настоящее сближение, а хрупкая «головная» привязанность, которой до отъезда со всех сторон грозили беды, превратилась в серьезное чувство. Уверившись раз и навсегда в искренней привязанности Достоевского, Анна Григорьевна с необыкновенным мужеством и редким самообладанием переносила несчастья, на которые судьба была особенно

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 25.
[2] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 26.

щедра. Достоевский в полной мере приобщил Анну Григорьевну и к своим страстям, и к своим мучениям: быть его женой означало не только испытывать радость от близости гениального человека, но и нести обязанности хозяйки дома, матери, няньки-утешительницы и «делопроизводителя». Достоевский требовал исключительного, всепоглощающего внимания. Метранпаж М. А. Александров, часто бывавший в семье Достоевских, вспоминая жену Достоевского, писал: «Вообще Анна Григорьевна умело и с любящею внимательностью берегла хрупкое здоровье своего мужа, держа его, по ее собственному выражению, постоянно *«в хлопочках»*, как малое дитя, а в обращении с ним проявляла мягкую уступчивость, соединенную с большим, просвещенным тактом, и я с уверенностью могу сказать, что Федор Михайлович и его семья, а равно и многочисленные почитатели его обязаны Анне Григорьевне несколькими годами его жизни» [1].

Анна Григорьевна скупо и сдержанно пишет о недуге Достоевского, но тем острее чувствуются затаенная боль и вечный страх за его жизнь. В беседе с А. А. Измайловым она выразила то, о чем не только писать, но и думать было невыносимо: «Я вспоминаю о днях нашей семейной жизни, как о днях великого незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие... Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это — расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо синеющим, искаженным, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается и ты ничем не можешь ему помочь,— это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему... Период жизни со мною был еще сравнительно более здоровым для Федора Михайловича. Раньше припадки были чаще, и каждый раз Федору Михайловичу казалось, что он умирает» [2].

В первое время знакомства Достоевский диктовал юной стенографистке «Игрока», роман, в котором отражены и черты собственной биографии писателя: страстное, неистовое, казалось, до конца дней непреодолимое увлечение рулеткой, и любовь-ненависть к «инфернальнице» Аполлинарии Сусловой. Не без умысла Достоевский поинтересовался мнением Сниткиной о герое романа.

---

[1] «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с. 246.

[2] А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).— «Биржевые ведомости», 1916, № 15350, 28 января.

Анна Григорьевна со всей категоричностью молодости осудила Алексея Ивановича за слабость характера. Но вскоре литературная ситуация превратилась в реальную, и перед молодой женой Достоевского вновь, теперь уже самой жизнью, был поставлен такой же вопрос.

Не только постоянная материальная неопределенность, долги, кредиторы мучили Анну Григорьевну, но еще тяжелее ей было сознавать, как безжалостная рулетка затягивала Достоевского. Из «Рулетенбурга» к Анне Григорьевне шли удивительные письма, которые она читала со смешанным чувством сострадания и горечи. «Ах, голубчик, не надо меня и пускать к рулетке! — чистосердечно признавался Достоевский.— Как только проснулся — сердце замирает, руки-ноги дрожат и холодеют» [1].

И в конце концов Анна Григорьевна примирилась с несчастным увлечением мужа. «Но скоро я поняла,— рассказывает Анна Григорьевна,— что это не простая «слабость воли», а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может. С этим надо примириться, смотреть <...> как на болезнь, против которой не имеется средств». Однако то, что Анне Григорьевне представлялось наваждением, болезнью, Достоевский осознавал как настоятельную потребность, проистекающую из свойств его натуры. В долгом и отчаянном увлечении рулеткой по-своему выражалась неуравновешенная, кипучая натура художника, здесь чувствуются тот же жар, та же неистовость, что и в его романах. Достоевский сам тесно связывал творческие импульсы с «проклятой фантазией». В письме из Bains-Saxon, извещая жену об очередном проигрыше («последний и окончательный урок»), Достоевский благодарит это несчастье, так как оно невольно натолкнуло его на одну спасительную мысль: «...давеча, мне хотя и мерещилось, но я все-таки окончательно еще не выяснил себе эту превосходную мысль, которая мне пришла теперь! Она пришла мне уже в девять часов или около, когда я проигрался и пошел бродить по аллее. (Точно так же, как и в Висбадене было, когда я тоже после проигрыша выдумал Преступление и Наказание и подумал завязать сношения с Катковым. Или судьба, или бог!)» [2]. Так рождался роман «Идиот», напряженную работу над которым Достоевский не случайно связал с «мономанией», игрой — «рискнул, как на рулетке». Сама Анна Григорьевна давно перестала верить клят-

---

[1] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка. Л., 1976. с. 26.

[2] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка. Л., 1976, с. 35.

вам и обещаниям мужа бросить игру, не поверила она и покаянному письму из Висбадена от 28 апреля 1871 года, а оно оказалось действительно прощанием с «фантазией».

Освобождением от власти рулетки Достоевский обязан прежде всего Анне Григорьевне, ее великодушному терпению, мужеству и благородству. «Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз, тебя, ангела моего, благословлять,—писал Достоевский.—Нет, уже теперь твой, твой нераздельно, весь твой. А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии *принадлежал*»[1]. Только после этого решительного шага завершился процесс «срастания», и в письмах последующих лет Достоевский будет повторять, что чувствует себя «приклеенным» к семье и не может переносить даже короткой разлуки.

Письма к жене составляют почти четверть всего эпистолярного наследия Достоевского. Именно в письмах к Анне Григорьевне Достоевский был откровенен и чистосердечен, безгранично доверял ее доброте и чуткости. Это единственная в своем роде «исповедь», точнее, множество небольших темпераментных, безыскусных исповедей, исключительно точно передающих душевный строй личности Достоевского. Письма к самому близкому и дорогому другу, который все поймет и все простит. «Ты тоже мое дитя, да еще иногда блажное, а я твое и тоже блажное»[2],—как-то полушутя написал он Анне Григорьевне совершеннейшую истину, проясняющую главную сущность их союза.

Кстати сказать, многочисленные письма Достоевского к Анне Григорьевне, с своей стороны, не только убеждают нас в глубокой искренности ее воспоминаний, но и рисуют жену писателя как незаурядный человеческий характер, особый тип просвещенной русской женщины второй половины прошлого века. И в письмах, и в воспоминаниях царит одна и та же светлая атмосфера любви, взаимного уважения, нежности. Вдали от Анны Григорьевны Достоевский «тоскует... мучительно!». «И вот я убедился, Аня, что не только люблю тебя, но и влюблен в тебя и что ты единая моя госпожа, и это после 12-ти лет!» (из писем 1879 г.). Молодыми горячими признаниями исполнены все без исключения письма Достоевского к Анне Григорьевне на протяжении почти четырнадцати лет их брака.

Такое постоянство и полнота чувства объясняются еще и тем, что для Достоевского Анна Григорьевна не просто любимая жена, привлекательная женщина, но и яркая человеческая индивидуаль-

---

[1] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка. Л., 1976, с. 41.

[2] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка, с. 286.

ность, личность, внушающая уважение, «нужный», «необходимый человек». Он ценит ее «восприимчивую деятельную натуру», ее «цельность и ясность». «Анна Григорьевна моя истинная помощница и утешительница» — эти слова он повторял не один раз в письмах и разговорах с друзьями. Жене он пишет более восторженно: «Сделай тебя королевой и дай тебе целое королевство, и клянусь тебе, ты управишь им, как никто — столько у тебя ума, здравого смысла, сердца и распорядительности» [1].

Достоевскому импонируют природная одаренность Анны Григорьевны, знание языков, вкус к путешествиям и любознательность, способность «смотреть и учиться», наконец, ее специальность стенографистки — «высокого искусства» [2] в глазах писателя,— сделавшего Анну Григорьевну, в известном смысле, «коллегой» художника. Именно ей, неутомимой помощнице, самоотверженно делившей с ним горести, неудачи, заботы и тревоги, радостные и счастливые дни, Достоевский посвящает свой последний роман «Братья Карамазовы», свою исповедь. Посвящение одного из величайших шедевров мировой литературы Анне Григорьевне не только знак искренней любви и глубокого уважения Достоевского, но и признание ее несомненных заслуг перед русской литературой. И, кто знает, может быть, неустанные заботы, деятельная любовь жены даровали писателю те несколько лет жизни, которые нужны были ему для создания гениального романа.

Из четырехлетнего заграничного путешествия Анна Григорьевна вернулась уже совсем другой, не юной, беспомощной и наивной девочкой, какой она была, а властной, не терпящей постороннего вмешательства и непрошеных чужих советов хозяйкой, женщиной, познавшей и тяжкое горе (смерть первенца — дочери Сони, несчастья, еще сильнее сблизившего супругов), и великое счастье жизни с Ф. М. Достоевским. Анна Григорьевна, подводя итоги заграничной жизни, с благодарностью вспоминает это суровое и прекрасное время. «Да будут благословенны те прекрасные годы, которые мне довелось прожить за границей, почти наедине с этим удивительным по своим высоким душевным качествам человеком!» Теперь она была хорошо подготовлена к жизни в Петербурге и твердо, методично стала ограждать мужа от неприятных, слишком угнетавших его житейских хлопот и бесконечных претензий родственников.

Заботы о детях и материальном достатке не заслонили главного в жизни Анны Григорьевны — литературной работы Досто-

---

[1] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка, с. 237.

[2] «Стенография есть искусство высокое»,— писал Достоевский С. А. Ивановой, рекомендуя ей овладеть этой специальностью.

евского. Она с энтузиазмом, забывая о сне и отдыхе, стенографировала его романы и была их первой слушательницей и критиком, переписывала своим разборчивым, почти каллиграфическим почерком рукописи, читала корректуры, организовала книжный склад и торговлю книгами. А в редко выпадавшее свободное время перечитывала, вернее, читала впервые по-настоящему, те самые произведения, которые недавно стенографировала и корректировала: «Я всегда брала два — три тома произведений мужа с собою в моих путешествиях и уже читала их не как корректор (как приходилось читать при издании их), следящий за правильностью набора, а как простой (рядовой) читатель. И сколько наслаждения испытывала я при таком неспешном чтении, сколько нового, неожиданного оказывалось для меня в его романах. Чем дальше шла моя жизнь, чем больше пришлось мне испытать радости и печали на моем жизненном пути, тем глубже становились для меня произведения моего незабвенного мужа» [1].

Возросшая в последние годы жизни популярность Достоевского как писателя и публициста, слава, пришедшая к автору «Братьев Карамазовых» и «Пушкинской речи», наполняла гордостью сердце Анны Григорьевны. В успехе мужа, в признании читающей публикой его таланта она видела и частичку своего труда. Но у славы есть и оборотная сторона: суета, поклонники и поклонницы, осаждавшие писателя, бесконечные визиты и приглашения выступить с чтением произведений на литературных вечерах, отнимавшие много времени у Достоевского и невольно втягивавшие Анну Григорьевну в круг светских вечеров и знакомств, чего она всегда чуждалась, предпочитая любому обществу беседы с мужем и спокойный, налаженный семейный быт. Особенно пришлось почувствовать Анне Григорьевне тяжкое бремя быть женой известного человека в скорбные дни смерти и похорон Достоевского, когда ей казалось, что она не переживет его кончины. Анне Григорьевне хотелось безраздельно отдаться чувству горя, быть и эти минуты только среди родных и близких людей, ее раздражали бесконечные депутации, стандартно жестокие слова, обращенные к ней с напоминанием, «кого потеряла Россия».

Анна Григорьевна, конечно, необыкновенно дорожила всем, что имело отношение к жизни и творчеству Достоевского. Но особенно дороги ей были письма мужа, с которыми, по словам современников, «она не расставалась ни днем, ни ночью и всюду их с собой возила». Критику А. Измайлову Анна Григорьевна при-

---

[1] А. Г. Достоевская. Воспоминания.— Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 93, III, 1/1, л. 729.

знавалась: «В письмах <...> он так преувеличивал мои достоинства и не замечал недостатков, как это часто бывало с любящими, что мне казалось, это должно было остаться между нами, чтобы меня не обвинили в безмерном честолюбии, в любви к рекламе и т. д. <...>. Он видел во мне то, чего, разумеется, никто не видел, и это преувеличение любви поначалу мне было так странно, ну, как было бы странно, если бы кто-нибудь стал называть вас «вашим сиятельством». Нужно ли говорить, что эти письма были и есть моя величайшая радость и гордость, что я читала и перечитывала их сотни раз» [1].

Тем, однако, тщательнее готовила Анна Григорьевна письма Достоевского к публикации, подвергла их строгой цензуре, многие места густо зачеркнув и даже вычистив резинкой. Оставила она и строгое распоряжение в книжке «En cas de ma mort on d'une maladie grave» [2]: письма Федора Михайловича ко мне, как представляющие собою чрезвычайный *литературный и общественный интерес*, могут быть напечатаны после моей смерти в каком-либо журнале или отдельною книгою <...>. Желательно, чтобы письма были напечатаны в хронологическом порядке. Если нельзя напечатать целиком, то можно было бы напечатать лишь письма, относящиеся к Пушкинскому празднику» [3]. Анна Григорьевна исключительно была заинтересована в том, чтобы история их долгой совместной жизни предстала перед читателем в идеализированном и очищенном виде. Поэтому она так настаивала в той же книжке «En cas de ma mort on d'une maladie grave» на уничтожении своих стенографических дневников: «...мне бы вовсе *не* хотелось, чтоб чужие люди проникали в нашу с Ф. М. семейную интимную жизнь. А потому *настоятельно* прошу уничтожить все стенографические тетради» [4]. Отчасти поэтому с обостренным чувством ответственности Анна Григорьевна приступала к работе над воспоминаниями.

Анна Григорьевна долгое время не решалась писать воспоминания, так же как не желала публикации писем Достоевского к ней при жизни. «Я не литератор,— говорила она журналисту К. Я. Эттингеру.— Да и к тому же я боюсь, что это припишут моему тщеславию. Я и писем Федора Михайловича ко мне не считаю возможным опубликовать до моей смерти. А личного тщеславия у меня нет. На мою долю выпало столько любви и почи-

---

[1] А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).

[2] «В случае моей смерти или тяжелой болезни» *(фр.)*.

[3] «Письма Ф. М. Достоевского к жене». М., 1926, с. IV—V.

[4] Там же.

тания со стороны людей ко мне, как вдове Достоевского, что желание славы для себя лично мне совершенно чуждо»[1].

Мало кому из современников писателя удалось постигнуть сокровенное, самую суть Достоевского-человека. В наиболее талантливых и интересных воспоминаниях (Н. Страхова, А. Сусловой, Всев. Соловьева, М. Александрова, О. Починковской) удивляют разительная несхожесть и противоречивость суждений. Невольно создавалось впечатление двойственности, неуловимости личности Достоевского.

Гениальный человек уходит из жизни, оставляя главное — свои произведения, запечатлевшие мудрость, страстность и величие его духа. Но в чем-то, естественно, он всегда тайна. А современникам и потомкам остается, как великолепно сказал Достоевский о Пушкине, эту тайну разгадывать. И все же, к примеру, Пушкина мы воспринимаем цельнее и яснее, чем Достоевского. Четче вырисовывается и фигура другого титана — Льва Толстого, хотя бы в грубых, приблизительных, но все же резких и зримых чертах. О Достоевском такого сказать нельзя; только, казалось бы, мелькнула тонко уловленная и знаменательная черта личности, что-то существенное проясняющая,— и тут же заволокло ее,— наплывает другая легенда и иное толкование, зачастую полярное намечавшемуся. Достоевский в освещении современников непостоянен, переменчив, многолик, порой он представляется личностью отталкивающей, вызывающей острую неприязнь. А одновременно, на страницах других воспоминаний о писателе, лучезарно сияет лицо идеалиста, романтика, праведника.

Какой же он, Достоевский, истинный? Что от его неповторимой натуры перешло непосредственно в творчество, переплавилось в создания могучей фантазии? Как связана личность Достоевского с подвигом художника? Каждый, кто прикоснулся к художественному миру и личной жизни Достоевского, не может не задавать себе подобных вопросов, задавала их себе и жена писателя.

Однако публикация воспоминаний современников, нередко грубо искажавших облик Достоевского, часто вздорных и противоречащих действительным фактам, рисующих Достоевского преимущественно личностью фатальной, болезненно раздвоенной, угрюмым и мрачным страдальцем, явилась одной из главных причин, которая побудила Анну Григорьевну заняться непривычной и трудной для нее литературной работой с целью восстановить

---

[1] К. Э. <К. Я. Эттингер>. У вдовы Достоевского.— «Биржевые ведомости», 1906, № 9178, 30 января.

истину, рассказать о *настоящем* Достоевском. *Удаться* полностью такая в целом почти непосильная для мемуариста задача не могла. Известны слова Достоевского, сказанные им в порыве беспощадной откровенности: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная, везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил»[1]. О Достоевском, «за черту переступившем», Анна Григорьевна почти ничего не пишет, она не решается погружаться в глубины сложнейшей духовной и творческой жизни писателя. Достоевский, мыслитель и художник, пропускающий через свою душу и сердце, через свое сознание мучения и надежды, сомнения и отчаяние Раскольникова и Ивана Карамазова, Ставрогина и князя Мышкина, остался в основном за пределами воспоминаний. Мемуары Анны Григорьевны — это всего лишь часть правды о Федоре Михайловиче Достоевском, но, что очень важно,— именно *правды*.

Анна Григорьевна говорила писателю и критику А. А. Измайлову: «И эти письма, и мои воспоминания — все это нужно для того, чтобы этого человека, наконец, увидели в настоящем свете. Воспоминания о нем нередко совершенно извращают его образ»[2]. Полемичность мемуаров жены Достоевского порой подчеркивается автором специально: «Я часто недоумевала — как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых».

Воспоминания создавались в 1911—1916 годы и потребовали от Анны Григорьевны огромного напряжения сил. Написаны они с необычной даже для такого жанра обстоятельностью. В истолковании и подаче самых разнообразных фактов из жизни Достоевского ясно чувствуется стремление автора к точности и объективности; только этим можно объяснить столь частое, подчеркнутое обращение мемуаристки к письмам и записным книжкам Достоевского, к воспоминаниям и письмам друзей писателя, высказываниям современников. Продуманность, полнота аргументации, простота и естественность — подкупающие черты рассказа жены Достоевского, более всего желавшей представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками,— таким, каким он был «в своей семейной и частной жизни».

В повести «Кроткая», объясняя избранную «фантастическую» манеру повествования, Достоевский предлагает читателю вообразить стенографа, записывающего беспорядочный поток мыслей

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 29.
[2] А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (К 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).

полуобезумевшего от горя мужа жены-самоубийцы. Сравнение, отчасти безусловно подсказанное личными непосредственными наблюдениями; рядом с Достоевским четырнадцать лет жил свой семейный стенограф, записывающий что-то о нем и сопровождавший увиденное и услышанное какими-то своими впечатлениями и оценками. Достоевский с большим любопытством разглядывал загадочные крючки и очень желал проникнуть в тайный смысл клинописи, имеющий самое прямое отношение к нему: «Мой дневник очень интересовал моего мужа, и он много раз говорил мне:

— Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючками: уж, наверно, ты меня бранишь?»

«Таинственные» стенографические дневники и записи бесед с мужем легли в основу воспоминаний. В предисловии к воспоминаниям Анна Григорьевна пишет, что в основном ее усилия были сосредоточены на «переводе» с языка стенографического на язык «общедоступный». Но это вовсе не механическая переделка, сводящаяся к перекомпоновке хаотического материала стенографических записей и стилистической правке. Анна Григорьевна берет из дневников чисто фактическую сторону и только те из давешних впечатлений, что, по ее мнению, представляют наибольший интерес; она заново переосмысливает все, сопоставляя впечатления и эмоции юности с поздним опытом и знанием. Со временем горькое и тяжелое стушевывалось в памяти, заслоняясь светлым и радостным, а собственные чувства и переживания во многом казались автору мемуаров инфантильными и наивными, лишь в редких случаях достойными упоминания.

Сравнение расшифрованного «Дневника» за 1867 год и соответствующих ему по времени страниц воспоминаний позволяет судить о том, каким образом переделывались Анной Григорьевной записи непосредственные, по горячим следам. Дневник двадцатилетней девушки — сумбурный, порой детски непосредственный; это запись происшествий и мыслей для себя, приватный и интимный документ, куда заносилось буквально все, беспорядочно и без цензуры разума. Но именно поэтому «Дневник» в чем-то и более достоверный мемуарный документ, в котором с особой остротой передан драматический накал жизни Достоевских в первый год их супружества. Совсем другое — воспоминания умудренной опытом долгой и сложной жизни женщины, вполне осознающей свой долг перед памятью мужа и ответственность перед читающей публикой.

В воспоминаниях перенесена полностью всего одна пространная выписка из дневника 1867 года. Опущены многие эпизоды и детали, или не имеющие прямого отношения к Достоевскому, или дублирующие друг друга, в результате чего повествование значи-

тельно выиграло, избавившись от слишком частых в дневнике повторений и узколичных, больше касающихся одной Анны Григорьевны страниц. Но не одни только «мелочи» и сугубо личное устраняет Анна Григорьевна в воспоминаниях; не скрывая драматизма многих эпизодов жизни за границей, она все же их явно «смягчает»; от отчаяния и нервных потрясений, лихорадочной, безумной баден-баденской жизни, так захватывающе переданной в дневнике, в воспоминаниях сохранено немногое. Не упомянула она совсем и Аполлинарию Суслову, бурный роман с которой незадолго до встречи с Анной Григорьевной пережил Достоевский. Между тем некоторые простодушные признания юной «стенографки» в дневнике 1867 года рассказывают, до каких пароксизмов доходила ее ревность. Записка, которая, как потом выяснилось, была вовсе не от Сусловой («одной особы»), вызывает настоящий нервный припадок у Анны Григорьевны: «Значит, ему не хотелось показать записку, значит, ее не следовало мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать, да так сильно плакала очень редко, я кусала себе руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что сойду с ума <...>. Я плакала, бог знает как, страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться для того, чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и случилось, и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывали Марию Дмитриевну» [1].

В воспоминаниях Анна Григорьевна старается как можно меньше касаться такого рода острых и неприятных мгновений из уже очень далекого прошлого, которое подверглось сильной идеализирующей обработке. Мягче и «идеальнее» обрисован в воспоминаниях и Федор Михайлович (в отличие от горячего, вспыльчивого, всегда неожиданного «Федички» «Дневника»).

Анна Григорьевна нашла убедительный, почти нигде не впадающий в фальшь тон объективного «летописного» рассказа. Мемуаристка предельно сдерживает свои субъективные симпатии и антипатии (последнее ей не всегда удается: например, нет-нет да и прорывается острая неприязнь к пасынку, правда, во многом заслуженная); она старается не подчеркивать свою беспредельную любовь к Достоевскому. Однако иногда все-таки теряет чувство меры — и доходит до экзальтации, моления; так, Анна Григорьевна в нервном, почти экстатическом возбуждении говорила Толстому: «Мой дорогой муж, сказала я восторженно, представлял собою

[1] «Литературное наследство», т. 86. М., 1973, с. 179.

идеал человека! Все высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен — как никто!». Но такие «срывы» довольно редки, и объясняются они чаще всего внутренней полемичностью воспоминаний. «Внимательнейшим образом следила она за всей литературой по Достоевскому и глубоко огорчалась, если встречала резкие характеристики Достоевского как человека!» [1]— свидетельствует современник.

* * *

Федор Михайлович Достоевский — такова главная тема воспоминаний; рассказ о Достоевском — семьянине, любящем муже, заботливом и нежном отце — основной стержень книги; «он — главное и почти исключительно лицо этих записок»; сама же Анна Григорьевна на втором плане, в тени, в роли скромного биографа — жены, благоговейно воскрешающая для других черты личности мужа. Даже повествуя о грустных днях лета 1868 года, омраченных смертью дочери — первенца Сони, Анна Григорьевна крайне сдержанно говорит о своих материнских чувствах и переживаниях. От ее дочери, Любови Федоровны, мы узнаем, как она тосковала, как часто покидала Веве и посещала могилу ребенка на женевском кладбище. Между тем в воспоминаниях Анна Григорьевна пишет больше не о своих страданиях, а о горе Достоевского и о том, как она «страшно боялась» за него тогда. Верная убеждению, что «нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в семье», Анна Григорьевна подробнейшим образом, стараясь не упустить ни одной сколь-либо значительной детали, рассказывает о своеобразных чертах характера, привычках, склонностях, странностях и страстях Достоевского — «частного человека». Тщательно «реконструируется» ею быт, обстановка, распорядок дня писателя.

Один из наиболее любимых друзей писателя, А. Н. Майков, в своем прощальном слове сказал, что ни друзья, ни родственники не смогут ответить на вопрос: что такое Достоевский? «Спросите Анну Григорьевну о Федоре Михайловиче — она скажет: «Ах, какой это был муж! Как он меня любил, как я его любила!» Друзья что скажут? Их ответы будут детальные, отрывочные, анекдотические, пожалуй, а никак уже не отвечающие на предъявленные во-

---

[1] Н. Слонимский. Жена Достоевского.— «Новые ведомости», Пг., 1918, № 127, 3 августа, вечерн. вып.

просы. Словом, ответы не интересные <...> О великих людях, о великих писателях мне не особенно интересно знать, в каком доме они жили, какое платье носили, видеть вещи, им принадлежавшие; в старину, бывало, ценились табакерки, из которых они нюхали табак, шляпы, чернильницы, перья и т. д. Вся мелочная обстановка их жизни, это — только краски, штрихи, подробности»[1].

Анне Григорьевне, наверное, было хорошо известно это весьма скептическое высказывание Майкова о мемуарах, рисующих быт великих людей, их жизнь в кругу семьи, но тем не менее она отважилась писать воспоминания в непритязательном «частном» плане. Однако «краски, штрихи, подробности», о которых с явным пренебрежением говорил Майков, сообщали рассказу Анны Григорьевны непреходящее значение и привлекательность.

Первостепенный интерес представляет то, что пишет Анна Григорьевна об эстетических идеалах и вкусах Достоевского, не ограничиваясь реестром имен (что одно уже само по себе важно), но бережно передавая оценки и переживания писателя. Рассказ мемуаристки о потрясении, испытанном Достоевским в Базеле, когда он впервые увидел подлинник картины Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос», не может не обратить внимания читателя. Известно, какое исключительное символическое значение имеет картина Гольбейна в «Идиоте», как важна она для понимания главной мысли романа.

Бурная столичная жизнь Петербурга и тихий, провинциальный быт Старой Руссы, описанные мемуаристкой, сменяются живыми броскими зарисовками Западной Европы в канун франко-прусской войны и Парижской коммуны: перед читателями возникают картины политической жизни и нравов Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии, Италии. Но, пожалуй, больше всего и интересней в «заграничной» части воспоминаний рассказывается о столь увлекавшем Достоевского великом искусстве старой Европы, ее художниках, композиторах, зодчих.

Пожалуй, ни один исследователь, изучающий творчество Достоевского, не пройдет мимо тех немногочисленных, но по-своему интересных страниц воспоминаний, где говорится о взаимоотношениях писателя, порой сложных, запутанных и противоречивых, со своими современниками — писателями, журналистами, учеными, общественными деятелями — Некрасовым и Тургеневым, Ога-

---

[1] «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, с. 55 (раздел приложения).

ревым и Майковым, Страховым и Гончаровым, Вл. Соловьевым, Катковым, Победоносцевым и др.

Скупые, немногословные свидетельства Анны Григорьевны о последних встречах Достоевского и Некрасова имеют значение не только для историков литературы, но и представляют особый интерес с точки зрения психологии человеческих отношений. По словам мемуаристки, создатель «Бедных людей» был «очень рад возобновлению дружеских отношений с Некрасовым, талант которого высоко ценил». Достоевский постоянно навещал Некрасова во время его предсмертной болезни: «Федор Михайлович стал часто заходить к нему — узнать о здоровье. Иной раз просил ради него не будить больного, а лишь передать ему сердечное приветствие».

Некрасов, поверяющий недавнему идейному противнику свои «последние песни»; Достоевский, потрясенный кончиной Некрасова и всю ночь читающий вслух стихотворения «поэта мести и печали», «настоящие,— как он называл их,— перлы русской поэзии»; наконец, Достоевский, идущий за гробом друга своей юности, его страстная речь на могиле Некрасова; публичные выступления писателя с чтением некрасовских стихов, имевшие неизменный успех у русской молодежи,— все это интересные подробности, без которых не будут полными ни биография Достоевского, ни наше представление о времени, в котором он жил.

В мемуарах Анны Григорьевны упоминается о кратковременных встречах Достоевского в 1867 году в Женеве с Н. П. Огаревым: «Многие стихотворения этого задушевного поэта,— как говорится в воспоминаниях,— писатель очень ценил». Сама по себе встреча с Огаревым — факт, казалось бы, незначительный. Но вот опять выразительная и запоминающаяся подробность, характеризующая этические нормы жизни творческой интеллигенции России Старый больной поэт, одинокий, доживающий последние годы вдали от родины, старается сделать приятным пребывание Достоевских в Женеве, ссужает их книгами и журналами, а иногда даже и небольшой суммой денег.

Рассказ мемуаристки о предполагавшемся и очень желанном свидании Толстого и Достоевского, описание литературных вечеров с участием писателя, история разрыва Достоевского с Мещерским, редактором «Гражданина», журнала, в котором столь активно сотрудничал автор «Дневника писателя»,— также важные «штрихи», воссоздающие черты жизни и творчества одного из гениальнейших художников мира. Особенно важны упоминания Анны Григорьевны о невоплощенных замыслах Достоевского, новых планах и редакциях произведений, об уничтоженных или про-

павших рукописях. К сожалению, «Воспоминания» не оставляют и тени сомнения в том, что рукописи «Идиота», «Вечного мужа», «Бесов» были сожжены Достоевским.

«Перечитывая произведения моего незабвенного мужа,— писала Анна Григорьевна в предисловии к одному из собраний сочинений Достоевского,— я часто встречала в них черты из личной его жизни, его привычки, приписанные героям романа, обстоятельства, случившиеся с ним или с его семьей, и, главным образом, его личные мнения о многом, выраженные почти в тех же самых выражениях, в которых мне приходилось от него слышать. Мне показалось интересным отметить те страницы, в которых отразился Федор Михайлович» [1]. Это намерение жены Достоевского, в данном случае имеющее в виду совсем другую работу [2], в какой-то степени осуществлено в ее воспоминаниях.

Рассказывая о своих первых родах, о волнении и растерянности Достоевского (о чем с такой благодарной нежностью вспоминает Анна Григорьевна), она не преминет, хотя бы и в подстрочной сноске, обратить внимание на то, что это их семейное, интимное событие отразилось впоследствии в «Бесах» (в описании родов жены Шатова — одной из лучших драматических сцен романа). Вспоминая смерть сына Алеши и свое неутешное горе, Анна Григорьевна, невзначай, все-таки заметит, что ее «сомнения, мысли и слова» нашли отзвук в главе «Верующие бабы» («Братья Карамазовы»). Подобных мимолетных, но ценнейших для понимания природы творческой манеры Достоевского «штрихов, красок и подробностей» в воспоминаниях немало. Мемуары Анны Григорьевны легко опровергают скептицизм Майкова и, напротив, являются выразительным подтверждением мыслей Достоевского, который любил говорить, что, составляя представление о человеке, ни в коем случае не следует пренебрегать мелочами, ибо они, увиденные проницательным взглядом, помогают понять существо личности, душу человека, разглядеть его истинный образ. Выразительные «мелочи», остро подмеченные женой, лучше иных пространных рассуждений раскрывают черты личности Достоевского — и как человека, и как художника.

Но важно заметить и другое — сколько бы мы ни называли тех или иных подробностей, фактов из жизни Достоевского, при-

---

[1] Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. Пг., 1922, с. 54.

[2] А. Г. Достоевская предприняла попытку систематизировать отдельные мысли и наблюдения, помогающие увидеть реальные, жизненные факты в произведениях Достоевского, и в первую очередь те, где отразилась личность писателя *(там же)*.

веденных Анной Григорьевной в воспоминаниях, ни один из них, сам по себе взятый, не является ни сенсацией, ни чем-то уж совсем принципиально новым, что бы не было известно из писем или других воспоминаний современников, друзей и близких.

Как-то в трудную пору, в одном из ранних писем (1867), Достоевский писал жене: «Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным; это только снаружи; таков я всегда был, надломленный и испорченный судьбой; внутри же другое, поверь, поверь!»[1]. Вот именно это «другое», «внутреннее», «истинное» особенно ценила и любила Анна Григорьевна в Достоевском. Это она почувствовала с первых же встреч, и этим, ей одной доступным, «знанием» проникнуты воспоминания. Необычным, драгоценным для нашего видения писателя, скорректировавшим наше представление о нем, явились воспоминания Анны Григорьевны в целом, ибо впервые именно она открыла дверь в Дом Достоевского и ввела туда читателя, показав ему того, другого, ей одной известного человека. Таким, например, предстает Достоевский в момент своего объяснения. Писатель импровизирует будущей жене сюжет задуманного им романа, интригу, в которой «замешана психология молодой девушки». Он и сочиняет роман, и рассказывает собственную биографию, не стирая грани, разделяющей искусство и жизнь, но и ясно давая понять, как легко переходима эта грань. Достоевский ждет от слушательницы не только чуткого, тонкого понимания, отклика, но и жизненно необходимого для себя решения (хотя давно знает о зарождающемся чувстве Анны Григорьевны!). Отрицательный ответ для него равносилен поражению, катастрофе. Простодушные записки Анны Григорьевны превосходно передают сложные душевные переживания Достоевского, эту причудливую смесь самолюбия, гордости, мнительности, неуверенности — поистине драматическое и мучительное состояние.

Само собой, естественно, без всякого нажима раскрываются в воспоминаниях высокие черты нравственного облика Достоевского: какая-то совершенная, мышкинская простота, свойственная гениальности, невельможность — черты, роднящие его с Пушкиным и Львом Толстым. Необычайно выразительна в этом смысле такая, на первый взгляд, «жанровая сцена», рассказанная Анной Григорьевной: создатель «Преступления и наказания», «Идиота», прославленный писатель, философ и мыслитель, обдумывающий трагические образы «Братьев Карамазовых», в смятении бродит по окрестностям Старой Руссы в поисках невесть куда запропа-

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 7.

стившейся, «арендованной» коровы, боясь, что дети останутся без молока... А ведь только т а к о й Достоевский и мог написать жене в дни Пушкинских празднеств (превратившихся также и в триумф автора «Братьев Карамазовых» и речи о Пушкине), что находится в величайшем смущении, ибо его дорогой гостиничный номер оплачивается из городской казны, и он готов бежать оттуда, испытывая страшную неловкость...

Перед нами Достоевский — в самые свои худые дни проигрышей, бедности, мизерабельности конца шестидесятых годов, когда несчастья буквально преследовали его и фатально притягивала к себе рулетка; Достоевский — тонкий ценитель красивых, изящных вещей, испытывающий наслаждение при малейшей возможности доставить радость близким; перед нами человек, чья судьба была поистине полна трагических коллизий, человек, который не раз стоял на краю бездны и который тем сильнее любил праздник жизни. Вот он, отец семейства, от души, сам как ребенок, веселится на рождественской елке, самозабвенно танцует вальс; а вот он же, всю ночь сидящий с маленьким сыном, который раскапризничался, у давно погасшей елки...

Читая об этом в воспоминаниях, понимаешь, что только т а к о й Достоевский мог писать своим корреспондентам о детях: «Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю...»; «сколько очеловечивают они существование в высшем смысле... без них нет цели жизни» [1]. Только т а к о й Достоевский способен был создать большой драматической силы сцену похорон Илюшечки или с трогающей душу отцовской нежностью рассказать о несчастных детях Мармеладова... Все, что пишет Анна Григорьевна о любви Достоевского к своим детям,— бесценный «комментарий» для многих его произведений, в которых почти всегда присутствует маленький герой, с пронзительной жалостью, состраданием и надеждой изображенный писателем.

Менее всего удались Анне Григорьевне те редкие в воспоминаниях обобщения и выводы, где она, не довольствуясь собственными наблюдениями или просто не доверяя себе, предпочитает присоединяться к мнениям других мемуаристов. Подводя итоги заграничному периоду, она цитирует Н. Н. Страхова: «Достоевский стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения, и на губах появлялась

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV, с. 7, 67.

нежная улыбка... Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались и в его сочинениях. Таким он вернулся из-за границы». Анна Григорьевна сочла характеристику Страхова проникновенной и искренней (не подозревая еще, какой удар ей предстоит вскоре вынести от, казалось бы, все понимающего и преданного друга), якобы правдиво рисующей суть духовного преображения Достоевского за границей, его новый христианский облик. К счастью, слова Страхова так и остались в воспоминаниях инородными, чужими; рассказ самой Анны Григорьевны не только не иллюстрирует выводы и суждения критика, но нередко и опровергает их, рисуя скорее непримиримого, чем смиренного Достоевского.

Конечно, консервативные во многом взгляды Анны Григорьевны повлияли на ее симпатии и оценки: восторженная характеристика Победоносцева, подробный рассказ о «высоких» связях Достоевского демонстрируют это, пожалуй, особенно убедительно. Анна Григорьевна гордилась благосклонным участием к Достоевскому и его семье царственных особ. Иногда в своих монархических симпатиях она даже доходила до фанатизма, чуждого писателю. Если Достоевский, осуждая Веру Засулич, ратовал за ее помилование, то Анна Григорьевна, по воспоминаниям М. Н. Стоюниной, была возмущена призывом Вл. Соловьева проявить милосердие к убийцам Александра II. Достоевский в освещении Анны Григорьевны—убежденный монархист и твердый консерватор, беззаветно преданный царю и православию. Однако такие прямые, безапелляционные квалификации приходят в неразрешимое противоречие с самым главным — с художественным творчеством Достоевского.

Бессмысленно, конечно, отрицать реакционные мотивы в творчестве Достоевского, сотрудничество писателя в «Гражданине» Мещерского, близкие отношения с Победоносцевым — его «многоуважаемым и достойнейшим корреспондентом». Ведь это не просто отдельные, «стихийные» штрихи биографии Достоевского. Памфлетические страницы романов Достоевского, многие страницы «Дневника писателя» говорят о неслучайности и даже устойчивости в творчестве писателя консервативных и монархических настроений.

Но это только одна и далеко не главная сторона деятельности Достоевского, как романиста, так и публициста. Бунтарские мотивы в произведениях Достоевского последних лет не только не угасают, а, напротив, достигают поистине космической силы. Отнюдь не исчезают и социалистические идеи: в «Подростке» и «Сне смешного человека», к примеру, весьма ощутимы ранние, до

ссылки и каторги, увлечения Достоевского идеалами великих утопистов-социалистов — Фурье, Ламенне, Консидерана.

Мощно возрастает в творчестве позднего Достоевского и критика современной буржуазной цивилизации. В «Дневнике писателя» 1877 года Достоевский остро поднимает вопрос о нравственности государства и одного человека, отвергая иезуитскую логику, оправдывающую самые чудовищные государственные деяния и клеймящую малейшее отклонение от этических норм отдельного гражданина («единицы»). Писатель шлет проклятие государствам-преступникам, изолгавшемуся и лицемерному миру, цивилизации, построенной на крови и обмане, где все продажно и «верх неестественности» — фабрики, войска, школы, университеты.

Не мог не осознавать Достоевский и того, что его мечта о союзе «царя-освободителя» и народа, в сущности, очень зыбка и утопична. Об этом, в частности, говорят следующие слова в записной тетради Достоевского: «Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит» [1]. Но неколебимой оставалась вера Достоевского «в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово» [2].

«Ненасытимый» гуманизм писателя, стремившегося к осуществлению в России подлинных идеалов свободы, равенства и братства, неумолимо приводил его к конфликтам и «недоразумениям» с «единомышленниками», «друзьями» и союзниками. Последняя мечта Достоевского — о делегации «серых зипунов», своего рода народной ассамблеи, разрешившей бы справедливо все накопившиеся и наболевшие социальные проблемы. Катков, Мещерский, Леонтьев, Победоносцев желали совсем другого: они пытались остановить освободительное движение, начавшееся после отмены крепостного права и грозившее неслыханными переменами, оградить интересы дворянского сословия от посягательств «зипунов» и «сюртучников», хотели сделать невозможным всякие дальнейшие «либеральные» реформы, нападая на новые демократические институты — гласный суд и земство.

---

[1] «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, с. 366.

[2] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений. Т. XII. М.—Л., 1926—1930, с. 203—204.

В воспоминаниях Анны Григорьевны почти ни слова не говорится о смятенности духа писателя, мечущегося между верой и неверием, о сомнениях Достоевского, так явственно ощутимых в его романах и статьях. Л. Н. Толстой охарактеризовал Достоевского как человека, «к о т о р ы й в е с ь б о р ь б а», «умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла» [1],— и это, может быть, самое справедливое и точное из всего сказанного о писателе. Знакомясь с воспоминаниями жены писателя, читатель мало что узнает об этом «горячем процессе внутренней борьбы». Анна Григорьевна тщательно затушевывает противоречия, старательно обходит сложности, выпрямляя трудный и вовсе не однолинейный путь художника. А ведь ей хорошо были известны не только опубликованные произведения Достоевского, но и записные тетради писателя, в которых противоречивость его мироощущения, его политических взглядов отражена с большой искренностью и силой, без оглядки на цензуру и читателя. Мемуары Анны Григорьевны в этом смысле рисуют Достоевского более однотонным и «простым», чем воспоминания других современников писателя — Л. Симоновой, А. С. Суворина, О. Починковской.

Несомненно, упрощает Анна Григорьевна и характер личных отношений Достоевского с Победоносцевым, Майковым, Страховым. Вряд ли такими уж идиллическими и гладкими были беседы Достоевского с Победоносцевым: последний, как ясно из его писем, не без тревоги следил за постепенно появлявшимися в «Русском вестнике» частями «Братьев Карамазовых» и даже попытался наставить художника на истинный путь, выразив неудовольствие «поэмкой» Ивана Карамазова «Легенда о Великом Инквизиторе». Хорошо известна неприязнь писателя к Мещерскому. В свою записную тетрадь Достоевский заносит гневные и справедливые слова об охранительных «концепциях» К. Леонтьева, подготавливая очередной выпуск «Дневника». Достоевский был возмущен возражениями К. Леонтьева на его речь о Пушкине, апокалипсическую суть которых он так суммировал: «Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет». Достоевский гневно и резко опровергает эту мизантропическую философию: «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо» [2].

Энергично полемизировал Достоевский и с книгой консервативного «генерала-мыслителя» Р. Фадеева «Русское общество

---

[1] Л. Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч., т. 63, с. 142.

[2] «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, с. 369 (раздел второй).

в настоящем и будущем (чем нам быть?)» как в записной тетради, так и в романе «Подросток». Необыкновенно зло и остроумно он в «Дневнике писателя» 1876 года высмеял идеалы «культурного типика» В. Г. Авсеенко, одного из постоянных сотрудников «Русского вестника» Каткова. Известно также, что его консервативные «друзья» — Майков и Страхов — были крайне недовольны публикацией романа «Подросток» в «Отечественных записках»; расценили этот демонстративный акт как предательство «общих» интересов, измену славянофильской партии.

Анна Григорьевна явно идеализирует ближайшее окружение Достоевского: и нельзя не обратить внимание на такой особенно очевидный факт, как колоссальное различие облика Страхова в основном корпусе воспоминаний и специальном ответе-приложении.

Неуверенно чувствует себя Анна Григорьевна, повествуя о событиях общественно-политических и литературных, здесь она нередко говорит с чужого голоса; бледнеет, становясь невыразительным, стиль мемуаристки, оживая вновь, когда она возвращает рассказ в привычные великолепно ей знакомые бытовые границы.

* * *

Анна Григорьевна — не профессиональный литератор, и было бы явным преувеличением говорить о ее большом писательском даровании. Но годы жизни с Достоевским, участие в его трудах, сама атмосфера высокого искусства оказали свое влияние на формирование духовного мира Анны Григорьевны. Если поначалу Достоевский сомневался в способности жены понять и оценить то или иное его произведение («У меня единственный читатель — Анна Григорьевна; ей даже очень нравится; но ведь она в моем деле не судья»)[1], то впоследствии писатель не раз с похвалой отзывался о ее художественном чутье и весьма дорожил мнением своей «первой читательницы»[2].

Воспоминания написаны увлекательно. Анна Григорьевна, бесспорно, обладала незаурядным мастерством рассказчика, о чем

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 62.

[2] «Я заметила особую замашку моих литературных собеседников,— вспоминает Анна Григорьевна.— Они почему-то подозревали, что я неверно понимаю произведения моего мужа и недостаточно признаю глубину его таланта, поэтому они старались мне его растолковать, объяснить и возвысить его в моих глазах. По-моему, это был совершенно напрасный труд, так как едва ли

вспоминают многие ее современники. «Она отличалась даром картинного воспроизведения всего того, что видела и наблюдала в окружающей жизни,— пишет М. Н. Стоюнина.— Стоит ей выйти на улицу, на рынок, с самой будничной целью, как она все подметит: не только крупное событие, яркую сцену, но и мелкие, но характерные подробности. Возвратясь домой, она все изобразит картинно, сценично, в лицах,— в ней, несомненно, таился огонек артистки...» Почти то же самое говорит об одаренности Анны Григорьевны другая ее современница — З. С. Ковригина: «Она рассказывала так ярко и живо о самых незначительных фактах и событиях, что заставляла «видеть» и слушателя»[1]. Артистизм, талант рассказчицы в полной мере проявились в воспоминаниях. Первая встреча с писателем, предложение Достоевского, смерть Сонечки, похороны мужа стоят в одном ряду с лучшими образцами русской мемуаристики, естественно, ближе всего к женским воспоминаниям: С. А. Толстой, Н. А. Тучковой-Огаревой, Т. П. Пассек.

Мягкий и теплый юмор придает воспоминаниям Анны Григорьевны особую прелесть. Невозможно без улыбки читать о том, как Достоевский приревновал Анну Григорьевну к Григоровичу и как ей удалось отгадать «виновника», вызвавшего ревность мужа: «Только презрительные слова: «Ишь, французишка, так мелким бесом и рассыпается»,— дали мне понять, что объектом ревнивых подозрений Федора Михайловича на этот раз оказался старик Д. В. Григорович (мать его была француженка)». С тем же добродушным юмором повествует Анна Григорьевна о забывчивости и рассеянности Достоевского. Юмор присущ и некоторым ее письмам. Особенно, пожалуй, показателен тонко схваченный наблюдательным взглядом Анны Григорьевны облик Н. П. Вагнера — мистика и автора «Сказок Кота-Мурлыки»: «На вид это маленький смешной человечек с женским визгливым голосом, с огромною соломенною пастушескою шляпою и с огромнейшим пледом в руках <...> По-видимому, очень простой, хотя несколько смешной человек. На другой день я видела его в парке на скамье читающим письмо (вероятно, от кого-либо с того света) и до того погруженным в чтение, что никого не видел (меня тоже не видел). Затем вскочил и три раза пробежал взад и вперед по

кто на свете так высоко ценил его талант, как я». А. Г. Достоевская. Воспоминания. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 93, III, 1/1, л. 707.

[1] М. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. М., 1933, с. 122, 124.

длинной аллее, а затем пропал. Вообще в этот раз имел вид полусумасшедшего человека (как и следует спириту)» [1].

Хроника семейной жизни, рассказ о Достоевском — лучшая часть воспоминаний; первые главы, предшествующие встрече Анны Григорьевны с писателем, и последние, следующие после похорон Достоевского, значительно слабее; с исчезновением героя угасает динамика повествования, распадающегося на ряд разнородных, пестрых очерков. Наибольший интерес представляют здесь рассказ о посещении Анной Григорьевной Л. Н. Толстого и ее ответ Страхову.

Опубликованное в 1913 году письмо Страхова к Толстому от 28 ноября 1883 года, в котором он выступил с «разоблачением» нравственных и эстетических идеалов Достоевского, явилось для Анны Григорьевны неожиданным и тяжелым ударом. «У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения,— рассказывала Л. Гроссману Анна Григорьевна.— Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе — от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений» [2].

У Анны Григорьевны хватило выдержки не публиковать при жизни ответ Страхову, она включила его в текст воспоминаний. Обвинениям Страхова Анна Григорьевна подбирает строго фактические и логические опровержения, стремясь сделать свой ответ максимально убедительным и неуязвимым. Жене Достоевского не было известно письмо Толстого, в котором он язвительно-вежливо не согласился с «психологическими исследованиями» Страхова. Критик, как известно, аргументируя свою точку зрения, подкрепляет обвинения Достоевского в нравственной ущербности непосредственными параллелями с творчеством писателя: «Лица, наиболее на него похожие,— это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах» [3]. В другом письме Страхов еще резче проводит ту же мысль: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова

---

[1] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка, с. 207—208.

[2] А. Г. Достоевская. Воспоминания, под ред. Л. П. Гроссмана. М., 1925, с. 15.

[3] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», т. II. СПб., 1914, с. 308.

именно душа человека»[1]. Толстой возразил Страхову, заметив, «что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу»[2]. Редчайший дар перевоплощения, сопереживания, проникновения в глубины психологии человека, иными словами, то, в чем Страхов вдруг увидел коренной порок Достоевского-писателя, представлялось Толстому первым условием подлинно художественного творчества. Об этом он прямо и заявил пристрастному критику, имея в виду и Достоевского, и себя, и вообще всех истинных художников: «Чем глубже зачерпнуть, тем общée всем, знакóмее и роднее»[3]. «Разоблачения» Достоевского — писателя и человека—обернулись против самого Страхова; защищая Достоевского, Толстой, таким образом, одновременно выступил с опровержением и осуждением «открытий» Страхова. Но есть справедливость судьбы в том, что это сделал именно Лев Николаевич Толстой, единственный, по мнению Страхова, в мире человек, который мог бы справедливо рассудить его запоздалый спор с покойным Достоевским[4].

Возражения Анны Григорьевны, в отличие от философски-эстетических обобщений Толстого, предельно конкретны и эмоциональны: это прежде всего свидетельство жены писателя, возмущенной клеветой. Но в специальном ответе особой необходимости не было, ибо личность Достоевского, образ писателя в мемуарах Анны Григорьевны представляют сами по себе нечто абсолютно противоположное, полемичное измышлениям Страхова.

* * *

Достоевский болезненно переживал вечные материальные бедствия семьи, бремя которых разделяла с ним подлинная «хозяйка» дома Анна Григорьевна. Огорчало Достоевского, что он так и не смог обеспечить будущее детей. Мысль об этом омрачала и его последние дни. Столь же горько ему было видеть постоянные мытарства своей «царицы», «владычицы», «повелительницы», «королевы»: «Ах, родная моя, у меня сердце болит по тебе; я здесь перебрал все, как ты мучилась, как ты работала — и для какой награды? Хотя бы мы денег получили больше, а то ведь нет,

---

[1] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 66. М., 1953, с. 253—254.

[2] Там же.

[3] Там же, с. 254.

[4] См. об этом статью Б. И. Бурсова «У свежей могилы Достоевского (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым)».— «Ученые записки Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена», т. 320. «Проблема жанра в истории русской литературы». Л., 1969, с. 254—273.

и если есть что, так разве еще в надежде на будущий год, а это журавль в небе <...>. Я мечтаю о будущей зиме: поправилась бы здоровьем в Руссе и, переехав в Петербург, уж больше не будешь мне стенографировать и переписывать, я это решил, а если будет много подписчиков, то непременно возьмешь помощницу...» [1]. Так в 1876 году, и точно так же было раньше и позднее: все те же надежды, мечты, сетования и все те же журавли в небе. Иногда немного лучше, иногда хуже. Но в тяжком и обременительном труде Анна Григорьевна обрела счастье и высший смысл жизни.

Писатель Б. Маркевич, присутствовавший при кончине Достоевского, вспоминает: «Жена его билась в безумном отчаянии пред ним на коленях. Она припадала к его безжизненно спустившейся с дивана руке. со словами молитвы, с раздиравшим душу стоном, попеременно вырывавшимся у нее из груди... Двое детей их, сын и дочь, тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтоб, если у него были грехи, бог ему простил!» — проговорила она с каким-то поразительным, недетским выражением, и залилась истерическими слезами. Я ее, всю дрожавшую ознобом, увел из кабинета, но она вырвалась из моих рук и убежала опять к умирающему; между тем как А. Н. Майков усиленно уговаривал ее мать отойти от него, успокоиться хотя бы на миг... Она повиновалась, наконец, чтобы дать болю своим рыданиям, «чтоб *он* не слышал их»... «О, *кого* я теряю, *кого* я теряю!» — могла она только выговорить, падая в кресло в другой комнате...

Мы дали ей напиться воды... «Ведь ему хотелось жить еще, жизнь только начинала улыбаться ему,— прорывались у нее слова,— он надеялся еще многое сказать... И дышать стали мы легче... И вот! ...Он мне сегодня сказал: «Весь век мой бился я и работал как вол из-за хлеба насущного; думал, наконец, будет чем детей на ноги поставить, умираю, оставляя их нищими» [2].

Похороны великого писателя стали историческим событием: почти тридцать тысяч человек провожали его гроб в Александро-Невскую лавру. Смерть Достоевского каждый русский человек переживал как национальный траур и личное горе.

Но для Анны Григорьевны смерть мужа была настоящим потрясением: «...Ясно я сознавала лишь одно, что с этой минуты окончилась моя личная, полная безграничного счастья жизнь и что

[1] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка, с. 225.
[2] Б. Маркевич. Несколько слов о кончине Ф. М. Достоевского // Моск. ведомости.— 1881.— 1 февр.

я навеки осиротела душевно. Для меня, которая так горячо, так беззаветно любила своего мужа, так гордилась любовью, дружбой, уважением этого редкого по своим высоким нравственным качествам человека, утрата его была ничем не вознаградима. В те поистине страшные минуты расставания мне казалось, что я не переживу кончины мужа, что у меня вот-вот разорвется сердце (так оно усиленно билось в моей груди) или что я сойду теперь же с ума... Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество!»

После смерти Достоевского пришло долгожданное материальное благополучие, но она почувствовала не радость, а скорее обиду на странную гримасу судьбы, вручившей ей наконец синицу, но слишком поздно.

Анна Григорьевна долго не могла смириться со смертью Достоевского. Друзья и родственники отправили ее с детьми в Крым, надеясь, что перемена обстановки, желанное ей самой уединение хоть немного смягчат горе. Но и там воспоминания не оставляли ее, переполняя сердце безысходностью. Она пишет 22 июля 1881 года С. В. Аверкиевой: «Внешне так хорошо и спокойно, что и пожелать трудно, оставалось бы только радоваться, если б я совсем не пропадала с тоски. Я до того горюю, что иногда прихожу в отчаяние. Вспоминаю прежние счастливые годы и не могу поверить, что они более не вернутся. Я не могу примириться с мыслью, что никогда больше не увижу, не услышу его. Я так надеялась на здешнее полнейшее уединение, я была уверена, что оно принесет мне пользу. И что же: уединение не только не помогло, но еще больше дало места воспоминаниям, тяжелым и грустным, сожалению и отчаянию. Не знаю, что с собой и делать!» [1].

В день похорон Достоевского Анна Григорьевна дала обет посвятить «всю остальную» свою жизнь популяризации его произведений. Анна Григорьевна продолжала жить прошлым, воспоминаниями прежних лет: «Я живу не в двадцатом веке, я осталась в 70-х годах девятнадцатого. Мои люди — это друзья Федора Михайловича, мое общество — это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я живу. Каждый, кто работает над изучением жизни или произведений Достоевского, кажется мне родным человеком» [2]. По словам писателя и критика Н. Слонимского, хорошо знавшего Анну Григорьевну, «свою личность она ценила,

---

[1] Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 6, ед. хр. 33.

[2] А. Г. Достоевская. Воспоминания, под ред. Л. П. Гроссмана, с. 14.

поскольку она отражает личность мужа, поскольку она была «женой Достоевского» [1].

Многообразен и велик ее труд, жены писателя, после смерти Достоевского. Анна Григорьевна семь раз издает собрание его сочинений; последнее в 1906 году; ей во многом обязаны Ор. Миллер и Н. Н. Страхов, впервые подготовившие «Материалы для жизнеописания Достоевского». В 1906 году появляется уникальный, составленный Анной Григорьевной «Библиографический указатель сочинений и произведений искусств, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского». Все эти годы работает Анна Григорьевна над расшифровкой «Дневника» 1867 года, подготовкой к изданию отдельной книгой писем Достоевского к ней, пишет воспоминания. Помимо этих главных литературных трудов, она организует в Старой Руссе школу народных ремесел, при которой была открыта «Квартира-музей Ф. М. Достоевского», создает при Историческом музее специальную комнату Достоевского, послужившую основой Музея-квартиры Достоевского в Москве.

Анна Григорьевна участвует в литературных вечерах и выставках, ведет огромную переписку с многочисленными почитателями таланта Достоевского. Среди ее корреспондентов М. Н. Ермолова, А. Ф. Кони, В. И. Немирович-Данченко, Вл. С. Соловьев, Ор. Миллер, Е. В. Тарле, К. И. Чуковский. Когда была осуществлена постановка «Братьев Карамазовых», Анна Григорьевна обратилась ко всей труппе Художественного театра со словами признательности: «Моей всегдашней мечтой было увидеть на сцене полное драматизма произведение моего дорогого мужа. К сожалению, до сих пор переделки его романов доставляли мне больше горя, чем радостей. Они не столько определяли достоинства произведений Достоевского, не столько выясняли созданные им типы, сколько искажали их. Даже исполнение переделок было, за немногим исключением, вполне заурядным. Мне всегда думалось, что задача объяснить публике Достоевского могла быть по плечу лишь Московскому Художественному театру, так много сделавшему для славы русского искусства...» [2].

Многое из задуманного Анна Григорьевна так и не успела сделать: смерть прервала работу над вторым томом биографии, часть тетрадей со стенографическими записями бесед с Достоевским осталась нерасшифрованной. «К сожалению, в моей постоянной работе, отданной опять же делу мужа, мне решительно

---

[1] Н. Слонимский. Жена Достоевского.

[2] «Письмо вдовы Ф. М. Достоевского — А. Г. Достоевской». — «Речь». СПб., 1910, № 280, 12/25 октября.

не удалось дойти до этих стенограмм,— сетовала Анна Григорьевна в разговоре с А. А. Измайловым.— Да и расшифровать их не так легко. Как всякий опытный стенограф, я применяла свои условные сокращения. А кроме меня, их уже никто не разберет...» [1]. Не была доведена до конца и работа над воспоминаниями. «Мне семьдесят два года,— говорила она Л. П. Гроссману незадолго до смерти,— но я еще не хочу умирать. И иногда надеюсь, что проживу, как покойница мать, до конца девятого десятка. Много еще работы впереди, далеко еще не завершены задачи и труд моей жизни» [2].

Летом 1917 года, находясь на юге, Анна Григорьевна заболела малярией тяжелой формы, попытка вернуться в Петроград не удалась, а здоровье ее оказалось сильно подорванным болезнью и лишениями. Страдания она переносила с необыкновенным мужеством. Врач З. С. Ковригина, вспоминая Анну Григорьевну, писала, что «в это время, в эти последние месяцы своей жизни, она вообще поражала исключительностью духовных своих качеств, возбуждая удивление и глубокий интерес к себе не отраженно, как жена Достоевского, а сама по себе: своей неутомимой энергией, тонким и широким умом и еще больше: неустанным интересом ко всему окружающему. Во все она вносила несвойственный ее возрасту пыл и горячность. Порой просто нельзя было верить, что перед тобою старуха <...>. Натура редкая в своей цельности. И любить и ненавидеть умеет до конца...» [3].

Умерла Анна Григорьевна 9 июня 1918 года в Ялте и была похоронена на Аутском кладбище вдали от Петербурга, от родных, от могилы Достоевского. В «Завещательной тетради» она просила, чтобы ее захоронили в Александро-Невской лавре, рядом с мужем, и при этом не ставили отдельного памятника, а вырезали бы просто несколько строк. По самым различным обстоятельствам ее последнюю волю смогли исполнить лишь недавно, в 1968 году, к пятидесятилетию со дня смерти Анны Григорьевны, почти исключительно благодаря энергии и настойчивости внука, Андрея Федоровича, унаследовавшего от бабушки бескорыстную преданность памяти Достоевского; Андрей Федорович неоднократно выступал в печати со статьями и очерками об Анне Григорьевне Достоевской.

---

[1] А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).

[2] А. Г. Достоевская. Воспоминания, под ред. Л. П. Гроссмана, с. 14.

[3] «Достоевский». Статьи и материалы, под ред. А. С. Долинина, т. II. Л., 1924, с. 587.

Сохранилось немало теплых отзывов о ней современников: Е. А. Штакеншнейдер, М. Н. Стоюниной, Д. Философова, Н. Слонимского, М. А. Александрова, Ор. Миллера, З. С. Ковригиной и др. Поэт В. Корнилов посвятил жене Достоевского благоговейное стихотворное послание, в котором не скупится на эпитеты («ангел», «тихая», «как пред иконой — свеча»). Однако не следует, предаваясь соблазну, по контрасту с беспокойным, страстным, нервным характером Достоевского видеть в Анне Григорьевне олицетворение кротости, уравновешенности, здоровья: ни «ангелом», ни «горлицей», «ни свечой пред иконой» Анна Григорьевна не была. Достоевский однажды не без удивления писал Майкову: «Знаете ли, она у меня самолюбива и горда»[1]. С мнением мужа перекликаются и свидетельства дочери: «Она отличалась всегда слишком большим, почти болезненным самолюбием; всякая мелочь ее огорчала...». Пишет Любовь Федоровна и о свойственной матери душевной ранимости и болезненности: «Она отличалась всегда слабым здоровьем, была малокровна, нервна, беспокойна...»[2].

Совсем не в укор Анне Григорьевне приведены эти высказывания близких: именно земные, а не ангельские и тихие черты привлекают в ней. Гордость, самолюбие, чувство собственного достоинства делали сильнее эту в общем-то хрупкую и физически слабую женщину, обремененную многими заботами; эти же качества сообщали ей огромный внутренний такт, выдержку и, если можно так сказать, суверенность, которые так ценил в своей жене Достоевский. В письмах к друзьям он не раз обращал внимание на существующую разность характеров его и Анны Григорьевны: «...есть много различного в наших характерах»[3],— писал он Ап. Майкову в 1867 году. Но эта разность характеров превратилась в то редкое единство противоположностей, которое и создало необходимую гармонию в семье Достоевских. «Действительно, мы с мужем представляли собой людей «совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений»,— пишет Анна Григорьевна в заключение своих воспоминаний,— но «всегда оставались собою»,— нимало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своею душою — я — в его психологию, он — в мою, и таким образом... мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких

---

[1] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 265.

[2] Л. Ф. Достоевская. Достоевский в изображении его дочери, пер. с нем. Л. Я. Круковской, под ред. и с предисл. Г. Горнфельда. М.—Пг., 1922, с. 49—50.

[3] Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, с. 63.

вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня!»

Однако такой ли уж противоположностью во всем явилась Анна Григорьевна Достоевскому? В их мироощущении существовало нечто общее, близкое, «в Анне Григорьевне было много трагического, это чувствовалось даже в минуты самой обыденной будничной жизни...» — вспоминала ее ближайшая подруга М Н. Стоюнина[1], Анну Григорьевну, как и Достоевского, часто мучили предчувствия бед. Телеграмма, которую принесли вскоре после грустного письма мужа, производит в ней настоящее нервное потрясение. Она писала ему: «Я так была болезненно настроена, что, увидав телеграмму, просто сошла с ума; я страшно закричала, заплакала, вырвала телеграмму и стала рвать пакет, но руки дрожали, и я боялась прочесть что-нибудь ужасное, но только плакала и громко кричала»[2].

В их жизни было то своеобразное нервное устойчивое равновесие, которое устраивало и Достоевского, и Анну Григорьевну. Они часто ссорились и мирились, безумно ревновали, драматизировали обычные житейские факты и неустанно обменивались любовными признаниями. Словом, как тонко определила Стоюнина, «жили душа в душу, обожание даже у них какое-то взаимное было». В самом облике Анны Григорьевны таилось что-то неуловимое, что вызывало в памяти современников образ Достоевского. Л. Н. Толстой, увидев Анну Григорьевну впервые, нашел, что она удивительно похожа на мужа. Слова Толстого, возможно, тонкий и рассчитанный комплимент, светская учтивость, что прекрасно понимала и Анна Григорьевна[3]. Но не исключено, что на какое-то мгновение Толстому в самом деле именно такой, чем-то похожей на Достоевского, показалась Анна Григорьевна. Прощаясь, Толстой сказал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».

Еще при жизни, а особенно после смерти Анны Григорьевны в столичной прессе стали появляться статьи и заметки, в которых петербургские журналисты слишком много внимания уделяли практицизму Анны Григорьевны, осуждали ее за «прижимистость

---

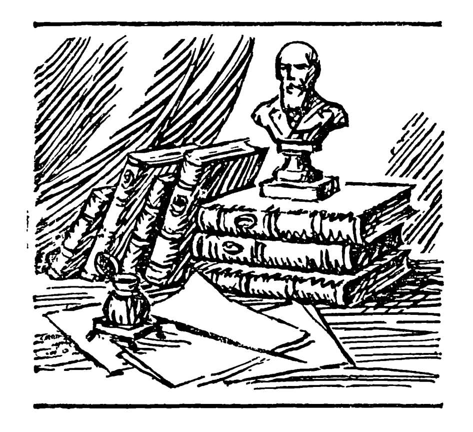
[1] М. Волоцкий. Хроника рода Достоевского, с. 122.

[2] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка, с. 89.

[3] «И я его представлял также», — сказал Толстой и, конечно, для того, чтобы доставить мне большое удовольствие, сказал, что во мне он ловит даже внешнее сходство с покойным». А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).

и скупость». Но, не отрицая и не замалчивая известных черт характера жены Достоевского, нельзя забывать, что ее деловитая расчетливость и «скупость» обеспечивали в самое тяжелое время какой-то достаток и материальное благополучие семье, что Анна Григорьевна избавила Достоевского, крайне беспомощного и наивного в житейских делах, от низких, неприятных, терзавших его сторон действительности. Лично Анне Григорьевне ничего не было нужно, кроме самого необходимого; она заботилась о спокойствии, благосостоянии детей и внуков, продолжая и после смерти писателя жить так же скромно, как и раньше: снимала крохотную комнатку, не меняя привычек и сохраняя прежнюю, дорогую ей в память о муже, обстановку. И наконец, «практицизму» жены Достоевского мы обязаны тем, что осталась в сохранности значительная часть его литературного наследия: письма, рукописи, записные книжки. Не останется равнодушным читатель и к автору замечательных воспоминаний, запечатлевших, по словам советского исследователя, «наиболее человеческие черты» гениального писателя.

С. В. Белов
В. А. Туниманов



ВОСПОМИНАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

К «ВОСПОМИНАНИЯМ»



Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа, что у меня едва хватало времени на то, чтобы заботиться о других, связанных с его памятью, делах.

В 1910 году, когда мне, по недостатку здоровья и сил, пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшее меня дело издания произведений моего мужа и когда, по настоянию докторов, я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить какою-либо интересующею меня работой, иначе, я чувствовала это, меня не надолго хватит.

Живя в полнейшем уединении, не принимая или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастливое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни.

Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более что я была уверена, что

моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвенного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей семейной обстановке.

Из этих разновременно записанных в последние пять зим (1911—1916) воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок.

Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в обрисовке поступков некоторых лиц: воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи.

Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей: растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и пр. Но в семьдесят лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками — таким, каким он был в своей семейной и частной жизни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

I

МОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ БОЖИЙ



С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания: так, в единственной приходской церкви (ныне монастырской) Лавры, находящейся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования св. Александра Невского, в доме, принадлежащем Лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александро-Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире.

Родилась я 30 августа 1846 года, в один из тех прекрасных осенних дней, которые слывут под названием дней «бабьего лета». И доныне праздник св. Александра Невского считается почти главенствующим праздником столицы, и в этот день совершается крестный ход из Казанского собора в Лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот день от работ народа. Но в прежние, далекие времена день 30 августа праздновался еще торжественнее: посредине Невского проспекта, на протяжении более трех верст, устраивался широкий деревянный помост, по которому, на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался

крестный ход, сверкая золочеными крестами и хоругвями. За длинной вереницей духовных особ, облаченных в золоченые и парчовые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по красоте картину, что на крестный ход в этот день сбирался весь город.

Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная (комнат 11), и окна выходили на (ныне) Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед Лаврою *. Семья была большая: старушка-мать и четыре сына, из которых двое были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства, на рождестве и святой все близкие и дальние родные сбирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи. Но особенно много собиралось гостей 30 августа, так как при хорошей погоде окна были открыты и можно было с удобством посмотреть на шествие, а кстати и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась, и все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей «события», вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимою в таких случаях особою. Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем, у ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в доме.

Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась, загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот Лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у

---

* Дом в том же виде существует и теперь (Здесь и далее *прим А. Г. Достоевской.)*

окон, стали сзывать остальных гостей, и были слышны восклицания «Идет, идет, тронулся крестный ход». И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь *.

Торжественная процессия прошла, и гости стали собираться домой, но их удержало желание проститься с бабушкой, которая, как им сказали, прилегла отдохнуть. Около трех часов в залу, где были гости, вошел мой отец, ведя под руку старушку мать. Остановившись среди комнаты, мой отец, несколько взволнованный происшедшим событием, торжественно провозгласил: «Дорогие наши родные и гости, поздравьте меня с великою радостью: бог даровал мне дочь Анну». Отец мой был чрезвычайно веселого характера, балагур, шутник, что называется, «душа общества». Думая, что это известие — праздничная шутка, никто ей не поверил, и раздались восклицания: «Не может быть! Григорий Иванович шутит! Как же это возможно? Ведь Анна Николаевна все время была тут»,— и т. д. Тогда сама бабушка обратилась к гостям: «Нет, Гриша говорит правду: час тому назад появилась на свет моя внучка, Нюточка!»

Тут посыпались поздравления, а из дверей выступила девушка с налитыми бокалами шампанского. Все пили за здоровье новорожденной, ее родителей и бабушки. Дамы бросились поздравлять родильницу (в те времена не было докторских предосторожностей) и целовать «маленькую», а мужчины, пользуясь отсутствием дам, прикончили припасенные бутылки шампанского, провозглашая тосты в честь новорожденной. Таким-то торжественным образом было встречено мое появление на свет божий, и, как все говорили, это было хорошим предзнаменованием насчет моей будущей судьбы. Предзнаменование это впоследствии исполнилось: несмотря на то, что мне пришлось перенести много материальных невзгод и нравственных страданий, я считаю свою жизнь чрезвычайно счастливою, и я ничего не хотела бы изменить в моей жизни.

---

* Про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетушек, бывших в тот день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями.

Скажу несколько слов о моих родителях. Род отца был из Малороссии, и прапрадед носил фамилию Снитко. Прадед, продав имение в Полтавской губернии, переселился в Петербург, уже именуясь Сниткиным. Мой отец воспитывался в петербургской школе иезуитов, но иезуитом не сделался, а всю жизнь оставался добрым и простодушным человеком *. Служил мой отец в одном из магистратов или департаментов. Мать моя была родом из Швеции, из почтенного рода Мильтопеус. Какой-то из ее прадедов был лютеранским епископом, а дяди — учеными. Это доказывает прибавление окончания *еус,* что учеными делалось из какого-то кокетства, вроде прибавления частицы *де* или *фон.* Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора. Посетив однажды Або, проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений.

Отец моей матери, Николай Мильтопеус, был помещиком в Санкт-Михельской губернии, и вся семья жила

* Мой отец рассказывал странный эпизод из своего детства. Когда ему было лет 10, он шел зимой рано утром (около 7-ми) в свою школу по набережной Фонтанки. Около Аничкова дворца к нему подошел какой-то высокий, хорошо одетый господин, рядом с которым стояла бедно одетая женщина. Господин остановил мальчика и сказал: «Хочешь сделать доброе дело, пойдем со мной и будь крестным отцом моего сына; а это твоя кума», прибавил он, указывая на старушку. Отец мой был смелый мальчик и, не колеблясь нимало, пошел за господином и старушкой. Пришли в какой-то богатый дом, где ожидал священник, и тотчас началось крещение младенца. После того как ребенка окрестили, священника, кума и куму угостили чаем и сластями, а господин дал обоим кумовьям по червонцу. Так как папа опоздал в школу, то вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Ему объяснили, что существует поверье, что если все дети в семье умирают, то, чтобы новорожденный остался жить, надо, чтобы его окрестили первые люди, которые попадутся отцу ребенка навстречу. Такою кумою попалась навстречу старушка, а кумом явился папа. Впоследствии мой отец получал на Рождество и Святую подарки от своего крестника, а раз был позван, чтобы благословить крестника, когда тот был болен при смерти. Существует также поверье, что молитва и благословление крестного отца и матери спасают младенца от смерти. Крестник поправился. Впоследствии отец мой потерял своего крестника из виду; отец называл его фамилию, но я ее забыла.

в имении, кроме сына Романа Николаевича, который воспитывался в Московском землемерном институте. Когда он окончил курс и получил место в Петербурге, то продал имение отца (к тому времени умершего) и перевез всю семью в Петербург. Здесь моя бабушка Анна-Мария Мильтопеус вскоре скончалась, а моя мать с двумя сестрами осталась жить у брата. Мать моя была женщина поразительной красоты — высокая, тонкая, стройная, с удивительно правильными чертами лица. Обладала она также чрезвычайно красивым сопрано, сохранившимся у ней почти до старости. Родилась она в 1812 году, и когда ей было девятнадцать лет, обручилась с одним офицером. Им не пришлось обвенчаться, так как он принял участие в Венгерской кампании и был там убит. Горе моей матушки было чрезвычайное, и она решила никогда не выходить замуж. Но годы шли, и мало-помалу горечь утраты смягчилась. В том русском обществе, где вращалась моя мать, были любительницы сватать (это было в тогдашних обычаях), и вот на одно собрание, собственно для нее, пригласили двух молодых людей, искавших себе невесту. Мать моя им чрезвычайно понравилась, но когда ее спросили, понравились ли ей представленные молодые люди, то она ответила: «Нет, мне больше понравился тот «старичок», который все время рассказывал и смеялся». Она говорила про моего отца. В прежние времена люди за сорок лет считались уже стариками, а папе тогда было уже 42 года (родился в 1799 г.). Папа весело и приятно провел свою молодость, но под влиянием строгой матери жил сдержанно, а потому в 42 года представлял из себя человека здорового, крепкого, румяного, с прекрасными голубыми глазами и цельными зубами, но с порядочно поредевшей шевелюрой. До кончины своей матери папа не предполагал обзаводиться семьей, а потому бывал в обществе в качестве приятного собеседника, но отнюдь не жениха. Его тоже представили моей матери, и она ему очень понравилась, но так как она плохо говорила по-русски, а он плохо по-французски, то разговоры между ними не очень затянулись. Когда же ему передали слова моей мамы, то его очень заинтересовало внимание красивой барышни, и он стал усиленно посещать тот дом, где мог с нею встретиться. Кончилось

тем, что они полюбили друг друга и решили пожениться. Но пред ними стояло серьезное препятствие: мама была лютеранкой, а, по понятиям папиной православной семьи, жены должны были быть одной веры с мужьями. Дошло до того, что папа решился пойти против семьи и жениться, даже если б пришлось разойтись с некоторыми из ее членов. Мама об этом узнала и, боясь внести раздор в столь дружную семью, долго была в затруднении: перейти ли в православие или отказаться от любимого человека. На ее решение повлияло одно обстоятельство: поздно ночью, когда назавтра ей предстояло дать решительный ответ моему отцу, она долго молилась на коленях пред распятием и просила господа бога прийти к ней на помощь. Вдруг, подняв голову, она увидела над распятием яркое сияние, которое осветило всю комнату и затем исчезло. Это явление повторилось еще два раза. Моя мать приняла это за указание свыше решить тяготивший ее вопрос в благоприятном для моего отца смысле. В ту же ночь она увидела сон: будто она вошла в православную церковь и стала молиться у плащаницы. Этот сон был тоже принят ею как указание свыше. Можно представить себе ее изумление, когда две недели спустя, приехав на обряд миропомазания в Симеоновскую (на Моховой) церковь, она увидела, что ее поставили у плащаницы и что окружающая обстановка совершенно та же самая, какую она видела во сне. Это успокоило ее совесть. Сделавшись православной, моя мать стала ревностно исполнять обряды церкви, говела, причащалась, но молитвы на славянском языке ею трудно усваивались, и она молилась по шведскому молитвеннику. Она никогда не раскаивалась в том, что переменила религию, «иначе,— говорила она,— я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело».

Прожили мои родители вместе около двадцати пяти лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главою дома была моя мать, обладавшая сильною волей; папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно: свободу разыскивать и покупать на Апраксином и других рынках (антиквариев тогда было масса) разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк.

Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда, лет через пять, бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского Сухопутного госпиталя, а вместе с домом громадный участок земли (около двух десятин), занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улица, и выходивший на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица.

Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было два года восемь месяцев. Во дворе нашего дома был ветхий сарай; мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали, что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать, а за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду, ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались; им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали, но только что артель напрягла все силы, чтоб свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет наверное убит вместе с своею лошадью. Раздался страшный треск падающего сарая и крики ужаса присутствовавших, пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли беды? К счастью, все обошлось благополучно, но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то отец мой, посмотрев хозяйственные книги, удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весною 1849 года.

Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было три года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой

о всех Скорбящей божией матери (на Шпалерной). Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами. На другой день после молебна последовал кризис, и я стала быстро поправляться. Вообще дети в нашей семье редко хворали. Случались, конечно, кашли, насморки, но все болезни лечились домашними средствами, и все благополучно проходило.

Я вспоминаю мое детство и юность с самым отрадным чувством: отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду; зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было; нас никто не пытался «развивать». Рассказывали нам иногда сказки, преимущественно отец; вернувшись со службы и пообедав, он ложился на диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была одна об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с братом всегда удивлялись: почему Иванушку называют дурачком, раз он так умно умеет выпутываться из всевозможных бед. Удовольствия доставлялись нам редко: елка на рождестве, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее переряжение; на масляной нас возили на балаганы и катали на вейках. Два раза в год — перед рождеством и на святой ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля.<...>

II

ОБРАЗОВАНИЕ

Скажу несколько слов о своем образовании. С девяти до двенадцати лет я ходила в Училище св. Анны (на Кирочной улице). Преподавание всех предметов (кроме закона божия) шло на немецком языке, и знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гим-

назия (Мариинская), и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в 3-й и 4-й классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году — большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты Н. А. Вышнеградским Педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками; я поддалась течению: физика, химия, зоология представлялись мне каким-то «откровением», и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат: при опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали; пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась, но когда перешли к практическим занятиям и при мне стали препарировать мертвую кошку, я, к большому моему конфузу, от отвращения упала в обморок. Из этого года занятий мне особенно запомнились лишь талантливые лекции по русской литературе профессора В. В. Никольского, на которых сходились слушательницы обоих отделений.

Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы. Так как папа страдал бессонницей, то я целыми часами читала ему романы Диккенса и была очень довольна, если он, под мое монотонное чтение, имел возможность немного заснуть.

В начале 1866 года появилось объявление о Курсах стенографии, которые будет читать П. М. Ольхин, в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам (когда мой дорогой отец уже уходил на покой), я решила поступить на Курсы стенографии. Об этом особенно настаивал отец, очень жалевший, что я, из-за его болезни, оставила Педагогические курсы. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к

убеждению, что это для меня тарабарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен: упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье.

Двадцать восьмого апреля 1866 года последовала кончина моего отца. Это было первое несчастие, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выражалось бурно: я много плакала, целые дни проводила на Большой Охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелою утратою. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый П. М. Ольхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографическою с ним перепиской. Два раза в неделю я должна была посылать ему две или три страницы определенной книги, написанных мною стенографически. Ольхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение трех летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более, что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма, и скорость его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года вновь открылись курсы, я оказалась единственною ученицею Ольхина, которую он с доверием мог рекомендовать для литературной работы. <...>

III

КАК МЕНЯ «СВАТАЛИ»!

В 50-х годах прошлого столетия еще сохранялся старинный обычай сватать молодых людей и молодых барышень, и сохранялся не только в купечестве, но и в том среднем интеллигентном кругу, к которому принадлежала наша семья. Все пожилые и средних лет да-

мы, имевшие дочерей или племянниц, старались найти им жениха и устроить таким образом их судьбу. Были, однако, дамы, которые занимались этим не по одному лишь добродушию, а из желания получить подарки от невесты и жениха, иногда очень значительные. Поэтому в каждом доме, где имелись богатые барышни, непременно появлялись такие дамы, насильно завязывая знакомства под предлогом дешево продать серебро, рекомендовать нянюшку и т. п. Так как многим было известно, что моя сестра получила в приданое отличный дом, то предполагали, что и мне достанется такой же; вот и в нашем доме появились две-три «добрые» дамы, взявшие на себя заботу о моей судьбе.

Сватовство было до того в обычае, что о нем не стеснялись говорить прямо, вроде: «у вас товар, у нас купец» или «у меня, барышня, есть для вас выгодный женишок». Но я принадлежала к либеральному поколению 60-х годов и отрицала многие старые обычаи, в том числе «сватовство», а потому со мною приходилось прибегать к разного рода хитростям. Так одна уверяла меня, что какой-то моряк, проходя мимо нашего дома, увидал меня в окне и до того мною прельстился, что просил чрез нее позволения познакомиться с моею семьей. Другая придумала, что кто-то видел меня в церкви и, умилившись моею горячностью в молитве, хотел познакомиться с такою богомольною барышнею. Но я никогда не была тщеславна, и подобные лестные отзывы на меня не действовали, и я наотрез отказывалась от знакомства с «увлеченными» будто бы мною лицами. Приходилось прибегать к более сложным хитростям; некоторые из них я здесь опишу.

Покупатель.

Надо сказать, что мой отец в последние годы своей жизни нередко прихварывал и моя мать, не желая его оставлять одного, стала тяготиться хлопотами по управлению своими тремя домами и часто выражала желание продать который-нибудь из них. Про это проведала одна старушка, Марья Ивановна, которую мама знавала много лет и которую очень жалела за ее тяжелую жизнь. Имея больную дочь и спившегося зятя, эта старушка своими трудами поставила на ноги многочисленных внуков. А «труды» ее заключались в приискивании покупателей на дома, денег под залог имений и т. п., то

есть тем, что называется «комиссионерством». Так вот, эта Марья Ивановна в один прекрасный день сообщила моей матери, что нашелся покупатель на ее дом, богатый человек, и предложила его привезти. Был назначен день, и, по тогдашнему гостеприимному обычаю, мама приготовила для гостей чай, закуски и пр. Приехали они в 2 часа, и на предложение мамы «закусить», гость ответил, что предпочитает засветло осмотреть дом, а затем не откажется от ее любезного приглашения. Маме пришелся по душе деловой тон «покупателя», и она повела его осматривать продающийся дом. Как потом выяснилось, «покупщик» осматривал фундаментально: спускался в подвалы и поднимался на чердаки, осматривал каждую квартиру и все отмечал у себя в книжке.

В это время я сидела у себя в светелке и ждала, когда мама покончит с делами, чтобы ехать с нею на обед к сестре, куда папа поехал еще утром. Марья Ив<ановна> взобралась ко мне и была неприятно поражена, увидав, что я сижу в домашнем платье.

— Что ж вы не нарядились, Нюточка (по старому знакомству она называла меня уменьшительным именем), ведь вы собираетесь на парадный обед!

— Успею еще, Марья Ивановна.

— А вы приоденьтесь-ка да придите побеседовать с гостем.

— Какой же это гость? Это покупатель, и мне незачем к нему выходить.

— А все-таки следует выйти,— продолжала старушка,— помочь маменьке в делах. Может быть, с вашей помощью дело-то и устроится!

Видя, что я решительно отказываюсь знакомиться с «покупщиком», М<арья> И<вановна> решила открыть мне, в чем дело.

— Да ведь это не покупщик, Нюточка, это жених. Он ищет себе невесту, и как узнал, что вы прекрасная барышня и с капиталом, то просил привезти его к вам, посмотреть вас под видом покупщика.

Меня чрезвычайно рассердила эта хитрость, но чтобы избавиться от упрашиваний, я попросила старушку уйти, сказав, что начну переодеваться.

Осмотр дома кончился, и покупатель занялся завтраком. Он уверял маму, что дом ему понравился и что

в цене они, вероятно, сойдутся. Казалось, все деловое было выяснено, а между тем, к удивлению мамы, покупщик не собирался уходить (очевидно, ожидал моего появления), а бедная Марья Ив<ановна> ходила ко мне наверх и сквозь дверь уговаривала меня выйти; я же заперлась и не подавала голоса. Время подошло к четырем, и за нами приехал извозчик, чтобы везти к сестре (в нашей пустынной местности приходилось всегда заранее заказывать себе извозчика с ближайшего двора). Наконец поднялась ко мне мама. Услышав ее голос, я отворила дверь и спросила насмешливо:

— Ну что ж, мама, продали дом?

— Почти что продала,— весело отвечала мама,— мы сошлись в цене, и он обещал на днях дать окончательный ответ.

— Но, мамочка, ведь вас обманывают! Это не покупатель, это жених, который пришел меня «смотреть»!

— Как жених? Что ты мне говоришь? Не может быть! — не могла сразу поверить мама.— Зачем же в таком случае он осматривал дом, заставил меня ему все рассказать и показать?

— Верно, хотел убедиться, хороший ли дом вы дадите ему за мною в приданое,— смеялась я.

Мама, действительно полагавшая, что нашелся солидный покупатель, была в полном негодовании. Она сошла вниз и объявила гостю, что ей немедленно надо ехать. На вопрос, когда же она позволит прийти вторично, ответила, что сама назначит день. Холодно раскланявшись, мама ушла, и гостям ничего больше не оставалось, как покинуть наш дом.

Прошло минут двадцать, пока мама переоделась и мы выехали. Была сквернейшая октябрьская погода, шел дождь пополам со снегом *. Улицы нашей местности представляли собою глубокие ямы, наполненные доверху водой, и до Суворовск<ого> проспекта приходилось ехать шагом. Подъезжая к перекрестку, я издали заметила стоявших на тротуаре, у самой дороги, приземистого господина в светло-сером пальто, а рядом с ним Марью Ивановну. Очевидно, они поджидали нас, и «покупатель», которому, вероятно, понравил-

---

* В рукописи описка: «пополам с дождём».

ся дом, хотел хоть одним глазком взглянуть на ту, которую он может получить в придачу к дому. Назойливость эта меня рассердила, и я, не соображая последствий, крикнула: «Кучер, гони во всю мочь мимо этих господ, прибавлю двугривенный!» Кучер не устоял против соблазна и пустил лошадь вскачь. Наши недавние гости, видя мчавшуюся лошадь, забегали-затопотали на месте, но не спаслись от беды: судя по кожуху нашего извозчика, можно думать, что и на их долю досталось немало грязных украшений. Фигура засуетившегося и забегавшего «покупщика» была до того комична, что я расхохоталась как безумная и долго не могла уняться. Мама, хоть и не одобрившая мою выходку, тем не менее не могла не посмеяться над плачевным видом обманувшего ее ожидания «покупщика». Он, однако, не потерял надежды и прислал два письма с просьбою его принять, но не получил от мамы ответа. М<арья> Ив<ановна> долго к нам не показывалась, но когда пришла, то прочла мне реприманд* вроде следующего: что я, «конечно, вольна выходить или не выходить замуж, но чтоб так обидеть человека, облить его грязью с головы до ног («ведь его новая бекешь вконец испорчена!»), это надо иметь злое сердце и дурной характер». Сколько я ни доказывала бедной Марье Ивановне, что у меня не было намерения «обливать жениха грязью», что это случилось совсем для меня неожиданно, что мне хотелось только скорее миновать их, что не моя вина, что на перекрестке оказались глубокие лужи и т. д.,— старушка оставалась обиженной и долго на меня сердилась. <...>

IV

МОЕ НАМЕРЕНИЕ ПОСТУПИТЬ В МОНАСТЫРЬ

В 1859 году мои родители задумали построить новый дом по Костромской улице, и папа, занятый этим делом, не имел возможности повезти нас, детей, на Валаам. Так как после весенних экзаменов я имела очень утомленный вид, то мне предложили поехать на все лето в Псков погостить у троюродной сестры моего от-

---

* упрек, выговор *(фр.)*.

ца, Ирины Трофимовны Ракитиной. Я с радостью согласилась: мне хотелось повидать что-нибудь новое, а Псков, как бывший вольный город, представлял собою особый интерес.

Ирина Трофимовна была добрая, веселая старушка лет шестидесяти пяти, побывавшая за тремя мужьями и после каждого наследовавшая хорошие средства. Детей у нее не было, и она много лет подряд упрашивала моих родителей отдать ей на воспитание одну из дочерей, то есть меня или мою сестру, обещая на имя воспитанницы записать все свое состояние. Родители слишком любили нас, чтобы решиться на разлуку, но, чтобы не огорчать старушки, мой отец говорил ей, что «пусть подрастут девочки, а там видно будет». Ирина Трофимовна почти каждую зиму неделями гостила у нас и привозила с собою чуть не обозы разной живности, варений и солений.

Когда папа привез меня во Псков, Ирина Трофимовна ужаснулась моей худобе и бледности и принялась меня откармливать, что называется «на убой». Тогда не было медицинской моды взвешивания, но полагаю, что я за два с половиной летних месяца увеличилась в весе фунтов на двадцать. Режим Ирины Трофимовны был таков, что навряд ли бы его выдержал теперешний детский желудок. Можно сказать, что день-деньской мы только и делали, что ели да пили. Вставали мы рано, в пять часов, и Ирина Трофимовна заставляла меня выпить два стакана чудесного парного молока. Затем мы с нею шли на утреннюю прогулку, на какой-нибудь базар, рыбный или фруктовый. Здесь тетушка с служанкой обходила торговцев и закупала массу всевозможных продуктов; я же на досуге наблюдала малоизвестные мне нравы и обычаи простого народа. Впечатлений было много, и все интересных. К тому же погода стояла в то лето на редкость хорошая, и идти ранним утром по берегу реки Великой или Псковы было чрезвычайно приятно. Возвращались домой к восьми и пили кофе с густейшими сливками и с только что испеченными булочками. В одиннадцать часов был завтрак, обильный, как обед, со множеством закусок и кушаний. В два часа обедали и тут уже, кроме кушаний, которых было не менее пяти, к столу подавались квасы, мед, наливки. Вспоминая теперь,

дивлюсь, откуда у всех нас брался аппетит на такое множество снедей; правда, стряпуха у Ирины Трофимовны образцовая, взятая из помещичьего дома какого-то разорившегося на еду предводителя дворянства, и готовила мастерски. Да и тетушка любила плотно и разнообразно покушать и не жалела тратить на стол.

За завтраком и обедом всегда был кто-нибудь из гостей. К концу обеда у Ирины Трофимовны полузакрывались глаза, и она становилась вялой, а потому, откушав, тотчас шла «на боковую», усердно приглашая меня последовать ее примеру. До половины шестого в доме царила мертвая тишина; затем опять принимались за еду: пили кофе, чай, ели фрукты и сласти, а в восемь садились за ужин, который был так же обилен, как и обед. В десять часов (иногда раньше) весь дом погружался в безмятежный сон для того, чтобы назавтра начать такое же приятное препровождение времени.

Ирина Трофимовна была знакома со всем городом, но редко куда выезжала, а лучше любила «принять» у себя. Гости все были почтенного возраста и положения: протоиереи, монахи, какие-то старушки-генеральши, и всегда гостили две-три приживалки — девицы и вдовы неопределенных лет,— очень неприятный, существовавший тогда тип женщин, которые льстили, сплетничали, подслушивали и подчас ссорили друг с другом тех людей, у которых гостили. На меня эти приживалки посматривали как на будущую наследницу Ирины Трофимовны и сначала очень мне льстили, желая получить на меня влияние. Но они мне скоро надоели своими сплетнями и наушничеством на прислугу, так что я вскоре перестала с ними говорить, ограничиваясь только самым необходимым. За это я прослыла у них «петербургской гордячкой».

Разговоры гостей Ирины Трофимовны были наставительного и поучительного характера, что вполне соответствовало их положению как духовных лиц. Дамы же больше беседовали о своих болезнях и о тех лекарствах, которые они употребляют. Молодых девушек в числе знакомых тетушки совсем не было, и это ее очень сокрушало: она боялась, что я у ней соскучусь и скоро уеду. Но мне все было в диковинку, и я ни мало не

скучала, тем более что со мною было три романа Диккенса, которые я и перечитывала.

Единственное время, которое было в моем полном распоряжении,— это после обеда, часа три. Я тогда брала работу или книгу и уходила в сад при доме Ирины Трофимовны. Это был громадный сад, примыкавший с одной стороны к саду женского монастыря, а с другой — окруженный старинной городской стеной необыкновенной толщины. Приживалки уверяли, что в этой городской стене имеются тайные ходы и пещеры и что в них ютятся разные подозрительные люди. Я не обращала на эти рассказы никакого внимания.

Сад был порядочно запущен, с заросшими дорожками и без цветов, но такой тенистый и так много было в нем ягод, крыжовнику и малины, что, придя туда, совсем не хотелось уходить. Так как скамейки по большей части были гнилые и одна из них подо мною подломилась, то я брала с собою низенькую скамеечку и сидела на ней почти на уровне земли. Я облюбовала себе местечко недалеко от монастырской стены.

Вот сижу я однажды под липой и читаю «Давида Копперфильда», как вдруг слышу грохот как бы от упавшего со стены человека. Не успела я оглянуться, как мимо меня не пробежал, а, как говорится, «стрельнул» какой-то мужчина и чуть не сшиб меня со скамеечки. Отбежав от меня на десяток шагов, человек остановился на секунду и свирепо погрозил мне кулаком. Я была в полном недоумении, но оно продолжалось недолго: не прошло двух-трех минут, как с монастырской стены грузно попадали, как мешки с мукой, три человека. Один из них подбежал ко мне, и я узнала в нем будочника, который жил недалеко от нас в своей полосатой (белой с черным) будке и торговал табаком. И он узнал меня и спросил.

— Барышня, в какую сторону он побежал?

— А кто это побежал?— полюбопытствовала я.

— Да арестант, вот которого мы ловим?

Тут я смекнула, в чем дело, но, не желая вмешиваться и вспоминая грозивший мне кулак, ответила, что читала книгу и не заметила, куда бежавший направился.

Будочник, кажется, не имел особенного желания ближе познакомиться с арестантом, а потому приял-

ся подробно рассказывать мне, как сегодня ночью из тюрьмы убежали три арестанта, подпилив железную решетку. Один пробрался в монастырь и спрятался между могилами, но белицы *, гуляя в саду, приметили прятавшегося и подняли страшный переполох. Позвали его и монастырских сторожей, все побежали за арестантом и видели, как он перекинулся через забор в наш сад. Тут рассказ будочника прервала горничная, прибежавшая за мной от тетки, которую приживалки нарочно разбудили, чтобы сообщить новость, которую им принесла «на хвосте сорока». Ирина Трофимовна со сна была страшно испугана, крестилась и читала молитвы. Главная беда, по мнению приживалок, состояла в том, что *я* в то время была в саду, так вот «что могло бы произойти, если б он меня заметил, пожалуй, он меня бы убил или ранил» и т. д., всевозможные предположения о грозившей будто бы мне опасности были высказаны тетушкою и ее приживалками. Ввиду того, что опасность не миновала, комнаты были заперты на все крючки и запоры, и мы сидели, прислушиваясь ко всякому шороху, а бедная моя родственница то и дело спрашивала:

— Что, не нашли? А где он теперь? А что, если он все еще в саду, хотя все ее уверяли, что сад обыскан и что арестант, наверно, успел уже далеко убежать.

Вечером к Ирине Трофимовне пришел будочник и сказал, что сейчас к ней «пожалует» «надзиратель», чтобы допросить меня о том, что я видела. Ирина Трофимовна так потерялась от этого известия, как будто это я выпилила решетку и убежала из острога, а не арестант. Приживалки, как особы опытные, тотчас же распорядились открыть ломберный стол для писанья, а на другом стали воздвигать батареи наливок и тарелки с разными закусками.

Около семи часов пришел «квартальный надзиратель», и не один, а с помощником, щеголеватым офицером. Старший, поздоровавшись с хозяйкой, сел за ломберный стол и устремил глаза на бумагу, как бы не зная, что ему дальше делать. Младший же все вертелся около Ирины Трофимовны и рассказывал слышанную нами десятки раз историю о побеге арестан-

* Женщины, живущие в монастыре, но не постриженные в монашество.

та, впрочем, раза два уводил старушку в другую комнату и о чем-то шептался с нею. Наконец квартальный надзиратель надумался и пригласил меня сесть к столу. Спросив мое имя-отчество-фамилию, где постоянно живу и в какой гимназии учусь, и все это тщательно записав, он спросил: что я знаю по этому делу? Мне пришлось рассказать, что я сидела в саду, арестанта видела мельком, а затем разговаривала о нем с будочником.

— Но вы были в саду?— настойчиво допрашивал мой мучитель.

— Была.

— И не видели, в какую сторону побежал арестант?

— Не видела, потому что была в недоумении и, пожалуй, немного испугана.

Помощник, очевидно, желавший выручить и меня, и трепетавшую Ирину Трофимовну, постоянно вмешивался в наш разговор, называя меня при этом, «ма-де-ма-зель».

— Они, может быть, задремали,— говорил он, обращаясь к надзирателю,— может быть, были в мечтах, это так позволительно в ихние годы! Где же тут заметить?

Надзиратель, не добившись от меня никаких сведений, решил приступить к более интересному занятию и, заставив меня подписать на какой-то бумаге мою фамилию, направился к другому ломберному столу. Помощник последовал примеру своего начальства, и звон стаканов, вилок и ножей долго раздавался в гостиной. Бедная Ирина Трофимовна на этот раз потеряла аппетит и ничего не кушала, а только время от времени умиленно произносила: «Петр Петрович, уж вы пожалуйста», «Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь...»— и все в этом роде.

Надзиратель с набитым закускою ртом что-то мычал ей в ответ. Наконец все было съедено и выпито, и начальство ушло, сопровождаемое до лестницы Ириной Трофимовной, которая, вернувшись, не могла удержаться и сказала:

— Ну, этот шельма-арестант обошелся мне в две красненьких!

С тех пор прогулки мои в своем саду прекратились, и в свободное время я для прогулки выходила в монастырский сад. Здесь я очень скоро познакомилась и даже подружилась с белицами, девочками моих лет, которых тоже ежедневно часа на два на три выпускали гулять. В монастыре не особенно любили, чтобы девочки-монашенки входили в сношения с мирскими, но это запрещение не касалось меня. Ирина Трофимовна была щедрая благотворительница и дружила с игуменьей, а потому для меня, как ее родственницы, было сделано исключение. Мне не только дозволяли разговаривать с ними при прогулках в саду, но не запрещали присутствовать при их спевках, уроках рисования и рукоделий. Девочки мне очень нравились, главным образом, своею душевною чистотой и наивностью. Все это были выросшие с малых лет в монастыре и видевшие мирских только издали. Меня удивляли их наивные вопросы о мирской жизни и умиляло то спокойствие духа, нетребовательность и полная удовлетворенность тем малым, что их окружало. Это особенно меня поражало, когда я сравнивала с ними некоторых девочек из нашей гимназии.

Ирина Трофимовна часто бывала в церкви, и я с истинным удовольствием присутствовала на богослужениях, особенно на всенощной службе, когда в темном храме так красиво и таинственно мерцали многочисленные цветные лампады. Это был мир, который влек к себе мою душу.

Мое религиозное настроение особенно усилилось с того времени, когда начались церковные торжества по поводу перенесения из Печор (верст шестьдесят от Пскова) чудотворной иконы божией матери. Эти перенесения чудотворной иконы повторяются ежегодно. Икону в сопровождении массы народа несут на носилках богомольцы, останавливаются по дороге в деревнях, служат там молебствия и через два-три дня доносят икону до Пскова, где она и остается в одном из монастырей две недели, после чего чудотворную икону таким же торжественным образом, относят в Печоры. Мне вместе с тетушкой пришлось и встречать за несколько верст икону, и провожать ее, и то умилительное благоговейное настроение и высокий подъем духа всех молящихся произвели на меня чрезвычайное

впечатление. Мало-помалу в душе моей стало складываться убеждение, что самая счастливая и радостная жизнь — это монастырская жизнь, и я пришла к мысли оставить мир и поступить в монастырь, где все: и церковные службы, и пение, и монахини казались такими привлекательными для моего мечтательного ума.

Мое воображение рисовало мне прелестные картины моей будущей монашеской жизни. Правда, мне иногда становилось грустно, жаль чего-то, жаль самое себя, и я раза два-три над собою поплакала. Наконец мое умиленное настроение достигло высшей степени, и я, после бессонно проведенной ночи, объявила о своем решении пойти в монастырь Ирине Трофимовне и просила ее поговорить о моем приеме с матерью-игуменьей. Тетушка от всей души одобрила мое решение, но, прежде разговора с игуменьей, захотела узнать, как посмотрят на это мои родители, и посоветовала им написать. Я написала очень красноречивое письмо и с нетерпением стала ждать ответа. Но чрез два дня пришла краткая телеграмма: «Папа захворал, выезжай немедленно». Ввиду телеграммы, удерживать меня не стали: Ирина Трофимовна в тот же день собрала меня, отвезла на вокзал и поручила своей знакомой, ехавшей в столицу. Я всю дорогу проплакала, опасаясь, что не застану папы в живых. Но каковы же были мое изумление и моя радость, когда в окно вагона я увидела ожидавших меня на перроне и папу и маму. Оказалось, что папа и не думал хворать. Родители мои просто испугались того, что я увлекусь моим религиозным настроением и останусь в монастыре, а впоследствии, войдя в лета, буду жалеть и раскаиваться в своем необдуманном поступке. Отсоветовать и запрещать мне было опасно: это могло только укрепить во мне намерение. Поэтому поступили решительно и вызвали меня под предлогом папиной болезни, так как иначе Ирина Трофимовна не отпустила бы меня до осени.

Когда я спросила мнения родителей, то они сказали, что я слишком молода и себя не знаю; что мне сначала надо кончить гимназию и пожить в мире и что если тогда я буду чувствовать потребность уйти в монастырь, то они мне в этом препятствовать не станут.

Вернувшись осенью в гимназию и окунувшись с головою в действительную жизнь, я мало-помалу охладела к привлекавшей меня идее и таким образом на всю жизнь осталась в миру. Об этом я ни мало не сожалею, так как мир дал мне бесконечно много радости и счастья.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗНАКОМСТВО С ДОСТОЕВСКИМ. ЗАМУЖЕСТВО

I

Третьего октября 1866 года, около семи часов вечера, я, по обыкновению, пришла в 6-ю мужскую гимназию, где преподаватель стенографии П. М. Ольхин читал свою лекцию. Она еще не началась: поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место, и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Ольхин и, сев рядом на скамейку, сказал:

— Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя.

— Очень хочу,— ответила я,— давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие.

Ольхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какою я владею.

— У кого же предполагается стенографическая работа?— заинтересовалась я.

— У писателя Достоевского. Он теперь за́нят новым романом [1] и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата, и предлагает за весь труд пятьдесят рублей.

Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала.

Ольхин передал мне небольшую, вчетверо сложенную бумажку, на которой было написано: «Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, кв. № 13, спросить Достоевского»— и сказал:

— Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в половине двенадцатого, «не раньше, не позже», как он мне сам сегодня назначил.— Тут же Ольхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе.

Ольхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала: я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась: я получила работу! Если уж Ольхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу,— значит, это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу, могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой, а идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самою дорогою идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем.

Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагала, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказан-

ное мною слово. Смущала меня также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои двадцать лет.

II

Четвертого октября, в знаменательный день первой встречи с будущим моим мужем, я проснулась бодрая, в радостном волнении от мысли, что сегодня осуществится давно лелеянная мною мечта: из школьницы или курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном мною поприще.

Я вышла пораньше из дому, чтобы зайти предварительно в Гостиный двор и запастись там добавочным количеством карандашей, а также купить себе маленький портфель, который, по моему мнению, мог придать бо́льшую деловитость моей юношеской фигуре. Закончила я свои покупки к одиннадцати часам и, чтобы не прийти к Достоевскому «не раньше, не позже» * назначенного времени, замедленными шагами пошла по Большой Мещанской и Столярному переулку, беспрестанно посматривая на свои часики. В двадцать пять минут двенадцатого я подошла к дому Алонкина и у стоявшего в воротах дворника спросила, где квартира № 13. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лестницу. Дом был бо́льшой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников.

Квартира № 13 находилась во втором этаже. Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служан-

---

* Это было обычным выражением Федора Михайловича, который, не желая терять времени и в ожидании кого-либо, любил назначать точный час свидания и всегда прибавлял при этом: «Не раньше, не позже».

ка в накинутом на плечи зеленом в клетку платке. Я так недавно читала «Преступление», что невольно подумала, не является ли этот платок прототипом того драдедамового платка, который играл такую большую роль в семье Мармеладовых. На вопрос служанки, кого мне угодно видеть, я ответила, что пришла от Ольхина и что ее барин предупрежден о моем посещении.

Не успела я снять свой башлык, как дверь в прихожую распахнулась, и на фоне ярко освещенной комнаты показался молодой человек, сильный брюнет, с взлохмаченными волосами, с раскрытой грудью и в туфлях. Увидав незнакомое лицо, он вскрикнул и мигом исчез в боковую дверь[2].

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрышкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы. Я с удовольствием заметила, что на них в ту минуту было ровно половина двенадцатого.

Служанка просила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. Действительно, минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю.

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой, довольно подержанной материей; пред ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского»,— подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к

правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

Я сидела и прислушивалась. Мне все казалось, что вот сейчас я услышу крик детей или шум детского барабана; или отворится дверь и войдет в кабинет та сухощавая дама, портрет которой я только что рассматривала.

Нот вот вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня:

— Давно ли вы занимаетесь стенографией?

— Всего полгода.

— А много ли учеников у вашего преподавателя?

— Сначала записалось более ста пятидесяти желающих, а теперь осталось около двадцати пяти.

— Почему же так мало?

— Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия.

— Это у нас в каждом новом деле так,— сказал Федор Михайлович,— с жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один — карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно *. Эта двойственность глаз придавала взгляду До-

* Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился.

стоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Через пять минут вошла служанка и принесла два стакана очень крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали две булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить. Я отказалась.

— Может быть, вы из вежливости отказываетесь?— сказал он.

Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, когда курят дамы.

Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему. Он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия и на днях был припадок, и эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно:

— Мы посмотрим, как это сделать, мы попробуем, мы увидим, возможно ли это?

Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и, может быть, готов отказаться. Чтобы ему помочь в решении, я сказала:

— Хорошо, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится.

Достоевский захотел продиктовать мне из «Русского вестника» и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начал он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать не скорее обыкновенной разговорной речи.

Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала, но До-

стоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю.

— Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь,— успокаивала я его,— не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа?

Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был видимо раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал, то принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Я сидела не шевелясь, боясь нарушить его раздумье.

Наконец Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему сегодня же часов в восемь. Тогда он и начнет диктовать роман. Для меня было очень неудобно приходить во второй раз, но, не желая откладывать работы, я на это согласилась.

Прощаясь со мною, Достоевский сказал:

— Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?

— Почему же?

— Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?

Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку.

— Уж я-то наверно не запью, в этом вы можете быть уверены,— серьезно ответила я.

III

Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление. Я думала, что навряд ли сойдусь с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом... Мне это было тем больнее, что вчера моя добрая мама так радовалась началу моей новой деятельности.

Было около двух часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко: я жила под Смольным, на Костромской улице, в доме моей матери, Анны Николаевны Сниткиной. Я решила пойти

к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому.

Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах, и к восьми часам я уже подходила к дому Алонкина. Отворившую мне дверь служанку я спросила, как зовут ее барина. Из подписи под его произведениями я знала, что его имя Федор, но не знала его отчества, Федосья (так звали служанку) опять попросила меня подождать в столовой и пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я поздоровалась с Федором Михайловичем и села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать. Признаюсь, что я почувствовала себя чрезвычайно польщенной его предложением заниматься за тем столом, где еще недавно было написано такое талантливое произведение, как роман «Преступление и наказание».

Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не прихожусь ли я родственницей недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответила, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и пр.

На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила, в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим уменьем себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад

встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек.

Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам два стакана, две булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил курить и стал угощать меня грушами.

За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского, и на душе стало легко и приятно.

Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями.

— Помню,— говорил он,— как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду [3]. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго... Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни! Затем допустили брата проститься со мною перед разлукой и накануне рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора, мне недавно вернул письмо племянник [4].

Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суро-

вый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомившись с его семейною обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами [5]. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление.

Разговор наш переходил с одной темы на другую, а работать мы все еще не начинали. Меня это беспокоило: становилось поздно, а мне далеко было возвращаться. Матери моей я обещала вернуться домой прямо от Достоевского и теперь боялась, что она станет обо мне беспокоиться. Мне казалось неудобным напомнить Федору Михайловичу о цели моего прихода к нему, и я очень обрадовалась, когда он сам о ней вспомнил и предложил мне начать диктовать. Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами, наискось от двери к печке, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола.

Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил:

— Как «воротилась из Рулетенбурга»? * Разве я говорил про Рулетенбург?

— Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово.

— Не может быть!

— Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием?

— Да. Действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом.

---

* Впоследствии начало было переделано и сказано: («Наконец, я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня, как были в Рулетенбурге») [6].

— А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять?

— Вы правы,— сознался Федор Михайлович,— я что-то напутал.

Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, оттого и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к двенадцати часам. Я обещала исполнить его просьбу.

Пробило одиннадцать, и я собралась уходить. Узнав, что я живу на Песках, Федор Михайлович сказал, что ему ни разу еще не приходилось бывать в этой части города и он не имеет понятия, где находятся Пески. Если это далеко, то он может послать свою прислугу проводить меня. Я, разумеется, отказалась. Федор Михайлович проводил меня до двери и велел Федосье посветить мне на лестнице.

Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце...

Я была очень утомлена и поскорее легла в постель, прося разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать все продиктованное и доставить его Федору Михайловичу в назначенный час.

IV

На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я ни спешила, но опоздала на целых полчаса.

Федора Михайловича я нашла в большом волнении.

— Я уже начинал думать,— сказал он, здороваясь,— что работа у меня показалась вам тяжелою и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано.

— Мне очень совестно, что я так запоздала,— извинялась я,— но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал.

— Я оттого так беспокоюсь,— объяснял Федор Михайлович,— что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Стелловского.

Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали.

По смерти своего старшего брата Михаила, Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время»[7], издававшемуся его братом. Долги были вексельные, и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В те времена это было возможно сделать.

Неотложных долгов было тысяч до трех. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Ф. Т. Стелловский с предложением купить за три тысячи права на издание полного собрания сочинений в трех томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман.

Положение Федора Михайловича было критическое, и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы.

Условие было заключено <летом> 186<5> года, и Стелловский внес у нотариуса условную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредиторам; таким образом, Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вернулись к Стелловскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векее-

ля Федора Михайловича и чрез двух подставных лиц взыскивал с него деньги. Стелловский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов (Писемского, Крестовского, Глинки) [8]. Он умел подстерегать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети. Цена три тысячи за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха, который имели романы Достоевского. Самое же тяжелое условие заключалось в обязательстве доставить новый роман к 1 ноября 1866 года. В случае недоставления к сроку Федор Михайлович платил бы большую неустойку; если же не доставил бы роман и к 1 декабря того же года, то терял бы права на свои сочинения, которые перешли бы навсегда в собственность Стелловского. Разумеется, хищник на это и рассчитывал.

Федор Михайлович в 1866 году поглощен был работою над романом «Преступление и наказание» и хотел закончить его художественно. Где же было ему, больному человеку, написать еще столько листов нового произведения?

Вернувшись осенью из Москвы, Федор Михайлович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь полтора-два месяца выполнить условия заключенного со Стелловским контракта. Друзья Федора Михайловича — А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев [9] и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением *. Тогда друзья стали советовать Федору Михайловичу обратиться к помощи стенографа. А. П. Милюков припомнил, что ему знаком преподаватель стенографии П. М. Ольхин, съездил к нему и попросил побывать у Федора Михайловича, который, хоть и сильно сомневался в успехе для него подобной

---

* Об этом А. П. Милюков упоминает в своих воспоминаниях («Исторический вестник», 1881).[10]

работы, тем не менее ввиду близости срока решился прибегнуть к помощи стенографа.

Как ни мало я знала в то время людей, но образ действий Стелловского меня чрезвычайно возмутил.

Подали чай, и Федор Михайлович принялся мне диктовать. Ему, видимо, трудно было втянуться в работу: он часто останавливался, обдумывал, просил прочесть продиктованное и через час объявил, что утомился и хочет отдохнуть.

Начался разговор, как и вчера. Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому. Опять спросил, как меня зовут, и через минуту забыл. Раза два предложил мне папиросу, хотя уже слышал, что я не курю...

Я стала расспрашивать его о наших писателях, и он оживился. Отвечая на мои вопросы, он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно, даже весело. Кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора.

Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливого поэта, но и как умнейшего и прекраснейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей [11].

После небольшого отдыха мы вновь принялись за работу. Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться: работа, видимо, ему не удавалась. Объясняю это непривычкою диктовать свое произведение малознакомому лицу.

Около четырех часов я собралась уходить, обещая завтра к двенадцати часам принести продиктованное. На прощанье Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками, на которой он обычно писал, и указал, какие именно следует оставлять на ней поля.

V

Так началась и продолжалась наша работа. Я приходила к Федору Михайловичу к двенадцати часам и оставалась до четырех. В течение этого времени мы

раза три диктовали по получасу и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Все прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федора Михайловича. Он часто меня спрашивал: «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас в общем сделано? Как думаете, кончим к сроку?»

Дружески со мной разговаривая, Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни. Глубокая жалость невольно закрадывалась в мое сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах, из которых он, по-видимому, никогда не выходил, да и выйти не мог.

Сначала мне казалось странным, что я не видела никого из его домашних. Я не знала, из кого состоит его семья и где она теперь находится. Только одного члена его семьи я встретила, кажется, в четвертый мой приход. Кончив работу, я выходила из ворот дома, как меня остановил какой-то молодой человек, в котором я узнала юношу, виденного мною в передней в первое мое посещение Федора Михайловича. Вблизи он показался мне еще некрасивее, чем издали. У него было смуглое, почти желтое лицо, черные глаза с желтыми белками и пожелтевшие от табака зубы.

— Вы меня не узнали?— развязно спросил меня молодой человек.— Я видел вас у папа́. Мне не хочется входить во время ваших занятий, но мне любопытно бы знать, что это за штука стенография, тем более что я сам начну изучать ее на днях. Позвольте.— И он бесцеремонно взял из моих рук портфель, раскрыл его и тут же на улице стал рассматривать стенограмму. Я так растерялась от подобной бесцеремонности, что не протестовала.

— Курьезная штука,— небрежно протянул он, возвращая портфель. «Неужели у такого милого и добро-

го человека, как Федор Михайлович, может быть такой невоспитанный сын»,— подумала я.

Федор Михайлович с каждым днем относился ко мне все сердечнее и добрее. Он часто называл меня «голубчиком» (его любимое ласкательное название), «доброй Анной Григорьевной», «милочкой», и я относила эти слова к его снисходительности ко мне, как к молодой девушке, почти что девочке. Мне так приятно было облегчать его труд и видеть, как мои уверения, что работа идет успешно и что роман поспеет вовремя, радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух. Я очень гордилась про себя, что не только помогаю в работе любимому писателю, но и действую благотворно на его настроение. Все это возвышало меня в собственных глазах.

Я перестала бояться «известного писателя» и говорила с ним свободно и откровенно, как с дядей или старым другом. Я расспрашивала Федора Михайловича о разных событиях его жизни, и он охотно удовлетворял мое любопытство. Рассказывал подробно о своем восьмимесячном заключении в Петропавловской крепости, о том, как переговаривался через стену стуками с другими заключенными [12]. Говорил о своей жизни в каторге, о преступниках, одновременно с ним отбывавших свое наказание. Вспоминал о загранице, о своих путешествиях и встречах; о московских родных, которых очень любил [13]. Сообщил мне как-то, что был женат, что жена его умерла три года тому назад, и показал ее портрет [14]. Он мне не понравился: покойная Достоевская, по его словам, снималась тяжко больной, за год до смерти, и имела страшный, почти мертвый вид. Тогда же я с удовольствием узнала, что бесцеремонный молодой человек, который мне так не понравился, не сын Федора Михайловича, а его пасынок, сын его жены от первого брака с Александром Ивановичем Исаевым. Часто жаловался Федор Михайлович и на свои долги, безденежье и тяжелое материальное положение. В дальнейшем мне пришлось даже быть свидетельницей его денежных затруднений *.

---

* Как-то раз, придя заниматься, я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз, подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями. Я спросила: «Неужели разбили

Все рассказы Федора Михайловича носили такой грустный характер, что как-то раз я не выдержала и спросила:

— Зачем, Федор Михайлович, вы вспоминаете только об одних несчастиях? Расскажите лучше, как вы были счастливы.

— Счастлив? Да счастья у меня еще не было, по крайней мере, такого счастья, о котором я постоянно мечтал. Я его жду. На днях я писал моему другу, барону Врангелю, что, несмотря на все постигшие меня горести, я все еще мечтаю начать новую, счастливую жизнь *.

Тяжело мне было <это> услышать! Странно казалось, что в его уже почти старые годы этот талантливый и добрый человек не нашел еще желаемого им счастья, а лишь мечтал о нем.

Как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне, как сватался к Анне Васильевне Корвин-Круковской, как рад был, получив согласие этой умной, доброй и талантливой девушки, и как грустно было ему вернуть ей слово, сознав, что при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно [16].

Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться; или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую его

вазу?» — «Нет, не разбили,— ответил Федор Михайлович,— а отнесли в заклад. Экстренно понадобились двадцать пять рублей, и пришлось вазу заложить». Дня через три та же участь постигла и другую вазу.

В другой раз, кончив стенографировать и проходя через столовую, я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала, смеясь, провожавшему меня Федору Михайловичу: «А я знаю, что вы сегодня будете есть гречневую кашу».— «Из чего вы это заключаете?» — «Да глядя на ложку. Ведь, говорят, гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой».— «Ну и ошиблись: понадобились деньги, я и послал заложить серебряные. Но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше, чем за полную, пришлось отдать и мою».

К своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно.

* Письмо к бар. А. Е. Врангелю, помещенное в «Биографии» на с. 288.[15]

всегда игру; или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье. Решение этих вопросов, которые должны были коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь, очень заботило Федора Михайловича, и он, видя меня дружески к нему расположенной, спросил меня, что бы я ему посоветовала?

Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на Восток *, и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими; зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье.

— Так вы думаете,— спросил Федор Михайлович,— что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать: умную или добрую?

— Конечно, умную.

— Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила.

По поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня: почему я не выхожу замуж? Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую, а мне хотелось бы выйти замуж по любви.

— Непременно по любви,— горячо поддержал меня Федор Михайлович,— для счастливого брака одного уважения недостаточно!

VI

Как-то раз в половине октября, во время нашей работы в дверях кабинета неожиданно появился А. Н. Майков. Я видела его портреты, а потому сразу узнала.

— Ну и патриархально же вы живете,— шутливо заметил он Федору Михайловичу,— дверь на лестницу открыта, прислуги не видно, хоть весь дом унеси!

---

* Что у Федора Михайловича было *серьезное* намерение поехать на Восток, о том свидетельствует найденное в его бумагах рекомендательное письмо к А. С. Энгельгардту (представителю императорской российской миссии в Константинополе), данное ему Е. П. Ковалевским, тогдашним председателем Литературного фонда. Письмо помечено 3 июня 186 (3).

Федор Михайлович, видимо, обрадовался Майкову. Он поспешил нас познакомить, назвав меня «своей ревностной сотрудницей», что мне было очень приятно. Аполлон Николаевич, услышав мою фамилию, осведомился, не приходится ли мне родственником недавно умерший писатель Сниткин (обычный тогда вопрос при встречах моих с писателями), а затем заторопился уходить, говоря, что боится помешать нашей работе. Я предложила сделать перерыв, и Федор Михайлович увел Майкова в соседнюю комнату. Они разговаривали минут двадцать, а я тем временем переписывала продиктованное.

Майков вернулся в кабинет проститься со мной и попросил Федора Михайловича что-нибудь мне продиктовать. В то время стенография была новинкой и всех интересовала. Федор Михайлович исполнил его желание и продиктовал полстраницы романа. Я тотчас прочла вслух записанное. Майков внимательно рассматривал стенограмму, повторяя:

— Ну, уж тут я ничего не понимаю!

Аполлон Николаевич мне очень понравился. Я и прежде любила его как поэта, а похвалы Федора Михайловича, называвшего его добрым, прекрасным человеком, еще более укрепили приятное впечатление.

Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне изустно, тут же сочиняя, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Зато с каким торжеством объявляла я назавтра количество прибавившихся листков! Как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения, что работа идет успешно и что, нет сомнения, будет окончена к сроку.

Оба мы вошли в жизнь героев нового романа, и у меня, как и у Федора Михайловича, появились любимцы и недруги. Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение — Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне «игрока» и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал

сам на себе[17]. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке.

Подчас я удивлялась своей смелости высказывать свои взгляды по поводу романа, а еще более той снисходительности, с которой талантливый писатель выслушивал эти почти детские замечания и рассуждения. За эти три недели совместной работы все мои прежние интересы отошли на второй план. Лекций стенографии я, с согласия Ольхина, не посещала, знакомых редко видела и вся сосредоточилась на работе и на тех в высшей степени интересных беседах, которые мы вели, отдыхая от диктовки. Невольно сравнивала я Федора Михайловича с теми молодыми людьми, которых мне приходилось встречать в своем кружке. Как пусты и ничтожны казались мне их разговоры в сравнении со всегда новыми и оригинальными взглядами моего любимого писателя.

Уходя от него под впечатлением новых для меня идей, я скучала дома и жила ожиданием завтрашней встречи с Федором Михайловичем. С грустью видела я, что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль.

— Знаете, Анна Григорьевна *, о чем я думаю? Вот мы с вами так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать; неужели же теперь с написанием романа все это кончится? Право, это жаль! Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?

— Но, Федор Михайлович,— смущенно отвечала я,— гора с горой не сходится, а человеку с человеком нетрудно встретиться.

— Но где же, однако?

— Да где-нибудь в обществе, в театре, в концерте...

— Вы же знаете, что я в обществе и театрах бываю редко. Да и что это за встречи, когда слова не удастся иногда сказать. Отчего вы не пригласите меня к себе, в вашу семью?

---

* Только к концу месяца Федор Михайлович запомнил мое имя, а то все забывал и меня о нем переспрашивал.

— Приезжайте, пожалуйста, мы очень будем вам рады. Боюсь только, что мы с мамой покажемся вам неинтересными собеседницами.

— Когда же я могу приехать?

— Мы об этом условимся, когда окончим работу,— сказала я,— теперь для нас главное — это окончание вашего романа.

Подходило 1 ноября, срок доставки романа Стелловскому, и у Федора Михайловича возникло опасение, как бы тот не вздумал схитрить и, с целью взять неустойку, отказаться под каким-нибудь предлогом от получения рукописи. Я успокоивала Федора Михайловича, как могла, и обещала разузнать, что следует ему сделать, если бы его подозрения оправдались. В тот же вечер я упросила мою мать съездить к знакомому адвокату. Тот дал совет сдать рукопись или нотариусу, или приставу той части, где проживает Стелловский, но, разумеется, под расписку официального лица. То же самое посоветовал ему и мировой судья Фрейман (брат его школьного товарища), к которому Федор Михайлович обратился за советом.

VII

Двадцать девятого октября происходила наша последняя диктовка. Роман «Игрок» был закончен. С 4 по 29 октября, то есть в течение двадцати шести дней, Федор Михайлович написал роман в размере семи листов в два столбца, большого формата, что равняется десяти листам обыкновенного. Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Стелловскому, намерен дать в ресторане обед своим друзьям (Майкову, Милюкову и др.) и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве.

— Да были ли вы когда-нибудь в ресторане? — спросил он меня.

— Нет, никогда.

— Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы! Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя. Итак, приедете?

Я отвечала, что спрошу мнения моей матери; а про себя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью.

На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. По обыкновению, мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Стелловскому. Тут же он передал мне пятьдесят рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество.

Я знала, что 30 октября — день рождения Федора Михайловича, а потому решила заменить мое обычное черное суконное платье лиловым шелковым. Федор Михайлович, видевший меня всегда в трауре, был польщен моим вниманием, нашел, что лиловый цвет мне очень идет и что в длинном платье я кажусь выше и стройнее. Мне было очень приятно слышать его похвалы, но удовольствие мое было нарушено приходом вдовы брата Федора Михайловича, Эмилии Федоровны, приехавшей поздравить его с днем рождения. Федор Михайлович нас познакомил и объяснил своей невестке, что, благодаря моей помощи, он успел кончить роман к сроку и тем избежать грозившей ему беды. Несмотря на эти слова, Эмилия Федоровна отнеслась ко мне сухо и высокомерно, чем меня очень удивила и обидела. Федору Михайловичу не понравился нелюбезный тон его невестки, и он стал ко мне еще добрее и радушнее. Предложив мне просмотреть какую-то только что вышедшую книгу, он отвел Эмилию Федоровну в сторону и стал показывать ей какие-то бумаги.

Вошел Аполлон Николаевич Майков. Он раскланялся со мной, но меня, очевидно, не узнал. Обратившись к Федору Михайловичу, он спросил, как подвигается его роман. Федор Михайлович, занятый разговором с невесткой, вероятно, не расслышал вопроса и ничего ему не отвечал. Тогда я решилась ответить за

Федора Михайловича и сказала, что роман окончен еще вчера и что я только что принесла переписанную последнюю главу. Майков быстро подошел ко мне, протянул руку и извинился, что сразу не узнал. Объяснил это своею близорукостью, а также тем, что в черном платье я показалась ему ниже ростом.

Он стал расспрашивать о романе и спросил мое мнение. Я с восторгом отозвалась о новом, ставшем столь дорогим мне, произведении; сказала, что в нем есть несколько необыкновенно живых и удавшихся типов (бабушка, мистер Астлей и влюбленный генерал). Мы проговорили минут двадцать, и мне так легко было разговаривать с этим милым, добрым человеком. Эмилия Федоровна была удивлена и даже несколько шокирована вниманием ко мне Майкова, но сухости тона не изменила, считая, вероятно, ниже своего достоинства отнестись с добрым вниманием к... стенографистке.

Майков скоро ушел. Я последовала его примеру, не желая переносить высокомерное отношение ко мне Эмилии Федоровны. Федор Михайлович очень уговаривал меня остаться и всячески желал смягчить неделикатность своей невестки. Он проводил меня до передней и напомнил мне обещание пригласить его к нам. Я подтвердила приглашение.

— Когда же я могу приехать? Завтра?

— Нет, завтра меня не будет дома: я звана к гимназической подруге.

— Послезавтра?

— Послезавтра у меня лекция стенографии.

— Так, значит, второго ноября?

— В среду, второго, я иду в театр.

— Боже мой! У вас все дни разобраны! Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это нарочно говорите. Вам просто не хочется, чтобы я приезжал. Скажите правду!

— Да нет же, уверяю вас! Мы будем рады вас у себя видеть. Приезжайте третьего ноября, в четверг, вечером, часов в семь.

— Только в четверг? Как это долго! Мне будет без вас так скучно!

Я, конечно, приняла эти слова за милую шутку.

VIII

Итак, блаженное для меня время миновало, и наступили скучные дни. За этот месяц я так привыкла весело торопиться к началу занятий, так радостно встречаться с Федором Михайловичем и так оживленно с ним разговаривать, что это сделалось для меня потребностью. Все прежние обычные занятия потеряли для меня интерес и показались пустыми и ненужными. Даже обещанное посещение Федора Михайловича не только не радовало, но, напротив, тяготило меня. Я понимала, что ни моя добрая мама, ни я не можем быть занимательными собеседницами такого умного и талантливого человека. Если до сих пор у нас с Федором Михайловичем велись оживленные беседы, то (думала я) лишь потому, что они вращались около дела, нас обоих интересовавшего. Теперь же Федор Михайлович явится к нам в качестве гостя, которого необходимо «занимать». Я стала придумывать темы для наших будущих разговоров и мучилась мыслью, что впечатление утомительной поездки в нашу окраину и скучно проведенного вечера изгладят у Федора Михайловича, как у чрезвычайно впечатлительного человека, воспоминания о прежних наших встречах, и он пожалеет, зачем назвался на такое скучное знакомство. Мечтая увидеться с Федором Михайловичем, я, однако, готова была желать, чтобы он забыл о своем обещании посетить нас.

Как человек жизнерадостный, я старалась занять себя и рассеять свое печальное, вернее, тревожное настроение: побывала у подруги, а на следующий вечер пошла на лекцию стенографии. Ольхин встретил меня поздравлением с успешным окончанием работы. Федор Михайлович писал ему об этом и благодарил за рекомендацию стенографа, с помощью которого он мог довести свой роман до благополучного конца. Федор Михайлович прибавлял, что новый способ работы оказался для него удобным, и он рассчитывает и впредь им пользоваться.

В четверг, 3 ноября, я с утра начала приготовления к приему Федора Михайловича: сходила купить груш того сорта, которые он любил, и разных гостинцев, какими он иногда меня угощал. Целый день я чувство-

вала себя беспокойной, а к семи часам волнение мое достигло крайней степени. Но пробило половина восьмого, восемь, а он все не приезжал, и я уже решила, что он отдумал приехать или забыл свое обещание. В половине девятого раздался наконец столь жданный звонок. Я поспешила навстречу Федору Михайловичу и спросила его:

— Как это вы меня разыскали, Федор Михайлович?

— Вот хорошо,— отвечал он приветливо,— вы говорите это таким тоном, будто вы недовольны, что я вас нашел. А я ведь ищу вас с семи часов, объехал окрестности и всех расспрашивал. Все знают, что тут имеется Костромская улица, а как в нее попасть — указать не могут *. Спасибо, нашелся добрый человек, сел на облучок и показал кучеру, куда ехать.

Вошла моя мать, и я поспешила представить ей Федора Михайловича. Он галантно поцеловал у ней руку и сказал, что очень обязан мне за помощь в работе. Мама принялась разливать чай, а Федор Михайлович тем временем рассказывал мне, сколько тревог принесла ему доставка рукописи Стелловскому. Как мы предвидели, Стелловский схитрил: он уехал в провинцию, и слуга объявил, что неизвестно, когда он вернется. Федор Михайлович поехал тогда в контору изданий Стелловского и пытался вручить рукопись заведующему конторой, но тот наотрез отказался принять, говоря, что не уполномочен на это хозяином. К нотариусу Федор Михайлович опоздал, а в управлении квартала днем никого из начальствующих не оказалось, и его просили заехать вечером. Весь день провел он в тревоге, и лишь в десять часов вечера удалось ему сдать рукопись в конторе квартала <N-ской> части и получить от надзирателя расписку.

Мы принялись пить чай и беседовать так же весело и непринужденно, как всегда. Придуманные мною темы разговоров пришлось отложить в сторону,— так много явилось новых и занимательных. Федор Михайлович совершенно очаровал мою мать, вначале несколько смущенную посещением «знаменитого» писа-

---

* Костромская улица находится за Николаевским госпиталем, через ворота которого ближайший к ней путь. Вечером ворота эти запирались, и попасть в эту улицу можно было или с Слоновой улицы (ныне Суворовского проспекта), или с Малой Болотной.

теля. Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, подпадали под его очарование.

Федор Михайлович сказал мне, между прочим, что хочет неделю отдохнуть, а затем приняться за последнюю часть «Преступления и наказания».

— Я хочу просить вашей помощи, добрая Анна Григорьевна. Мне так легко было работать с вами. Я и впредь хотел бы диктовать и надеюсь, что вы не откажетесь быть моею сотрудницей.

— Охотно стала бы вам помогать,— отвечала я,— да не знаю, как посмотрит на это Ольхин. Быть может, он эту новую работу у вас предназначил для другого своего ученика или ученицы.

— Но я привык к вашей манере работать и ею чрезвычайно доволен. Странно было бы, если бы Ольхин вздумал мне рекомендовать другого стенографа, с которым я, возможно, и не сойдусь. Впрочем, вы сами, может быть, не хотите у меня больше заниматься? В таком случае я, конечно, не настаиваю...

Он был видимо огорчен. Я старалась его успокоить; сказала, что, вероятно, Ольхин ничего не будет иметь против этой новой работы, но что мне все же следует его об этом спросить.

Около одиннадцати часов Федор Михайлович собрался уходить и, прощаясь, взял с меня слово на первой же лекции переговорить с Ольхиным и ему написать. Мы расстались самым дружелюбным образом, и я вернулась в столовую в восторге от нашей столь оживленной беседы. Но не прошло и десяти минут, как вошла горничная и рассказала, что у извозчика-лихача, привезшего Федора Михайловича, кто-то в темноте украл подушку с санок. Извозчик был в отчаянии, и лишь обещание Федора Михайловича вознаградить его за потерю могло его утешить.

Я так была еще юна, что этот эпизод меня чрезвычайно смутил: мне представилось, что подобный случай повлияет на отношения Федора Михайловича к нам и что он не захочет бывать в такой глуши, где его могут ограбить, как ограбили его извозчика. Мне до слез было жалко, что впечатление так чудесно проведенного вечера рушилось от обидной случайности.

IX

На другой день после посещения Федора Михайловича я отправилась на целый день к моей сестре, Марии Григорьевне Сватковской, и рассказывала ей и ее мужу, Павлу Григорьевичу, о моей работе у Достоевского. Занимаясь днем у Федора Михайловича, а вечером переписывая продиктованное, я видалась с сестрой Машей лишь урывками, и рассказов накопилось много. Сестра слушала внимательно, постоянно перебивая и обо всем подробно расспрашивая, и, видя мое чрезвычайное одушевление, сказала мне на прощанье:

— Напрасно, Неточка, ты так увлекаешься Достоевским. Ведь твои мечты осуществиться не могут, да и слава богу, что не могут, если он такой больной и обремененный семьею и долгами человек!

Я горячо возразила, что Достоевским совсем не «увлекаюсь», ни о чем не «мечтаю», а просто рада была беседовать с умным и талантливым человеком и благодарна ему за его всегдашнюю доброту и внимание ко мне.

Однако слова сестры меня смутили, и, вернувшись домой, я спрашивала себя: неужели сестра Маша права и я действительно «увлечена» Федором Михайловичем? Неужели это начало любви, которой я до сих пор не испытала? Какая это была бы безумная мечта с моей стороны! Разве это возможно? Но если это начало любви, то что же мне делать? Не отказаться ли мне под благовидным предлогом от предлагаемой им мне работы, не видеть его более, не думать о нем, постараться мало-помалу забыть и, углубившись в какое-либо занятие, возвратить себе прежнее душевное спокойствие, которым я всегда так дорожила. Но ведь возможно, что Маша и ошибается и никакая опасность не угрожает моему сердцу. Зачем же в таком случае я лишу себя и стенографической работы, о которой я так мечтала, и тех добродушных и интересных бесед, которыми эта работа сопровождалась.

Кроме того, страшно жаль было оставить Федора Михайловича без стенографической помощи, раз уж он к ней приспособился, тем более, что среди учеников и учениц Ольхина (кроме двух, уже имевших постоянную работу), я не знала, кто бы меня мог вполне заме-

нить и по скорости письма, и по аккуратности в доставке продиктованного.

Все эти мысли мелькали в моей голове, и я чувствовала себя очень тревожно.

Наступило воскресенье, 6 ноября. В этот день я собралась поехать поздравить мою крестную мать с днем ее ангела. Я не была с нею близка и посещала ее лишь в торжественные дни. Сегодня у ней предполагалось много гостей, и я рассчитывала рассеять не покидавшее меня эти дни гнетущее настроение. Она жила далеко, у Аларчина моста, и я собралась к ней засветло. Пока послали за извозчиком, я села поиграть на фортепьяно и, за звуками музыки, не расслышала звонка. Чьи-то мужские шаги привлекли мое внимание, я оглянулась и, к большому моему удивлению и радости, увидела входившего Федора Михайловича. Он имел робкий и как бы сконфуженный вид. Я пошла к нему навстречу.

— Знаете, Анна Григорьевна, что я сделал? — сказал Федор Михайлович, крепко пожимая мне руку.— Все эти дни я очень скучал, а сегодня с утра раздумывал, поехать мне к вам или нет? Будет ли это удобно? Не покажется ли вам и вашей матушке странным столь скорый визит: был в четверг и являюсь в воскресенье! Решил ни за что не ехать к вам и, как видите, приехал!

— Что вы, Федор Михайлович! Мама и я, мы всегда будем рады вас видеть у себя!

Несмотря на мои уверения, разговор наш не вязался. Я не могла победить моего тревожного настроения и только отвечала на вопросы Федора Михайловича, сама же почти ни о чем не спрашивала. Была и внешняя причина, которая меня смущала. Нашу большую залу, в которой мы теперь сидели, не успели протопить, и в ней было очень холодно. Федор Михайлович это заметил.

— Как у вас, однако, холодно; и какая вы сами сегодня холодная! — сказал он, и, заметив, что я в светло-сером шелковом платье, спросил, куда я собираюсь?

Узнав, что я должна ехать сейчас к моей крестной матери, Федор Михайлович объявил, что не хочет меня задерживать, и предложил подвезти меня на своем лихаче, так как нам было с ним по дороге. Я согласи-

лась, и мы поехали. При каком-то крутом повороте Федор Михайлович захотел придержать меня за талию. Но у меня, как у девушек шестидесятых годов, было предубеждение против всех знаков внимания, вроде целования руки, придерживания дам за талию и т. п., и я сказала:

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— я не упаду!

Федор Михайлович, кажется, обиделся и сказал:

— Как бы я желал, чтоб вы выпали сейчас из саней!

Я расхохоталась, и мир был заключен: всю остальную дорогу мы весело болтали, и мое грустное настроение как рукой сняло. Прощаясь, Федор Михайлович крепко пожал мне руку и взял с меня слово, что я приду к нему через день, чтобы условиться относительно работы над «Преступлением и наказанием».

X

Восьмого ноября 1866 года — один из знаменательных дней моей жизни: в этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, и все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад.

Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал: заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю.

— Наконец-то вы пришли! — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там, на этот раз, было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило.

— Как я рад, что вы пришли,— начал Федор Михайлович,— я так боялся, что вы забудете свое обещание.

— Но почему же вы это думали? Если я даю слово, то всегда его исполняю.

— Простите, я знаю, что вы всегда верны данному слову. Я так рад, что опять вас вижу!

— И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении. Не случилось ли с вами чего-либо приятного?

— Да, случилось! Сегодня ночью я видел чудесный сон!

— Только-то! — И я рассмеялась.

— Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещими. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда.

— Расскажите же ваш сон!

— Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова [18], и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтриговало: я стал медленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный брильянтик, но очень яркий и сверкающий.

— Что же вы с ним сделали?

— В том-то и горе, что не помню! Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним сталось. Но то был хороший сон!

— Сны, кажется, принято объяснять наоборот,— заметила я и тотчас же раскаялась в своих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело.

— Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда? — печально воскликнул он.

— Я не умею отгадывать сны, да и не верю им вовсе,— отвечала я.

Мне было очень жаль, что у Федора Михайловича исчезло его бодрое настроение, и я старалась его развеселить. На вопрос, какие я вижу сны, я рассказала их в комическом виде.

— Все чаще я вижу во сне нашу бывшую начальницу гимназии, величественную даму, со старомодны-

ми буклями на висках, и всегда она меня за что-нибудь распекает. Снится мне также рыжий кот, что спрыгнул однажды на меня с забора нашего сада и этим страшно напугал.

— Ах вы, деточка, деточка! — повторял Федор Михайлович, смеясь и ласково на меня посматривая,— и сны-то у вас какие! Ну, а что же, весело вам было на именинах вашей крестной? — спросил он меня.

— Очень весело. После обеда старшие сели играть в карты, а мы, молодежь, собрались в кабинете хозяина и весь вечер оживленно болтали. Там было два очень милых и веселых студента.

Федор Михайлович опять затуманился. Меня поразило, до чего быстро менялось на этот раз настроение Федора Михайловича. Не зная свойств эпилепсии, я подумала, не предвещает ли это изменчивое настроение приближения припадка, и мне стало жутко...

У нас давно уже повелось, что, когда я приходила стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни.

— Новый роман придумывал,— ответил он.

— Что вы говорите? Интересный роман?

— Для меня очень интересен; только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку [19], ну, а теперь за помощью обращусь к вам.

Я с гордостью приготовилась «помогать» талантливому писателю.

— Кто же герой вашего романа?

— Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста,— просила я, очень заинтересовавшись новым романом.

И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше

ше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным.

В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил: муки, доставленные ему этой любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги...

Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии.

На обрисовку своего героя Федор Михайлович не пожалел темных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью (паралич руки), хмурый, подозрительный; правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства; художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся.

Видя в герое романа самого Федора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами:

— Но зачем же вы, Федор Михайлович, так обидели вашего героя?

— Я вижу, он вам не симпатичен.

— Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастий выпало на его долю и как безропотно он их перенес! Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверно, ожесточился бы, а ваш герой все еще любит людей и идет к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы.

— Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце. И как я рад, что вы его поняли!

— И вот,— продолжал свой рассказ Федор Михайлович,— в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ва-

ших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее...

Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну Корвин-Круковскую, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут Анной,— так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне отношение. Тема нового романа могла возникнуть (думалось мне) под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Федор Михайлович мне на днях говорил [20].

Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя. По словам автора, Аня была кротка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в сношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила:

— А хороша собой ваша героиня?

— Не красавица, конечно, но очень недурна. Я люблю ее лицо.

Мне показалось, что Федор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство к Корвин-Круковской овладело мною, и я заметила:

— Однако, Федор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу «Аню». Разве она такая?

— Именно такая! Я хорошо ее изучил! Художник,— продолжал свой рассказ Федор Михайлович,— встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И однако, мечта эта представлялась ему почти невозможною. В самом деле, что мог он, старый, больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическою неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.

— Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется!

Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на ее место,— сказал он дрожащим голосом.— Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Федор Михайлович: они для меня священны...

Я была поражена, почти подавлена громадностью моего счастья и долго не могла в него поверить. Припоминаю, что, когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила:

— Да разве я могу теперь что-либо обсуждать! Ведь я так ужасно счастлива!!

Не зная, как сложатся обстоятельства и когда может состояться наша свадьба, мы решили до времени никому о ней не говорить, за исключением моей матери. Федор Михайлович обещал приехать к нам завтра на весь вечер и сказал, что с нетерпением будет ждать нашей встречи.

Он проводил меня до передней и заботливо повязал мой башлык. Я уже готова была выйти, когда Федор Михайлович остановил меня словами:

— Анна Григорьевна, а я ведь знаю теперь, куда девался брильянтик.

— Неужели припомнили сон?

— Нет, сна не припомнил. Но я наконец нашел его и намерен сохранить на всю жизнь.

— Вы ошибаетесь, Федор Михайлович! — смеялась я,— вы нашли не брильянтик, а простой камешек.

— Нет, я убежден, что на этот раз не ошибаюсь,— уже серьезно сказал мне на прощанье Федор Михайлович.

XI

Восторг наполнял мою душу, когда я возвращалась от Федора Михайловича. Помню, что всю дорогу я почти громко восклицала, забывая о прохожих:

— Боже мой, какое счастье! Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?!

Шум уличной толпы несколько отрезвил меня, и я вспомнила, что звана на обед к родственникам, которые праздновали именины моего двоюродного брата Михаила Николаевича Сниткина. Я зашла в булочную (тогда кондитерских было мало) купить именинный пирог. Душа моя была полна восторгом, все казались добрыми и милыми, и всем мне хотелось сказать что-нибудь приятное. Я не удержалась и заметила немецкой барышне, продававшей пирог:

— Какой у вас чудесный цвет лица и как вы мило причесаны!

У родственников я застала много гостей, но моей матери не было, хотя она обещала приехать к обеду. Меня это огорчило: мне так хотелось поскорее сообщить ей мою радость.

За обедом было весело, но я вела себя очень странно: то всему смеялась, то задумывалась и не слышала, что мне говорили; то отвечала невпопад и одного господина даже назвала Федором Михайловичем. Надо мною стали шутить, я отговаривалась жестокой мигренью.

Наконец приехала моя добрая мама. Я выбежала к ней в переднюю, обняла ее и прошептала на ухо:

— Поздравьте меня, я — невеста!

Больше сказать мне не удалось, так как навстречу маме спешили хозяева. Помню, весь вечер мама очень пытливо на меня поглядывала, не зная, наверно, за кого из присутствовавших моих поклонников я выхожу замуж. Только возвращаясь домой, я могла объяснить ей, что выхожу за Достоевского. Не знаю, была ли моя мать этому рада; думаю, что нет. Как человек опытный, долго живший на свете, она не могла не предвидеть, что в этом супружестве мне предстоит много мучений и горя как из-за страшной болезни моего будущего мужа, так и из-за недостатка средств. Но она не пробовала меня отговаривать (как делали потом другие), и я ей за то благодарна. Да и кто бы мог меня уговорить отказаться от этого предстоявшего мне великого счастья, которое впоследствии, несмотря на многие тяжелые стороны нашей совместной жизни (болезнь мужа, долги), оказалось действительным, истинным для нас обоих счастьем.

Следующий день, девятого ноября, тянулся для меня томительно долго. Я ничем не могла заняться и все вспоминала подробности нашей вчерашней беседы и даже записала ее в свою стенографическую книжку.

Федор Михайлович явился в половине седьмого и начал с извинения, что приехал на полчаса ранее назначенного времени.

— Но я не мог вытерпеть, мне так хотелось поскорее свидеться с вами!

— Nous sommes logées á la même enseigne *,— отвечала я, смеясь,— я весь день ничего не делала, все о вас думала и я так ужасно счастлива, что вы приехали!

Федор Михайлович тотчас же обратил внимание на то, что я одета в светлый костюм.

— Всю дорогу к вам я раздумывал, снимете ли вы траур [21] или будете и теперь носить черное платье. И вот вы — в розовом!

— Но как же могло быть иначе, когда у меня на душе такая радость! Разумеется, пока мы не объявим

---

* У нас те же невзгоды *(фр.)*.

о нашей свадьбе, я буду носить в обществе траур, а дома, для вас, светлое.

— Вам очень идет розовый цвет,— сказал Федор Михайлович,— но в нем вы еще помолодели и кажетесь девочкой.

Моя моложавость, видимо, смущала Федора Михайловича. Я стала, смеясь, уверять его, что очень скоро постарею, и хоть это обещание было шуткой, но в моей жизни оно, благодаря многим обстоятельствам, скоро исполнилось, то есть, вернее, я не постарела, а старалась и в нарядах своих, и в разговорах быть настолько солидной, что разница лет между мною и мужем скоро стала почти незаметна.

Вошла моя мать. Федор Михайлович поцеловал ей руку и сказал:

— Вы, конечно, уже знаете, что я просил руки вашей дочери. Она согласилась быть моей женой, и я этим чрезвычайно счастлив. Но мне хотелось бы, чтобы вы одобрили ее выбор. Анна Григорьевна так много говорила о вас хорошего, что я привык вас уважать. Даю вам слово, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастлива. Для вас же я буду самым преданным и любящим родственником.

Надо отдать справедливость Федору Михайловичу, что за четырнадцать лет нашего брака он всегда был очень почтителен и добр с моей матерью, искренно любил и почитал ее.

Произнес Федор Михайлович свою маленькую речь торжественно, но несколько сбивчиво, о чем и сам потом заметил. Мама была очень тронута, обняла Федора Михайловича, просила его любить и беречь меня и даже расплакалась.

Я поспешила прервать эту, может быть, несколько тягостную для Федора Михайловича сцену словами:

— Милая мамочка, дайте нам скорее чаю! Федор Михайлович ужасно озяб!

Принесли чай, мы уселись со стаканами в руках в мягких старинных креслах и принялись оживленно разговаривать.

Прошло около часу, как раздался звонок, и девушка доложила о приходе двух молодых людей, часто у нас бывавших. На этот раз меня очень раздосадовали эти непрошеные гости, и я попросила мою мать:

— Пожалуйста, выйдите к ним и скажите, что извиняюсь и что у меня болит голова.

— Пожалуйста, не отказывайте им, Анна Николаевна,— перебил Федор Михайлович и, обратясь ко мне, прибавил вполголоса: — Мне хочется видеть вас в обществе молодежи. Ведь до сих пор я видел вас только с нами, со стариками.

Я улыбнулась и просила звать гостей. Я представила их Федору Михайловичу и назвала его. Молодые люди были несколько смущены неожиданным знакомством с известным романистом. Чтобы объяснить им некоторую торжественность обстановки, в которой они нас застали, я сказала гостям, что они попали на фестиваль по случаю окончания нашей общей работы над новым романом. Мне очень захотелось затеять общий разговор и втянуть в него Федора Михайловича. Я воспользовалась вопросом одного из молодых людей, прошла ли моя вчерашняя мигрень, и сказала:

— Это вы виноваты в моей головной боли: вы все так много курили. Не правда ли, Федор Михайлович, много курить не следует?

— Я тут плохой судья: я сам много курю.

— Но ведь это же вредно для здоровья?

— Конечно, вредно, но это — привычка, от которой трудно избавиться.

То были единственные слова, сказанные Федором Михайловичем. Мне не удалось втянуть его в дальнейший разговор. Он курил и пытливо посматривал на меня и на гостей. Молодые люди были смущены: им, очевидно, импонировало имя Достоевского. Они сказали, что вчера, после моего ухода от родственников, было решено поехать всем вместе посмотреть «Юдифь» Серова, и им поручено узнать, в какой день я свободна, и взять ложу.

Я очень любезно, но решительно объяснила, что в оперу не поеду, так как начну теперь усиленно заниматься стенографией, чтобы догнать товарищей.

— Ну, а на концерт пятнадцатого ноября поедете? Ведь вы же обещали! — сказали огорченные молодые люди.

— И на концерт не поеду, все по той же причине.

— Но ведь вам было так весело на этом концерте в прошлом году.

— Мало ли что было в прошлом году! С тех пор много воды утекло,— сентенциозно заметила я.

Молодые люди почувствовали себя лишними и поднялись уходить. Я их не удерживала.

— Ну, довольны вы мной? — спросила я Федора Михайловича по уходе гостей.

— Вы щебетали, как птичка. Жаль только, что вы обидели ваших поклонников, так категорически отказываясь от всего, что прежде вас интересовало.

— Бог с ними! На что они мне теперь! Мне нужен только один: мой дорогой, мой милый, мой славный Федор Михайлович!

— Так я милый, так я для вас дорогой? — сказал Федор Михайлович, и вновь началась задушевная беседа, продолжавшаяся весь вечер.

Какое то было счастливое время и с какою глубокою благодарностью судьбе я о нем вспоминаю!

XII

Принятое нами решение хранить в тайне от родных и знакомых нашу помолвку продержалось не более недели. Тайна наша открылась самым неожиданным образом.

Федор Михайлович, приезжая к нам, брал извозчика по часам, от семи до десяти. Во время долгого пути к нам и обратно Федор Михайлович, любивший простых людей, разговаривал обыкновенно со своим извозчиком. Чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем, он рассказывал ему про свою предстоящую женитьбу. Однажды, вернувшись от нас домой и не найдя в кармане мелочи, он сказал извозчику, что сейчас вышлет ему деньги. Деньги вынесла служанка. Не зная, которому из трех извозчиков, стоявших у ворот, следует уплатить, она спросила, кто сейчас привез «старого барина»?

— Это жениха-то? Я привез.

— Какого жениха? Наш барин — не жених.

— Ан нет, жених! Сам мне сказывал, что жених. Да я и невесту видал, когда дверь отворяли. Выходила его проводить, такая веселая, все смеется!

— Да ты откуда барина привез?
— Из-под Смольного привез.

Федосья, знавшая мой адрес, догадалась, кто невеста ее барина, и поспешила сообщить это известие Павлу Александровичу.

Всю эту сцену рассказал мне назавтра Федор Михайлович (он подробно расспросил Федосью) и так картинно, что она навсегда осталась в моей памяти.

Когда я спросила, какое впечатление произвело на его пасынка известие о нашей помолвке, Федор Михайлович затуманился и, видимо, хотел отклонить расспросы. Я настаивала на подробностях. Федор Михайлович рассмеялся и рассказал, что сегодня утром явился к нему в кабинет «Паша», в парадном костюме и синих очках, которые надевал лишь в торжественных случаях. Он объявил Федору Михайловичу, что узнал о его предстоящем браке; что он поражен, удивлен и возмущен, что при решении своей судьбы Федор Михайлович не подумал спросить совета и согласия у своего «сына», которого это решение столь близко касается. Просил «отца» вспомнить, что он уже «старик» и что ему не по летам и не по силам начинать новую жизнь; напоминал, что у Федора Михайловича имеются другие обязанности, и проч. и проч.

Павел Александрович, по словам Федора Михайловича, говорил «важно, напыщенно и наставительно». Его так возмутил тон пасынка, что он вышел из себя, закричал и прогнал его из кабинета.

Когда через два дня я пришла к Федору Михайловичу (узнав, что у него был припадок), то пасынок его ко мне не вышел. Он очень шумно передвигал что-то в столовой и сердито распекал служанку, с целью показать мне, что он дома. Затем, в следующий мой приход (через неделю) Павел Александрович, вероятно, по приказанию отчима, вошел в кабинет, сухо и официально меня поздравил, посидел молча минут десять и имел обиженный и огорченный вид. Но Федор Михайлович был в тот день в чудесном настроении, мне также было весело, и оба мы были так счастливы, что совсем не обратили внимания на строгий и сдержанный тон Павла Александровича. Впоследствии, когда он заметил, что его суровый вид на нас не действует, а только сердит Федора Михайловича, он переменил

гнев на милость и стал со мною вежлив и любезен, не упуская, однако, случая сказать мне какую-нибудь колкость.

XIII

Счастливое время нашего жениховства пролетело для нас чрезвычайно быстро. С внешней стороны дни шли однообразно: под предлогом усиленных занятий стенографией, я ни у кого не бывала, никого к себе не приглашала, не ездила ни в концерты, ни в театр. Исключение составил вечер, проведенный мною на представлении драмы «Смерть Иоанна Грозного» гр. Алексея Толстого.

Федор Михайлович очень ценил эту драму[22] и захотел посмотреть ее вместе со мною. Он взял ложу и, кроме меня, пригласил Эмилию Федоровну с дочерью и сыновьями, а также Павла Александровича. Как ни приятно было для меня делиться впечатлениями с Федором Михайловичем, но присутствие неприязненно настроенных против меня людей очень меня тяготило. Эмилия Федоровна так откровенно выказывала свое недоброжелательство, что под конец я сделалась очень грустна, что тотчас же заметил Федор Михайлович. Он стал спрашивать, чтó со мною, и я сослалась на головную боль.

Впрочем, этот неприятный вечер не мог разрушить моего счастливого настроения. В душе моей царил вечный праздник. Я, всегда прежде находившая себе занятие, теперь решительно ничего не делала. Целыми днями думала я о Федоре Михайловиче, вспоминала вчерашние с ним разговоры и с нетерпением ждала, когда он сегодня опять приедет. Он приезжал обыкновенно в семь, иногда в половине седьмого. К его приезду всегда кипел на столе самовар. Наступила зима, и я боялась, как бы Федор Михайлович не простудился во время своего долгого пути к нам. Как только он входил в комнату, я спешила дать ему стакан горячего чаю.

Я считала за большую жертву с его стороны ежедневные посещения меня и, жалея его, против своего желания, уговаривала его пропускать иногда вечера. Федор Михайлович в ответ уверял меня, что приез-

жать к нам для него наслаждение, что он оживает и успокаивается, бывая у меня, и тогда откажется от ежедневных посещений, когда я сама скажу, что они меня тяготят. Он говорил это шутя, так как видел, до чего я была всегда ему рада.

После чаю мы усаживались в наших старинных креслах, а на разделявший нас столик ставились разнообразные гостинцы. Федор Михайлович каждый вечер привозил конфекты от Ballet (его любимая кондитерская). Зная его тяжелые материальные обстоятельства, я убеждала Федора Михайловича не привозить конфект, но он находил, что подарки жениха невесте составляют добрый старинный обычай и нарушать его не следует.

В свою очередь, у меня всегда были приготовлены любимые Федором Михайловичем груши, изюм, финики, шептала, пастила, все в небольшом количестве, но всегда свежее и вкусное. Я нарочно ходила сама по магазинам, выискивая что-либо особенное, чем побаловать Федора Михайловича. Он дивился и уверял, что только такая лакомка, как я, могла разыскать столь вкусные вещи. Я же утверждала, что это он — страшный лакомка; так мы и не могли решить, кто же из нас в этом больше грешен.

Когда наступало десять часов, я начинала торопить Федора Михайловича ехать домой. Местность, где находились дома моей матери, была очень пустынная, и я боялась, как бы с ним не случилось несчастия. В первые же вечера я предлагала Федору Михайловичу нашего дворника в провожатые, но он и слышать о том не хотел. Он уверял, что ничего не боится и сам справится, если бы кто на него напал. Его уверения мало меня успокаивали, и я приказывала дворнику тайно провожать его до поворота в оживленную Слоновую улицу, держась от санок в пятнадцати — двадцати шагах.

Случалось, что Федор Михайлович не мог ко мне приехать: читал на литературном вечере или был на званом обеде. В таких случаях мы уговаривались накануне, чтобы я пришла к Федору Михайловичу к часу и оставалась до пяти. С умилением вспоминаю, как он уговаривал меня посидеть «еще десять минут, еще четверть часика» и жалобно говорил:

— Подумай, Аня, я ведь не увижу тебя целые сутки!

Случалось, что он в тот же вечер, ускользнув из гостей или выполнив свой номер чтения, приезжал к нам в девять или в половине десятого и, торжествуя, говорил:

— А я сбежал, как школьник! Хоть полчасика посидим вместе!

Я, конечно, была безумно рада повидать его еще раз в этот день.

Федор Михайлович приезжал к нам всегда благодушный, радостный и веселый. Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых[23]. Кстати, припоминаю следующий случай: как-то, расспрашивая меня о моем преподавателе стенографии, П. М. Ольхине, Федор Михайлович сказал:

— Какой это угрюмый человек!

Я рассмеялась.

— Ну, представь себе, что́ сказал мне Павел Матвеевич после свидания с тобой? «Предлагаю вам работу у писателя Достоевского, только не знаю, как вы с ним сойдетесь — он мне показался таким мрачным, таким угрюмым человеком!» И вот ты теперь высказываешь точно такое же о нем мнение! На самом деле вы оба вовсе не мрачны и не угрюмы, а лишь кажетесь такими.

— Что же ты отвечала тогда Ольхину? — полюбопытствовал Федор Михайлович.

— Я сказала: зачем мне сходиться с Достоевским? Я постараюсь как можно лучше исполнить его работу, а самого Достоевского я до того уважаю, что даже боюсь!

— И вот, несмотря на предсказание Ольхина, мы с тобою сошлись, и сошлись на всю жизнь, не правда ли, милая моя Анечка? — спросил Федор Михайлович, ласково на меня поглядывая.

Но если Федор Михайлович приезжал к нам в добром настроении, то и я была весела, шаловлива и болтлива. Голос мой звенел, как колокольчик, я заливалась веселым смехом от всякого пустяка, и тогда Федор Михайлович всплескивал руками и с комическим ужасом восклицал:

— Ну, что я буду делать с таким ребенком, скажи, пожалуйста? И куда девалась та строгая, почти суровая Анна Григорьевна, которая приходила ко мне стенографировать? Решительно, мне ее подменили!

Я тотчас принимала важную осанку и начинала говорить с ним наставительным тоном. Дело кончалось общим смехом.

Впрочем, я не всегда была весела. Я бывала очень недовольна, когда Федор Михайлович принимал на себя роль «молодящегося старичка». Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя, из «Дядюшкина сна». Высказывал он чрезвычайно оригинальные и неожиданные мысли, говорил весело и талантливо, но меня эти рассказы в тоне молодящегося, но никуда не годного старичка всегда коробили, и я переводила разговор на что-либо другое.

О чем только не переговорили мы в эти счастливые три месяца! Я подробно расспрашивала Федора Михайловича о его детстве, юности, об Инженерном училище, о политической деятельности, о ссылке в Сибирь, о возвращении...

— Мне хочется знать все о тебе,— говорила я,— ясно видеть твое прошлое, понять всю твою душу!

Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери [24]. Он особенно любил старшего брата Мишу и старшую сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не оставили в нем сильного впечатления. Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился [25].

Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне, за исключением одного случая в Женеве, о котором расскажу в свое время [26].

Несравненно охотнее вспоминал он о своей невесте, А. В. Корвин-Круковской. На мой вопрос, почему разошлась их свадьба, Федор Михайлович отвечал:

— Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она — чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива!

Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда, лет шесть спустя после свадьбы, я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренно полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми; но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким больным и раздражительным человеком, каким часто, вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович. К тому же она тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять много внимания семье. С годами она изменилась, и я помню ее прекрасною женой и нежною матерью.

Судьба А. В. Корвин-Круковской (сестры знаменитой Софии Васильевны Ковалевской) сложилась печально. Вскоре после разрыва с Федором Михайловичем она уехала за границу и встретилась там с французом, господином Жакларом, человеком одних с нею политических убеждений. Она полюбила его и вышла за него замуж. Во времена Парижской коммуны Жаклар, как ярый коммунар, оказался в числе приговоренных к смертной казни. Заключен он был в крепость, где-то вблизи немецкой границы. Отец Анны Васильевны за двадцать тысяч франков подкупил, кого следовало, и ему дали возможность бежать в Германию[27].

Затем Жаклар-Корвин (присоединивший, по иностранному обычаю, фамилию жены к своей собственной) переехал с семьей в Петербург, где получил место преподавателя французской литературы в женских гимназиях. Жил Жаклар с женою очень дружно, но он тосковал по родине, и это очень тревожило Анну Васильевну. Вскоре и материальное положение их изменилось к худшему: полученные в приданое за Анной Васильевной значительные деньги он пустил в оборот и так неудачно, что через несколько лет на их руках остался лишь за большую сумму заложенный дом на Васильевском острове. Разорение так подействовало на Анну Васильевну, что она, вообще слабая здоровьем, стала сильно хворать. Муж ее, получивший к тому времени право вернуться на родину, увез ее в Париж. По делам им приходилось часто возвращаться в Петербург, и во время ее предсмертной болезни мне через К. П. Победоносцева удалось оказать Анне Васильевне услугу, именно выхлопотать для ее мужа, которого высылали из столицы в двухдневный срок за политическую неблагонадежность, отсрочку на несколько недель для устройства дел и сопровождения больной жены и маленького сына за границу [28]. Умерла Анна Васильевна в Париже в 1887 году.

XIV

В одну из наших вечерних бесед Федор Михайлович спросил меня:

— Скажи, Аня, а ты помнишь тот день, когда ты впервые сознала, что меня полюбила?

— Знаешь, дорогой мой,— отвечала я,— имя Достоевского знакомо мне с детства: в тебя или, вернее, в одного из твоих героев я была влюблена с пятнадцати лет.

Федор Михайлович засмеялся, приняв мои слова за шутку.

— Серьезно, я говорю серьезно! — продолжала я,— мой отец был большим любителем чтения и, когда речь заходила о современной литературе, всегда говорил: «Ну, что теперь за писатели? Вот в мое время были Пушкин, Гоголь, Жуковский! Из молодых был рома-

нист Достоевский, автор «Бедных людей». То был настоящий талант. К несчастию, впутался в политическую историю, угодил в Сибирь и там пропал без вести!»

Зато как же был рад мой отец, когда узнал, что братья Достоевские хотят издавать новый журнал «Время»: «А Достоевский-то возвратился,— с радостью говорил он нам,— слава богу, не пропал человек!»

Помню, лето 1861 года мы провели в Петергофе. Всякий раз, как мама уезжала в город за покупками, мы с сестрой упрашивали ее зайти в библиотеку Черкесова за новой книжкой «Времени». Строй в нашей семье был патриархальный, а потому привезенный журнал попадал сначала в распоряжение отца. Он, бедный, и тогда уже был слабого здоровья и часто засыпал в креслах после обеда, за книгой или газетой. Я подкрадывалась к нему, потихоньку брала книгу, убегала в сад и садилась куда-нибудь под кусты, чтобы без помехи насладиться чтением твоего романа. Но, увы, хитрость мне не удавалась! Приходила сестра Маша и, по праву старшей, отбирала от меня новую книгу, невзирая на мольбы позволить мне дочитать главу «Униженных».

Я ведь порядочная мечтательница,— продолжала я,— и герои романа всегда для меня живые лица. Я ненавидела князя Валковского, презирала Алешу за его слабоволие, соболезновала старику Ихменеву, от души жалела несчастную Нелли и... не любила Наташу... Видишь, даже фамилии твоих героев уцелели в памяти!

— Я их не помню и вообще смутно вспоминаю содержание романа,— заметил Федор Михайлович.

— Неужели забыл?! — с изумлением отвечала я,— как это жаль! Я ведь была влюблена в Ивана Петровича, от имени которого ведется рассказ. Я отказывалась понять, как могла Наташа предпочесть этому милому человеку ничтожного Алешу. «Она заслужила свои иесчастия,— думала я, читая,— тем, что оттолкнула любовь Ивана Петровича». Странно, я почему-то отождествляла столь симпатичного мне Ивана Петровича с автором романа. Мне казалось, что это сам Достоевский рассказывает печальную историю своей неудавшейся любви... Если ты забыл, то должен непременно перечесть этот прекрасный роман!

Федор Михайлович заинтересовался моим рассказом и обещал перечитать «Униженных», когда будет свободное время.

— Кстати,— продолжала я,— помнишь, ты однажды, в начале нашего знакомства, спросил меня: была ли я влюблена? Я ответила: «Ни разу в живое лицо, но пятнадцати лет была влюблена в героя одного романа?». Ты спросил: «Какого романа?», и я поспешила замять разговор: мне показалось неловко назвать героя твоего романа. Ты мог принять это за лесть барышни, желающей иметь литературную работу. Я же хотела быть вполне независимой.

А сколько слез пролила я над «Записками из Мертвого дома»! Мое сердце было полно сочувствия и жалости к Достоевскому, перенесшему ужасную жизнь каторги. С этими чувствами пришла я к тебе работать. Мне так хотелось помочь тебе, хоть чем-нибудь облегчить жизнь человека, произведениями которого я так восхищалась. Я благодарила бога, что Ольхин выбрал для работы с тобою меня, а не кого-нибудь другого.

Заметив, что мои замечания о «Записках из Мертвого дома» навеяли на Федора Михайловича грустное настроение, я поспешила перевести разговор и шутливо заметила:

— Знаешь, сама судьба предназначила меня тебе в жены: меня с шестнадцати лет прозвали Неточкой Незвановой. Я — Анна, значит — Неточка, а так как я часто приходила к моим родственникам незваная, то меня, в отличие от какой-то другой Неточки, и прозвали «Неточкой Незвановой», намекая этим на мое пристрастие к романам Достоевского. Зови и ты меня Неточкой,— просила я Федора Михайловича.

— Нет! — отвечал он,— моя Неточка много горя вынесла в жизни, а я хочу, чтобы ты была счастлива. Лучше уж буду звать тебя Аней, как мне полюбилось!

На следующий вечер я, в свою очередь, предложила Федору Михайловичу давно интересовавший меня вопрос, но который я стеснялась задать: когда он почувствовал, что полюбил меня, и когда решил сделать мне предложение?

Федор Михайлович начал припоминать и, к большому моему огорчению, признался, что в первую неделю нашего знакомства совершенно не приметил моего лица.

— Как не приметил? Что это значит? — удивилась я.

— Если тебе представят нового знакомого и ты скажешь с ним несколько обыденных фраз, — разве ты запомнишь его лицо? Ведь нет? Я, по крайней мере, всегда забываю. Так случилось и на этот раз: я говорил с тобою, видел твое лицо, но ты уходила, и я тотчас же его забывал и не мог бы сказать — блондинка ты или брюнетка, если бы кто-нибудь меня об этом спросил. Лишь в конце октября я обратил внимание на твои красивые серые глаза и добрую ясную улыбку. Да и все твое лицо мне стало тогда нравиться — и чем дальше, тем больше. Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет! Ты для меня красавица! Да и для всех красавица! — наивно прибавил Федор Михайлович.

— В первое твое посещение, — продолжал он вспоминать, — меня поразил такт, с которым ты себя держала, твое серьезное, почти суровое обращение. Я подумал: какой привлекательный тип серьезной и деловитой девушки! И я порадовался, что он у нас в обществе народился. Я как-то нечаянно сказал неловкое слово, и ты так на меня посмотрела, что я стал взвешивать свои выражения, боясь тебя оскорбить. Затем меня стала удивлять и привлекать та искренная сердечность, с которою ты вошла в мои интересы, и то сочувствие, которое проявила по поводу грозившей мне беды. Ведь вот, думал я, мои родные, мои друзья, кажется, и любят меня. Они горюют о том, что я могу лишиться моих литературных прав, негодуют на Стелловского, возмущаются, упрекают меня, зачем подписал такой контракт (как будто бы я мог его не подписать!), дают советы, утешают меня, а я чувствую, что все это «слова, слова и слова» и что никто из них не принимает к сердцу того, что с потерею прав я лишаюсь последнего моего достояния... А эта чужая, едва знакомая девушка разом вошла в мое положение и, не ахая, не восклицая и не возмущаясь, принялась помогать мне не словами, а делом. Когда через несколько дней установилась наша работа, во мне, чуть не вполне отчаявшемся, затеплилась надежда: «Пожалуй, если и впредь буду так работать, то, может быть, и поспею к сроку!» — думалось мне. Твои же уверения, что непременно поспеем (помнишь, как мы вместе пересчитывали переписан-

ные тобою листочки), укрепляли эту надежду и придавали мне силы продолжать работу. Я часто, говоря с тобою, думал про себя: «Какое доброе сердечко у этой девушки! Ведь она не на словах только, а и на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды». Я так был одинок душевно, что найти искренно сочувствующего мне человека было большою отрадой.

— С этого,— продолжал Федор Михайлович,— я думаю, и началась моя любовь к тебе, а затем понравилось мне и твое милое лицо. Я часто ловил себя на мыслях о тебе; но только тогда, когда мы кончали «Игрока» и я понял, что мы уже не будем видеться ежедневно, сознал я, что без тебя не могу жить. Вот тогда-то я и решил сделать тебе предложение.

— Но почему же ты не сделал мне предложение просто, как делают другие, а придумал свой интересный роман? — заинтересовалась я.

— Знаешь, голубчик мой Аня,— говорил растроганным голосом Федор Михайлович,— когда я почувствовал, что́ ты для меня значишь, то пришел в отчаяние, и намерение жениться на тебе показалось мне чистым безумием! Подумай только, какие мы с тобою разные люди! Одно неравенство лет чего стоит! Ведь я почти старик, а ты — чуть не ребенок. Я болен неизлечимою болезнью, угрюм и раздражителен; ты же здорова, бодра и жизнерадостна. Я почти прожил свой век, и в моей жизни много было горя. Тебе же всегда жилось хорошо, и вся твоя жизнь еще впереди. Наконец, я беден и обременен долгами. Чего же можно ожидать при всем этом неравенстве? Или мы будем несчастны и, промучившись несколько лет, разойдемся, или же сойдемся на всю остальную жизнь и будем счастливы.

Мне было больно слышать такое самоунижение Федора Михайловича, и я пылко возразила:

— Дорогой мой, ты все преувеличил! Предполагаемого тобою неравенства между нами нет. Если мы крепко полюбим друг друга, то станем друзьями и будем бесконечно счастливы. Меня страшит другое: ну, как ты, такой талантливый, такой умный и образованный, берешь в спутницы своей жизни глупенькую девушку, сравнительно с тобою мало образованную, хотя и получившую в гимназии большую серебряную медаль (я ею тогда очень гордилась), но не настолько разви-

тую, чтобы идти с тобою вровень. Боюсь, ты меня скоро разгадаешь и станешь досадовать и огорчаться тем, что я не способна понимать твои мысли. Вот это неравенство хуже всякого несчастья!

Федор Михайлович поспешил меня успокоить, наговорив много для меня лестного. Мы вернулись к интересовавшему меня разговору о предложении.

— Я долго колебался, как его сделать,— говорил Федор Михайлович.— Пожилой некрасивый мужчина, делающий предложение молодой девушке и не встречающий взаимности, может показаться смешным, а я не хотел быть смешным в твоих глазах. Вдруг на мое предложение ты ответила бы, что любишь другого. Твой отказ поселил бы между нами охлаждение, и наши прежние дружеские отношения стали бы немыслимы. Я потерял бы в тебе друга, единственного человека, который за последние два года так сердечно ко мне относился. Повторяю, я так душевно одинок, что лишиться твоей дружбы и помощи было бы для меня слишком тяжело. Вот я и придумал узнать твои чувства, рассказав тебе план нового романа. Мне легче было бы перенести твой отказ: ведь речь шла о героях романа, а не о нас самих.

В свою очередь я рассказала все, что пережила во время его литературного предложения: мое непонимание, ревность и зависть к Анне Васильевне и пр.

— Выходит,— удивился очень Федор Михайлович,— стало быть, что я напал на тебя врасплох и насильно вынудил согласие! А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший изо всех, когда-либо мною написанных: он сразу же имел успех и произвел желаемое впечатление!

XV

В чаду новых радостных впечатлений мы с Федором Михайловичем как-то позабыли о работе над окончанием «Преступления и наказания», а между тем оставалось написать всю третью часть романа. Федор Михайлович вспомнил о ней в конце ноября, когда редакция «Русского вестника» потребовала продолжения романа. К нашему счастью, в те годы журналы

редко выходили вовремя, а «Русский вестник» даже славился своим запаздыванием: ноябрьская книжка выходила в конце декабря, декабрьская — в начале февраля, и т. д., а потому времени впереди было довольно. Федор Михайлович привез мне письмо редакции и просил совета. Я предложила ему запереть двери для гостей и работать днем от двух до пяти, а затем, приезжая к нам вечером, диктовать по рукописи.

Так мы и устроили: поболтав с часочек, я садилась за письменный стол, Федор Михайлович усаживался рядом, и начиналась диктовка, прерываемая разговорами, шутками и смехом. Работа шла успешно, и последняя часть «Преступления», заключающая в себе около семи листов, была написана в течение четырех недель. Федор Михайлович уверял меня, что никогда еще работа не давалась ему так легко, и успех ее приписывал моему сотрудничеству.

Всегдашнее бодрое и веселое настроение Федора Михайловича отразилось благотворно и на его здоровье. Все три месяца до нашей свадьбы у него было не более трех-четырех припадков эпилепсии. Это меня чрезвычайно радовало и давало надежду, что при более спокойной, счастливой жизни болезнь уменьшится. Так оно впоследствии и случилось: прежние почти еженедельные припадки с каждым годом становились слабее и реже. Вполне же излечиться от эпилепсии было немыслимо, тем более, что и сам Федор Михайлович никогда не лечился, считая свою болезнь неизлечимою. Но и уменьшение и ослабление припадков было для нас большим благодеянием божиим. Оно избавляло Федора Михайловича от того поистине ужасного, мрачного настроения, продолжавшегося иногда целую неделю, которое являлось неизбежным следствием каждого припадка; меня же — от слез и страданий, которые я испытывала, присутствуя при приступах этой ужасной болезни.

Один из наших вечеров, всегда мирных и веселых, прошел, совершенно для нас неожиданно, очень бурно.

Случилось это в конце ноября. Федор Михайлович приехал, по обыкновению, в семь часов, на этот раз чрезвычайно озябший. Выпив стакан горячего чаю, он спросил, не найдется ли у нас коньяку? Я ответила, что коньяку нет, но есть хороший херес, и тотчас его при-

несла. Федор Михайлович залпом выпил три-четыре больших рюмки, затем опять чаю и лишь тогда согрелся. Я подивилась, что он так озяб, и не знала, чем это объяснить. Разгадка скоро последовала: проходя за чем-то через переднюю, я заметила на вешалке ватное осеннее пальто вместо обычной шубы Федора Михайловича. Я тотчас вернулась в гостиную и спросила:

— Разве ты не в шубе сегодня приехал?

— Н-нет,— замялся Федор Михайлович,— в осеннем пальто.

— Какая неосторожность! Но почему же не в шубе?

— Мне сказали, что сегодня оттепель.

— Я теперь понимаю, почему ты так озяб. Я сейчас пошлю Семена отвезти пальто и привезти шубу.

— Не надо! Пожалуйста, не надо!— поспешил сказать Федор Михайлович.

— Как не надо, дорогой мой? Ведь ты простудишься на обратном пути: к ночи будет еще холоднее.

Федор Михайлович молчал. Я продолжала настаивать, и он наконец сознался:

— Да шубы у меня нет...

— Как нет? Неужели украли?

— Нет, не украли, но пришлось отнести в заклад.

Я удивилась. На мои усиленные расспросы Федор Михайлович, видимо, неохотно, рассказал, что сегодня утром пришла Эмилия Федоровна и просила выручить из беды: уплатить какой-то экстренный долг в пятьдесят рублей. Пасынок его также просил денег; в них же нуждался младший брат Николай Михайлович, приславший по этому поводу письмо. Денег у Федора Михайловича не оказалось, и они решили заложить его шубу у ближайшего закладчика, причем усердно уверяли Федора Михайловича, что оттепель продолжается, погода теплая и он может проходить несколько дней в осеннем пальто до получения денег от «Русского вестника».

Я была глубоко возмущена бессердечием родных Федора Михайловича. Я сказала ему, что понимаю его желание помочь родным, но нахожу, что нельзя им жертвовать своим здоровьем и даже, может быть, жизнью.

Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали; я потеряла всякую власть над

собою и говорила как безумная, не разбирая выражений; доказывала, что у него есть обязанности ко мне, его невесте; уверяла, что не перенесу его смерти, плакала, восклицала, рыдала, как в истерике. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки, просил успокоиться. Моя мать услышала мои рыдания и поспешила принести мне стакан сахарной воды. Это меня несколько успокоило. Мне стало стыдно, и я извинилась перед Федором Михайловичем. В виде объяснения он стал говорить мне, что в прошлые зимы ему раз по пяти, по шести приходилось закладывать шубу и ходить в осеннем пальто.

— Я так привык к этим закладам, что и на этот раз не придал никакого значения. Знай я, что ты примешь это трагически, то ни за что не позволил бы Паше отвезти шубу в заклад,— уверял меня сконфуженный Федор Михайлович.

Я воспользовалась его раскаянием и взяла с Федора Михайловича слово, что этого случая более не повторится. Тут же я предложила ему восемьдесят рублей на выкуп шубы, но Федор Михайлович наотрез отказался. Я стала тогда упрашивать сидеть дома, пока не придут из Москвы деньги. На «домашний арест» Федор Михайлович согласился, взяв с меня слово, что я каждый день буду приходить к нему в час и оставаться до обеда.

Прощаясь с Федором Михайловичем, я вновь просила простить меня за сделанную ему «сцену».

— Нет худа без добра!— отвечал Федор Михайлович.— Теперь я убедился, как горячо ты меня любишь: не могла бы ты так плакать, если бы я не был тебе дорог!

Я обвязала шею Федора Михайловича моим белым вязаным платком и заставила его накинуть на плечи наш плед. Весь остальной вечер я то мучилась мыслью, что Федор Михайлович разлюбит меня, узнав, что я способна делать подобные «сцены», то тревожилась, что дорогою он простудится и опасно захворает. Я почти не спала, рано встала и в десять часов уже звонила у Федора Михайловича. Служанка успокоила меня, сказав, что барин встал и ночью ничем не болел.

Могу сказать, что это был единственный «бурный» вечер за все три месяца до нашей свадьбы.

«Домашний арест» Федора Михайловича продолжался с неделю, и я каждый день приезжала к нему повидаться и подиктовать «Преступление». В одно из этих посещений Федор Михайлович меня очень удивил: в разгар нашей работы раздались звуки шарманки, игравшей из «Риголетто» известную арию «La donna est mobile». Федор Михайлович оставил диктовать, прислушался и вдруг запел эту арию, заменив итальянские слова моим именем-отчеством: «Анна Григорьевна!» Пел он приятным, хотя несколько заглушенным тенором. Кончилась ария, Федор Михайлович подошел к форточке, кинул монетку, и шарманщик тотчас ушел. На мои расспросы Федор Михайлович объяснил мне, что шарманщик, очевидно, приметил, после какой именно пьесы ему бросают деньги, каждый день приходит под окно и играет только эту арию из «Риголетто».

— А я хожу и под этот мотив всегда напеваю твое дорогое имечко! — говорил он.

Я смеялась и притворно обижалась, что такие легкомысленные слова Федор Михайлович применил к моему имени; я уверяла, что непостоянства нет в моем характере, и если я его полюбила, то уж полюбила навек.

— Увидим, увидим!— смеялся Федор Михайлович.

Эту арию шарманщика и пение Федора Михайловича я слышала и в следующие два дня и удивлялась верности, с которою он следовал мотиву. Очевидно, у него был хороший музыкальный слух.

Как ни разнообразно было содержание наших ежедневных бесед за это время, никогда не касались они тем нецеломудренных или скабрезных. Трудно было бы сдержаннее и деликатнее относиться к моей девичьей скромности и стыдливости, чем это делал мой жених. Его отношение ко мне можно характеризовать словами его письма, писанного уже после нашего брака *.

«Мне бог тебя вручил, чтобы ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало,

* Письмо 17 мая 1867 г.[29]

а напротив, чтобы богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтобы я грехи свои огромные тобою искупил, представив тебя богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит».

Да и вообще Федор Михайлович поставил себе целью беречь меня от всех развращающих впечатлений. Помню, однажды, придя к Федору Михайловичу, я стала перелистывать какой-то французский роман, лежавший у него на столе. Федор Михайлович подошел и тихонько вынул книгу из моих рук.

— Ведь я же понимаю по-французски,— сказала я,— дай мне прочесть этот роман.

— Только не этот! Зачем тебе грязнить воображение!— отвечал он.

Даже после свадьбы Федор Михайлович, желая руководить моим литературным развитием, сам выбирал мне книги и ни за что не позволял читать фривольные романы. Контроль этот иногда меня обижал, и я протестовала, говоря ему:

— Зачем же ты сам их читаешь? Зачем грязнишь свое воображение?

— Я человек закаленный,— отвечал Федор Михайлович,— иные книги мне нужны, как материал для моих работ. Писатель должен все знать и многое испытать. Но уверяю тебя, я не смакую циничных сцен, и они часто возбуждают во мне отвращение.

То были не фразы, а правда.

С такою же неприязнью относился Федор Михайлович к господствовавшей в те времена оперетке: сам не ездил в Буфф и меня не пускал.

— Если уж есть возможность,— говаривал он,— идти в театр, так надо выбрать пьесу, которая может дать зрителю высокие и благородные впечатления, а то что засоривать душу пустячками!

Из совместной четырнадцатилетней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель И. С. Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его «русским маркизом де Сад» [30].

XVI

Главная, наиболее дорогая нам обоим тема разговоров с Федором Михайловичем была, конечно, наша будущая супружеская жизнь.

Мысль, что я не буду разлучаться с мужем, стану участвовать в его занятиях, получу возможность наблюдать за его здоровьем и смогу оберегать его от назойливых, раздражающих его людей, представлялась мне столь привлекательной, что иногда я готова была плакать при мысли, что все это не могло скоро осуществиться. Свадьба наша зависела главным образом от того, устроится ли дело с «Русским вестником». Федор Михайлович собирался съездить на рождество в Москву и предложить Каткову свой будущий роман. Он не сомневался в желании редакции «Русского вестника» иметь его своим сотрудником, так как напечатанный в 1866 году роман «Преступление и наказание» произвел большое впечатление в литературе и привлек к журналу много новых подписчиков[31]. Вопрос был лишь в том: найдутся ли у журнала свободные средства для аванса в несколько тысяч, без получения которых немыслимо было нам устраиваться новым хозяйством. В случае неудачи в «Русском вестнике» Федор Михайлович предполагал немедленно по окончании «Преступления и наказания» приняться за новый роман и, написав его бо́льшую часть, предложить его в другой журнал. Неудача в Москве грозила отодвинуть нашу свадьбу на продолжительный срок,— может быть, на целый год. Глубокое уныние овладевало мною при этой мысли.

Федор Михайлович постоянно делился со <мной> своими заботами. Он ничего не хотел скрывать от меня для того, чтобы для меня не было тяжелою неожиданностью та исполненная лишений жизнь, которая предстояла нам обоим в будущем. Я была очень ему благодарна за откровенность и придумывала разные способы для уменьшения особенно мучивших Федора Михайловича долгов. Я скоро поняла, что уплачивать долги при настоящем положении его дел было почти невозможно. Хоть я и мало знала практическую жизнь, живя без нужды в достаточной семье, но в эти три месяца до свадьбы я успела заметить одно весьма

смущавшее меня обстоятельство: как только появлялись у Федора Михайловича деньги, одновременно у всех его родных, брата, невестки, пасынка и племянников появлялись всегда неожиданные, но настоятельные нужды, и из трехсот — четырехсот рублей, полученных из Москвы за «Преступление и наказание», на следующий день у Федора Михайловича оставалось не более тридцати — сорока рублей, причем никаких уплат вексельного долга не делалось, а уплачивались лишь проценты. Затем опять начинались заботы Федора Михайловича, откуда бы достать деньги для уплаты процентов, житья и удовлетворения просьб его многочисленной родни. Такое положение дел стало не на шутку меня тревожить. Я утешала себя мыслью, что после свадьбы возьму хозяйство в свои руки, урегулирую выдачи родным, предоставив каждому из них определенную сумму в год. У Эмилии Федоровны были взрослые сыновья, которые могли ее поддерживать[32]. Брат Николай Михайлович был талантливый архитектор и при желании мог бы работать. Пасынку в его годы (21) пора было приниматься за какой-нибудь серьезный труд, не рассчитывая исключительно на работу больного, обремененного долгами отчима.

Я с негодованием думала обо всех этих праздных людях, так как видела, что постоянные заботы о деньгах портили доброе настроение Федора Михайловича и дурно влияли на его здоровье. От постоянных неприятностей у него сильно расстраивались нервы и чаще наступали припадки эпилепсии. Так и было до моего появления в жизни Федора Михайловича, когда на время все изменилось. Но я мечтала, чтобы в будущей нашей совместной жизни здоровье его окончательно поправилось, а бодрое и радостное настроение сохранилось.

К тому же, будучи отягощен долгами, Федор Михайлович должен был сам предлагать свой труд в журналы и, конечно, получал за свои произведения значительно менее, чем получали писатели обеспеченные, вроде Тургенева или Гончарова. В то время как Федору Михайловичу платили за «Преступление и наказание» по полутораста рублей с печатного листа, Тургенев в том же «Русском вестнике» за свои романы получал по пятисот рублей за лист[33].

Всего же обиднее было то, что, благодаря нескончаемым долгам, Федор Михайлович должен был спешить с работою. Он не имел ни времени, ни возможности отделывать свои произведения, и это было для него большим горем. Критики часто упрекали Федора Михайловича за неудачную форму его романов, за то, что в одном романе соединяется их несколько, что события нагромождены друг на друга и многое остается незаконченным[34]. Суровые критики не знали, вероятно, при каких условиях приходилось писать Федору Михайловичу. Случалось, что первые три главы романа были уже напечатаны, четвертая — набиралась, пятая была только что выслана по почте, шестая — писалась, а остальные не были даже обдуманы. Сколько раз я видела впоследствии искреннее отчаяние Федора Михайловича, когда он вдруг сознавал, что «испортил идею, которою так дорожил», и что поправить ошибку нет возможности[35].

Сокрушаясь о тяжелом материальном положении моего жениха, я утешала себя мыслью, что в недалеком будущем, через год, я буду иметь возможность коренным образом помочь ему, получив в день моего совершеннолетия завещанный мне отцом моим дом.

Моим родителям принадлежали с конца сороковых годов два большие участка земли (около двух десятин), расположенные по Ярославской и Костромской улицам. На одном из участков находились три деревянных флигеля и двухэтажный каменный дом, в котором мы жили. На втором участке были выстроены два деревянных дома: один отдан был в приданое моей сестре, другой — предназначался мне. Продав его, можно было получить тысяч более десяти, которыми я и хотела уплатить часть долгов Федора Михайловича. К большому моему сожалению, до совершеннолетия я ничего не могла предпринять. Моя мать уговаривала Федора Михайловича сделаться моим попечителем, но он решительно отказался.

— Дом этот назначен Ане,— говорил он,— пусть она и получит его осенью, когда ей минет двадцать один год. Мне же не хотелось бы вмешиваться в ее денежные дела.

Федор Михайлович, будучи женихом, всегда отклонял мою денежную помощь. Я говорила ему, что если

мы любим друг друга, то у нас все должно быть общее.

— Конечно, так и будет, когда мы женимся,— отвечал он,— а пока я не хочу брать от тебя ни одного рубля.

Мне думается, что Федор Михайлович хорошо понимал, как фантастичны были иногда нужды его родных, но, не имея силы отказывать им, не хотел удовлетворять их просьбы моими деньгами. Даже тех двух тысяч, что предназначались моими родными мне на приданое, он не хотел касаться и уговаривал меня купить на них все, что мне хочется для моего будущего хозяйства. С умилением вспоминаю, как Федор Михайлович рассматривал и укладывал в футляры серебряные ножи и вилки, только что мною приобретенные, и всегда одобрял мой выбор. Он знал, что от его похвалы я так и засияю, и любовался на мою радость.

Особенно любил он смотреть мои новые платья, и когда их привозили от портнихи, заставлял их примерять и ему в них показаться. Некоторые (напр., вишневого цвета) до того ему нравились, что он просил меня остаться в нем на весь вечер.

Федор Михайлович заставлял меня примерять и мои шляпы и находил, что они мне чрезвычайно идут. Он всегда старался сказать мне что-либо доброе и приятное и тем меня порадовать. Сколько истинной доброты, сколько нежности было в его любящем сердце!

XVII

Быстро промчалось время до рождества. Федор Михайлович, последние годы почти всегда проводивший праздники в семье любимой сестры, В. М. Ивановой, решил и на этот раз поехать в Москву. Главною целью поездки было, конечно, намерение предложить Каткову свой новый роман и получить деньги, необходимые для нашей свадьбы.

Последние дни перед отъездом Федор Михайлович был очень грустен: он успел полюбить меня и ему тяжело было со мною расставаться. Я также была очень опечалена, и мне почему-то представлялось, что я его более не увижу. Я бодрилась и скрывала свою печаль,

чтобы его еще более не расстроить. Особенно грустен он был на вокзале, когда я приехала его проводить. Он очень нежно смотрел на меня, крепко пожимая мне руку, и все повторял:

— Еду в Москву с большими надеждами, а как-то мы свидимся, дорогая моя Анечка, как-то мы свидимся?!

Его тяжелое настроение особенно усилилось благодаря нелепой выходке Павла Александровича, также приехавшего на вокзал вместе с племянниками Федора Михайловича. Все мы вошли в вагон посмотреть, как поместился Федор Михайлович, и Павел Александрович, желая выразить свою заботу об «отце», вдруг громко сказал:

— Папа́, не вздумайте лечь на верхнюю постель! Как раз вас хватит падучая, свалитесь на пол, тогда и костей ваших не соберешь!

Можно представить, какое впечатление произвели эти слова на Федора Михайловича, на нас и на всю окружавшую нас публику. Одна из пассажирок, должно быть, дама нервная, минуту спустя попросила проходившего через вагон носильщика перенести ее вещи в дамское отделение, так как «здесь, кажется, будут курить». (Вагон был для некурящих.)

Вся эта история чрезвычайно расстроила Федора Михайловича, не любившего говорить в публике о своей страшной болезни. Да и мы, провожавшие, были сконфужены, не знали, что говорить, и очень обрадовались, когда раздался второй звонок и пришлось уйти из вагона. Возмущенная выходкой Павла Александровича, я не удержалась и сказала:

— Зачем вы рассердили бедного Федора Михайловича?

— А очень мне нужно, рассердился он или нет,— отвечал Павел Александрович,— я забочусь о его здоровье, и за то́ он должен благодарить!

В таком роде были всегда «заботы» Павла Александровича и, конечно, не могли не раздражать его отчима.

Из Москвы Федор Михайлович прислал мне два милых письма, очень меня обрадовавших[36]. Я перечитывала их десятки раз и с нетерпением ждала его возвращения.

Федор Михайлович пробыл в Москве двенадцать дней и успешно окончил переговоры с редакцией «Русского вестника». Катков, узнав о намерении Федора Михайловича жениться, горячо поздравил его и пожелал ему счастия. Просимые же, в виде аванса, две тысячи обещал выдать в два-три срока в течение наступавшего января. Таким образом явилась возможность устроить свадьбу до великого поста.

Присланные из Москвы семьсот рублей были как-то мигом розданы родным и кредиторам. Федор Михайлович каждый вечер с ужасом говорил, что деньги у него «тают». Это начало меня беспокоить, и когда получились вторые семьсот рублей, то я стала просить хоть что-нибудь отложить на свадебные издержки.

С карандашом в руке Федор Михайлович вычислил все расходы по церкви и устройству приема после венчания. (Он наотрез отказался, чтобы моя мать взяла расходы на себя.) Вышло рублей около четырехсот или пятисот. Но как сохранить их, когда ежедневно появляются все новые и новые нужды у его многочисленной родни?

— Знаешь, Аня, сохрани мне их,— сказал Федор Михайлович, радуясь удобной отговорке пред родными, когда те станут просить денег, и на другой же день привез мне пятьсот рублей. Передавая деньги, он комически-торжественно сказал:

— Ну, Аня, держи их крепко, от них зависит наша будущая судьба!

Как ни спешили мы со свадьбой, но не могли устроить ее ранее половины февраля. Надо было найти новую квартиру, так как прежних четырех комнат было для нас мало. Прежнюю квартиру Федор Михайлович уступил Эмилии Федоровне и ее семье, обязавшись уплачивать за нее пятьдесят рублей в месяц. Выгоды этой квартиры состояли в том, что хозяин дома, богатый купец Алонкин, очень почитал Федора Михайловича, как «великого трудолюбца», как он про него выражался *, и никогда не беспокоил напоминанием о квартирной плате, зная, что, когда будут деньги, Фе-

* «Я к заутрене иду, а у него в кабинете огонь светится,— значит, трудится»,— говаривал он.

дор Михайлович сам их принесет. И Федор Михайлович любил беседовать с почтенным стариком *.

Для нас Федор Михайлович нашел квартиру на Вознесенском проспекте в доме Толя (ныне № 27), прямо против церкви Вознесения. Вход был внутри двора, а окна квартиры выходили на Вознесенский переулок. Квартира была во втором этаже и состояла из пяти больших комнат: гостиной, кабинета, столовой, спальни и комнаты для Павла Александровича. Пришлось выждать, пока отделают квартиру, затем перевезти вещи Федора Михайловича, мою обстановку и пр. и пр. Когда все было готово, мы назначили свадьбу на среду пред масленой, 15 февраля, и разослали приглашения друзьям и знакомым.

XVIII

Накануне свадьбы я зашла днем к Федору Михайловичу повидаться и сообщить, что в семь часов приедет к нему моя сестра, Мария Григорьевна Сватковская, чтобы разложить по местам все мои вещи, присланные в сундуках, ящиках и картонках, и выложить разные хозяйственные вещи, необходимые для завтрашнего приема гостей. Федор Михайлович, как рассказывала потом сестра, принял ее чрезвычайно радушно, помогал ей отворять сундуки и раскладывать вещи, угощал и совершенно ее очаровал, и она не могла не согласиться с моим мнением, что мой будущий муж удивительно милый и задушевный человек.

Я же решила провести этот вечер наедине с моею матерью. Мне от всего сердца было жаль бедную маму: она всю жизнь прожила, окруженная семьей; теперь же отец скончался, брат уехал в Москву, и я тоже ухожу из ее дома. Она всех нас очень любила, жили мы с нею дружно, и я понимала, как ей грустно будет остаться одной.

Мы весь вечер вспоминали, как хорошо нам с нею жилось. Я попросила маму теперь, когда мы с нею одни, благословить меня на новую жизнь. На примере

* С его внешности, по моему мнению, Федором Михайловичем нарисован купец Самсонов, покровитель Грушеньки в «Братьях Карамазовых».

моих подруг я заметила, что благословение невесты пред отъездом в церковь, при свидетелях и в свадебной суматохе, бывает подчас более официальным, чем сердечным. Мама благословила меня, и мы с нею много плакали. Зато дали друг другу слово не плакать завтра при расставании, так как мне не хотелось приезжать в церковь с распухшим от слез лицом и покрасневшими глазами.

Пятнадцатого февраля я встала чуть свет и отправилась в Смольный монастырь к ранней обедне, а по окончании ее зашла к своему духовнику, протоиерею о. Филиппу Сперанскому, попросить его благословения. Отец Филипп, знавший меня с детства, благословил меня и пожелал мне счастия. От него я поехала помолиться на могилу моего отца на Большом Охтенском кладбище.

День прошел быстро, и к пяти часам я была уже причесана и одета в подвенечное платье, из белого муара с длинным шлейфом. Как прическа, так и платье были мне к лицу, и я была этим очень довольна.

Свадьба была назначена в семь часов, а к шести за мною должен был приехать племянник Федора Михайловича — Федор Михайлович младший, которого мой жених выбрал своим шафером.

К шести часам собрались мои родные, все было готово, но шафер не приезжал, не привозили и сына П. М. Ольхина,— мальчика, который должен был нести предо мною образ. Я уже начинала сильно беспокоиться; мне представилось, что Федор Михайлович заболел, и я жалела, что не послала днем узнать о его здоровье.

Наконец, уже в семь часов, Федор Михайлович младший поспешно вошел в комнату и заторопил меня:

— Анна Григорьевна, вы готовы, поедемте! Ради бога, поедемте скорее! Дядя уже в церкви и страшно беспокоится, приедете ли вы? Мы до вас ехали более часу, да назад придется ехать не менее. Подумайте, как измучается за эти два часа Федор Михайлович!

— Но ведь мальчика еще не привезли,— сказала я.

— Поедемте без мальчика, только бы поскорее успокоить Федора Михайловича.

Меня благословили, мы с мамой обнялись, и меня закутали в шубу. В последнюю минуту появился и хорошенький мальчик Костя, одетый в красивый русский костюм.

Мы вышли. На лестнице стояло много народу. Все жильцы наших домов пришли меня проводить. Одни целовали меня, другие жали руку, все громко желали счастия, а сверху кто-то сыпал на меня хмель, обещавший, по примете, мне «жить богато». Я была очень тронута такими сердечными проводами. Мы сели в карету и быстро поехали. Только через несколько минут мы с сестрой заметили, что маленький Костя сидит без шубы и шапочки. Мы испугались, что мальчик простудится. Я прикрыла его своим широким салопом, и он немного погодя крепко уснул.

Подъехали к Измайловскому собору. Шафер завернул сонного Костю с головою в свою теплую шинель и понес его по высокой лестнице в церковь. Я же, с помощью лакея, вышла из кареты и, закрыв фатою образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал:

— Наконец-то я тебя дождался! Теперь уж ты от меня не уйдешь!

Я хотела ответить, что и не предполагала уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою. Началось венчание.

Церковь была ярко освещена, пел прекрасный хор певчих, собралось много нарядных гостей, но обо всем этом я узнала уже потом, из рассказов; до половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Только после причащения голова моя прояснилась, и я начала горячо молиться. После венчания и благодарственного молебна начались поздравления. Потом муж мой повел меня расписываться в какой-то книге.

На этот раз «мальчика с образом» одели, и мы отправились на нашу новую квартиру. Костя по дороге не заснул, но, злодей, потом рассказывал, что «дядя и тетя дорогой все целовались».

Когда мы приехали, все гости были уже в сборе. Мама и мой посаженый отец торжественно нас бла-

гословили. Начались поздравления с бокалами шампанского. Все, присутствовавшие на венчании и меня не знавшие, очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, пред ними явилась румяная, жизнерадостная и сияющая счастьем «молодая». Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил:

— Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня — чудесный человек! У нее золотое сердечко! — и прочие похвалы, которые меня страшно конфузили. Затем представил меня дамам и очень был доволен, что я каждой сумела сказать что-нибудь любезное и им, видимо, понравилась.

В свою очередь я подводила мужа к своим друзьям и родным и была счастлива, замечая то чарующее впечатление, которое он на них производил.

Федор Михайлович любил широко угощать, а потому шампанского, конфект и фруктов было в изобилии.

Только в двенадцатом часу гости разъехались, и мы долго сидели вдвоем, вспоминая подробности этого чудного для нас дня.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

I

1867 ГОД

Недели через две после свадьбы кто-то из знакомых сообщил нам, что в «Сыне отечества» (№ 34, февраль 1867 г.) появилась статья о Федоре Михайловиче под названием «Женитьба романиста». Мы достали этот № газеты и прочли следующее сообщение:

«Петербургский корреспондент газеты «Nord» пишет: «У нас много говорят об одной женитьбе в нашем литературном мире, которая устроилась доволь-

но странным образом. Один из самых известных наших романистов, немного рассеянный и не отличающийся большой аккуратностью в исполнении обязательств, заключаемых им с издателями его сочинений, вспомнил в конце ноября, что к 1 декабря он должен написать роман, по крайней мере, в двести страниц, а в противном случае подвергнется платежу значительной неустойки. Что тут было делать? Правда, сюжет был уже найден, главные сцены выдуманы, но при всем том не написано ни одной строки, а до рокового срока оставалась одна лишь неделя. По совету одного из друзей, наш автор, чтобы облегчить свой труд, пригласил к себе стенографа и стал диктовать ему свой роман, шагая взад и вперед по своему кабинету и беспрестанно расправляя свои длинные волосы, как бы в надежде выжать из них новые мысли. Я забыл вам сказать, что стенограф, приглашенный автором, была девица, пропитанная насквозь современными идеями, хотя не нигилистка, и умевшая составить себе независимое положение своими трудами. Мучаясь над приискиванием новых мыслей, г. Х. (мы обозначим этой буквой фамилию романиста) почти не заметил, что его сотрудница была молода и замечательно хороша собой. Первые дни работа шла как нельзя лучше, но по мере приближения к развязке стали возникать затруднения. Герой романа был вдовец, уже не молодых лет и не красавец, и влюблен в молодую хорошенькую женщину.

Надобно было кончить роман какой-нибудь естественной развязкой, без самоубийства и пошлых сцен. Мысли не шли на ум автору, его длинные волосы уже начинали значительно страдать от этого, а между тем для окончания романа оставалось только два дня. Он уже стал было приходить к убеждению, что лучше заплатить неустойку, как вдруг его сотрудница, до тех пор исполнявшая молча обязанности стенографа, решила посоветовать романисту довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь.

— Но это совершенно неестественно!— воскликнул автор,— подумайте только, что герой — старый холостяк, подобный мне, а героиня — во всем блеске красоты и молодости... как вы, например.

На это стенографша возразила, что мужчина пленяет женщину не наружностью своею, а умом, талан-

том и проч и проч. В конце концов предложенная ею развязка была принята, и роман окончен к сроку. В последний день этих занятий г. X. попросил, немного взволнованным голосом, дозволения прийти к прекрасной стенографше, чтобы благодарить ее. Она согласилась.

— Так я приду к вам завтра?—сказал X.

— Нет, если можно, то приходите послезавтра,— отвечала она. Романист явился в назначенное время и после второй чашки кофе рискнул объясниться в любви. Объяснение было принято благосклонно.—Зачем же,—спросил г. X.,— вы не пожелали принять меня вчера? Вы и осчастливили бы меня одним днем раньше.

— Потому,—отвечала ему, краснея, стенографша,—что вчера я ждала к себе подругу, которая гораздо лучше меня, и боялась, чтобы она не заставила вас переменить намерение.—Романист был приведен в восторг этим наивным признанием, доказавшим ему, что его действительно любят.

Не подумайте, впрочем, чтобы этот роман кончился развязкой, которую в России называют *гражданским браком*. Напротив, эта чета была обвенчана на днях в местной приходской церкви».

Мы с мужем очень посмеялись над этой статейкой, и Федор Михайлович выразил мысль, что, судя по пошловатому тону рассказа, дело не обошлось, без А. П. Милюкова, хорошо знавшего привычки мужа [37]. (Диктуя, Федор Михайлович действительно любил прохаживаться по комнате, а в затруднительных случаях теребил свои длинные волосы.)

II

Время до великого поста прошло в какой-то веселой суматохе: мы делали «свадебные визиты» как к моим родным, так и к родным и знакомым Федора Михайловича. Родные приглашали нас на обеды и вечера да и везде поздравляли «молодых» шампанским. Таково было обыкновение в те времена, и мне кажется, за всю остальную жизнь я не выпила столько бокалов шампанского, как в эти десять дней. Подобные поздравления имели печальное последствие и причинили

мне *первое* тяжкое горе в моей брачной жизни. Именно: с Федором Михайловичем случились в один и тот же день два припадка эпилепсии, и, что поразительно, случились не ночью, во сне, как почти всегда бывало, а днем, наяву. Вот как это произошло.

В последний день масленицы мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали (тоже с шампанским, как и давеча), гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за нею.

Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул с горевшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому: сестра моя была в истерике, и зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но,

к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное! Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь «молодых» обедов и вечеров. Вино чрезвычайно вредно действовало на Федора Михайловича, и он никогда его не пил.

Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!

Но, слава богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. «Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого,— таково мое настроение»,— так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием.

В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш «медовый месяц» с грустным и досадным чувством.

Чтобы было понятнее, я опишу строй новой для меня жизни: Федор Михайлович, привыкший работать по ночам, не мог рано уснуть и читал ночью, а потому поздно вставал. Я же к девяти часам была готова и шла с кухаркой на Сенную за покупками.

Надо правду сказать, выходя замуж, я была преплохою хозяйкой. Семь лет гимназии, высшие, а затем стенографические курсы,— когда же было научиться хозяйству? Но, сделавшись женою Федора Михайловича и зная его материальные средства, я дала слово и себе и ему, что научусь хозяйничать, и, смеясь, уверяла, что сама буду ему печь пироги, которые он так любил. Я даже уговорила его нанять «дорогую», по тогдашним ценам, кухарку, в двенадцать рублей, чтобы поучиться у ней кулинарному искусству.

Возвращаясь к одиннадцати часам, я почти всегда заставала у себя Катю Достоевскую, племянницу Федора Михайловича. Это была прехорошенькая девочка лет пятнадцати, с прекрасными черными глазами и двумя длинными белокурыми косами за спиной. Ее мать, Эмилия Федоровна, несколько раз говорила мне, что Катя меня полюбила, и выражала желание, чтоб я имела на нее влияние. На столь лестный для меня отзыв я могла ответить только приглашением бывать у меня как можно чаще. Так как у Кати не было постоянных занятий и дома было скучно, то она и приходила к нам прямо с утренней прогулки: это ей было тем удобнее, что жили они от нас в пяти минутах расстояния. К двенадцати часам к Павлу Александровичу приходил Миша Достоевский, племянник Федора Михайловича, семнадцатилетний юноша, тогда изучавший игру на скрипке и по дороге из консерватории домой заходивший к нам. Конечно, я оставляла его завтракать. Заглядывал к нам часто и Федор Михайлович младший, превосходный пианист. С двух часов начинали приходить друзья и знакомые Федора Михайловича. Они знали, что у него теперь нет срочной работы, а потому считали возможным чаще его навещать. К обеду часто являлась Эмилия Федоровна, приходил брат Николай Михайлович, приезжала сестра Александра Михайловна Голеновская и ее добрый муж Николай Иванович. Обедавшие обыкновенно оставались весь вечер до десяти — одиннадцати часов. Таков был порядок изо дня в день, и чужие и родные у нас не переводились.

Я сама выросла в патриархальной и гостеприимной семье, но гости у нас бывали по воскресеньям и праздничным дням, а это наступившее «сплошное» гостепри-

имство, когда я с утра до вечера должна была «угощать» и «занимать», было для меня очень тягостно, тем более, что молодые Достоевские и пасынок не подходили ко мне ни по летам[38], ни по моим тогдашним стремлениям. Напротив того, чрезвычайно занимательны были для меня друзья и литераторы, знакомые Федора Михайловича: Майков, Аверкиев, Страхов, Милюков, Долгомостьев[39] и другие. Литературный мир был мне доселе неизвестен, и я им страшно интересовалась: так хотелось поговорить с ними, поспорить, может быть, а главное, послушать, послушать... К сожалению, это удовольствие мне редко доставалось: видя скучающие лица наших молодых людей, Федор Михайлович шептал мне: «Голубчик, Анечка, ты видишь, им скучно, уведи их, займи их чем-нибудь». И я придумывала предлог, чтобы их увести, и, скрепя сердце, принималась их «занимать».

Раздражало меня и то, что благодаря постоянному присутствию гостей, я не имела времени заняться любимыми работами, и это было для меня большим лишением; с досадой вспоминала я, что за целый месяц не прочла ни одной книги, не занималась регулярно стенографией, которую я хотела изучить до тонкости.

Но всего обиднее для меня было то, что из-за постоянных гостей совершенно не находилось времени, чтобы мне побыть одной с моим дорогим мужем. Если в течение дня мне удавалось урвать минутку и прийти к нему в кабинет посидеть, то тотчас кто-нибудь входил или меня вызывали по хозяйственным делам. О столь ценимых нами вечерних беседах нам приходилось забыть, потому что к вечеру от бестолково проведенного дня, множества посещений и разговоров и Федор Михайлович и я чрезвычайно уставали, и меня тянуло заснуть, а Федора Михайловича — к интересной книге, за которой можно было отдохнуть.

III

ДОМАШНИЕ ВРАГИ

Но возможно, что со временем я и примирилась бы со строем нашей жизни и отвоевала бы себе некоторую свободу и время для любимых занятий, если бы

не присоединились неприятности со стороны родственников Федора Михайловича. Невестка его, Эмилия Федоровна Достоевская, была добрая, но недалекая женщина. Видя, что после смерти ее мужа Федор Михайлович принял на себя заботы о ней и о ее семье, она сочла это его обязанностью и была очень поражена, узнав, что Федор Михайлович хочет жениться. Отсюда ее неприязненный тон ко мне, когда я была невестой. Но когда свадьба наша состоялась, Эмилия Федоровна примирилась с совершившимся фактом, и обращение ее со мной стало любезнее, особенно, когда она увидела, что я так внимательна к ее детям. Бывая у нас почти ежедневно и считая себя отличной хозяйкой, она постоянно давала мне советы по хозяйству. Возможно, что это происходило от доброты душевной и желания принести мне пользу, но так как ее наставления делались всегда при Федоре Михайловиче, то мне было не совсем приятно, что в глазах его так настойчиво выставлялись моя нехозяйственность и небережливость. Но еще неприятнее для меня было то, что она постоянно ставила мне в пример во всем первую жену Федора Михайловича, что было довольно бестактно с ее стороны.

Но если постоянные наставления и слегка покровительственный тон Эмилии Федоровны были для меня неприятны, то уж совсем нестерпимыми казались мне те дерзости и грубости, которые позволял себе в отношении меня Павел Александрович.

Выходя замуж, я, конечно, знала, что пасынок Федора Михайловича будет жить с нами. Кроме того, что средств не хватало на его отдельное житье, Федору Михайловичу хотелось иметь на него влияние, пока не установится его характер. По молодости лет, мне не представлялось неприятным это пребывание совсем чужого для меня человека в новой моей семье. К тому же я думала, что Федор Михайлович любит своего пасынка, привык к нему и что для него тяжело будет с ним расстаться, а потому и не хотела настаивать на отдельном его житье. Напротив, мне казалось, что присутствие моего сверстника * только оживит

* Павел Александрович был на несколько месяцев меня моложе.

дом, что он ознакомит меня с привычками Федора Михайловича (многое из них было мне неизвестно), и таким образом мне придется не очень нарушить привычную для него жизнь.

Не скажу, чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он *никогда* не умел понимать своего положения. Привыкнув с детства видеть от всех родных и друзей Федора Михайловича доброту и любезность, он принимал это как должное и никогда не понимал, что это дружелюбное к нему отношение проявляется не столько ради его самого, сколько ради Федора Михайловича. Вместо того чтобы ценить и заслужить любовь расположенных к нему лиц, он поступал так необдуманно, относился ко всем так небрежно и свысока, что только огорчал и раздражал этим людей *. Особенно много неприятностей перенес от Павла Александровича (ради Федора Михайловича, конечно) глубокоуважаемый Аполлон Николаевич Майков, старавшийся в хорошую сторону направить его мысли и поступки, но, к сожалению, безуспешно.

---

* Приведу характеризующий Павла Александровича случай. Когда мы вернулись из-за границы, Павел Александрович стал просить Федора Михайловича устроить его на службу в Волжско-Камский банк. Федор Михайлович просил об этом Евг. Ив. Ламанского, и Павел Александрович получил место сначала в Петербурге, а потом в Москве. Здесь он многим в банке наговорил о том, что его «отец» Достоевский дружен с Ламанским и что вообще у него большие связи. Как-то Ламанскому, проездом через Москву, случилось посетить Волжско-Камский банк. Как управляющий Государственным банком, Е. И. Ламанский представлял собою большую финансовую силу, и его торжественно встретили в банке. Узнав о его приезде, Павел Александрович отправился в зало, где собрались директора, подошел к Ламанскому, протянул ему руку и произнес: «Здравствуйте, Евгений Иванович, как поживаете? Вы меня, кажется, не узнали? Я — сын Достоевского. Вы ме́ня видали у папа́».— «Извините, я вас не узнал, вы очень изменились»,— ответил Ламанский. «Дело к старости идет,— рассмеялся Павел Александрович,— да и вы, батенька, изменились порядочно!» — и при этом самым любезным образом похлопал Ламанского по плечу. Ламанский покоробился, но, как вежливый человек, спросил, как здоровье Федора Михайловича. «Ничего, скрипит себе старикашка!» — ответил Павел Александрович. Тут уж Ламанский не выдержал и отвернулся. Можно себе представить, как этот бесцеремонный поступок Павла Александровича повлиял на мнение его начальства.

Точно так же небрежно и свысока относился он и к своему отчиму, хотя постоянно называл его «отцом», а себя «сыном» Достоевского. Сыном Федора Михайловича он не мог быть потому, что родился в 1845 году[40] в Астрахани, а Федор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга[41].

Живя с двенадцати лет у Федора Михайловича и видя его к себе доброту, Павел Александрович был глубоко убежден, что «отец» должен жить исключительно для него, для него же работать и доставлять деньги; сам же он не только не помогал Федору Михайловичу в чем-либо и не облегчал ему жизнь, но, напротив, своими необдуманными поступками и легкомысленным поведением часто его очень раздражал и даже доводил, как говорили близкие, до припадка. Самого Федора Михайловича Павел Александрович считал «отжившим стариком», и его желание личного счастья казалось ему «нелепостью», о чем он открыто говорил родным. На меня у Павла Александровича сложился взгляд как на узурпатора, как на женщину, которая насильно вошла в их семью, где доселе он был полным хозяином, так как Федор Михайлович, будучи занят литературной работой, конечно, не мог заниматься хозяйством. При таком взгляде понятна злоба его на меня. Не имея возможности помешать нашему браку, Павел Александрович решил сделать его для меня невыносимым. Весьма возможно, что всегдашними своими неприятностями, ссорами и наговорами на меня Федору Михайловичу он рассчитывал поссорить нас и заставить нас разойтись. Неприятности со стороны Павла Александровича были небольшие каждая сама по себе, но они были бесчисленны, и так как я знала, что они делаются с намерением меня рассердить и оскорбить, то я, конечно, не могла не обращать внимания и не раздражаться. Например, Павел Александрович взял привычку каждое утро посылать куда-нибудь горничную: то купить папирос, то доставить письмо приятелю и дождаться от-

---

* Эта Федосья была страшно запуганная женщина. Она была вдовою писаря, допившегося до белой горячки и без жалости ее колотившего. После его смерти она осталась с тремя детьми

вета, то отнести портному и т. п., и почему-то приходилось посылать очень далеко от нашей квартиры, так что бедная Федосья * хоть и была легка на ногу, но опаздывала к вставанию Федора Михайловича и не успевала убрать его кабинет. Федор Михайлович был чрезвычайный любитель чистоты и порядка, а потому сердился, если находил кабинет неприбранным. Делать нечего, приходилось мне самой брать щетку и убирать его кабинет. Застав меня раз за этим занятием, Федор Михайлович сделал мне реприманд, сказав, что это дело Федосьи, а не мое. Когда Федосья отказывалась идти куда-нибудь далеко по делу Павла Александровича, говоря, что ей надо убрать комнаты, иначе, пожалуй, «забранит барыня», то он ей говорил, не стесняясь тем, что я сижу в соседней комнате:

— Федосья! Кто здесь хозяин: я или Анна Григорьевна? Ты понимаешь? Ну, так отправляйся, куда посылают!

На мелкие каверзы Павел Александрович был неистощим: то выпьет сливки пред выходом Федора Михайловича в столовую, и приходится покупать их на скорую руку в лавочке и, конечно, плохие, а Федору Михайловичу — ждать своего кофе. То пред самым обедом съест рябчика, и вместо трех подается два, и их не хватает. То во всем доме исчезнут спички, хотя вчера еще было несколько коробок. Все эти недочеты страшно раздражали Федора Михайловича, и он кричал на Федосью, а Павел Александрович, наделавший эти беспорядки, пожимал плечами и говорил: «Ну,

---

в страшной нищете. Кто-то из родных рассказал об этом Федору Михайловичу, и тот взял ее в прислуги со всеми ее детьми: старшему было одиннадцать лет, девочке — семь, а младшему — пять. Федосья со слезами на глазах рассказывала мне, еще невесте, какой добрый Федор Михайлович. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и заслышав, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит. Эти заботы о ее детях и я видела, когда мы поженились. Так как Федосье несколько раз случалось видеть припадки Федора Михайловича, то она страшно боялась и припадков, и его самого. Впрочем, она всех боялась: и Павла Александровича, на нее кричавшего, и, кажется, даже меня, которую никто не боялся. У Федосьи, когда она выходила на улицу, всегда был зеленый драдедамовый платок, тот самый, который упоминается в романе «Преступление и наказание», как общий платок семьи Мармеладовых.

папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было!» Выходило так, что виновата в них я, вернее, моя бесхозяйственность.

У Павла Александровича была своя тактика: в присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен: передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее роняла, и пр. и пр. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента и в особенности мое (с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной он обходился запанибрата) благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются.

Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяйничания и уверял, что прежде все было в порядке. То говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас «общие». То он изображал из себя жертву семейного деспотизма: он начинал разговор о тяжелом положении «сироты», который до сей поры жил счастливо в семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек (это я-то, жена?) вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать «сына», делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодующий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на «отца» и т. д. и т. д. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его на смех, но этим и ограничивалась их защита.

Чтобы не уступить мне своего влияния на «отца», Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета, слегка сконфуженный, говоря, что «отец» занят и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвра-

щался с торжествующим видом и тотчас начинал что-нибудь приказывать трепещущей Федосье. Мне же, после этих бесед, Федор Михайлович всегда говорил: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша!» Когда я спрашивала, чем же я обидела «Пашу» и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что «это такие все пустяки, что слушать их — уши вянут», но что он просит моего снисхождения к «Паше».

Меня иногда спрашивали: неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, видя его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу,— я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место? Да, молчала и не умела! Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло двадцать лет, но в житейском отношении я была совершенный ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня, но я, на первых порах, не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. Да, кроме того, у Павла Александровича была особая манера: наговорить мне неприятностей и тотчас удалиться, не дав мне возможности ему возразить, а когда он опять появится, то я успею успокоиться, и мне не хочется начинать ссоры. К тому же я по характеру человек миролюбивый, и ссоры для меня всегда тяжелы. Да и что я могла предпринять: жаловаться на него Федору Михайловичу? Но и без того Павел Александрович постоянно на меня жаловался, а тут я примусь жаловаться на пасынка,— во что бы обратилась тогда жизнь моего любимого мужа? Мне же хотелось беречь его покой, хотя бы самой было тяжело. Впрочем, мне была понятна досада Павла Александровича на перемену его привольной жизни, но мне представлялось, что ему надоест делать мне неприятности и что он поймет всю неделикатность его отношения ко мне, а если сам не поймет, то ему укажут на это родные Федора Михайловича.

И вот в таких-то неблагоприятных условиях проходили первые недели нашей брачной жизни: грубость

и дерзости Павла Александровича, наставления Эмилии Федоровны, постоянное надоедливое присутствие неинтересных для меня лиц, мешавших мне быть с моим мужем, вечное беспокойство по поводу наших запутанных дел. Даже какая-то отчужденность, как мне казалось, от меня самого Федора Михайловича, зависевшая от обстановки нашей жизни,— все это страшно меня угнетало и мучило, и я спрашивала себя, чем же все это может кончиться? Припоминая мой тогдашний характер, я вижу, что могло кончиться катастрофой. В самом деле, я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что <он> для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье — овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность.

Благодаря окружавшей обстановке для меня мало-помалу наступало время недоразумений и сомнений. То мне казалось, что Федор Михайлович уже меня разлюбил, что он понял, до чего я пуста, глупа и ни в чем не подхожу к нему, и, пожалуй, раскаивается в том, что женился на мне, но не знает, как поправить сделанную ошибку. Хоть я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него, если б я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела.

То я с искреннею грустью замечала, что я негодую на Федора Михайловича, зачем он, «великий серд-

цевед», не видит, как мне тяжело живется, не старается облегчить мою жизнь, а навязывает мне своих скучных родных и защищает столь неприязненно относящегося ко мне Павла Александровича.

То я грустила о том, что прошли те чудесные, полные очарования вечера, которые мы с ним проводили до свадьбы, что не осуществилась и, по-видимому, не может осуществиться та счастливая жизнь, о которой мы с ним мечтали.

Подчас мелькало сожаление о прежней моей тихой домашней жизни, где у меня не было горя и не приходилось грустить или раздражаться. Словом, много самых детских опасений и искренних печалей волновали меня; много неразрешимых сомнений представлялись моему еще незрелому уму. Ни правильных воззрений на жизнь, ни установившегося характера у меня еще не было, и это грозило бедой. Я могла не выдержать домашних неприятностей, вспылить, раздражить Федора Михайловича неосновательными упреками и подозрениями и вызвать вспышку и с его стороны. Могла произойти серьезная ссора, после которой я, столь гордая, конечно, не осталась бы у Федора Михайловича. Надо припомнить, что я принадлежала к поколению шестидесятых годов и независимость, как и все тогда женщины, ценила выше всего. Сама сделать шаг к примирению я навряд ли бы решилась, несмотря на всю мою любовь к Федору Михайловичу. Я была еще детски тщеславна и не захотела бы выносить насмешек над собою Павла Александровича за принесенную мною повинную. Возможно, что и Федор Михайлович не захотел бы сделать первого шага к нашему примирению: навряд ли он меня тогда любил так сильно, как любил впоследствии. Его оскорбленная гордость, собственное достоинство, а отчасти и наговоры Павла Александровича могли на первых порах отклонить его от примирения. Недоразумения между нами, конечно, возрастали бы, и примирение оказалось бы невозможным. Вспоминая об этом времени, я с ужасом думаю, что могло бы произойти: ведь Федор Михайлович не мог со мной развестись, так как в те времена развод стоил громадных денег. Таким образом, Федору Михайловичу не пришлось бы устроить счастливо свою дальнейшую жизнь и иметь

семью, детей, как он о том мечтал всю свою жизнь. Несчастною была бы и моя дальнейшая жизнь: слишком много упований на счастье было возложено мною на союз с Федором Михайловичем и так горько было бы мне, если бы эта золотая мечта не осуществилась!

IV
ИЗБАВЛЕНИЕ

Но судьбе не угодно было лишить нас того громадного счастья, которым мы с Федором Михайловичем пользовались дальнейшие четырнадцать лет. Как теперь помню тот день, вторник на пятой неделе великого поста, когда в жизни нашей, неожиданно для меня, наступил поворот в благоприятную сторону. День этот начался обычными неприятностями: обнаружился какой-то пробел в моем хозяйстве, коварно устроенный Павлом Александровичем (чуть ли не исчезли карандаши или спички во всем доме), и Федор Михайлович сердился и кричал на бедную Федосью. Приходили столь наскучившие мне гости, и мне приходилось «угощать» и «занимать» их; Павел Александрович, по обыкновению, говорил мне дерзости. Федор Михайлович был особенно задумчив и уныл и почти со мною не разговаривал, что меня очень огорчало.

Вечером этого дня мы были званы к Майковым провести вечер. Зная это, наши гости ушли тотчас после обеда. Но от неприятностей целого дня у меня сильно разболелась голова и были так натянуты нервы, что я боялась, придя к Майковым, расплакаться, если речь зайдет о нашей семейной жизни. Поэтому я решила остаться дома. Федор Михайлович попробовал меня уговорить и, кажется, был недоволен моим отказом. Не успел Федор Михайлович уйти из дому, как явился ко мне Павел Александрович с упреками, что я своими капризами раздражаю его «отца». Объявил, что он не верит моей головной боли, а думает, что я не захотела пойти, чтобы рассердить Федора Михайловича. Говорил, что Федор Михайлович сделал «колоссальную глупость», женившись на мне, что я «плохая хозяйка» и много трачу «общих денег», и, в заключе-

ние, объявил, что, по его замечанию, за время нашего брака у Федора Михайловича усилились припадки и что в этом виновата я. Наговорив мне дерзостей, он тотчас же улетучился из дома.

Эта изумительная дерзость на этот раз была каплею, переполнившею сосуд. Еще никогда он меня не оскорблял таким жестоким образом, приписав моей вине даже усиление болезни. Я была обижена и огорчена до последней степени. Голова разболелась пуще, я бросилась в постель и стала горько плакать. Прошло, может быть, часа полтора, как возвратился Федор Михайлович. Оказывается, что, посидев у Майковых, он соскучился по мне и вернулся домой. Видя, что в доме темно, Федор Михайлович спросил Федосью, где я?

— Они в постели, плачут-с!— таинственно сообщила ему Федосья.

Федор Михайлович встревожился и спросил, что со мною? Я было хотела скрыть, но он так упрашивал сказать, говорил так дружелюбно, что мое сердце смягчилось, и я, плача и рыдая, стала ему рассказывать, как мне тяжело живется, как меня обижают у него в доме. Говорила, что вижу — он меня разлюбил, перестал со мною советоваться, как прежде, говорила, как я огорчена и страдаю от этого, и т. п. Редко когда я так плакала, и чем более утешал меня Федор Михайлович, тем обильнее лились мои слезы. Все, что томило мое сердце, все мои сомнения и недоумения были высказаны мною с самою полною откровенностью. Бедный мой муж слушал и смотрел на меня с величайшим изумлением. Оказалось, что, видя чрезвычайную предупредительность Павла Александровича ко мне, он вовсе не подозревал, что тот позволяет себе оскорблять меня. Федор Михайлович дружески стал упрекать меня, зачем я не была с ним откровенна, зачем не жаловалась на пасынка, зачем сразу не поставила себя так, чтоб он не смел говорить мне дерзости. Уверял меня в своей горячей любви и удивлялся, как могло прийти мне в голову, что он меня разлюбил. В заключение признался в свою очередь, что и ему наша теперешняя суматошная жизнь страшно тяжела. И прежде у него бывали его молодые родные, но редко, так как им у него было скучно; теперь же их частые

посещения он объясняет тем, что я с ними любезна и им у нас весело. Да и думалось ему, что молодое общество, веселые их разговоры и споры для меня самой интересны. Говорил Федор Михайлович, что сам тоскует о наших с ним прежних беседах и жалеет, что, благодаря постоянным гостям, эти беседы у нас не налаживаются. Говорил также, что последние дни был занят мыслью о поездке в Москву, а теперь, после нашего разговора, окончательно решил ее осуществить. «Поедем мы, разумеется, вместе,— говорил Федор Михайлович,— мне хочется показать тебя моей московской родне. И Верочка (сестра) и Соня (племянница) с моих слов тебя знают, и мне хотелось бы, чтобы вы взаимно узнали и полюбили друг друга. К тому же у меня явилась мысль сделать попытку попросить у Каткова еще аванс и на эти деньги съездить с тобой за границу. Помнишь, ведь это была наша с тобой мечта! А что, может, она и осуществится? К тому же я хотел поговорить с Катковым о моем новом романе. На письмах переговариваться трудно, то ли дело при личном свидании. А если и не удастся поехать за границу, то все-таки, вернувшись из Москвы, легче будет установить новый строй жизни, при которой не будет этой неприятной для нас обоих суматохи. Итак, в Москву! Согласна ты, Анечка?»

О моем согласии нечего было и спрашивать. Федор Михайлович был так нежен, добр, мил, как бывал женихом, и все мои страхи и сомнения в его любви разлетелись, как дым. Чуть ли не в первый раз после свадьбы нам пришлось просидеть весь вечер одним, в самых дружеских и задушевных разговорах. Решили не откладывать поездки и выехать завтра же.

На другой день родные, и особенно Павел Александрович, были неприятно поражены известием о нашем отъезде, но, зная, что у Федора Михайловича приходят к концу деньги, и полагая, что он за ними едет, нас не отговаривали. Павел Александрович на прощанье не поскупился на колкости и объявил, что «возьмет мое запущенное хозяйство в свои руки и приведет его в порядок». Я не обижалась и не противоречила: я была слишком рада возможности хоть на время избавиться от его преследований.

НАШ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

V
ПОЕЗДКА В МОСКВУ

В четверг на пятой неделе, рано утром, мы приехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, которую особенно любил Федор Михайлович. Устав с дороги, мы решили за дела в этот день не приниматься, а ехать навестить Ивановых. Визит этот очень меня смущал: из всех своих родных Федор Михайлович особенно любил сестру, Веру Михайловну Иванову, и всю ее семью. Еще в Петербурге он говорил мне, что был бы счастлив, если бы я понравилась Ивановым и подружилась с ними. Мне и самой этого хотелось, и я боялась, что первое впечатление будет не в мою пользу. Я особенно тщательно оделась, выбрав нарядное сиреневое платье и изящную шляпу. Федор Михайлович остался доволен моим туалетом и нашел, будто бы я сегодня хороша собой. Похвала, без сомнения, была сильно преувеличена, но мне понравилась и придала бодрости.

Ивановы жили в Межевом институте, и, чтобы к ним попасть, приходилось переезжать через весь город, сначала по Мясницкой, а затем по Покровке. Проезжая мимо церкви Успения божией матери (что на Покровке), Федор Михайлович сказал, что в следующий раз мы выйдем из саней и отойдем на некоторое расстояние, чтобы рассмотреть церковь во всей ее красе. Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть. Дня через два, проезжая мимо, мы осмотрели ее снаружи и побывали внутри.

Чем ближе подъезжали мы к Ивановым, тем беспокойнее становилось у меня на сердце. «Что, если я произведу невыгодное для меня впечатление?— с тревогой думала я,— как огорчит это Федора Михайловича!»

Отворивший нам слуга сказал, что Александра Павловича (мужа сестры) и Софьи Александровны (племянницы) нет дома, а Вере Михайловне сейчас о нас доложат.

Мы вошли в огромную залу, заставленную старинной мебелью красного дерева. Федор Михайлович взял со стола «Московские ведомости», а я принялась рассматривать тут же лежавший альбом с карточками. Вера Михайловна долго не выходила. Должно быть, она не сочла возможным выйти к незнакомой родственнице в капоте и стала переодеваться, что взяло немало времени. Прошло около получаса, как вдруг дверь в залу с шумом отворилась, и через комнату вихрем промчался мальчик лет десяти.

— Витя, Витя!— воскликнул Федор Михайлович, но мальчик не остановился, а, вбежав в следующую комнату, громко воскликнул:

— Молодая, расфранченная и без очков!

На него тотчас зашикали, и он замолчал. Федор Михайлович, зная обычаи семьи, сразу догадался, в чем дело.

— Не вытерпели!— смеясь, сказал он,— отправили Витю посмотреть, какова моя жена.

Наконец вышла Вера Михайловна и очень сердечно ко мне отнеслась. Обняв и поцеловав меня, она просила любить и беречь ее брата. Вышли также ее муж и старшая дочь Сонечка. Александр Павлович в официальных выражениях поздравил нас и пожелал счастья. Сонечка подала мне руку, мило улыбнулась, но была очень молчалива и очень ко мне приглядывалась.

Александр Павлович отворил дверь в соседнюю комнату и сказал:

— Дети, идите же поздравлять дядю и знакомиться с новою теткою.

Друг за другом стали выходить молодые Ивановы. Их было семь человек: Сонечка (20 лет), Машенька (19), Саша (17), Юленька (15), Витя и прочие дети. Все они очень дружелюбно приветствовали Федора Михайловича, но ко мне отнеслись холодно: раскланивались, приседали, а затем садились и принимались во все глаза меня рассматривать. Я тотчас чутьем поняла, что молодежь враждебно настроена против меня. Я не ошиблась: как потом оказалось, против меня создалась целая кабала. Все Ивановы очень любили свою тетку по отцу, Елену Павловну, муж которой уже много лет был безнадежно болен. В семье решили, что, по смерти его, Елена Павловна выйдет за Фе-

дора Михайловича, и он навсегда поселится в Москве. Федор Михайлович был любимым их дядей; не удивительно поэтому, что вся эта молодежь невзлюбила меня, разрушившую их заветные мечты. Не понравились им также похвалы Федора Михайловича, которые он расточал по моему адресу, приехав на рождество в Москву. Узнав, что я занимаюсь стенографией, молодежь решила, что я стара, нигилистка, стриженая и в очках. Услышав о нашем приезде, они условились меня высмеять, поставить на место и этим сразу доказать свою независимость. Увидав вместо старухи, ученой «нигилистки», молодую женщину, почти девочку, чуть перед ними не трепещущую, они изумились и не сводили с меня глаз. Такое усиленное внимание смутило меня. Привыкнув говорить просто, без затей, я теперь стала говорить литературнее, придумывая красивые фразы, и речь моя была очень неестественна. Я пробовала заговаривать с моими юными родственницами, мне отвечали: «Да, нет!» — и, видимо, не хотели поддерживать разговор.

Часов в пять сели обедать. Подали шампанское и стали нас поздравлять. Было шумно, но для меня не весело, хоть я и старалась быть оживленной, шутила, смеялась. После обеда дела мои пошли еще хуже. К Ивановым пришли несколько товарищей и подруг. Многие из них любили Федора Михайловича, жившего прошедшее лето в Люблине, под Москвою, на даче Ивановых[42], куда приезжали гостить все эти друзья молодых Ивановых. Всем им хотелось увидать жену Федора Михайловича. Затеялись petits-jeux *, очень замысловатые, требующие наблюдательности и остроумия. Остроумием особенно отличалась Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, подруга старших дочерей Веры Михайловны. То была девушка лет двадцати двух, некрасивая, но веселая, бойкая, находчивая, всегда готовая поднять человека на смех. (Семья Ивановых описана Федором Михайловичем в романе «Вечный муж», под именем семейства «Захлебининых». М. С. Иванчина очень рельефно выведена в виде бойкой подружки «Марьи Никитишны».)

Ей поручена была молодежью задача вывести меня из себя и поставить в смешное положение в глазах

* маленькие игры *(фр.)*.

моего мужа. Начали разыгрывать фанты. Каждый из играющих должен был составить (на словах, конечно) букет на разные случаи жизни: старику — в день восьмидесятилетия, барышне — на первый бал и др. Мне выпало составить букет полевых цветов. Никогда не живя в деревне, я знала только садовые цветы и назвала лишь мак, васильки, одуванчики и еще что-то, так что букет мой был единогласно и справедливо осужден Мне предложили составить другой, но, предвидя неудачу, я отказалась.

— Нет, уж увольте! — смеялась я, — я сама вижу, что у меня нет никакого вкуса.

— Мы в этом не сомневаемся, — ответила Мария Сергеевна, — вы так недавно блистательно это доказали!

И при этом она выразительно взглянула в сторону сидевшего рядом со мною и прислушивавшегося к нашим petits-jeux Федора Михайловича. Сказала она эти слова так ядовито и вместе с тем остроумно, что все расхохотались, не исключая меня и Федора Михайловича. Общий смех сломал лед недружелюбия, и вечер закончился приятнее, чем начался.

Возвращаясь домой, Федор Михайлович расспрашивал меня о моих впечатлениях. Я сказала, что мне очень понравились Вера Михайловна и Сонечка, а остальной семьи я еще не разглядела. Видя мой грустный вид, Федор Михайлович меня пожалел.

— Бедная моя Анечка! — говорил он, — они тебя совсем заклевали! Сама виновата — тебе следовало отпарировать удары, и они тотчас бы прикусили язычки! Надо быть смелее, друг мой! Сестре и Сонечке ты очень понравилась, да и весь день ты была такая прелестная, что я не мог на тебя налюбоваться!

Слова эти чрезвычайно меня утешили, и все же я долго не могла уснуть в ту ночь, то упрекая себя за неуменье жить на свете, то раздумывая, почему все эти милые девушки и юноши так враждебно ко мне отнеслись. Про разрушенные мною их надежды соединить вместе любимого дядю с любимой теткой я узнала лишь потом.

Ивановы звали нас приезжать к ним на целые дни, но на другой день, в пятницу, мы решили поехать только вечером. Днем Федор Михайлович ездил к Каткову,

но не застал его дома. Пообедали в гостинице и вечером отправились к Ивановым. Пятница была их журфиксом, и мы застали много гостей. Общество разделилось: старшие сели за карты в гостиной и кабинете, молодежь, я в том числе, осталась в зале. Стали играть в модную тогда стуколку. Рядом со мной поместился молодой человек, товарищ Саши Иванова. Видя, что он не заражен общим ко мне предубеждением, я принялась с ним болтать и смеяться, тем более, что он оказался остроумным и веселым юношей.

За стуколкой произошел смешной случай. В шестидесятых годах было мало серебряной мелочи, а больше ходили в обращении медные монеты. Ивановы послали разменять десять — двенадцать рублей, и всю сумму принесли тяжелыми пятаками. Среди играющих находилась барышня, лет сорока, одетая в ярко-розовое барежевое платье со множеством бантиков на голове, плечах и корсаже. После нескольких ставок она начала жаловаться на проигрыш. Жаловались и другие, и мы долго не могли догадаться, кто же из нас выигрывает? В одиннадцать часов нас позвали ужинать. Мы поднялись и вдруг услышали звон монет, сыпавшихся на пол, и крик розовой барышни: очевидно, карман ее не выдержал тяжести. Все мы бросились поднимать разлетевшиеся в разные стороны деньги, но барышня опустилась на пол, закрыв широким платьем свой выигрыш, и закричала:

— Нет, нет, не троньте! Я сама все соберу!

Вид ее был столь комичен, ее испуг, что мы возьмем себе ее пятаки, был так нелеп, что мы все от души хохотали, а я, кажется, более всех.

Федор Михайлович, игравший в преферанс в кабинете, часто выходил посмотреть на нас, и мне почудилось, что он становится все серьезнее и печальнее. Я приписала это усталости. Ужинала я рядом с моим партнером в стуколке, а Федор Михайлович поместился напротив, не сводя с меня глаз и стараясь прислушаться к нашей беседе. Мне было очень весело. Я заговаривала несколько раз с мужем, желая втянуть его в наш разговор, но мне это не удалось.

Тотчас после ужина мы уехали домой. Всю длинную дорогу Федор Михайлович упорно молчал, не отвечая на мои вопросы. Вернувшись домой, он принялся хо-

дить по комнате и был, видимо, сильно раздражен. Это меня обеспокоило, и я подошла приласкать его и рассеять его настроение. Федор Михайлович резко отстранил мою руку и посмотрел на меня таким недобрым, таким свирепым взглядом, что у меня замерло сердце.

— Ты на меня сердишься, Федя?— робко спросила я.— За что же ты сердишься?

При этом вопросе Федор Михайлович разразился ужасным гневом и наговорил мне много обидных вещей. По его словам, я была бездушная кокетка и весь вечер кокетничала с моим соседом, чтобы только мучить мужа. Я стала оправдываться, но этим только подлила масла в огонь. Федор Михайлович вышел из себя и, забыв, что мы в гостинице, кричал во весь голос. Зная всю неосновательность его обвинений, я была обижена до глубины души его несправедливостью. Его крик и страшное выражение лица испугали меня. Мне стало казаться, что с Федором Михайловичем сейчас будет припадок эпилепсии или же он убьет меня. Я не выдержала и залилась слезами. Муж мигом опомнился, стал меня успокаивать, утешать, просить прощения. Целовал мои руки, плакал и проклинал себя за происшедшую сцену.

— Я так глубоко страдал весь сегодняшний вечер,— говорил он,— видя, как ты оживлена беседой с этим молодым человеком. Мне представилось, что ты в него влюбилась, я бешено к нему ревновал и готов был наговорить ему дерзостей. Теперь я вижу, как я был к тебе несправедлив!

Федор Михайлович искренно раскаивался, умолял забыть его обиды и давал слово больше никогда не ревновать. Глубокое страдание выражало его лицо. Мне искренно стало жаль моего бедного мужа. Почти всю ночь просидела я с ним, утешая и успокаивая его. Благовест к заутрене положил конец нашей беседе. Мы пошли спать, но долго не могли заснуть.

На другой день я проснулась в час дня. Федор Михайлович встал раньше и часа два просидел не шелохнувшись, боясь нарушить мой сон. Он комически жаловался, что я чуть не уморила его с голоду, так как, боясь меня разбудить, он не звонил и не требовал себе кофе. Ко мне он был чрезвычайно нежен.

Впечатление ночной сцены навсегда залегло в моей душе. Она заставила меня задуматься над нашими будущими отношениями. Я поняла, какое глубокое страдание причиняет Федору Михайловичу ревность, и тогда же дала себе слово беречь его от подобных тяжелых впечатлений.

VI
ПОСЕЩЕНИЕ МОЕГО БРАТА

Из дальнейшего нашего пребывания в Москве мне особенно ярко запомнилась моя поездка в Петровское-Разумовское, где жил мой брат Иван Григорьевич, студент Петровской сельскохозяйственной академии. Ему минуло семнадцать лет, был он очень красив, румян, с русыми кудрявыми волосами, скромен, как девушка, чрезвычайно добр и весел. В Академии он считался самым юным студентом, и его все любили.

Приехав в Москву, я тотчас написала брату и просила его прийти в любой день, пораньше, часов в одиннадцать, и если нас не застанет, то подождать нас в читальне гостиницы. Письмо мой брат получил в пятницу и на другой день в одиннадцать часов был у нас. Узнав от коридорного, что мы еще не встали, он пошел навестить больного товарища, засиделся у него, и когда вернулся, то нас уже не оказалось дома. Полагая, что мы скоро вернемся, он прождал до сумерек в гостинице и, уходя, оставил письмо, в котором сообщал, что приедет в понедельник. Мы же с мужем решили, в случае неудачи у Каткова, уехать домой в воскресенье вечером, и я рисковала совсем не увидеть брата. Я стала просить Федора Михайловича позволить мне самой навестить брата. Муж не мог меня сопровождать, так как Катков пригласил его приехать днем. Поэтому он нанял мне извозчика до Петровской академии, записал его номер, и около часу дня я выехала, обещая вернуться к четырем и привезти с собою брата.

Была я в чудесном настроении: все утро Федор Михайлович был очень нежен и добр со мной; наша недавняя ссора, видимо, не оставила в нем тяжелого впечатления. Погода была великолепная, дорога — чудесная, и я радовалась предстоящей встрече с любимым братом.

Было воскресенье, и студентов в Академии оставалось сравнительно немного, лишь те, кто постоянно там жил. Я вошла в громадную приемную и спросила встретившегося мне студента, могу ли видеть своего брата, студента Сниткина. Всем жившим в Академии было известно, что сестра Сниткина недавно вышла замуж, так как в день моей свадьбы мой брат, никогда не участвовавший в попойках, в первый раз в жизни напился допьяна, громко весь вечер рыдал и на утешения товарищей говорил:

— Все кончено! Нет у меня более сестры. Она для меня умерла!

Студент тотчас вызвался меня проводить в его комнату. Ваня с восторгом меня встретил и даже заплакал, обнимая меня. Мы сели, разговаривая, и не прошло пяти минут, как коридорный внес самовар, поднос с чайником, двумя стаканами и французской булкой. Почти тотчас же другой коридорный внес второй самовар с кофейником, сливками и сухарями. То распорядились товарищи моего брата, полагавшие, что гостья его дорогою озябла. Каждый посылал в комнату Вани то, что у него было на столе.

Мало-помалу товарищи Вани (из которых некоторые были поклонниками таланта моего мужа) стали приходить к нему, желая видеть жену их кумира — Достоевского. Набралось в комнату человек девять: кто сидел на стуле, кто на кровати, кто на подоконнике. Я угощала их чаем, так как первый коридорный, полагая, что принесенный им самовар был не горяч, принес кипящий, уже третий самовар. Такое обилие самоваров на нашем столе всех рассмешило и дало возможность дичившимся меня сначала студентам разговориться и пошутить.

Разговор зашел о литературе, и студенты разделились на две партии: поклонников Федора Михайловича и его противников. Один из последних стал с жаром доказывать, что Достоевский, выбрав героем «Преступления и наказания» студента Раскольникова, оклеветал молодое поколение. Я, конечно, заступилась за мужа, меня поддержали, и загорелся тот молодой спор, когда никто не слушает противника, а каждый отстаивает свое мнение. В горячих дебатах мы не заметили времени, и вместо часа я пробыла у брата бо-

лее двух. Я заторопилась домой, и все мои собеседники обеих партий пошли провожать меня до подъезда. Увы, извозчик, привезший меня и которому я имела неосторожность заплатить, исчез. Студенты пошли в разные стороны его разыскивать и вернулись с известием, что извозчик прождал меня с час, а затем повез кого-то из профессоров в город.

Что было делать? Кто-то из студентов взялся довести нас ближайшим путем на Бутырки, где всегда можно было найти извозчика. Мы отправились всей компанией. Ближайший путь, как всегда бывает, оказался длиннейшим; пришлось идти через сугробы, завязая в снегу. Все смеялись, а у меня щемило сердце при мысли, как должен беспокоиться мой бедный муж.

Чуть не через час дошли мы, наконец, до Бутырок и долго искали извозчика. Только в половине седьмого подъехали мы с братом к Дюссо. Было уже почти темно. Я вбежала в сени и спросила швейцара: дома ли барин?

— Они-с целых три часа стоят на перекрестке и много раз наведывались, вернулись ли вы,— отвечал швейцар.

Я вышла и увидела Федора Михайловича, который действительно стоял на углу и внимательно вглядывался в проезжающих. Я испугалась, взглянув на него, до того он был бледен и взволнован.

— Голубчик, Федя, я вернулась, пойдем домой,— сказала я, подойдя к нему.

Федор Михайлович страшно мне обрадовался и схватил за руку с таким видом, как будто он отчаялся когда-нибудь вновь меня увидеть. Я повела его к подъезду и представила моего брата. Признаюсь, я очень боялась, что Федор Михайлович изольет свой гнев на неповинного Ваню, и моя мечта, чтобы он полюбил моего брата, рушится. К счастью, этого не случилось: муж очень дружелюбно отнесся к нему.

Обед прошел очень весело. Федор Михайлович обо всем меня расспрашивал, и я с юмором описала ему наши приключения. Ввиду позднего времени брат уехал тотчас после обеда, и мы с мужем провели вдвоем очаровательный вечер, напомнивший наши чудные вечера перед свадьбой. Расшалившись, я спросила:

— Ну, скажи откровенно, ведь ты, наверно, подумал, что я сегодня с кем-нибудь убежала?

— Ну, вот еще что выдумала!— ответил Федор Михайлович, но глаза его виновато на меня посмотрели, и я поняла, что моя догадка имела некоторое основание.

VII
МОСКОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

С удовольствием вспоминаю остальные дни нашего пребывания в Москве. Каждое утро мы отправлялись осматривать достопримечательности города: Кремлевские соборы, дворец, Оружейную палату, дом бояр Романовых. В одно ясное утро Федор Михайлович повез меня на <Лазаревское> кладбище, где погребена его мать, Мария Федоровна Достоевская, к памяти которой он всегда относился с сердечною нежностью. Мы были очень довольны, что еще застали священника в церкви и он мог совершить панихиду на ее могиле. Побывали мы на Воробьевых горах. Федор Михайлович, москвич по рождению, был отличным чичероне и рассказывал мне много интересного про особенности первопрестольной.

Уставшие и проголодавшиеся, мы после осмотров обыкновенно ехали завтракать к Тестову. Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня, петербургской жительницы, местные блюда, вроде московской селянки, расстегаев, подовых пирожков, и притворно ужасался моему молодому аппетиту. Затем мы возвращались домой, отдыхали и ехали обедать к Ивановым. У них, во избежание приступа ревности, я ни на шаг не отпускала от себя Федора Михайловича, и с его помощью очень сошлась с Верой Михайловной, Сонечкой и прочей молодежью. Подружилась я и с коварной Марьей Сергеевной. Все они с большими подробностями рассказали мне, как и по какому случаю заочно меня невзлюбили и какими способами хотели рассердить и вывести из себя свою нежеланную новую родственницу. Домой мы возвращались к одиннадцати и часов до двух не ложились, обменивались впечатлениями приятно проведенного дня. Начинав-

шаяся во мне в последние недели петербургской жизни как бы некоторая отчужденность в отношении мужа в Москве совершенно исчезла, и я сделалась такою же жизнерадостной и отзывчивой, какою была невестой. Федор Михайлович уверял, что здесь он нашел свою «прежнюю Аню», которую будто бы начал терять в Петербурге, и говорил, что для него наступил «медовый месяц». Только теперь я вполне сознала, как счастливо могла бы устроиться наша супружеская жизнь, если бы не стояли между нами некоторые неприязненно настроенные против меня родственники мужа. Воспоминание о московской поездке навсегда осталось в моей памяти, и впоследствии, приезжая в Москву, я всегда чувствовала себя там счастливее, спокойнее и удовлетвореннее, чем где бы то ни было.

Редакция «Русского вестника» согласилась выдать Федору Михайловичу новый аванс в тысячу рублей. Дело выяснилось к пятнице, и на другой день мы выехали в Петербург. Помню, наш поезд почему-то целый час простоял на станции Клин. Было около семи часов вечера, и в общей зале служили всенощную по случаю вербной субботы. Все стояли с зажженными свечами и вербами. Мы присоединились к молящимся, и помню, с каким жаром молилась я, стоя рядом с моим дорогим мужем, и как искренно, от всего сердца, благодарила господа бога за посланное мне счастье! Такие минуты не забываются!

VIII
ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Вернулись мы в Петербург, и вновь началась столь наскучившая мне жизнь. К завтраку явились обычные наши гости, а затем стали собираться и остальные родные, знавшие со слов пасынка, что мы вернемся к воскресенью. На мою долю опять выпала обязанность «занимать» и «угощать» родственников. На этот раз я исполняла это охотно, надеялась, что все скоро изменится. Федор Михайлович куда-то поехал, а я, во избежание неприятностей, решила пока никому не говорить о предполагаемой поездке за границу. Разговор о ней зашел только за обедом, к которому собрались все

родные, в том числе и моя мать. Говорили о прекрасной, почти весенней погоде, стоявшей всю неделю. Эмилия Федоровна высказала мысль, что следовало бы воспользоваться ясными днями, чтобы поискать дачу, иначе хорошие будут разобраны. Она добавила, что знает в Тярлеве, возле Павловска, отличную дачу с большим садом, настолько обширную, что в ней, кроме нас, могла бы поместиться и вся семья Достоевских.

— Анне Григорьевне будет веселее жить в молодом обществе, а я, так и быть, пожертвую собою и возьмусь за хозяйство, которое не удается нашей милой хозяйке.

Федор Михайлович поморщился от намека Эмилии Федоровны на мою нехозяйственность, а может быть, от замечания, что мне будет веселее с молодежью.

— Нам незачем искать дачу,— объявил он,— мы с Аней едем за границу.

Все родные приняли эти слова за шутку, но когда муж стал подробно рассказывать план поездки, поверили в ее действительность и, очевидно, очень недовольные, как-то вдруг замолчали. Я пыталась оживить разговор, рассказывая об Ивановых и о наших похождениях в Москве, но никто не поддержал моей беседы.

Подали кофе, и Федор Михайлович, раздраженный безмолвным протестом, ушел в кабинет. За ним, немного спустя, пошла Эмилия Федоровна, прочие родственники перешли в гостиную, и в столовой осталась я да Павел Александрович.

— Я отлично вижу, что это — ваши фокусы, Анна Григорьевна!— с гневом начал он.

— Какие фокусы?

— Не по-ни-ма-ете?! Да вот эта нелепая поездка за границу! Но вы очень ошибаетесь в ваших расчетах. Если я *допустил* вашу поездку в Москву, то лишь потому, что папа́ ездил получать деньги. Но поездка за границу, это — ваша прихоть, Анна Григорьевна, и я ни в каком случае допустить ее не намерен.

Я была возмущена его тоном, но мне не хотелось ссориться, и я, шутя, сказала:

— Но, может быть, вы над нами смилуетесь?

— Не рассчитывайте на это! Ведь эта прихоть будет стоить денег, а деньги нужны не для вас одной, а для всей семьи: деньги у нас общие...

И это говорил человек, всем обязанный своему доброму отчиму и не умевший заработать копейки? Чтобы не разбранить его за дерзость, я поскорее ушла.

Прошло полчаса, и Эмилия Федоровна вышла из кабинета, видимо, раздраженная. Она приказала дочери собираться домой и ушла, очень сухо со мною простившись. Ее место в кабинете занял брат Николай Михайлович, а затем пошли прощаться и остальные родные. После всех к Федору Михайловичу пошел Павел Александрович. По своему обыкновению, он начал говорить так запальчиво и наставительно, что Федор Михайлович не выдержал и выслал его из комнаты, и он тотчас куда-то ушел.

Когда все разошлись, я пришла в кабинет и застала мужа в раздражении и гневе. Он говорил, что все родные против нашей поездки за границу, а в случае, если она состоится, *требуют,* чтобы им были оставлены деньги на несколько месяцев вперед.

— Сколько же это составит?— спросила я.

— Эмилия Федоровна обещала поговорить с детьми и завтра дать ответ,— сказал Федор Михайлович.

Его слова меня чрезвычайно встревожили. Из полученной от «Русского вестника» тысячи рублей Федор Михайлович предполагал дать Эмилии Федоровне — двести рублей; Паше на житье — сто рублей; Николаю Михайловичу — сто рублей и сто рублей пошли бы на нашу жизнь до отъезда. На поездку за границу осталось бы таким образом рублей пятьсот. Мы рассчитывали, что Федор Михайлович, отдохнув месяц за границей, примется за статью свою «О Белинском». Предполагалось, что в ней будет не менее трех-четырех листов, и Федор Михайлович может получить за нее, через сравнительно небольшой срок, триста — четыреста рублей на нужды своих родных в летние месяцы. Мы же намерены были уже в начале августа вернуться в Петербург.

Мрачные предчувствия мои оправдались. На другой день утром пришла Эмилия Федоровна и заявила, что ей необходимы пятьсот рублей на нужды ее семьи и двести рублей на содержание пасынка во время на-

шего отсутствия. Федор Михайлович пробовал ее убеждать согласиться на триста рублей (для ее семьи и для пасынка), а дальнейшие деньги обещал доставить через два месяца, но Эмилия Федоровна не согласилась, а отказать ей Федор Михайлович не имел силы: слишком привык он со смерти брата заботиться об интересах его семьи.

Среди дня Федору Михайловичу пришлось испытать новую неприятность: к нему неожиданно явился молодой человек, сын г-жи Рейсман. Она имела несколько исполнительных листов на Федора Михайловича, суммою около двух тысяч, но так как муж уплачивал ей большие проценты, то она его и не беспокоила. Теперь же сын ее заявил, что мать просит уплатить по одному исполнительному листу пятьсот рублей и в случае отказа намерена обратиться к судебному приставу и просить его описать нашу обстановку.

Федор Михайлович был чрезвычайно поражен этим неожиданным требованием, но, ввиду настояний Рейсмана, обещал уплатить завтра триста рублей.

В течение дня были получены письма от родственников, и выяснилось, что Федор Михайлович должен им выдать тысячу сто рублей, да уплатить Рейсману триста, у нас же налицо была всего тысяча!

Скажу откровенно, что мне показалось несколько подозрительным это внезапное требование всегда столь сговорчивой кредиторши, но я не высказала моих мыслей мужу.

Поздно вечером, подсчитав все предстоявшие выдачи, Федор Михайлович с грустью сказал мне:

— Судьба против нас, дорогая моя Анечка! Сама видишь: если ехать за границу теперь, весной, то потребуется две тысячи, а у нас не наберется и одной. Если останемся в России, то можем на эти деньги прожить спокойно два месяца и даже, пожалуй, нанять дачу, которую рекомендует Эмилия Федоровна. Там я примусь за работу, и возможно, что осенью вновь появятся у нас деньги, и мы на два месяца съездим за границу. Если б ты знала, голубчик мой дорогой, как я жалею, что это не может осуществиться теперь! Как я мечтал об этой поездке, как она казалась мне необходимою для нас обоих!

Видя подавленное настроение Федора Михайловича, я постаралась скрыть свое огорчение и бодро сказала:

— Ну, успокойся, дорогой мой. Подождем до осени! Авось тогда нам больше посчастливится!

Я сослалась на головную боль и поскорее ушла из кабинета, боясь разрыдаться и еще более огорчить мужа. На душе у меня была смерть. Все те печальные мысли и сомнения, которые так измучили меня и только исчезли на время московской поездки, вернулись ко мне с удвоенною силой, и я пришла почти в отчаяние, видя, что мечта, так пленявшая нас обоих, не может осуществиться.

Только постоянное духовное общение с мужем, которое я так ценила в блаженные недели, предшествовавшие нашей свадьбе,— думала я,— и которое так украсило нашу московскую жизнь, может создать ту крепкую и дружную семью, о которой мы мечтали с Федором Михайловичем. Чтобы спасти нашу любовь, необходимо хоть на два-три месяца уединиться и мне успокоиться от пережитых волнений и неприятностей. Я глубоко убеждена, что тогда мы с мужем сойдемся на всю жизнь и никто нас более не разлучит. Но откуда взять денег на эту столь необходимую нам обоим поездку?— раздумывала я, и вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове: «А что, не пожертвовать ли мне ради поездки всем своим приданым и таким образом спасти свое счастье?»

Мысль эта мало-помалу овладела мною, хотя исполнение ее и представляло некоторые трудности. Прежде всего мне самой очень нелегко было решиться на эту жертву. Я уже говорила, что, несмотря на мои двадцать лет, я была во многом ребенок, а в юности вещи — обстановка, наряды — имеют большое значение. Мне чрезвычайно нравился мой рояль, мои прелестные столики и этажерки, все мое красивое, так недавно заведенное хозяйство. Жаль было его лишиться, рискуя не получить никогда обратно.

Боялась я также недовольства моей матери. Выйдя так недавно замуж, я все еще находилась под ее влиянием и страшилась ее огорчить. Часть моего приданого была куплена на ее деньги. «Что,— думала я,— если мама обвинит моего мужа в излишнем пристра-

стии к своим родным и усомнится в его любви ко мне? Как будет страдать она, счастье своих детей всегда ставившая выше своего личного!»

В таких колебаниях и сомнениях я провела бессонную ночь. В пять часов зазвонили к заутрене, и я решила пойти помолиться в церковь Вознесения, что находилась напротив нашего дома.

Богослужение, как и всегда, подействовало на меня умилительно: я горячо молилась, плакала и вышла из церкви с укрепившимся во мне решением. Из церкви, не заходя домой, я отправилась к моей матери. Приезд мой в такой ранний час, да еще с заплаканными глазами, испугал бедную маму. Из всех близких лишь она одна знала неудачи моей семейной жизни. Она часто журила меня за неуменье поставить Павла Александровича в почтительные к себе отношения и изменить окружающую меня обстановку. Возмущалась она также тем, что я, всегда прежде занятая и находившая в труде нравственное удовлетворение, теперь целыми днями ничего не делала, а только занимала и угощала неинтересных для меня гостей. Она была шведка, смотрела на жизнь западным, более культурным взглядом и боялась, что добрые навыки, вложенные воспитанием, исчезнут благодаря нашей русской беспорядочно-гостеприимной жизни. Понимая, что у меня не хватает ни силы, ни житейского такта, чтобы ввести все в должные границы, мама очень рассчитывала на нашу заграничную поездку. Она предполагала осенью, после нашего возвращения, предложить Федору Михайловичу поселиться в ее доме. Мы имели бы хорошую даровую квартиру, да и родственники, ввиду дальнего расстояния, не стали бы посещать нас ежедневно. Павел Александрович тоже не захотел бы жить «в глуши», как он презрительно называл нашу местность, и, конечно, остался бы у Эмилии Федоровны. Таким образом, наш разъезд с Павлом Александровичем не имел бы вида семейного разлада, а случился бы по его собственному желанию.

Узнав, что наша заграничная поездка расстроилась и мне предстоит провести лето на общей даче с Достоевскими, моя мать испугалась. Она знала мой независимый характер и молодую неуступчивость и боялась, что я не выдержу, и произойдет семейная катастрофа.

Мой план — заложить все мои вещи — она, к великой моей радости, тотчас же одобрила. На мой вопрос, не жаль ли ей данного мне приданого, мама ответила:

— Конечно, жаль, но что же делать, раз твое счастье в опасности? Вы с Федором Михайловичем такие разные люди, что если не сойдетесь, как должно, теперь, то уж, конечно, не сойдетесь никогда. Необходимо только уезжать как можно скорее, до праздников, пока не явилось новых осложнений.

— Однако успеем ли мы до праздников заложить вещи и получить деньги?— спрашивала я.

К счастью, моя мать знала одного из директоров компании «Громоздких движимостей» и обещала немедленно поехать к нему и попросить завтра прислать оценщика. Срок нашей квартиры был до 1 мая, и мебель можно было перевезти в склады после святой. Вырученные за залог деньги мама бралась передать родственникам Федора Михайловича, сколько он назначит каждому. Что до золотых и серебряных вещей, выигрышных билетов и шуб, то их можно было успеть заложить до нашего отъезда.

Радостная поехала я домой и поспела раньше, чем встал Федор Михайлович. Павел Александрович, очень заинтересованный, куда я уезжала на целое утро, тотчас пришел в столовую, где я готовила кофе для мужа, и, по обыкновению, принялся язвить.

— Мне очень приятно констатировать, что вы так богомольны, Анна Григорьевна,— начал он,— что отстаиваете не только заутреню, но и обедню, как я узнал от Федосьи.

— Да, я была в церкви,— отвечала я.

— Но почему вы так сегодня задумчивы? Позвольте узнать, в каких заграничных курортах витает ваше пылкое воображение?

— Ведь вы знаете, что мы за границу не едем.

— Что я вам говорил? Вы теперь на опыте убедились, что я сумею поставить на своем и не допущу поездки за границу!

— Ну, да, знаю, знаю! Что об этом говорить?— отвечала я, не желая заводить спора, хотя в душе была страшно возмущена его дерзостью.

Предстояла большая задача уговорить Федора Михайловича согласиться на придуманный мною план. Говорить с ним дома было нельзя: каждую минуту мог кто-нибудь помешать, да и Павел Александрович упорно сидел дома, выжидая прихода молодых Достоевских, наших обычных утренних гостей. К счастью, мужу необходимо было съездить по какому-то делу. Я вызвалась проводить его до ближайшей аптеки. Выйдя из дому, я предложила Федору Михайловичу зайти в часовню Вознесенской церкви. Мы вместе помолились перед образом богородицы, а затем пошли по Вознесенскому проспекту и по набережной Мойки. Я была очень взволнована и не знала, с чего начать разговор. Федор Михайлович помог мне. Заметив мое оживление, он сказал:

— Как я рад, Аня, что ты благодушно приняла отмену заграничной поездки, о которой мы оба так мечтали!

— Но она может состояться, если ты согласишься на план, который я тебе предложу,— отвечала я и немедленно принялась его излагать. Как и следовало ожидать, муж тотчас отверг мой план, не желая, чтобы я жертвовала своими вещами. Мы заспорили и, не замечая дороги, зашли (все по набережной Мойки) в совсем необитаемую и не виданную мною часть города. Во второй раз в течение нашей брачной жизни я призналась мужу, что мне тяжело живется, и умоляла Федора Михайловича дать мне хоть два-три месяца спокойной и счастливой жизни. Я уверяла, что при теперешних обстоятельствах мы не только не станем друзьями, как прежде мечтали, но, может быть, разойдемся навеки. Я умоляла мужа спасти нашу любовь, наше счастье и, не выдержав, так разрыдалась, что бедный Федор Михайлович совсем потерялся и не знал, что со мной делать. Он поспешил на все согласиться. Я так обрадовалась, что, невзирая на прохожих (в той местности немногочисленных), расцеловала мужа. Тут же, не теряя времени, я предложила Федору Михайловичу отправиться в канцелярию генерал-губернатора узнать, когда можно получить заграничный паспорт. С этим паспортом у мужа всегда были осложнения. Как бывший политический преступник, Федор Михайлович состоял под надзором полиции[43],

и ему, кроме обычных формальностей, необходимо было предварительное разрешение военного генерал-губернатора. В канцелярии знакомый мужу чиновник, большой почитатель его таланта, предложил Федору Михайловичу написать тут же просьбу и обещал доложить ее завтра же начальству. Паспорт он обещал приготовить к пятнице.

Помню, как бесконечно счастлива была я в этот день! Даже нелепые приставания Павла Александровича не сердили меня: я знала, что им скоро придет конец. Про наш отъезд мы в этот день никому не говорили, кроме мамы, которая приехала вечером и увезла с собою золотые вещи, серебро и выигрышные билеты, чтобы завтра же их заложить.

На другой день, в среду, к нам приехал оценщик компании и определил сумму, которую мы могли получить за мебель. В тот же день, вечером, когда к обеду собрались у нас почти все родные, Федор Михайлович объявил, что мы послезавтра уезжаем за границу.

— Позвольте, папа́, сделать вам замечание,— тотчас заговорил опешенный известием Павел Александрович.

— Никаких замечаний!— вспылил Федор Михайлович,— все получат столько, сколько себе назначили, и ни копейки больше.

— Но это невозможно! Я забыл вам сказать, что мое летнее пальто совсем вышло из моды и мне необходимо новое, и другие есть расходы...— начал Павел Александрович.

— Кроме назначенного, ничего не получишь. Мы едем за границу на деньги Анны Григорьевны, и располагать ими я не вправе.

Павел Александрович пробовал раза два-три предъявлять какие-то требования, но Федор Михайлович не стал его и слушать.

После обеда родные друг за другом потянулись в кабинет мужа. Там Федор Михайлович выдал каждому часть деньгами, а часть расписками на 1 мая, по которым моя мать должна была уплатить из денег, полученных за заклад наших вещей.

Я уговорила Федора Михайловича дать Павлу Александровичу денег на летнее пальто, чтобы он не делал нам препятствий. Эта жертва его не умилости-

вила, и на прощание он сказал мне, что мой коварный поступок (поездка за границу) мне даром не пройдет, и осенью он «померяется со мной силами, и неизвестно, на чьей стороне будет победа».

Я была так счастлива, что не обращала внимания на колкости, сыпавшиеся на меня со всех сторон.

Мы быстро уложились и, думая, что уезжаем ненадолго, взяли с собою лишь необходимые вещи, предоставив залог нашей мебели и сохранение остального хозяйства моей матери. В помощники к ней напросился Павел Александрович, но, впрочем, больше мешал, чем помогал ей. Часть кабинета и библиотеку Федора Михайловича он перевез к себе, сказав, что хочет чтением дополнить свое образование.

Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре с лишком года. За это время произошло много радостных событий в нашей жизни, и я вечно буду благодарить бога, что он укрепил меня в моем решении уехать за границу. Там началась для нас с Федором Михайловичем новая, счастливая жизнь и окрепли наша взаимная дружба и любовь, которые продолжались до самой кончины моего мужа.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ [44]

I

ПЕРВАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ССОРА

(Выписано из стенографической тетради)

«Сегодня (18 апреля) небольшой дождь, но, кажется, будет идти целый день. У берлинцев окна отворены; под окном нашей комнаты распустилась липа. Дождь продолжается, но мы решили выйти, чтобы посмотреть город. Вышли на Unter den Linden, видели Schloß, Bauakademie, Zeughaus, Opernhaus *, Универ-

* Дворец, Академию архитектуры, Арсенал, Оперный театр *(нем.)*.

ситет и Ludvigskirche *. Дорóгой Федя заметил мне, что я по-зимнему одета (белая пуховая шляпа) и что у меня дурные перчатки. Я очень обиделась и ответила, что если он думает, что я дурно одета, то нам лучше не ходить вместе. Сказав это, я повернулась и быстро пошла в противоположную сторону. Федя несколько раз окликнул меня, хотел за мною бежать, но одумался и пошел прежнею дорогою. Я была чрезвычайно обижена, мне показалось замечание Федора Михайловича ужасно неделикатным. Я почти бегом прошла несколько улиц и очутилась у Brandenburger Thor. Дождь все еще шел; немцы с удивлением смотрели на меня, девушку, которая, не обращая ни малейшего внимания, без зонтика, шла по дождю. Но мало-помалу я успокоилась и поняла, что Федя своим замечанием вовсе не хотел меня обидеть и что я напрасно погорячилась. Меня сильно обеспокоила моя ссора с Федей, и я бог знает что стала воображать. Я решила идти поскорее домой, думая, что Федя вернулся и я могу помириться с ним. Но каково было мое огорчение, когда, придя в гостиницу, я узнала, что Федя заходил уже домой, пробыл несколько минут в комнате и опять ушел. Боже мой, что я только перечувствовала! Мне представилось, что он меня разлюбил, и, уверившись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слишком несчастлив, и бросился в Шпрее. Затем мне представилось, что он пошел в наше посольство, чтоб развестись со мной, выдать мне отдельный вид и отправить меня обратно в Россию. Эта мысль тем более укрепилась во мне, что я заметила, что Федя отпирал чемодан (он оказался не на том месте, как давеча, и ремни были развязаны). Очевидно, Федя доставал наши бумаги, чтобы идти в посольство. Все эти несчастные мысли до того меня измучили, что я начала горько плакать, упрекать себя в капризах и дурном сердце. Я дала себе слово, если Федор Михайлович меня бросит, ни за что не вернуться в Россию, а спрятаться где-нибудь в деревушке за границей, чтоб вечно оплакивать мою потерю. Так прошло два часа. Я поминутно вскакивала с места и подходила к окну посмотреть, не идет ли Федя? И вот, когда мое отчая-

* Церковь Людовика (*нем.*).

ние дошло до последнего предела, я, выглянув из окна, увидела Федю, который с самым независимым видом, положив обе руки в карманы пальто, шел по улице. Я страшно обрадовалась, и когда он вошел в комнату, я с плачем и рыданиями бросилась к нему на шею. Он очень испугался, увидав мои заплаканные глаза, и спросил, что со мною случилось. Когда я рассказала ему мои страхи, он очень смеялся и сказал, что «надо иметь очень мало самолюбия, чтобы броситься и утонуть в Шпрее, в этой маленькой, ничтожной речонке». Очень смеялся и над моей мыслью о разводе и говорил, что «я еще не знаю, как он любит свою милую женочку». Заходил же он и отворял чемодан, чтоб вынуть деньги для заказа пальто. Таким образом все объяснилось, мы помирились, и я была страшно счастлива».

II

Пробыв два дня в Берлине, мы переехали в Дрезден. Так как мужу предстояла трудная литературная работа, то мы решили прожить здесь не менее месяца. Федор Михайлович очень любил Дрезден, главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей, и во время своих путешествий непременно заезжал туда. Так как в городе имеется много музеев и сокровищниц, то, зная мою любознательность, Федор Михайлович полагал, что они заинтересуют меня и я не буду скучать по России, чего на первых порах он очень опасался.

Остановились мы на Neumarkt, в одной из лучших тогда гостиниц «Stadt Berlin», и, переодевшись, тотчас направились в картинную галерею, с которою муж хотел ознакомить меня прежде всех сокровищ города. Федор Михайлович уверял, что отлично помнит кратчайший путь к Цвингеру, но мы немедленно заблудились в узких улицах, и тут произошел тот анекдот, который муж приводит в одном из своих писем ко мне * в пример основательности и некоторой тяжеловесности немецкого ума. Федор Михайлович обратился к господину, по-видимому, интеллигентному, с вопросом:

* Письмо от (...) [45]

— Bitte, gnädiger Herr, wo ist Gemälde-Gallerie?
— Gemälde-Gallerie?
— Ja, Gemälde-Gallerie.
— Königliche Gemälde-Gallerie?
— Ja, königliche Gemälde-Gallerie.
— Ich weiß nicht *.

Мы подивились, почему он так нас допрашивал, если не знал, где галерея находится.

Впрочем, мы скоро до галереи дошли, и хотя оставалось до закрытия не более часа, но мы решили войти. Муж мой, минуя все залы, повел меня к Сикстинской мадонне — картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять пред этою поразительной красоты картиной часами, умиленный и растроганный [46]. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской мадонны было ошеломляющее: мне представилось, что богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всенощной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм <св. Владимира> в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова [47]. То же впечатление богоматери, с кроткою улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу.

В тот же день мы наняли себе квартиру на Johannisstraße. Квартира состояла из трех комнат: гостиной, кабинета и спальни, и сдавалась одной недавно овдовевшей француженкой. Назавтра мы пошли покупать мне шляпу, чтобы заменить мою петербургскую, и муж заставил меня примерить шляп десять и остановился на той, которая, по его словам, «удивительно ко мне шла». Как сейчас помню ее: из белой итальянской соломы, с розами и длинными черными бархатными лентами, спускавшимися по плечам и называвшимися, согласно моде, «suivez-moi».

* Пожалуйста, милостивый государь, где находится картинная галерея?
— Картинная галерея?
— Да, картинная галерея.
— Королевская картинная галерея?
— Да, королевская картинная галерея.
— Я не знаю *(нем.)*.

Затем дня два-три мы ходили с мужем покупать для меня верхние вещи для лета, и я дивилась на Федора Михайловича, как ему не наскучило выбирать, рассматривать материи со стороны их добротности, рисунка и фасона покупаемой вещи. Все, что он выбирал для меня, было доброкачественно, просто и изящно, и я впоследствии вполне доверялась его вкусу.

Когда мы устроились, наступила для меня полоса безмятежного счастья: не было денежных забот (они предвиделись лишь с осени), не было лиц, стоявших между мною и мужем, была полная возможность наслаждаться его обществом. Воспоминания о том чудном времени, несмотря на протекшие десятки лет, остаются живыми в моей душе.

Федор Михайлович любил порядок во всем, в том числе и в распределении своего времени, поэтому у нас вскоре установился строй жизни, который не мешал никому из нас пользоваться временем, как мы хотели. Так как муж работал ночью, то вставал не раньше одиннадцати. Я с ним завтракала и тотчас отправлялась осматривать какую-нибудь Sammlung *, и в этом случае моя молодая любознательность была вполне удовлетворена. Мне помнится, что я не пропустила ни одного из бесчисленных Sammlung'ов: mineralogische, geologische, botanische, ** и пр. были осмотрены мною с полной добросовестностью. Но к двум часам я непременно была в картинной галерее (помещающейся в том же Цвингере, как и все научные коллекции). Я знала, что к этому времени в галерею придет мой муж и мы пойдем любоваться любимыми им картинами, которые, конечно, немедленно сделались и моими любимыми.

Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал Сикстинскую мадонну. Чрезвычайно высоко ценил талант Тициана, в особенности его знаменитую картину: «Der Zinsgroschen», «Христос с монетой», и подолгу стоял, не отводя глаз от этого гениального изображения Спасителя [48]. Из других художественных произведений, смотря на которые Федор Михайлович

---

* Коллекцию (*нем*).

** Минералогических, геологических, ботанических (*нем.*).

испытывал высокое наслаждение и к которым непременно шел в каждое свое посещение, минуя другие сокровища, были: «Maria mit dem Kind» Murillo, «Die heilige Nacht» Correggio, «Christus» Annibale Carraci, «Die büssende Magdalena» P. Battoni, «Die Jagd» Ruisdael, «Küstenlandschaft (Morgen und Abend)» Claude Lorrain * (эти ландшафты мой муж называл «золотым веком» и говорит о них в «Дневнике писателя») [49], «Rembrandt und seine Frau» Rembrandt van Rijn, König Karl I von England» Anton Van-Dyk **; из акварельных или пастельных работ очень ценил «Das Schokoladenmädchen» Jean Liotard ***.

В три часа картинная галерея закрывалась, и мы шли обедать в ближайший ресторан. Это была так называемая «Italienisches Dörfchen ****, крытая галерея которой висела над самой рекой. Громадные окна ресторана открывали вид в обе стороны Эльбы, и в хорошую погоду здесь было чрезвычайно приятно обедать и наблюдать за всем, что на реке происходило. Кормили здесь сравнительно дешево, но очень хорошо, и Федор Михайлович каждый день требовал себе порцию «Blaues Aal» *****, которую он очень любил и знал, что здесь ее можно получить только что пойманную. Любил он пить белый рейнвейн, который тогда стоил десять грошей полбутылки. В ресторане получалось много иностранных газет, и муж мой читал французские.

Отдохнув дома, мы в шесть часов шли на прогулку в Grossen Garten. Федор Михайлович очень любил этот громадный парк главным образом за его прелестные луга в английском стиле и за его роскошную растительность. От нашего дома до парка и обратно составляло не менее шести-семи верст, и мой муж, любивший ходить пешком, очень ценил эту прогулку и даже в

---

* «Мария с младенцем» Мурильо, «Святая ночь» Корреджо, «Христос» Аннибале Карраччи, «Кающаяся Магдалина» Баттони, «Охота» Рюисдаля, «Пейзаж (Утро и Вечер)» Клода Лоррена.

** «Рембрандт и его жена» Рембрандта ван Рейна, «Король Карл I Английский» Антона Ван-Дейка.

*** «Шоколадница» Жана Лиотара.

**** «Итальянская деревушка».

***** «Голубого угря» (*нем.*).

дождливую погоду от нее не отказывался, говоря, что она на нас благотворно действует.

В те времена в парке существовал ресторан «Zum grossen Wirtschaft», где по вечерам играла то полковая, медная, то инструментальная музыка. Иногда программа концертов была серьезная. Не будучи знатоком музыки, муж мой очень любил музыкальные произведения Моцарта, Бетховена «Fidelio», Мендельсона-Бартольди «Hochzeitsmarsch» *, Россини «Air du Stabat Mater» и испытывал искреннее наслаждение, слушая любимые вещи. Произведений Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил [50].

Обычно на таких прогулках мой муж отдыхал от всех литературных и других дум и находился всегда в самом добродушном настроении, шутил, смеялся. Помню, что в программе концертов стояли вариации и попурри из оперы «Dichter und Bauer», F. von Suppe **, Федор Михайлович полюбил эти вариации благодаря одному случаю: как-то на прогулке в Grossen Garten мы повздорили из-за убеждений, и я высказала свое мнение в резких выражениях. Федор Михайлович оборвал разговор, и мы молча дошли до ресторана. Мне было досадно, зачем я испортила доброе настроение мужа, и, чтоб его вернуть, я, когда заиграли попурри из оперы Fr. von Suppe, объявила, что это «про нас написано», что он — Dichter, а я Bauer, и потихоньку стала подпевать за Bauer'a. Федору Михайловичу понравилась моя затея, и он начал подпевать арию Dichter'a. Таким образом, Suppe нас примирил. С тех пор у нас вошло в обыкновение в дуэте героев потихоньку вторить музыке: мой муж подпевал партию Dichter'a, а я подпевала за Bauer'a. Это было незаметно, так как мы всегда садились в отдалении, под «нашим дубом». Смеху, веселья было много, и муж уверял, что он со мною помолодел на всю разницу наших лет. Случались и анекдоты: так, однажды с «нашего дуба» в большую кружку с пивом Федора Михайловича свалилась веточка, а с нею громадный черный жук. Муж мой был брезглив и из кружки с жуком пить не захотел, а отдал ее кельнеру, приказав принести другую.

* «Свадебный марш».
** «Поэт и крестьянин» Ф. фон Зуппе.

Когда тот ушел, муж пожалел, зачем не пришла мысль потребовать сначала новую кружку, а теперь, пожалуй, кельнер только вынет жука и ветку и принесет ту же кружку обратно. Когда кельнер пришел, Федор Михайлович спросил его: «Что ж, вы ту кружку вылили?» — «Как вылил, я ее выпил!» — ответил тот, и по его довольному виду можно было быть уверенным, что он не упустил случая лишний раз выпить пива.

Эти ежедневные прогулки напомнили и заменили нам чудесные вечера нашего жениховства, так много было в них веселья, откровенности и простодушия.

В половине десятого мы возвращались, пили чай и затем садились: Федор Михайлович — за чтение купленных им произведений Герцена [51], я же принималась за свой дневник. Писала я его стенографически первые полтора-два года нашей брачной жизни, с небольшими перерывами за время моей болезни.

Задумала я писать дневник по многим причинам: при множестве новых впечатлений я боялась забыть подробности; к тому же ежедневная практика была надежным средством, чтобы не забыть стенографии, а напротив, в ней усовершенствоваться. Главная же причина была иная: мой муж представлял для меня столь интересного, столь загадочного человека, и мне казалось, что мне легче будет его узнать и разгадать, если я буду записывать его мысли и замечания. К тому же за границей я была вполне одинока; мне не с кем было разделить моих наблюдений, а иногда возникавших во мне сомнений, и дневник был другом, которому я поверяла все мои мысли, надежды и опасения.

Мой дневник очень интересовал моего мужа, и он много раз говорил мне:

— Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючками: уж, наверно, ты меня бранишь?

— Это как случится: и хвалю, и браню,— отвечала я.— Получаешь, что заслужил. Впрочем, как же мне тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить?— заканчивала я теми же шутливыми вопросами, с которыми он иногда обращался ко мне, желая меня пожурить.

Одним из поводов наших идейных разногласий был так называемый «женский вопрос». Будучи по возрасту

современницей шестидесятых годов, я твердо стояла за права и независимость женщин и негодовала на мужа за его, по моему мнению, несправедливое отношение к ним. Я даже готова была подобное отношение считать за личную обиду и иногда высказывала это мужу. Помню, как раз, видя меня огорченной, муж спросил меня:

— Анечка, что ты такая? Не обидел ли я тебя чем?

— Да, обидел: мы давеча говорили о нигилистках, и ты их так жестоко бранил.

— Да ведь ты не нигилистка, что же ты обижаешься?

— Не нигилистка, это правда, но я женщина, и мне тяжело слышать, когда бранят женщину.

— Ну какая ты женщина?— говорил мой муж.

— Как какая женщина?— обижалась я.

— Ты моя прелестная, чудная Анечка, и другой такой на свете нет, вот ты кто, а не женщина!

По молодости лет я готова была отвергать его чрезмерные похвалы и сердиться, что он не признает меня за женщину, какою я себя считала.

Скажу к слову, что Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток. Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение, и он именно ценил во мне противоположные качества. Совсем другое отношение к женщинам возникло в Федоре Михайловиче впоследствии, в семидесятых годах, когда действительно из них выработались умные, образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины. Тогда мой муж высказал в «Дневнике писателя», что многого ждет от русской женщины *.

1867 ГОД. К НАШИМ СПОРАМ

Очень меня возмущало в моем муже то, что он в своих спорах со мной отвергал в женщинах моего поколения какую-либо выдержку характера, какое-нибудь упорное и продолжительное стремление к достижению намеченной цели. Например, он один раз говорил мне:

* «Дневник писателя» («Гражданин», 1873, № 35).[52]

— Возьми такую простую вещь — ну, что бы такое назвать? да хоть собирание почтовых марок (мы как раз проходили мимо магазина, в витрине которого красовалась целая коллекция). Если этим займется мужчина систематически, он будет собирать, хранить, и если не отдаст этому занятию слишком большого времени и если и охладеет к собиранию, то все-таки не бросит его, а сохранит на долгое время, а может быть, и до конца своей жизни, как воспоминание об увлечениях молодости. А женщина? Она загорится желанием собирать марки, купит роскошный альбом, надоест всем родным и знакомым, выпрашивая марки, затратит на покупку их массу денег, а затем желание в ней уляжется, роскошный альбом будет валяться на всех этажерках и в заключение будет выброшен, как надоевшая, никуда не годная вещь. Так и во всем, в пустом и серьезном — везде малая выдержка: сначала пламенное стремление и никогда — долгое и упорное напряжение сил для того, чтобы достигнуть прочных результатов намеченной цели.

Этот спор меня почему-то раззадорил, и я объявила мужу, что на своем личном примере докажу ему, что женщина годами может преследовать привлекшую ее внимание идею. «А так как в настоящую минуту,— говорила я,— никакой большой задачи я пред собою не вижу, то начну хоть с пустого занятия, только что тобою указанного, и с сегодняшнего дня стану собирать марки».

Сказано — сделано. Я затащила Федора Михайловича в первый попавшийся магазин письменных принадлежностей и купила («на свои деньги») дешевенький альбом для наклеивания марок. Дома я тотчас слепила марки с полученных трех-четырех писем из России и тем положила начало коллекции. Наша хозяйка, узнав о моем намерении, порылась между письмами и дала мне несколько старинных Турн-Таксис (Turn-Taxis) и Саксонского королевства. Так началось мое собирание почтовых марок, и оно продолжается уже сорок девять лет. Конечно, я никогда не делала никаких усилий для их коллекционирования, я только копила их, и в настоящее время у меня * <...> штук, из которых некоторые представляют редкости.

* Пропуск в рукописи.

Могу дать слово, что ни одна из марок не куплена на деньги, а или получена мною на письме, или мне подарена. Эту слабость близкие мои знают, и дочь моя, например, присылает мне письма с марками разной ценности. От времени до времени я хвалилась пред мужем количеством прибавлявшихся марок, и он иногда подсмеивался над этою моею слабостью.

В Дрездене за эти недели произошел случай, напомнивший неприятную для меня черту в характере Федора Михайловича, именно его ни на чем не основанную ревность. Дело в том, что профессор стенографии, П. М. Ольхин, узнав, что мы предполагаем пожить некоторое время в Дрездене, дал мне письмо к профессору Zeibig'у (Цейбигу), вице-председателю кружка последователей Габельсбергера, той системы стенографии, по которой я училась [53]. Ольхин уверял, что Цейбиг отличный человек и что он может быть нам полезен при осмотре галерей и пр. Я по приезде долго не шла к Цейбигу, но так как неудобно было не отдать письма, то решилась, наконец, к нему поехать. Цейбига я дома не застала и оставила письмо; профессор на другой же день отдал визит, застал нас обоих дома и предложил нам посетить предстоящее заседание их кружка.

Мы согласились, но потом муж решил, что я пойду одна, с Цейбигом. Муж уверил меня, что ему скучно будет сидеть в таком специальном собрании.

Так и сделали. Кружок стенографов имел свои заседания в Hotel... * на Wildrüferstraße. Заседание уже началось, и какой-то старец читал реферат. Хоть Цейбиг и приглашал меня занять место рядом с ним, но я уселась в сторонке и жестоко проскучала полчаса. Когда настал перерыв, профессор подвел меня к председателю и объявил всем присутствующим, что я приехала из России с письмом от лица их специальности. Председатель высказал мне приветствие, а я так сконфузилась, что ничего ему не ответила, а только поклонилась. Рефератов больше не было, а все члены кружка сидели за длинным столом, пили пиво и разговаривали. Ко мне стали подходить и представляться один за другим члены кружка, а я так расхрабрилась, что принялась болтать, как у себя дома. Говорила я по-

* Пропуск в рукописи.

немецки с ошибками, но очень бойко и скоро «завербовала в свои поклонники» (как упрекнул меня потом муж) всех молодых и старых членов кружка. Все провозглашали мое здоровье, угощали ягодами и пирожками. Когда в девять часов Цейбиг предложил меня проводить домой, мне даже удалось сказать по-немецки маленький спич, в котором я благодарила за радушный прием и звала желающих приехать в Петербург, уверяя, что последователи системы Габельсбергера будут приняты русскими столь же дружелюбно. Словом, я была в восторге от моего триумфа, тем более что через день прочла в «Dresdener Nachrichten» * печатное сообщение следующего содержания...**[54].

Но Федор Михайлович отнесся к моему «триумфу» иначе. Когда я рассказала все подробности приема, я заметила в лице моего мужа неприязненное выражение, и весь остальной вечер он был очень грустен; когда же два-три дня спустя нам на прогулке встретился один из членов кружка, молодой человек, розовый и толстый, как поросенок, и со мною раскланялся, то Федор Михайлович сделал мне «сцену», после которой мне уже не хотелось бывать на тех общественных прогулках по окрестностям, куда меня с мужем приглашал Цейбиг. Эта проявившаяся вновь тяжелая и обидная для меня черта характера моего мужа заставила меня быть осторожнее, чтобы избежать подобных осложнений.

Во время пребывания нашего в Дрездене случилось событие, чрезвычайно взволновавшее нас обоих. Федор Михайлович от кого-то узнал, что по городу ходят слухи, будто в нашего императора, посетившего всемирную выставку в Париже, стреляли (покушение Березовского) и что будто бы злодейство достигло цели[55]. Можно представить, как был взволнован мой муж! Он был горячим поклонником императора Александра II за освобождение крестьян и за дальнейшие его реформы[56]. Кроме того, Федор Михайлович считал императора своим благодетелем: ведь по случаю коронования моему мужу было возвращено потомственное дворянство, которым он так дорожил. Государь же разрешил

---

* «Дрезденские известия» (*нем*.).

** Пропуск в рукописи.

моему мужу возвратиться из Сибири в Петербург[57] и тем дал возможность вновь заниматься столь близким его сердцу литературным трудом.

Мы тотчас решили отправиться в наше консульство. На Федоре Михайловиче, что называется, «лица не было»: он был крайне взволнован и почти бежал дорогой, и я боялась, что с ним немедленно произойдет припадок (так и случилось в ту же самую ночь). К великому нашему счастию, беспокойство оказалось преувеличенным: в консульстве нас успокоили известием, что злодейство не удалось. Мы тотчас же просили разрешения записать свои имена в числе лиц, побывавших в консульстве, чтобы выразить наше негодование по поводу этого гнусного покушения. Весь этот день мой муж был очень расстроен и грустен: новое покушение, последовавшее так скоро за покушением Каракозова, ясно показало мужу, что сети политического заговора проникли глубоко и что жизни столь почитаемого им императора угрожает опасность.

Прошло недели три нашей дрезденской жизни, как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман «Игрок») и высказал мысль, что если бы в Дрездене он был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке. К этой мысли муж возвращался еще раза два, и тогда я, не желая в чем-либо быть помехой мужу, спросила, почему же он теперь не может ехать? Федор Михайлович сослался на невозможность оставить меня одну, ехать же вдвоем было дорого. Я стала уговаривать мужа поехать в Гомбург на несколько дней, уверяя, что за его отсутствие со мной ничего не случится. Федор Михайлович пробовал отговариваться, но так как ему самому очень хотелось «попытать счастья», то он согласился и уехал в Гомбург, оставив меня на попечение нашей хозяйки. Хотя я и очень бодрилась, но когда поезд отошел и я почувствовала себя одинокой, я не могла сдержать своего горя и расплакалась. Прошло два-три дня, и я стала получать из Гомбурга письма, в которых муж сообщал мне о своих проигрышах и просил выслать ему деньги[58]; я его просьбу исполнила, но оказалось, что и присланные он проиграл и просил вновь прислать, и я, конечно, послала. Но так как для меня эти «игорные» волнения были совершенно неиз-

вестны, то я преувеличила их влияние на здоровье моего мужа. Мне представилось, судя по его письмам, что он, оставшись в Гомбурге, страшно волнуется и беспокоится. Я опасалась нового припадка и приходила в отчаяние от мысли, зачем я его одного отпустила и зачем меня нет с ним, чтобы его утешить и успокоить. Я казалась себе страшной эгоисткой, чуть не преступницей за то, что в такие тяжелые для него минуты я ничем не могу ему помочь.

Через восемь дней Федор Михайлович вернулся в Дрезден[59] и был страшно счастлив и рад, что я не только не стала его упрекать и жалеть проигранные деньги, а сама его утешала и уговаривала не приходить в отчаяние.

Неудачная поездка в Гомбург повлияла на настроение Федора Михайловича. Он стал часто возвращаться к разговорам о рулетке, жалел об истраченных деньгах и в проигрыше винил исключительно самого себя Он уверял, что очень часто шансы были в его руках, но он не умел их держать, торопился, менял ставки, пробовал разные методы игры — и в результате проигрывал. Происходило же это оттого, что он спешил, что в Гомбург приехал один и все время обо мне беспокоился. Да и в прежние приезды на рулетку ему приходилось заезжать всего на два, на три дня и всегда с небольшими деньгами, при которых трудно было выдержать неблагоприятный поворот игры. Вот если бы удалось поехать в рулеточный город и пожить там недели две-три, имея некоторую сумму в запасе, то он наверно бы имел удачу: не имея надобности спешить. он применил бы тот спокойный метод игры, при котором нет возможности не выиграть если и не громадную сумму, то все-таки достаточную для покрытия проигрыша. Федор Михайлович говорил так убедительно, приводил столько примеров в доказательство своего мнения, что и меня убедил, и когда возник вопрос, не заехать ли нам по дороге в Швейцарию (куда мы направлялись) недели на две в Баден-Баден, то я охотно дала свое согласие, рассчитывая на то, что мое присутствие будет при игре некоторым сдерживающим началом. Мне же было все равно, где бы ни жить, только бы не расставаться с мужем.

Когда мы наконец решили, что по получении денег

поедем на две недели в Баден-Баден, Федор Михайлович успокоился и принялся переделывать и заканчивать работу, которая ему так не давалась. Это была статья о Белинском, в которой мой муж хотел высказать о знаменитом критике все, что лежало у него на душе. Белинский был дорогой для Федора Михайловича человек. Он высоко ставил его талант, еще не зная его лично, и говорит об этом в номере «Дневника писателя» за 1877 год[60].

Но, высоко ставя критический дар Белинского и искренно питая благодарные чувства за поощрение его литературного дарования, Федор Михайлович не мог простить ему то насмешливое и почти кощунственное отношение этого критика к его религиозным воззрениям и верованиям * [61].

Возможно, что многие тяжелые впечатления, вынесенные Федором Михайловичем от сношения с Белинским, были следствием сплетен и нашептываний тех «друзей», которые сначала признали талант Достоевского и его пропагандировали, а затем, по каким-то малопонятным для меня причинам, начали преследовать застенчивого автора «Бедных людей», сочинять на него небылицы, писать на него эпиграммы ** и всячески выводить из себя[62].

Когда Федору Михайловичу предложили написать «О Белинском», он с удовольствием взялся за эту интересную тему, рассчитывая не мимоходом, а в серьезной, посвященной Белинскому статье высказать самое существенное и искреннее свое мнение об этом дорогом вначале и в заключение столь враждебно относившемся к нему писателе.

Очевидно, многое еще не созрело в уме Федора Михайловича, многое приходилось обдумывать, решать и сомневаться, так что статью о Белинском мужу пришлось переделывать раз пять, и в результате он остался ею недоволен. В письме к А. Н. Майкову от 15 сентября 1867 года Федор Михайлович писал: *** «Дело в том, что кончил вот эту проклятую статью: «Знакомство мое с Белинским». Возможности не бы-

---

* Пропуск в рукописи.

** «Нива» за 1884 г. № 4. Статья Я. П. Полонского «Воспоминания А. Я. Головачевой-Панаевой». 1890 год.

*** «Биография и письма», с. 178.[63]

ло отлагать и мешкать. А между тем я ведь и летом ее писал, но до того она меня измучила и до того трудно ее было писать, что я дотянул до сего времени и наконец-то, со скрежетом зубовным, кончил. Штука была в том, что я сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать, и сейчас увидал, что возможности нет написать *цензурно* (потому что я хотел писать все). Десять листов романа было бы легче написать, чем эти два листа! Из всего этого вышло, что эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз *пять* и потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал. Наконец кое-как вывел статью,— но до того дрянная, что из души воротит. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть! Как и следовало ожидать, осталось все самое дрянное и золотосрединное. *Мерзость!*»

Статья эта имела плачевную судьбу. Федора Михайловича просил написать ее для сборника писатель К. И. Бабиков и уплатил в виде задатка двести рублей. Статья должна была быть написана к осени и послана в Москву в гостиницу «Рим». Опасаясь, что Бабиков мог переехать на другую квартиру, Федор Михайлович просил А. Н. Майкова оказать ему услугу, именно переслать рукопись московскому книгопродавцу И. Г. Соловьеву для вручения ее Бабикову. А. Н. Майков поступил по указанию мужа, о чем и сообщил нам *. Живя за границей, мы ничего не знали о том, появилась ли статья в печати или нет. Только в 1872 году Федор Михайлович получил от какого-то книгопродавца просьбу доставить ему заказанную К. И. Бабиковым статью, причем тот сообщал, что издание сборника не состоялось, а К. И. Бабиков умер [65]. Муж очень обеспокоился потерею статьи, тем более, что положил на нее много труда, и хоть и был ею недоволен, но дорожил ею. Мы стали доискиваться, куда статья могла затеряться, просили содействия и московского книгопродавца, но результат поисков был печальный: статья бесследно исчезла. Лично я об этом жалею, так как, судя по моему тогдашнему впечатлению и по заметкам в моей стенографической тетради, это была талантливая и очень интересная статья [66].

---

* Письмо А. Н. Майкова от <3 ноября> 1867 г. [64]

III

В конце июня мы получили деньги из редакции «Русского вестника» и тотчас же собрались ехать. Я с искренним сожалением покидала Дрезден, где мне так хорошо и счастливо жилось, и смутно предчувствовала, что при новых обстоятельствах многое изменится в наших настроениях. Мои предчувствия оправдались: вспоминая проведенные в Баден-Бадене пять недель и перечитывая записанное в стенографическом дневнике, я прихожу к убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей.

Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно правильны и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж. Но, кроме хладнокровия и выдержки, игрок на рулетке должен обладать значительными средствами, чтобы иметь возможность выдержать неблагоприятные шансы игры. И в этом отношении у Федора Михайловича был пробел: у нас было, сравнительно говоря, немного денег и полная невозможность, в случае неудачи, откуда-либо их получить. И вот не прошло недели, как Федор Михайлович проиграл все наличные, и тут начались волнения по поводу того, откуда их достать, чтобы продолжать игру. Пришлось прибегнуть к закладам вещей. Но и закладывая вещи, муж иногда не мог сдержать себя и иногда проигрывал все, что только что получил за заложенную вещь. Иногда ему случалось проиграть чуть не до последнего талера, и вдруг шансы были опять на его стороне, и он приносил домой несколько десятков фридрихсдоров. Помню, раз он принес туго набитый кошелек, в котором я насчитала двести двенадцать фридрихсдоров (по двадцать талеров каждый), значит, около четырех тысяч трехсот талеров. Но эти деньги недолго оставались в наших руках. Федор Михайлович не мог утерпеть: еще не успокоившись от волнения игры, он брал двадцать монет и проигрывал, возвращался за другими два-

дцатью, проигрывал их, и так, в течение двух-трех часов, возвращаясь по нескольку раз за деньгами, в конце концов проигрывал все. Опять шли заклады, но так как драгоценных вещей у нас было немного, то скоро источники эти истощились. А между тем долги нарастали и давали себя чувствовать, так как приходилось должать квартирной хозяйке, вздорной бабе, которая, видя нас в затруднении, не стеснялась быть к нам небрежной и лишать нас разных удобств, на которые мы имели права по условию с ней. Писались письма к моей матери, с томлением ожидались присылки денег, и они в тот или на следующий день уходили на игру, а мы, успев лишь немного уплатить из наших неотложных долгов (за квартиру, за обеды и пр.), опять сидели без денег и придумывали, что бы такое нам предпринять, чтобы получить известную сумму, расплатиться с долгами и, уже не думая о выигрыше, уехать наконец из этого ада.

Скажу про себя, что я с большим хладнокровием принимала эти «удары судьбы», которые мы добровольно себе наносили. У меня через некоторое время после наших первоначальных потерь и волнений составилось твердое убеждение, что выиграть Федору Михайловичу не удастся, то есть, что он, может быть, и выиграет, пожалуй, и большую сумму, но что эта сумма в тот же день (и не позже завтрашнего) будет проиграна и что никакие мои мольбы, убеждения, уговаривания не идти на рулетку и не продолжать игры на мужа не подействуют.

Сначала мне представлялось странным, как это Федор Михайлович, с таким мужеством перенесший в своей жизни столько разнородных страданий (заключение в крепости, эшафот, ссылку, смерть любимого брата, жены), как он не имеет настолько силы воли, чтобы сдержать себя, остановиться на известной доле проигрыша, не рисковать своим последним талером. Мне казалось это даже некоторым унижением, недостойным его возвышенного характера, и мне было больно и обидно признать эту слабость в моем дорогом муже. Но скоро я поняла, что это не простая «слабость воли», а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может. С этим надо было примириться, смотреть на

увлечение игрой как на болезнь, против которой не имеется средств. Единственный способ борьбы — это бегство. Бежать же из Бадена мы не могли до получения значительной суммы из России.

Должна отдать себе справедливость: я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу (муж очень ценил это свойство моего характера) * и без ропота отдавала ему наши последние деньги, зная, что мои вещи, не выкупленные в срок **, наверно пропадут (что и случилось), и испытывая неприятности от хозяйки и мелких кредиторов.

Но мне было до глубины души больно видеть, как страдал сам Федор Михайлович: он возвращался с рулетки (меня с собой он никогда не брал, находя, что молодой порядочной женщине не место в игорной зале) бледный, изможденный, едва держась на ногах, просил у меня денег (он все деньги отдавал мне), уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный, за деньгами, и это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется.

Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович был так удручен, что начинал рыдать, становился предо мною на колени, умоляя меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило многих усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадежным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-либо иное. И как я была довольна и счастлива, когда мне удавалось это сделать, и я уводила его в читальню просматривать газеты или предпринимала продолжительную прогулку, что действовало на мужа всегда благотворно. Много десятков верст исходили мы с мужем по окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег. Тогда у него восстанавливалось его доброе, благодушное настроение, и мы целыми часами беседовали о самых разнообразных предметах. Любимейшая про-

---

* «Биография и письма». Письмо к Майкову, с. (173).[67]

** В игорных местах заклады принимаются не на месяцы, а недели или дни, не внесшие в срок теряют вещь, так как в расписке сказано, что она продана.

гулка наша была в Neues Schloß (Новый замок), а оттуда по прелестным лесистым тропинкам в Старый замок, где мы непременно пили молоко или кофе. Ходили и в дальний замок Эренбрейтштейн (верст восемь от Бадеиа) и там обедали и возвращались уже при закате солнца. Прогулки наши были хороши, а разговоры так занимательны, что я (несмотря на отсутствие денег и неприятности с хозяйкой) готова была мечтать, чтоб из Петербурга подольше не высылали денег. Но приходили деньги, и наша столь милая жизнь обращалась в какой-то кошмар.

Знакомых в Бадене у нас совсем не было. Как-то раз в парке мы встретили писателя И. А. Гончарова, с которым муж и познакомил меня. Видом своим он мне напомнил петербургских чиновников, разговор его тоже показался мне заурядным, так что я была несколько разочарована новым знакомством и даже не хотела верить тому, что это — автор «Обломова», романа, которым я восхищалась [68].

Был Федор Михайлович и у проживавшего в то время в Баден-Бадене И. С. Тургенева. Вернулся от него муж мой очень раздраженный и подробно рассказывал свою беседу с ним [69].

IV

1867 ГОД. ЖЕНЕВА

С выездом из Баден-Бадена закончился бурный период нашей заграничной жизни. Выручила нас, по обыкновению, наш добрый гений — редакция «Русского вестника». Но за время безденежья у нас накопилось много долгов и закладов, и почти все полученные деньги пошли на уплату их. Обиднее всего для меня было то, что не удалось выкупить драгоценный для меня свадебный подарок мужа, брошь и серьги с бриллиантами и рубинами, и они безвозвратно пропали.

Вначале мы мечтали с мужем поехать из Бадена в Париж или пробраться в Италию, но, рассчитав имевшиеся средства, положили основаться на время в Женеве, рассчитывая, когда поправятся обстоятельства, переселиться на юг. По дороге в Женеву мы ос-

тановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна (Hans Holbein), изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный *. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать — двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину [71].

Приехав в Женеву, мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много Chambresgarnies ** без всякого благоприятного результата: комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу rue Guillaume Tell и rue Bertellier, во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы m-lles Raymondin. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы, не колеблясь, решились у них поселиться.

* Впечатление от этой картины отразилось в романе «Идиот».[70]

** Меблированных комнат *(фр.)*.

Начали мы нашу женевскую жизнь с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей *. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали,— жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной.

И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на rue du Mont-Blans, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением «Голоса», «Московских» и «Петербургских ведомостей». Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны.

Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака[73] и Жорж Санда[74], и я постепенно перечитала все их романы. По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений. Мне приходилось удивляться тому, как Федор Михайлович, забывавший случившееся в недавнее время, ярко помнил фабулу и имена героев романов этих двух любимых им авторов. Запомнила, что муж особенно ценил роман «Père

* «Биография и письма» Ф. М. Достоевского, с. 176.[72]

Goriot» *, первую часть эпопеи «Les parents pauvres» ** [75]. Сам же Федор Михайлович зимою 1867/68 года перечитывал знаменитый роман Виктора Гюго: «Les humiliés et les offensés» *** [76].

Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта [77], и мы оба были всегда рады его посещению. Огарев, тогда уже глубокий старик, особенно подружился со мной, был очень приветлив и, к моему удивлению, обращался со мною почти как с девочкою, какою я, впрочем, тогда и была. К нашему большому сожалению, месяца через три посещения этого доброго и хорошего человека прекратились. С ним случилось несчастье: возвращаясь к себе на виллу за город, Огарев, в припадке падучей болезни, упал в придорожную канаву и при падении сломал ногу. Так как это случилось в сумерки, а дорога была пустынная, то бедный Огарев, пролежав в канаве до утра, жестоко простудился. Друзья его увезли лечиться в Италию, и мы, таким образом, потеряли единственного в Женеве знакомого, с которым было приятно встречаться и беседовать.

В начале сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс мира [78], на открытие которого приехал Джузеппе Гарибальди. Приезду его придавали большое значение, и город приготовил ему блестящий прием. Мы с мужем тоже пошли на rue du Mont-Blans, по которой он должен был проезжать с железной дороги. Дома были пышно убраны зеленью и флагами, и масса народу толпилась на его пути. Гарибальди, в своем оригинальном костюме, ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики. Нам удалось увидеть Гарибальди очень близ-

* «Отец Горио» *(фр.)*.
** «Бедные родственники» *(фр.)*.
*** «Униженные и оскорбленные» *(фр.)*.

ко, и мой муж нашел, что у итальянского героя чрезвычайно симпатичное лицо и добрая улыбка.

Интересуясь Конгрессом мира, мы пошли на второе его заседание и часа два слушали речи ораторов. От этих речей Федор Михайлович вынес тягостное впечатление, о котором писал к Ивановой-Хмыровой следующее: * «Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру, большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтобы все было общее по приказу и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще двадцать лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное — огонь и меч — и после того как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

К сожалению, нам в скором времени пришлось раскаяться в выборе Женевы местом постоянного житья. Осенью начались резкие вихри, так называемые bises, и погода менялась по два, по три раза на дню. Эти перемены угнетающе действовали на нервы моего мужа, и приступы эпилепсии значительно участились. Это обстоятельство страшно меня беспокоило, а Федора Михайловича удручало, главное, тем, что пора было приниматься за работу, частые же приступы болезни сильно этому мешали.

Федор Михайлович осенью 1867 года был занят разработкою плана и писанием романа «Идиот», который предназначался для первых книжек «Русского вестника» на 1868 год. Идея романа была «старинная и любимая — изобразить положительно прекрасного человека» **, но задача эта представлялась Федору Михайловичу «безмерною». Все это действовало раздражающе на моего мужа. На беду, к этому у него присоединилась тревожная, хотя и вполне неосновательная, забота о том, как бы я не соскучилась, живя с ним вдвоем, в полном уединении, «на необитаемом острове», как писал он в письме к А. Н. Майкову ***. Как ни старалась я его разубедить, как ни уверяла, что я вполне счастлива и ничего мне не надо, лишь бы жить с ним и он любил меня, но мои уверения мало действовали,

* «Русская старина», 1887, кн. VII. [79]
** «Русская старина», 1887, кн. VII. [80]
*** «Биография и письма», с. 180. [81]

и он тосковал, зачем у него нет денег, чтобы переехать в Париж и доставить мне развлечения вроде посещения театра и Лувра *. Плохо знал меня тогда мой муж!

Словом, Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, я подала ему мысль съездить в Saxon les Bains вновь «попытать счастья» на рулетке. (Saxon les Bains находятся часах в пяти езды от Женевы; существовавшая там в те времена рулетка давно уже закрыта.) Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре — ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Saxon. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат: перемена места, путешествие и вновь пережитые бурные ** впечатления коренным образом изменили его настроение. Вернувшись в Женеву, Федор Михайлович с жаром принялся за прерванную работу и в двадцать три дня написал около шести печатных листов (93 стр.) для январской книжки «Русского вестника».

Написанною частью романа «Идиот» Федор Михайлович был недоволен и говорил, что первая часть ему не удалась [84]. Скажу кстати, что муж мой и всегда был чрезмерно строг к самому себе и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался, любил и долго их вынашивал в своем уме, но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень редкими исключениями, был недоволен.

Помню, что зимою 1867 года Федор Михайлович очень интересовался подробностями нашумевшего в то время процесса Умецких. Интересовался до того, что героиню процесса, Ольгу Умецкую, намерен был сделать (в первоначальном плане) героиней своего нового романа. Так она и занесена под этой фамилией в его записной книжке. Жалел он очень, что мы не в Петербурге, так как непременно отозвался бы своим словом на этот процесс [85].

Запомнила также, что в зиму 1867 года Федор Михайлович чрезвычайно интересовался деятельностью су-

* Idem., с. 181.[82]

** Письмо ко мне от 17 ноября 1867 г.[83]

да присяжных заседателей, незадолго пред тем проведенного в жизнь. Иногда он даже приходил в восторг и умиление от их справедливых и разумных приговоров и всегда сообщал мне все выдающееся, вычитанное им из газет и относящееся до судебной жизни[86].

Время шло, и у нас прибавлялись заботы о том, благополучно ли совершится ожидаемое нами важное событие в нашей жизни — рождение нашего первенца. На этом предстоящем событии сосредоточивались главным образом наши мысли и мечты, и мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца. С общего согласия решили, если будет дочь — назвать Софией (назвать Анной, как желал муж, я отказалась), в честь любимой племянницы мужа — Софии Александровны Ивановой, а также в память «Сонечки Мармеладовой», несчастия которой я так оплакивала. Если же родится сын, то положили назвать Михаилом, в честь любимого брата мужа, Михаила Михайловича.

С чувством живейшей благодарности вспоминаю, как чутко и бережно относился Федор Михайлович к моему болезненному состоянию, как он меня берег и обо мне заботился, на каждом шагу предостерегая от вредных для меня быстрых движений, которым я, по неопытности, не придавала должного значения. Самая любящая мать не сумела бы так охранять меня, как делал это мой дорогой муж.

Приехав в Женеву, Федор Михайлович, при первой получке денег, настоял на визите к лучшему акушеру и просил его рекомендовать sage-femme *, которая взяла бы меня под свое наблюдение и каждую неделю меня навещала. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший и показавший мне, до каких мелочей простираются сердечные заботы обо мне моего мужа. При одном из посещений m-me Barraud (sage-femme) спросила, кто из наших знакомых живет на одной с нею улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась, но подумала, что она ошиблась. Стала допрашивать мужа: он сначала отнекивался, но потом рассказал: m-me Barraud жила на одной из многочисленных улиц, поднимающихся в гору от rue Basses, главной торговой артерии Жене-

* акушерку *(фр.)*.

вы. Улицы эти недоступны, по своей крутизне, для экипажей и очень похожи одна на другую. И вот Федор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу и каждый день, после читальни, проходил мимо дома m-me Barraud и, пройдя пять-шесть домов далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних трех месяцев, а между тем это восхождение на крутую гору, при его начинавшейся уже астме, представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки, и как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома m-me Barraud ему пригодилось и он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне.

Беспокоясь о моем положении и желая меня обрадовать, Федор Михайлович решил просить мою матушку приехать к нам погостить месяца на три. Моя мать, очень по мне тосковавшая и тревожившаяся, охотно согласилась приехать, но попросила дать ей время для устройства дел по управлению принадлежащими ей домами, что представляло некоторые трудности.

В половине декабря 1867 года мы, в ожидании моего разрешения от бремени, переселились на другую квартиру, на rue du Mont-Blanc, рядом, около англиканской церкви. На этот раз мы взяли две комнаты, из <них> одну очень большую, в четыре окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять garde-malade* для ухода за ребенком и за мной во время болезни.

В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 года, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие.

---

* сиделку (*фр.*).

В начале года погода в Женеве стояла прекрасная, но с половины февраля вдруг наступил перелом, и начались ежедневные бури. Внезапная перемена погоды, по обыкновению, раздражающе повлияла на нервы Федора Михайловича, и с ним в короткий промежуток времени случились два приступа эпилепсии. Второй, очень сильный, поразил его в ночь на 20 февраля, и он до того потерял силы, что, встав утром, едва держался на ногах. День прошел для него смутно, и, видя, что он так ослабел, я уговорила лечь пораньше спать, и он заснул в семь часов. Не прошло часа после его отхода ко сну, как я почувствовала боль, сначала небольшую, но которая с каждым часом усиливалась. Так как боли были характерные, то я поняла, что наступают роды. Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил:

— Что с тобой, Анечка?

— Кажется, началось, я очень страдаю!— ответила я.

— Как мне тебя жалко, дорогая моя!— самым жалостливым голосом проговорил мой муж, и вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность. Я поняла, что Федор Михайлович находится в таком состоянии, что пойти за sage-femme не может и что, не давши ему подкрепить свои расшатанные нервы продолжительным сном, можно было вызвать новый припадок. Хозяев, по обыкновению, не было дома (они каждую ночь до утра проводили в каком-то собрании), а обращаться к служанке было напрасно. К счастью, боли несколько стихли, и я решилась терпеть, сколько могу. Но какую ужасную ночь я тогда провела: страшно шумели деревья, окружавшие церковь, ветер и дождь стучали в окна, на улице была глубокая темнота. Не скрою, меня угнетало сознание полного одиночества и беспомощности. Как мне было горько, что в такие тяжелые часы моей жизни не было около меня никого из близких родных, а единственный мой защит-

ник-покровитель — муж — сам находится в беспомощном состоянии. Я стала горячо молиться, и молитва поддержала мои падавшие силы.

К утру боли усилились, и около семи часов я решилась разбудить Федора Михайловича. Проснулся он значительно окрепший. Узнав, что я промучилась всю ночь, он страшно испугался, упрекнул меня, зачем не разбудила его раньше, мигом оделся и побежал к m-me Barraud. Там он едва дозвонился, но служанка не хотела будить барыню, сказав, что она только недавно вернулась из гостей. Тогда Федор Михайлович пригрозил, что будет продолжать звонить или выбьет стекла. Барыню разбудили, и через час муж привез ее. Мне пришлось выслушать от нее выговор за многое, что я по незнанию сделала, и она меня уверила, что моя неосторожность замедлит ход родов. Уверила и в том, что они последуют не раньше, как через семь-восемь часов, и обещала приехать к тому времени. Федор Михайлович съездил за garde-malade, и мы с ним в большом страхе и унынии стали ожидать дальнейшего. В обещанный час m-me Barraud не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала. Федор Михайлович отправился по данному адресу и настоял, чтобы она пришла посмотреть, в каком я положении. По ее мнению, дело плохо двигалось и разрешения можно было ожидать только поздно вечером. Дав мне некоторые советы, она ушла обедать; я продолжала страдать, а Федор Михайлович мучился, на меня глядя. Дальше девяти часов он не мог вынести, отправился за m-me Barraud к ее друзьям, застал ее за семейным лото и объявил, что я слишком страдаю, что если она не пойдет и не будет неотлучно находиться у моей постели, то он попросит врача указать другую акушерку, более внимательно относящуюся к своим обязанностям. Угроза подействовала. M-me Barraud была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: «Oh, ces russes, ces russes!!» *

Чтобы ее утешить, Федор Михайлович устроил для нее отличный ужин, накупив самых разнообразных за-

* О, эти русские, эти русские!! *(фр.)*.

кусок, сластей и вин. Я была очень довольна, что поездки за акушеркой, беготня по магазинам и устройство угощения хоть на некоторое время отвлекли его мучительное внимание к моему положению. Помимо обычных при акте разрешения страданий, я мучилась и тем, как вид этих страданий действовал на расстроенного недавними припадками Федора Михайловича. В лице его выражалось такое мучение, такое отчаяние, по временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти, и, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не столько себя, сколько бедного моего мужа, для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке. Внезапное крушение этих надежд, при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича, могло стать для него гибелью. Возможно, что мое беспокойство о муже и волнение замедляли ход родов: это нашла и m-me Barraud и под конец запретила мужу входить в мою комнату, уверяя его, что его отчаянный вид меня расстраивает. Федор Михайлович повиновался, но я еще пуще забеспокоилась и, в промежутках страданий, просила то акушерку, то garde-malade посмотреть, что делает мой муж. Они сообщали то, что он стоит на коленях и молится, то, что он сидит в глубокой задумчивости, закрыв руками лицо. Страдания мои с каждым часом увеличивались; я по временам теряла сознание и, приходя в себя и видя устремленные на меня черные глаза незнакомой для меня garde-malade, пугалась и не понимала, где я нахожусь и что со мною происходит. Наконец, около пяти часов ночи на 22 февраля (нашего стиля) муки мои прекратились, и родилась наша Соня. Федор Михайлович рассказывал мне потом, что все время молился обо мне, и вдруг среди моих стонов ему послышался какой-то странный, точно детский крик. Он не поверил своему слуху, но когда детский крик повторился, то он понял, что родился ребенок, и, вне себя от радости, вскочил с колен, подбежал к запертой на крючок двери, с силою толкнул ее и, бросившись на колени около моей постели, стал целовать мои руки. Я тоже была страшно счаст-

лива, что прекратились мои страдания. Мы оба были так потрясены, что в первые пять — десять минут не знали, кто у нас родился; мы слышали, что кто-то из присутствовавших дам сказал: «Un garçon, n'est-ce pas?» *, а другая ответила: «Fillette, un adorable fillette!» ** Но нам с мужем было одинаково радостно, кто бы ни родился,— до того мы оба были счастливы, что исполнилась наша мечта, появилось на свет божий новое существо, наш первенец!

Между тем m-me Barraud обрядила ребенка, поздравила нас с рождением дочери и поднесла ее нам в виде большого белого пакета. Федор Михайлович благоговейно перекрестил Соню, поцеловал сморщенное личико и сказал: «Аня, погляди, какая она у нас хорошенькая!» Я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадовалась на моего дорогого мужа, видя на его восторженном и умиленном лице такую полноту счастья, какой доселе не приходилось видеть.

Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за всю свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был все время мой муж, и опять повторила: «Oh, ces russes, ces russes!» Сиделку она послала за чем-то в аптеку, а Федора Михайловича посадила стеречь меня, чтоб я не заснула ***.

M-me Barraud сообщила Федору Михайловичу, что по швейцарским законам отец родившегося ребенка обязан лично заявить об этом в полицию и получить законное свидетельство. Предупредила, что он должен сделать это возможно скорее, ибо иначе может подвергнуться штрафу и чуть ли не аресту. Федор Михайлович отправился в указанное учреждение на другой же день и пропал часа на четыре, чем меня чрезвычайно испугал; благодаря болезненному состоянию, мне представились разные ужасы, с ним случившиеся. Наконец Федор Михайлович вернулся и весело рассказал приключившийся с ним казус. Оказывается,

* Мальчик, не правда ли? *(фр.)*.

** Девочка, очаровательная девочка! *(фр.)*.

*** В романе «Бесы», в сцене родов жены Шатова, Федор Михайлович описал многие свои ощущения при рождении нашей первой дочери.

что, явившись в полицию, он узнал, что отец новорожденного обязан привести с собою двух свидетелей, могущих удостоверить как личность родителей, так и совершившееся событие. Федор Михайлович стал объяснять чиновнику, что он иностранец и знакомых в Женеве у него нет, но чиновник не стал и слушать и обратился к следующему просителю. В величайшем недоумении вышел Федор Михайлович из учреждения и обратился за советом к сержанту, дежурившему у дверей. Тот мигом вывел моего мужа из затруднения, предложив явиться свидетелем, но при этом сказал, что может быть к услугам его не ранее, как придет к нему на смену другой сержант, а это произойдет через полтора часа. Когда же Федор Михайлович спросил, где бы взять второго свидетеля, сержант предложил «un camarade á moi» *. Дело устраивалось, но приходилось ждать, и Федор Михайлович, по совету сержанта, пошел посидеть на скамейке бульвара, с ужасом помышляя о том, как долго он не сможет воротиться домой. В назначенное время сержант сменился, отправился за вторым свидетелем и привел другого сержанта, и все трое — муж мой и два сержанта — явились к заведующему приемом заявлений чиновнику. Пока записывали показания отца новорожденной и свидетелей, пока проводили заявление по книгам, пока написали свидетельство ** — прошло довольно много времени. Покончив дело, Федор Михайлович спросил своего благодетеля-сержанта, сколько он ему и его товарищу должен за потерянное время. Тот отвечал: «Mais rien, monsieur, rien!» *** Тогда муж мой придумал пригласить обоих сержантов в кафе выпить вина за здоровье новорожденной. На это сержанты с удовольствием согласились и повели Федора Михайловича в близлежащий ресторан, где в отдельной комнате Федор Михайлович и велел подать три бутылки местного красного вина. Оно развязало язык у пирующих, и сержанты принялись рассказывать своему собеседнику разные случаи из своей служебной деятельности. Федор Михайлович говорил, что сидел как на

* своего товарища *(фр.)*.

** Тут должна быть приложена интересная копия с выданного документа.

*** Ничего, господин, ничего! *(фр.)*.

иголках, думая, как я буду беспокоиться о его долгом отсутствии. Оставить же своих собеседников ему было неудобно, тем более, что за первыми бутылками последовали еще две, и сержанты, развеселившись, предлагали тосты и за мое здоровье, и за petite Sophie, и за виновника появления ее на свет.

Отцом крестным нашей Сони Федор Михайлович просил быть своего друга, поэта А. Н. Майкова, а матерью крестною — Анну Николаевну Сниткину, мою мать. Она была намерена приехать к родинам, но захворала, и доктор не позволил ей до весны пуститься в такой продолжительный путь. Моя мать приехала в Женеву в начале мая, когда и совершены были крестины Сони.

Хотя я и довольно скоро оправилась после болезни, но вследствие трудных, продолжавшихся тридцать три часа родов я страшно обессилела, и хотя с радостью принялась кормить девочку, но вскоре убедилась, что без прикармливания молоком не обойдешься, так как ребенок был большой и здоровый и требовал много пищи. Взять к Соне кормилицу было невозможно — в Швейцарии обычно выкармливают детей искусственным образом, коровьим молоком, на бутылке и питательных порошках. Иные же матери отсылали своих новорожденных верст за шестьдесят в горы, на грудь крестьянкам. Расстаться с Соней и отдать ее в чужие руки было немыслимо, да и доктора не советовали, так как за отсутствием присмотра крестьянки брали несколько младенцев и многие из них умирали.

Когда в нашем доме устроился известный порядок, началась жизнь, о которой у меня навеки остались самые отрадные воспоминания. К моему большому счастию, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: «Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?» Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он

был уверен, что Сонечка узнает его, и вот что он писал А. Н. Майкову от 18 мая 1868 года: «Это маленькое, трехмесячное <создание>, такое бедное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил»[87].

Но недолго дано было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем. В первых числах мая стояла дивная погода, и мы, по настоятельному совету доктора, каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Jardin des Anglais, где она и спала в своей колясочке два-три часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверения, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались: днем 12 мая (нашего стиля) наша дорогая Соня скончалась. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвою нашу милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть,

до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали. Слишком уж тяжело было нам расстаться с нашею бесценною малюткою, так искренно и глубоко успели мы ее полюбить и так много мечтаний и надежд соединялось у нас с ее существованием!

V

Оставаться в Женеве, где все напоминало нам Соню, было немыслимо, и мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переехать в Vevey, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что, по недостатку средств, не могли совсем уехать из Швейцарии, которая стала для моего мужа почти ненавистна: он винил в смерти Сонечки и дурной, изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и проч. Самих швейцарцев Федор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, выказанные многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы.

Никогда не забуду я тот вечно печальный день, когда мы, отправив свои вещи на пароход, пошли в последний раз проститься с могилкой нашей дорогой девочки и положить ей прощальный венок. Мы целый час сидели у подножия памятника и плакали, вспоминая Соню, и, осиротелые, ушли, часто оглядываясь на ее последнее убежище.

Пароход, на котором нам пришлось ехать, был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки

Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее «странный, мнительный и болезненно-фантастический характер» * был причиною того, что он был с нею очень несчастлив. И вот теперь, когда это «великое и единственное человеческое счастье — иметь родное дитя» ** [89] посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо! Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей.

Я пыталась его утешать, умоляла его принять с покорностью ниспосланное нам испытание, но, очевидно, сердце его было полно скорби, и ему необходимо было облегчить его хотя бы жалобою на преследовавшую его всю жизнь судьбу. Я от всего сердца сочувствовала моему несчастному мужу и плакала с ним над столь печально сложившеюся для него жизнию. Наше общее глубокое горе и задушевная беседа, в которой для меня раскрылись все тайники его наболевшей души, как бы еще теснее соединили нас.

За все четырнадцать лет нашей супружеской жизни я не запомню такого грустного лета, какое мы с мужем провели в Вене в 1868 году. Жизнь как будто остановилась для нас; все наши мысли, все наши разговоры сосредоточивались на воспоминаниях о Соне и о том

---

* Этими же словами Федор Михайлович определил характер своей первой жены в письме к бар. А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.— «Биография и письма». Материалы, с. 278. [88]

** «Биография и письма». Материалы, с. 288.

счастливом времени, когда она своим присутствием освещала нашу жизнь. Каждый встретившийся ребенок напоминал нам о нашей потере, и, чтобы не терзать свои сердца, мы уходили гулять куда-нибудь в горы, где была возможность избежать волновавших нас встреч. Я тоже тяжело переносила наше горе и много слез пролила по своей девочке. Но в глубине души у меня таилась надежда, что милосердный господь сжалится над нашими страданиями и вновь пошлет нам дитя, и я горячо молилась об этом. Надеждою на новое материнство старалась утешать меня и моя мать, которая тоже очень тосковала по внучке. Благодаря молитве и надежде острота скорби моей мало-помалу смягчалась. Не то происходило с Федором Михайловичем, и его душевное настроение начинало не на шутку меня пугать. Вот что я прочла в письме к Майкову (от 22 июня), когда мне пришлось приписать к нему несколько слов привета его жене: «...чем дальше идет время, <тем язвительнее воспоминание и тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которых выносить нельзя. Она уже меня знала, она, когда я, в день смерти ее, уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется, и все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду? мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет и что ее никогда не увижу»> [90].

Такими же словами отвечал Федор Михайлович на утешения моей матери. Меня его подавленное настроение страшно беспокоило, и я с огорчением думала: неужели возможно, что Федор Михайлович, если господь вновь благословит нас рождением ребенка, не полюбит его и не будет так же счастлив, как был счастлив при рождении Сони. Точно темная завеса задернулась пред нами, так было в нашей семье тоскливо и грустно.

Федор Михайлович продолжал работать над своим романом, но работа его не утешала. К нашему печальному настроению присоединилась тревога по поводу того, что стали пропадать адресованные нам письма, и таким образом затруднялись сношения с родными

и знакомыми, а эти сношения составляли единственное наше утешение. Особенно было жаль пропадавших писем А. Н. Майкова, всегда полных животрепещущего интереса. Подозрение о пропаже писем еще более укрепилось в нас, когда мы получили анонимное письмо *, где сообщалось, что Федора Михайловича подозревают, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать его на границе при возвращении на родину [92]. Как на грех, в руки Федора Михайловича попалась запрещенная книжка: «Les secrets du Palais des Tzars» (из времен царствования императора Николая Павловича) [93]. Среди героев выведены Достоевский с женой, причем в романе в числе многих нелепостей рассказано, что Достоевский умирает, а жена его идет в монастырь. Рассказ страшно возмутил Федора Михайловича, и он даже хотел писать опровержение (имеется черновик письма), но потом решил, что не стоит придавать значения глупой книжонке [94].

VI

К осени нам стало ясно, что необходимо во что бы то ни стало изменить наше тяжелое настроение, и в начале сентября мы решили переехать в Италию и на первый случай поселиться в Милане. Ближайший перевал был через горы Simplon. Мы сделали его частью пешком, идя с мужем рядом с поднимавшимся в гору громадным дилижансом, опережая его, поднимаясь по тропинкам и сбирая по дороге горные цветы. Спустились мы в сторону Италии уже в кабриолете. Запомнила смешной случай: в местечке Domo d'Ossola я пошла покупать фрукты и испытать свое за лето приобретенное знание итальянского языка. Заметив, что Федор Михайлович зашел в какой-то магазин, и думая помочь ему в разговоре, я поспешила к нему. Оказалось, что, желая чем-нибудь меня порадовать, он приценивался к какой-то видневшейся в витрине цепочке. Торговец, принявший нас за «знатных иностранцев», заломил за цепочку три тысячи франков, уверяя, что она относится чуть ли ко временам Веспасиана. Несоответствие запрошенной цены с имеющимися в на-

* «Биография и письма», с. 192.[91]

шем распоряжении суммами заставило Федора Михайловича улыбнуться, и это было чуть ли не первое веселое его впечатление со времени нашей потери.

Перемена обстановки, дорожные впечатления, новые люди (ломбардцы-крестьяне, по мнению Федора Михайловича, с виду очень похожи на русских крестьян) — все это повлияло на настроение Федора Михайловича, и первые дни пребывания в Милане он был чрезвычайно оживлен: водил меня осматривать знаменитый Миланский собор Il Duomo, составлявший для него всегда предмет искреннего и глубокого восхищения. Федор Михайлович жалел только о том, что площадь пред собором близко застроена домами (теперь площадь значительно расширена), и говорил, что архитектура Il Duomo, таким образом, теряет в своей величественности. В один ясный день мы с мужем даже взбирались на кровлю собора, чтобы бросить взгляд на окрестности и лучше рассмотреть украшающие его статуи. Поселились мы близ Corso, в такой узенькой улице, что соседи могли переговариваться из окна в окно.

Я начала радоваться оживленному настроению мужа, но, к моему горю, оно продолжалось недолго, и он опять затосковал. Одно, что несколько рассеивало Федора Михайловича, это — его переписка с А. Н. Майковым и Н. Н. Страховым. Последний сообщил нам о возникновении нового журнала «Заря», издаваемого В. В. Кашпиревым. Федор Михайлович заинтересовался, главное, тем, что во главе редакции станет Н. Н. Страхов, бывший сотрудник «Времени» и «Эпохи», и что, благодаря этому, как писал мой муж: «Итак, наше направление и наша общая работа не умерла. «Время» и «Эпоха» все-таки принесли плоды, и новое дело нашлось вынужденным начать с того, на чем мы остановились. Это слишком отрадно» *. Федор Михайлович, вполне сочувствуя возникающему журналу, интересовался как сотрудниками, так и статьями, ими доставленными (особенно Н. Я. Данилевским, написавшим капитальное произведение «Россия и Европа», и которого мой муж знал еще в юности последователем учения Фурье) [96].

* «Биография и письма», с. 261.[95]

Страхов усиленно приглашал моего мужа быть сотрудником «Зари». Федор Михайлович на это с удовольствием соглашался, но лишь тогда, когда окончит роман «Идиот», который так трудно ему давался и которым он был очень недоволен. Федор Михайлович уверял, что никогда у него не было ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем идея, которая выяснилась в романе и что и десятой доли не выразил он из того, что хотел в нем выразить [97].

Осень 1868 года в Милане была дождливая и холодная, и делать большие прогулки (что так любил мой муж) было невозможно. В тамошних читальнях не имелось русских газет и книг, и Федор Михайлович очень скучал, оставаясь без газетных известий с родины. Вследствие этого, прожив два месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию. Федор Михайлович когда-то бывал там, и у него остались о городе хорошие воспоминания, главным образом о художественных сокровищах Флоренции.

Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от Cathedrale, церкви Santa Maria del fiore и от небольшой капеллы del Battistero, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Battistero (особенно delta del Paradiso), работы знаменитого Ghiberti, очаровали Федора Михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться.

Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от картины Рафаэля «Madonna della Sedia». Другая картина того же художника «S. Giovan Battista nel deserto» (Иоанн Креститель в пустыне), находящаяся в галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую

Venere de Medici (Венеру Медицейскую) работы знаменитого греческого скульптора (Cleomene) Клеомена[98]. Эту статую мой муж признавал гениальным произведением

Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро[99] на французском языке, которым он свободно владел.

Наступивший 1869 год принес нам счастье: мы вскоре убедились, что господь благословил наш брак и мы можем вновь надеяться иметь ребенка. Радость наша была безмерна, и мой дорогой муж стал обо мне заботиться столь же внимательно, как и в первую мою беременность. Его забота дошла до того, что, прочитав присланные Н. Н. Страховым томы только что вышедшего романа графа Л. Толстого «Война и мир», спрятал от меня ту часть романа, в которой так художественно описана смерть от родов жены князя Андрея Болконского. Федор Михайлович опасался, что картина смерти произведет на меня сильное и тягостное впечатление. Я всюду искала пропавшего тома и даже бранила мужа, что он затерял интересную книгу. Он всячески оправдывался и уверял, что книга найдется, но дал мне ее только тогда, когда ожидаемое событие уже совершилось. В ожидании рождения ребенка, Федор Михайлович писал в письме к Н. Н. Страхову: «Жду с волнением, и страхом, и с надеждою, и с робостию» *. Мы оба мечтали иметь девочку, и так как уже пламенно любили ее в наших мечтах, то заранее дали ей имя Любовь, имя, которого не было ни в моей, ни в семье мужа.

Мне предписано было доктором много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Giardino Boboli (сад, окружающий дворец Питти), где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о пашем будущем счастье.

В 1869 году, как и раньше, наши денежные обстоятельства были очень плохи и нам приходилось нуждаться. За роман «Идиот» Федор Михайлович получал по полтораста рублей за лист, что составило около

* «Биография и письма», с. 282.[100]

семи тысяч. Но из них три тысячи были взяты для нашей свадьбы пред отъездом за границу. А из остальных четырех тысяч приходилось платить проценты за заложенные в Петербурге вещи и часто помогать пасынку и семье умершего брата, так что на нашу долю оставалось сравнительно немного. Но нашу сравнительную бедность мы сносили не только безропотно, но иногда с беспечностью. Федор Михайлович называл себя мистером Микобером, а меня мистрис Микобер [101]. Мы жили с мужем душа в душу, а теперь, при появившейся надежде на новое счастье, все было бы прекрасно, но тут грозила другая беда: за два истекших года Федор Михайлович отвык от России и стал этим тяготиться очень. В письме к С. А. Хмыровой * от 8 марта 1869 года, сообщая ей о своем будущем романе «Атеизм» [102], <он> пишет: «Писать его здесь я не могу; для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно... здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками и необходимого материала для письма, то есть русской действительности (дающей мысли) и русских людей» [103]. Но не только русских людей, но и вообще людей нам недоставало; во Флоренции у нас не было ни одного знакомого человека, с которым можно было бы поговорить, поспорить, пошутить, обменяться впечатлениями. Кругом все были чужие, а иногда и неприязненно настроенные лица, и это полное отъединение от людей было подчас тяжело. Помню, мне тогда приходило на мысль, что люди, живущие в таком совершенном уединении и отчужденности, могут в конце концов или возненавидеть друг друга, или тесно сойтись на всю остальную жизнь. К нашему счастью, с нами случилось последнее: это невольное уединение заставило нас еще сердечнее сблизиться и еще более дорожить друг другом.

За девять месяцев пребывания в Италии я научилась немного говорить по-итальянски, то есть достаточно для разговора с прислугой или в магазинах, даже могла читать газеты «Piccola» и «Secola» и все понимала. Федор Михайлович, занятый своей работой, конечно, не мог научиться, и я была его переводчиком. Теперь, ввиду приближавшегося семейного события,

* «Русская старина», 1885, № 7.

необходимо было переселиться в страну, где бы говорили по-французски или по-немецки, чтобы муж мог свободно объясняться с доктором, акушеркой, в магазинах и пр. Мы долго обсуждали вопрос, куда поехать, где для Федора Михайловича могло бы найтись интеллигентное общество. Я подала мужу мысль поселиться на зиму в Праге, как в родственной стране, близкой к России. Там мог мой муж познакомиться с выдающимися политическими деятелями и чрез них войти в тамошние литературные и художественные кружки. Федор Михайлович мысль мою одобрил, так как не раз жалел, что не присутствовал на славянском съезде 1867 года; сочувствуя начавшемуся в России сближению с славянами, муж хотел ближе узнать их. Таким образом, мы окончательно остановились на решении поехать в Прагу и остаться там на всю зиму. При моем положении путешествовать было затруднительно, и мы решили по пути в Прагу отдыхать в нескольких городах. Первый наш переезд был до Венеции, но дорогой, от поезда до поезда, мы остановились в Болонье и поехали в тамошний музей посмотреть картину Рафаэля «Святая Цецилия». Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, по до сих пор видел лишь копии, и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд.

В Венеции мы прожили несколько дней, и Федор Михайлович был в полном восторге от архитектуры церкви св. Марка (Chiesa San Marco) и целыми часами рассматривал украшающие стены мозаики. Ходили мы вместе и в Palazzo Ducale, и муж мой приходил в восхищение от его удивительной архитектуры; восхищался и поразительной красоты потолками Дворца дожей, нарисованными лучшими художниками XV столетия. Можно сказать, что все четыре дня мы не сходили с площади San Marco,— до того она, и днем, и вечером, производила на нас чарующее впечатление.

VII

Переезд из Венеции в Триест на пароходе был чрезвычайно бурный; Федор Михайлович за меня очень тревожился и не отходил ни на шаг, но, к счастию,

все обошлось благополучно. Затем мы остановились на два дня в Вене и только после десятидневного путешествия добрались до Праги. Здесь нас ожидало большое разочарование: оказалось, в те времена существовали меблированные комнаты только для одиноких и совсем не было меблированных комнат для семейств, то есть более спокойных и удобных. Чтобы остаться в Праге, приходилось нанимать квартиру, платить за полгода вперед и, кроме того, обзаводиться мебелью и всем хозяйством. Это было нам не по средствам, и после трехдневных поисков мы, к большому нашему сожалению, должны были оставить Золотую Прагу, которая нам успела за эти дни очень понравиться. Так рушились мечты моего мужа завязать сношения с деятелями славянского мира. Нам ничего не оставалось более, как основаться в Дрездене, условия жизни в котором нам были известны. И вот в начале августа мы приехали в Дрезден и наняли три меблированные комнаты (моя мать опять приехала ко времени моего разрешения от бремени) в английской части города (Englischer Viertel) в Victoriastraße, № 5. В этом-то доме 14 сентября 1869 года и произошло счастливое семейное событие — рождение нашей второй дочери — Любови [104]. В чрезвычайном счастии Федор Михайлович, извещая А. Н. Майкова и приглашая его в крестные отцы, писал: «Три дня назад родилась у меня дочь, Любовь. Все обошлось благополучно, и ребенок большой, здоровый и красавица» *. Конечно, только глаза влюбленного и восторженного отца могли в розовом комочке мяса увидать «красавицу».

С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Н. Н. Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть» **.

Крестным отцом и на этот раз был А. Н. Майков, а крестною матерью муж мой избрал свою любимую

* «Биография и письма», с. 206.[105]
** Idem., с. 287.[106]

сестру, В. М. Иванову. Заместительницею была моя мама. Крестины состоялись только в декабре: сначала я хворала, а затем священник дрезденской церкви уехал по делам в Петербург.

В Дрездене мы нашли прекрасную читальню со многими русскими и иностранными газетами. Нашлись для нас и знакомые из тех русских, постоянно живущих в Дрездене, которые после обедни приходили в семью батюшки, очень гостеприимную. Между новыми знакомыми оказалось несколько умных и интеллигентных людей, с которыми моему мужу было интересно беседовать. Это была хорошая сторона дрезденской жизни.

Закончив свой роман «Вечный муж», Федор Михайлович отдал его в журнал «Заря», где он и появился в первых двух книжках 1870 года. Роман этот имеет автобиографическое значение. Это — отголосок летнего пребывания моего мужа в 1866 году в Люблине, близ Москвы, где он поселился на даче, рядом с дачею своей сестры В. М. Ивановой. В лице членов семейства Захлебининых Федор Михайлович изобразил семью Ивановых. Тут и отец, весь ушедший в свою большую докторскую практику, мать, вечно усталая от хозяйственных забот, и веселая молодежь — племянники и племянницы Федора Михайловича и их молодые друзья. В лице подружки Марьи Никитишны изображена друг семьи М. С. Иванчина-Писарева, а в лице Александра Лобова — пасынок мужа, П. А. Исаев, конечно, в сильно идеализированном виде. Даже в Вельчанинове имеются некоторые черточки самого Федора Михайловича, например в описании различного рода игр, затеянных им при приезде на дачу. Таким веселым в молодом обществе и находчивым вспоминает о нем один из участников подобных летних вечеров и представлений Н. Н. Фон-Фохт *.

Зимою 1869/70 года Федор Михайлович был занят составлением нового романа, который хотел назвать «Житие великого грешника». Это произведение, по мысли мужа, должно было состоять из пяти больших повестей (каждая листов в пятнадцать), причем каждая повесть составляла бы самостоятельное произведе-

* «Исторический вестник», 1901, № 12.

ние, которое можно было бы напечатать в журнале или издать отдельно книгой. Во всех пяти повестях Федор Михайлович предполагал провести тот важный и мучительный вопрос, которым он болел всю свою жизнь — именно вопрос о существовании бога [107]. Действие в первой повести должно было происходить в сороковых годах прошлого столетия, и материал ее, и типы тогдашнего времени были для Федора Михайловича настолько ясны и знакомы, что он мог писать эту повесть и продолжая жить за границей. Эту-то повесть муж и хотел поместить в «Заре». Но для второй повести, действие которой происходит в монастыре, Федору Михайловичу уже необходимо было бы вернуться в Россию. Во второй повести муж предполагал главным героем выставить святителя Тихона Задонского [108], конечно, под другим именем. Федор Михайлович возлагал большие надежды на предполагаемый роман и смотрел на него как на завершение своей литературной деятельности. Это его предвидение впоследствии оправдалось, так как многие герои задуманного романа вошли потом в роман «Братья Карамазовы». Но тогда мужу не удалось исполнить своего намерения [109], так как его увлекла другая тема, о которой он писал Н. Н. Страхову: «На вещь, которую теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны: хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь» *.

Это был роман «Бесы», появившийся в 1871 году [111]. На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата [112]. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты (в них печаталось многое, что не появлялось в русских), пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения [113]. Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. Приездом моего брата

* «Биография в письмах», с. 288.[110]

Федор Михайлович рассчитывал утешить как меня, уже начавшую тосковать по родине, так и мою мать, которая уже два года жила за границей (то с детьми моей сестры, то выезжая к нам) и очень соскучилась по сыну. Брат мой всегда мечтал о поездке за границу; он воспользовался вакациями и приехал к нам. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым [114]. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность! Описание парка Петровской академии и грота, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата [115].

Добавлю, что приезд моего брата в Дрезден оказался капитальным событием в его жизни: среди членов русского общества он встретил девицу, сделавшуюся через год его женой.

Хотя материал для нового романа был взят из действительности, тем не менее мужу было необыкновенно трудно его написать. По обыкновению, Федор Михайлович был недоволен своей работой, много раз переделывал и листов пятнадцать уничтожил [116]. Тенденциозный роман был, очевидно, не в духе его творчества.

По мере того как подрастала наша Любочка и не нуждалась более в моем безотлучном присутствии, я получила возможность вместе с Федором Михайловичем ходить в картинную галерею, в дешевые концерты на Брюлловой террасе и на прогулки. На одной из них с нами произошел случай, рисующий всегдашнюю стремительность характера моего мужа. Дело было так: в зиму 1870 года был назначен аукцион обстановки и вещей какой-то умершей немецкой герцогини.

Продавались бриллианты, платья, белье, меха и проч., и залы ее отеля были переполнены публикой. В один из последних дней аукциона мы проходили мимо ее дома, и я предложила зайти посмотреть, как у немцев происходят продажи с публичного торга. Федор Михайлович согласился, и мы поднялись в зал. Вещей оставалось сравнительно немного и, по большей части, предметы роскоши, на которые среди экономных немцев нашлось мало охотников. Поэтому теперь вещи продавались не с бывшей оценки, а с предложенной цены. Вдруг Федор Михайлович заметил на полках буфета прелестный surtout de table богемского стекла, изящного стиля, темно-вишневого цвета с золочеными украшениями. Всего было восемнадцать вещей: две большие съемные вазы, две средние, шесть поменьше, четыре вазы для варенья и четыре тарелки, все одного же рисунка. Федор Михайлович, любитель изящных вещей, любовался на вазы и говорил: «Вот бы нам приобрести эти прелестные вазы. Хочешь, Анечка, купим?» Я смеялась, зная, что хоть у нас и есть деньги в эту минуту, но их не так много. Рядом с нами восхищалась хрусталем какая-то француженка; она говорила своей спутнице, что жалеет, что так много вещей, а то бы она купила часть их. Это услышал Федор Михайлович и мигом обратился к ней со словами: «Madame, купимте пополам». Не прошло и пяти минут, как вещи были выставлены пред публикой с цены восемнадцать талеров по одному талеру за вещь. Как ни экономны немцы, но такая незначительная цена за большое количество вещей показалась и им дешевою, и явились охотники, набавляя по fünf Groschen. Один Федор Михайлович набавлял по талеру. С каждою минутою азарт в нем возрастал, я видела, что цена поднимается, и с ужасом думала: а что, если француженка откажется от покупки, все вещи достанутся нам? Аукционист, доведя до сорока одного талера и боясь упустить покупателей, закончил торг, и вещи стали нашею собственностью. Француженка не отказалась от покупки, и мы честно поделились вещами. Теперь предстояло покупку перенести домой. Федор Михайлович остался у вещей, а я с двумя носильщиками, несшими по вазе в каждой руке, отправилась домой. Им пришлось сходить за вещами два раза. Можно предста-

вить удивление моей матери, когда она увидела в комнате моего мужа коллекцию ваз. Первый вопрос ее был: «А как же вы все это повезете в Россию? Ведь у вас не сундуки, а чемоданы, ведь все это разобьется дорогой». Это соображение не пришло в голову никому из нас, а если б и пришло, то Федор Михайлович в охватившем его азарте все-таки не отказался бы от покупки. Впрочем, все обошлось благополучно: из Дрездена часто уезжали русские в Петербург, и я просила знакомых взять по вазе и передать моей сестре. Этот surtout de table цел и поныне и составляет нашу семейную драгоценность.

Как я упомянула, бывали мы с мужем у русского священника Н. Ф. Розанова. Муж не особенно его ценил, так как по живости своего характера и некоторой легкомысленности в суждениях он не олицетворял типа служителя алтаря, каким представлял его себе Федор Михайлович. Жена священника была очень добра и гостеприимна, и у них были милые детки, которые все скрашивали. Среди русских дам, живших в те годы в Дрездене, оказалось несколько горячих поклонниц таланта моего мужа: они приносили ему цветы, книги, а главное баловали и задаривали игрушками нашу Любочку, чем, конечно, очень привлекали к себе внимание Федора Михайловича.

В конце октября 1870 года дрезденские русские собрались у священника и по собственной инициативе положили послать тогдашнему канцлеру адрес по поводу депеши от 19 октября к представителям России [117]. Все собравшиеся стали просить Федора Михайловича написать этот адрес, и хоть он в то время был очень занят срочной работой, но согласился и написал. Вот этот адрес:

«Мы, русские, проживающие временно за границей, в Дрездене, с восторгом и благодарностию узнали о высочайшей воле, изображенной вами в депеше от 19 октября к представителям России при державах, подписавших Парижский трактат. Мы счастливы, что можем и отсюда, братски и единодушно собравшись вместе, заявить вашему сиятельству о радостных чувствах, испытанных каждым из нас при чтении вашей депеши. Нам как бы послышался в ней голос всей нашей великой и славной России. Каждый из нас, гор-

дясь именем русского, читал эти слова, исполненные правды и высочайшего достоинства. Мы молим бога о счастье нашей возлюбленной родины и да сохранит ее надолго от испытаний. Молим, да сохранит ей еще на долгие годы нашего обожаемого государя-освободителя, а ему таких доблестных слуг, как вы».

Этот адрес был покрыт множеством подписей (до ста) и отослан канцлеру.

Первые три года пребывания за границей я хоть и тосковала по России, но являлись новые впечатления, хорошие или дурные, и тоска моя рассеивалась. Но на четвертый год я уже не имела силы бороться с нею. Хоть около меня были любимые и наиболее дорогие для меня существа: муж, ребенок, моя мать и брат, но мне недоставало чего-то главного, недоставало родины, России. Тоска моя мало-помалу перешла в болезнь, в ностальгию, и наше будущее представлялось мне вполне безнадежным. Мне думалось, что мы уже никогда больше не вернемся в Россию, что все будут какие-нибудь неодолимые препятствия: то у нас денег нет, то деньги есть, а нельзя ехать из-за моей беременности или из-за боязни простудить ребенка и т. д. Заграница мне представлялась тюрьмой, в которую я попала и из которой никогда не смогу вырваться. Как меня ни уговаривали родные, как ни утешали надеждою, что обстоятельства изменятся и мы вернемся на родину, все утешения были напрасны: я изверилась в эти обещания и была убеждена, что судьбою мне суждено навсегда остаться на чужбине. Я вполне сознавала, что моею тоскою мучаю моего дорогого мужа, которому и самому было невыразимо тяжело жить вдали от родины: я старалась сдерживаться при нем, не плакать, не жаловаться, но мой иногда грустный вид выдавал меня. Я говорила себе, что готова на все невзгоды, на бедность, на нищету даже, но лишь бы жить на столь для меня дорогой родине, которою я всегда гордилась. Вспоминая мое тогдашнее настроение, скажу, что оно подчас было невыносимо тяжелое и что злейшему моему врагу не могла бы его пожелать.

В конце 1870 года выяснилось одно обстоятельство, благодаря которому мы имели возможность получить значительную для нас сумму, именно: Стелловский, купивший у Федора Михайловича права на издание пол-

ного собрания его сочинений в 1865 году, теперь издал в отдельном издании роман «Преступление и наказание». Согласно договору, Стелловский обязан был уплатить мужу свыше тысячи рублей. И вот роман был уже издан, а издатель ничего не хотел платить, хотя пасынок мужа и заявлял ему, что имеет доверенность на получение денег. Не надеясь на опытность пасынка, Федор Михайлович просил А. Н. Майкова взять на себя труд получения этих денег, не на себя лично, а поручить дело опытному присяжному поверенному [118]

С глубочайшею благодарностью вспоминаю я о том, как бесконечно добр был многочтимый А. Н. Майков к нам в эти четыре года нашей заграничной жизни И в этом случае Аполлон Николаевич принял в нашем деле самое доброе участие, и не только поручил наше дело поверенному, но даже сам пытался вести переговоры со Стелловским. Но этот издатель был заведомый плут, и А. Н. Майков, опасаясь, что Стелловский может его обмануть, решился вызвать самого Федора Михайловича в Петербург. А так как ему было известно, что мы всегда сидим без денег, то придумал крайнюю меру,— именно прислал нам телеграмму, в которой советовал мужу просить из Литературного фонда взаймы сто рублей [119] и на эти деньги приехать в Петербург одному, без семьи. На беду, телеграмма пришла 1 апреля (день, когда в России принято обманывать), и мы с мужем сначала приняли этот вызов в Петербург за чью-нибудь шутку или за коварное желание кого-нибудь из кредиторов, а может быть, и Стелловского, вызвать Федора Михайловича в Петербург и там, угрожая посадить его в долговое отделение, расплатиться за «Преступление и наказание» скупленными за бесценок нашими векселями. Добрый Аполлон Николаевич не ограничился присылкою телеграммы, а от своего имени позондировал комитет Литературного фонда насчет выдачи писателю Достоевскому взаймы *ста* рублей, но фонд и на этот раз * отнесся к этой просьбе недружелюбно, о чем А. Н. Майков говорит в своем письме от 21 апреля 1871 года [121].

* В дальнейшем я намерена выяснить дружелюбные отношения моего мужа к Литературному фонду, его постоянное согласие выступать чтецом на его благотворительных вечерах и всегда неприязненное отношение к нему Литературного фонда.[120]

Федор Михайлович был очень расстроен, получив это письмо, и писал в ответ: * <«Видите ли, однако, как фонд высокомерно отнесся к моей (то есть к Вашей обо мне) просьбе насчет займа, каких потребовалось гарантий и проч. и какой высокомерный тон ответа. Если бы нигилист просил, не ответили бы так»> [122].

Время шло, и в апреле 1871 года исполнилось четыре года, как мы жили за границей, а надежда на возвращение в Россию у нас то появлялась, то исчезала. Наконец мы с мужем твердо положили непременно в скором времени вернуться в Петербург, какие тяжелые последствия ни повлекло бы за собою наше возвращение. Но расчеты наши висели на волоске: мы ожидали новое прибавление семейства в июле или в начале августа, и если б мы не успели за месяц до ожидаемого события перебраться в Россию, то нам неизбежно пришлось бы остаться еще на целый год, до весны, так как везти новорожденного позднею осенью было бы немыслимо. Когда мы предполагали, что, пожалуй, нам еще целый год не придется увидеть России, то оба приходили в полное отчаяние: до того невыносимо становилось жить на чужбине. Федор Михайлович часто говорил, что если мы останемся за границей, то он «погиб», что он не в состоянии больше писать, что у него нет материала, что он чувствует, как перестает помнить и понимать Россию и русских, так как дрезденские русские — наши знакомые, по его мнению, были не русские, а добровольные эмигранты, не любящие Россию и покинувшие ее навсегда. И это была правда: все это были члены дворянских семей, которые не могли примириться с отменою крепостного права и с изменившимися условиями жизни и бросившие родину, чтобы насладиться цивилизацией Западной Европы. Это были большею частью люди, озлобленные новыми порядками и понижением своего благосостояния и полагавшие, что им будет легче жить на чужбине.

Федор Михайлович так часто говорил о несомненной «гибели» своего таланта, так мучился мыслью, чем он прокормит свою все увеличивающуюся и столь дорогую для него семью, что я иногда приходила в отчаяние, слушая его. Чтобы успокоить его тревожное на-

---

* Пропуск в рукописи.

строение и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться на своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег (талеров триста), я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытать счастья, говорила, что приходилось же ему выигрывать, почему не надеяться, что на этот раз удача будет на его стороне, и т. п. Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш, и мне очень жаль было ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным, и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в две-три недели вернет все проигранное. Моя идея о рулетке была слишком по душе мужу, и он не стал от нее отказываться. Взяв с собою сто двадцать талеров и условившись, что, в случае проигрыша, я пришлю ему на выезд, он уехал в Висбаден, где и пробыл неделю. Как я и предполагала, игра на рулетке имела плачевный результат и вместе с поездкою Федор Михайлович издержал сто восемьдесят талеров — сумму, для нас тогда очень значительную. Но те жестокие муки, которые испытал Федор Михайлович в эту неделю, когда укорял себя в том, что отнял деньги от семьи, от меня и ребенка, так на него повлияли, что он решил, что более *никогда* в жизни не будет играть на рулетке. Вот что писал мне мой муж от 28 апреля 1871 года: «Надо мною великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти десять лет (или, лучше, со смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами); я все мечтал выиграть; мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено! Это был вполне *последний* раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой; я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это» [123].

Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке. Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Одна-

ко счастье это осуществилось, и это был действительно *последний* раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу (1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в Спа, Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта «фантазия» Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнию, от которой он внезапно и навсегда исцелился.

Вернулся Федор Михайлович из Висбадена бодрый, успокоившийся и тотчас принялся за продолжение романа «Бесы», так как предвидел, что переезд в Россию, устройство на новом месте и затем ожидаемое семейное событие не дадут ему возможности много работать. Все помыслы моего мужа были обращены на новую полосу жизни, пред нами открывающуюся, и он стал предугадывать, как-то он встретится со старыми друзьями и родными, которые, по его мнению, могли очень измениться за протекшие четыре года; он сознавал и в самом себе перемену некоторых своих взглядов и мнений.

В последних числах июня 1871 года были получены из редакции «Русского вестника» следуемые за роман деньги, и мы, не теряя ни одного дня, принялись за окончание наших дрезденских дел (вернее, выкуп вещей и уплату долгов) и за укладку вещей. За два дня до отъезда Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь. Хоть мы и раньше с ним об этом говорили, но мне так стало жаль рукописей, что я начала умолять мужа позволить мне взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вержболове, а это было бы опасно ввиду приближающегося семейного события. Как ни жалко было мне расставаться с рукописями, но пришлось покориться настойчивым

доводам Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом, погибли рукописи романов «Идиот» и «Вечный муж». Особенно жаль мне было лишиться той части романа «Бесы», которая представляла собою оригинальный вариант этого тенденциозного произведения. Мне удалось отстоять только записные книжки к названным романам и передать моей матери[124], которая предполагала вернуться в Россию позднею осенью. Взять же с собою целый чемодан с рукописями она не соглашалась: большое количество их могло возбудить подозрение, и бумаги были бы от нее отобраны.

Наконец 5 июля вечером нам удалось выехать из Дрездена на Берлин, где мы пересели на поезд, отправлявшийся в Россию.

Много хлопот было нам дорогой с нашею резвою Любочкой, которой было год десять месяцев. Мы ехали без няни, и, ввиду моего болезненного состояния, с нею все время пути (шестьдесят восемь часов) нянчился мой муж: выводил ее на платформы гулять, приносил молоко и еду, развлекал ее играми,— словом, действовал как самая умелая нянюшка и этим очень облегчил для меня продолжительный переезд.

Как мы предполагали, так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое оставались, да еще кучка чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды,— бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: «Мама, дай булочки», что чиновникам скоро надоели ее крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись.

Еще сутки пришлось нам промучиться в вагоне, но сознание того, что мы едем по русской земле, что вокруг нас все свои, русские, было до того утешительно, что заставляло нас забывать все дорожные невзгоды. Мы с мужем были веселы и счастливы и спрашивали друг друга: неужели правда, что мы наконец в России? До того диковинным казалось нам осуществление нашей давнишней мечты.

VIII

1871 ГОД. ОКОНЧАНИЕ ЗАГРАНИЧНОГО ПЕРИОДА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Заканчивая заграничный период нашей жизни, скажу, что вспоминаю его с глубочайшею благодарностью судьбе. Правда, в течение четырех с лишком лет, проведенных нами в добровольной ссылке, нас постигли тяжкие испытания: смерть нашей старшей дочери, болезнь Федора Михайловича, наша постоянная денежная нужда и необеспеченность в работе, несчастная страсть Федора Михайловича к игре на рулетке и невозможность вернуться на родину, но испытания эти послужили нам на пользу: они сближали нас, заставляли лучше понимать и ценить друг друга и создали ту прочную взаимную привязанность, благодаря которой мы были так счастливы в нашем супружестве.

Для меня же лично воспоминание о тех годах представляется яркою, красивою картиною. Мы жили и посетили много прелестных городов и местностей (Дрезден, Баден-Баден, Женева, Милан, Флоренция, Венеция, Прага), и пред моими восхищенными глазами открылся целый, мне неведомый доселе мир, и моя юная любознательность была вполне удовлетворена посещением соборов, музеев, картинных галерей, особенно когда приходилось осматривать их в обществе любимого человека, каждая беседа с которым открывала для меня что-либо новое в искусстве или в жизни.

Для Федора Михайловича все эти посещаемые нами местности не представляли ничего нового, но он, обладая глубоко развитым художественным вкусом, с истинным наслаждением посещал Дрезденскую и Флорентинскую картинные галереи и часами осматривал собор св. Марка и дворцы Венеции.

Правда, за границей у нас совсем не было никакого общества, кроме случайных и мимолетных встреч. Но первые два года Федор Михайлович был даже рад этому полному удалению от общества; слишком он утомился, со смерти своего брата Михаила, в борьбе с постигшими его неудачами и несчастьями и слишком солоно досталось ему от людей литературного мира. Кроме того, Федор Михайлович находил, что для мыслящего человека иногда чрезвычайно полезно пожить

в уединении, вдали от текущих, всегда волнующих событий, и вполне отдаться своим мыслям и мечтам. Впоследствии, вернувшись в столичный круговорот, Федор Михайлович не раз вспоминал, как хорошо ему было за границей иметь полный досуг, чтобы обдумать план своего произведения или прочитать намеченную книгу, не спеша, а вполне отдаваясь овладевшему им впечатлению восторга и умиления.

А сколько ярких, глубоких радостей дала нам заграничная жизнь помимо внешних прекрасных впечатлений: рождение детей, начало семьи, о которой всегда мечтал Федор Михайлович, наполнило и осветлило нашу жизнь, и я с благодарностью судьбе говорю: «Да будут благословенны те прекрасные годы, которые мне довелось прожить за границей, почти наедине с этим удивительным по своим высоким душевным качествам человеком!»

Заканчивая обзор нашего более чем четырехлетнего пребывания за границей, скажу о внутреннем значении нашей столь долго уединенной жизни. Несмотря на бесчисленные заботы и всегдашние денежные недостатки и иногда угнетающую скуку, столь продолжительная уединенная жизнь имела плодотворное влияние на проявление и развитие в моем муже всегда бывших в нем христианских мыслей и чувств. Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли. Приведу из воспоминаний Н. Н. Страхова: * «Я совершенно убежден, что эти четыре с лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границей, были лучшим временем его жизни, то есть таким, которое принесло ему всего больше глубоких и чистых мыслей и чувств. Он очень усиленно работал и часто нуждался; но он имел покой и радость счастливой семейной жизни и почти все время жил в совершенном уединении, то есть вдали от всяких значительных поводов оставлять прямой путь развития своих мыслей и глубокой душевной ра-

* «Биография и письма», с. 294.

боты. Рождение детей, забота о них, участие одного супруга в страданиях другого, даже самая смерть первого ребенка,— все это чистые, иногда высокие впечатления. Нет сомнения, что именно за границей, при этой обстановке и этих долгих и спокойных размышлениях, в нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем. Эта существенная перемена очень ясно обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: он переменился в обращении, получившем бóльшую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения, и на губах появлялась нежная улыбка... Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались в его сочинениях. Таким он вернулся из-за границы».

Федор Михайлович и сам в дальнейшие годы с благодарностью вспоминал наше заграничное житье.

Родные и знакомые заметили и во мне большую перемену: из робкой, застенчивой девушки я выработалась в женщину с решительным характером, которую уже не могла испугать борьба с житейскими невзгодами, вернее сказать, с долгами, достигшими ко времени возвращения нашего в Петербург двадцати пяти тысяч. Моя веселость и жизнерадостность остались при мне, но проявлялись только в семье, среди родных или друзей. При посторонних и особенно в обществе мужчин я держала себя донельзя сдержанно, ограничиваясь в отношении их холодною вежливостью, и больше молчала и внимательно слушала, чем высказывала свои мысли. Приятельницы мои уверяли меня, что я страшно состарилась за эти четыре года, и упрекали, зачем я не обращаю внимания на свою внешность, не одеваюсь и не причесываюсь по моде. Соглашаясь с ними, я тем не менее не хотела ни в чем изменяться. Я твердо была убеждена, что Федор Михайлович любит меня не за одну внешность, а и за хорошие свойства моего ума и характера, и что мы успели за это время «срастись душой», как говорил Федор Михайлович. Моя же старомодная внешность и видимое избегание мужского общества могли только

благоприятно действовать на моего мужа, так как не давали поводов для проявления с его стороны дурной черты его характера — ни на чем не основанной ревности.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

СНОВА В РОССИИ

I

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

8 июля 1871 года, в ясный, жаркий день, вернулись мы в Петербург после четырехлетнего пребывания за границей.

С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо собора св. Троицы, в котором происходило наше венчание. Мы с мужем помолились па церковь; на нас глядя, перекрестилась и наша малютка дочь.

— Что ж, Анечка,— сказал Федор Михайлович,— ведь мы счастливо прожили эти четыре года за границей, несмотря на то, что подчас было трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь? Все пред нами в тумане... Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги. На одну помощь божию только и надеюсь!

— Зачем горевать заранее,— старалась я его утешить,— будем надеяться, что бог нас не оставит! Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобою опять на родине!

Мы остановились в гостинице на Большой Конюшенной улице, но прожили там всего два дня. Оставаться в ней, ввиду приближавшегося прибавления семейства, было неудобно, да и не по средствам. Мы заняли две меблированные комнаты в третьем этаже дома № 3 по Екатерингофскому проспекту. Выбрали эту местность с той целью, чтобы наша девочка жаркие июльские и августовские дни могла проводить в Юсуповом саду, который находится поблизости.

В первые же дни по приезде нас посетили родные Федора Михайловича, и со всеми ими мы встретились очень дружелюбно. За эти четыре года положение Эмилии Федоровны Достоевской изменилось к лучшему: старший сын ее, Федор Михайлович, был отличный музыкант и имел много выгодных уроков на рояле. Второй сын, Михаил Михайлович, служил в банке. Дочь, Екатерина Михайловна, тоже имела занятия по стенографии, так что семье жилось довольно привольно. К тому же Эмилия Федоровна привыкла за это время к мысли, что Федор Михайлович, имея семью, может помогать ей только в экстренных случаях.

Лишь один Павел Александрович никак не мог отказаться от мысли, что «отец», как он упорно называл Федора Михайловича, *обязан* содержать не только его, но и его семью. Впрочем, и с ним я встретилась радушно, главным образом потому, что мне очень понравилась его жена, Надежда Михайловна, на которой он только в апреле этого года женился. То была хорошенькая женщина небольшого роста, скромная и неглупая. Я никак не могла понять, как она решилась выйти замуж за такого невозможного человека, как Павел Александрович. Мне было искренно ее жаль: я предвидела, как тяжела будет ее жизнь.

Через восемь дней по приезде в Петербург, 16 июля, рано утром, родился наш старший сын Федор [125]. Я почувствовала себя дурно накануне. Федор Михайлович, весь день и всю ночь молившийся о благополучном исходе, сказал мне потом, что решил, если родится сын, хотя бы за десять минут до полуночи, назвать его Владимиром, именем святого равноапостольного князя Владимира, память которого празднуется 15 июля. Но младенец родился 16-го и был наречен Федором, в честь своего отца, как мы давно это решили. Федор Михайлович был страшно счастлив и тем, что родился мальчик, и тем, что столь беспокоившее его семейное «событие» благополучно совершилось.

Когда я стала поправляться, окрестили нашего мальчика. Восприемником его (как и наших двух дочерей) был друг Федора Михайловича, известный поэт Аполлон Николаевич Майков. А крестною матерью

Федор Михайлович выбрал свою дочь Любочку, которой не было еще двух лет.

В конце августа муж съездил в Москву и получил от редакции «Русского вестника» часть гонорара за печатавшийся в 1871 году роман «Бесы» [126]. Денег было получено не особенно много, но все же явилась возможность переехать из меблированных комнат на зимнюю квартиру. Главное наше затруднение состояло в том, что у нас не было никакой обстановки. Мне пришло на мысль отправиться в Апраксин двор и спросить тамошних мебельных торговцев, не согласятся ли они продать нам мебель с рассрочкой платежа по двадцать пять рублей в месяц с тем, чтобы до выплаты всей суммы мебель считалась собственностью продавца. Нашелся один торговец, который согласился на эти условия и выдал нам сразу вещей на четыреста рублей. Но что это были за вещи! Мебель была новая, но вся из ольхи и сосны, и, не говоря уже о нелепом фасоне, так плохо была сработана, что через три года вся расклеилась и развалилась и ее всю пришлось заменить новою. Но я и такой мебели была рада: она давала нам возможность завести собственную квартиру. В меблированных комнатах оставаться было немыслимо: кроме всяческих неудобств, близкое соседство маленьких детей, благодаря их крикам и плачу, мешало мужу и спать и работать.

Условившись насчет мебели, я принялась искать квартиру. Павел Александрович вызвался мне помогать. В тот же вечер он объявил, что нашел отличную квартиру в восемь комнат за очень дешевую плату — сто рублей в месяц.

— Зачем же нам такая большая квартира? — с удивлением спросила я.

— Совсем она не велика: для вас будет гостиная, кабинет, спальня, детская; для нас — гостиная, кабинет, спальня, а столовая у нас будет общая.

— Разве вы рассчитываете жить с нами вместе? — изумилась я его наглости.

— А как же иначе? Я так и жене сказал: когда отец приедет, то мы поселимся вместе.

Тут мне пришлось поговорить с ним серьезно и доказать, что обстоятельства теперь переменились и я ни

в коем случае не соглашусь жить на общей квартире. По своему обыкновению, Павел Александрович начал говорить дерзости и грозить, что пожалуется Федору Михайловичу, но я не стала его и слушать. Четыре года самостоятельной жизни не прошли для меня даром. Павел Александрович исполнил свою угрозу и обратился к Федору Михайловичу, но услышал в ответ:

— Я все хозяйство предоставил жене, как она решила, так и будет.

Долго не мог простить мне Павел Александрович крушение своих планов.

После долгих поисков я нашла квартиру на Серпуховской улице, близ Технологического института, в доме Архангельской, и наняла ее на свое имя, чтобы избавить мужа от хозяйственных хлопот. Квартира состояла из четырех комнат: кабинета, где работал и спал Федор Михайлович, гостиной, столовой и большой детской, где спала я.

Смотря на свою плохую мебель, я утешала себя, что хозяйственные принадлежности и теплые вещи нам не придется покупать, так как они были розданы на хранение разным лицам. Но, увы, и тут ждали меня неудачи.

Столовая и медная посуда и кухонные принадлежности хранились в доме нашем у одной знакомой старой барышни. В наше отсутствие она умерла, и ее сестра увезла с собою в провинцию все оставшиеся после нее вещи, не разбирая, что было ее, что чужое. Шубы наши были просрочены в закладе одной дамой, взявшейся наблюдать за уплатою процентов, хотя мы аккуратно высылали деньги на этот предмет. Стекло и фарфор, сданные на хранение моей сестре, Марье Григорьевне, были разбиты горничной, которой поручили их вымыть, а она, поскользнувшись, уронила поднос с фарфором на пол. Последняя потеря меня особенно огорчила: мой отец был знатоком и ценителем фарфора, любил ходить по антикварам и приобрел много прекрасных вещей. После его смерти на мою долю досталось несколько прелестных чашек Vieux-Saxe, Sevres николаевских времен, а также старинная, граненная мелкою гранью посуда. До сих пор жалею я об утрате прелестных чашечек с пастушками и ста-

кана с мухой, столь живо нарисованной на стекле, что все, пившие из этого стакана, ловили ее, как живую. Дорого бы дала я, чтобы вернуть эти милые воспоминания детства!

Та же грустная судьба постигла и вещи Федора Михайловича. У него была прекрасная библиотека, о которой он очень тосковал за границей. В ней было много книг, подаренных ему друзьями-писателями с их посвящениями; много было серьезных произведений по отделам истории и старообрядчества, которым Федор Михайлович очень интересовался. При нашем отъезде Павел Александрович упросил моего мужа оставить эту библиотеку на его попечение, уверяя, что она нужна для его образования, и обещая возвратить ее в целости; оказалось, что он, нуждаясь в деньгах, распродал ее по букинистам. На мой упрек он отвечал дерзостями и объявил, что мы сами во всем виноваты, зачем вовремя не высылали ему деньги.

Потеря ценной библиотеки чрезвычайно огорчила Федора Михайловича. Теперь он не имел возможности затрачивать, как прежде, большие деньги на покупку столь нужных ему книг. К тому же в его библиотеке находилось несколько редких книг, которые невозможно было купить [127].

Приятным сюрпризом для меня оказалась большая плетеная корзина с бумагами, хранившаяся у одних моих родственников. Рассматривая ее содержимое, я нашла несколько записных книжек Федора Михайловича, относящихся к роману «Преступление и наказание» и мелким повестям, несколько книг по ведению журналов «Время» и «Эпоха», доставшихся от умершего брата, Михаила Михайловича, и много самой разнообразной корреспонденции [128]. Эти бумаги и документы были очень полезны в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или опровергать какие-либо факты из жизни Федора Михайловича.

II

В сентябре 1871 года какая-то газета оповестила публику о возвращении писателя Достоевского из-за границы и этим оказала нам медвежью услугу. Креди-

торы наши, доселе молчавшие, сразу явились с требованиями об уплате долгов. Первым и очень грозным выступил Гинтерштейн[129]. Ему должен был не лично Федор Михайлович и не по журнальным делам, а по табачной фабрике покойного его брата.

Михаил Михайлович, человек весьма предприимчивый, кроме журнала, имел еще табачную фабрику. С целью большого распространения табака, он придумал премию в виде ножниц, бритвы, перочинного ножика и т. п., вложенных в ящики с сигарами. Эти сюрпризы привлекли много покупателей. Вышеозначенные металлические вещи покупались Михаилом Михайловичем у оптового торговца, Г. Гинтерштейна. Тот отпускал в кредит и брал значительные проценты. Когда хорошо пошла подписка на журнал «Время», Михаил Михайлович расплачивался постепенно с Гинтерштейном, которого считал самым требовательным из своих кредиторов. За несколько дней до своей смерти он с радостью сообщил жене и Федору Михайловичу, что «наконец-то развязался с этой пиявкой — Гинтерштейном».

Когда после смерти брата все долги перешли к Федору Михайловичу, к нему явилась г-жа Гинтерштейн и заявила, что Михаил Михайлович остался ей должен около двух тысяч рублей. Федор Михайлович припомнил слова брата об уплате долга Гинтерштейну и сказал ей об этом, но она объявила, что это отдельный долг и что она дала эти деньги Михаилу Михайловичу без всякого документа. Она умоляла Федора Михайловича или уплатить ей деньги, или выдать векселя, рыдала, становилась на колени, уверяла, что муж сживает ее со свету. Федор Михайлович, всегда веривший в людскую честность, поверил ей и выдал два векселя, по тысяче рублей каждый. По первому векселю было уже уплачено до 1867 года, по второму же векселю, возросшему с процентов за пять лет до тысячи двухсот рублей, Гинтерштейн требовал вскоре после нашего возвращения. Он прислал угрожающее письмо, и Федор Михайлович поехал к нему просить отсрочки до Нового года, когда он получит деньги за свой роман. Вернулся он в отчаянии: Гинтерштейн объявил, что больше ждать не намерен и решил описать все его движимое имущество. Если же его не хватит на покрытие

долга, то посадить Федора Михайловича в долговое отделение *.

— Да разве я, сидя в долговом, вдали от семьи, с разными посторонними людьми, могу заниматься литературой? — сказал ему Федор Михайлович.— Чем же я буду вам платить, если вы лишаете меня возможности работать?

— О, вы известный литератор, и я рассчитываю, что вас тотчас же выкупит из тюрьмы Литературный фонд,— отвечал Гинтерштейп.

Федор Михайлович не любил тогдашних деятелей Литературного фонда. Он высказал сомнение в их помощи, а если бы она и была предложена, то (как он объявил Гинтерштейну) он предпочитает сидеть в долговом, чем принять эту помощь.

Мы долго обсуждали с мужем, как лучше устроить дело, и решили предложить Гинтерштейну новую сделку: внести ему теперь сто рублей и предложить уплачивать пятьдесят рублей в месяц с тем, чтобы после Нового года заплатить остальное. С этим предложением муж вторично поехал к Гинтерштейну и вернулся страшно возмущенный. По его словам, Гинтерштейн, после долгого разговора, сказал ему:

— Вот вы талантливый русский литератор; а я только маленький немецкий купец, и я хочу вам показать, что *могу* известного русского литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю.

Это было после победоносной франко-прусской войны, когда все немцы стали горды и высокомерны.

Я была возмущена подобным отношением к Федору Михайловичу, но понимала, что мы находимся в руках негодяя и не имеем возможности от него избавиться. Предвидя, что Гинтерштейн одними угрозами не ограничится, я решила сама попытаться уладить дело и, не сказав ни слова о своем намерении мужу (который бы, наверно, мне запретил), отправилась к Гинтерштейну.

Встретил он меня высокомерно и объявил:

— Или деньги на стол, или через неделю ваше

---

* Так называлось отделение, помещавшееся в первой роте Измайловского полка, в доме Тарасова, где содержались лица, лишенные свободы за долги.[130]

имущество будет описано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в Тарасов дом *.

— Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича,— хладнокровно ответила я,— мебель же взята в долг, с рассрочкой платежа, и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя,— и в виде доказательств я показала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком.

— Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения,— продолжала я,— то я предупреждаю вас, что если это случится, то я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга **. Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша, да сверх того принуждены будете платить «кормовые» ***. Даю вам честное слово, что вы за свою неуступчивость будете наказаны!

Гинтерштейн принялся жаловаться на неблагодарность Федора Михайловича, не желающего уплатить долг, который он так долго на нем терпел.

— Нет, это вы должны быть благодарны мужу,— в негодовании говорила я,— за то, что он выдал вексель вашей жене за долг, может быть, давно уплаченный. Если Федор Михайлович это сделал, то лишь из великодушия, из жалости. Ваша жена плакала, говорила, что вы сживете ее со свету. Если же вы осмелитесь привести в исполнение вашу угрозу, то я опишу всю эту историю и помещу ее в «Сыне отечества». Пусть все увидят, на что способны «честные» немцы!

Я была вне себя и говорила, не разбирая выражений. Моя горячность на этот раз помогла. Немец струсил и спросил, чего же я хочу?

— Да того же самого, о чем просил вчера мой муж.

— Ну, хорошо, давайте деньги!

Я потребовала подробную расписку нашего условия, так как боялась, что Гинтерштейн впоследствии

---

* Так в общежитии называлось долговое отделение.

** Пребывание должника в долговом погашало долг. За 1200 рублей приходилось сидеть там от 9 до 14 месяцев.

*** Кредитор должен был оплачивать содержание посаженного им в долговое должника.

отдумает и опять начнет нас мучить. Победительницей возвращалась я домой, зная, что на некоторое время устроила спокойствие моего дорогого мужа.

III

Прежде чем рассказывать о нашей борьбе с кредиторами, продолжавшейся еще десять лет, почти до самой смерти Федора Михайловича, я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги.

Лишь самая малая доля их, тысячи две-три была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время»[131]. После неожиданной смерти Михаила Михайловича (он проболел лишь три дня) семья его, жена и четверо детей, привыкшие к обеспеченной, даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своею обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя, и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалась его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было не совестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и проч. Но, кроме известных Федору Михайловичу сотрудников «Времени», к нему стали являться люди, большею частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не

представлял тому доказательств, да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он (как мне передавали) обыкновенно говорил просителю:

— Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать. Уплачу, когда будет можно.

Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам.

Один малоталантливый писатель Х., помещавший свои произведения во «Времени», явился к Федору Михайловичу с просьбою уплатить ему двести пятьдесят рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению, денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. Х. горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Х. за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и т. д. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого долга.

Лет через восемь, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции «Времени». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя Х. в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть! Я показала расписку мужу и услышала в ответ:

— Вот уж не думал, что Х. способен был меня обмануть! До чего доводит человека крайность!

По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного

рода. Их было около двадцати тысяч [132], а с наросшими процентами, к нашему возвращению из-за границы, оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и проч.

Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти четырнадцать лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов.

А как бы выиграли в художественном отношении произведения моего мужа, если бы он не имел этих взятых на себя долгов и мог писать романы не спеша, просматривая и отделывая, прежде чем отдать их в печать. В литературе и обществе часто сравнивают произведения Достоевского с произведениями других талантливых писателей и упрекают Достоевского в чрезмерной сложности, запутанности и нагроможденности его романов, тогда как у других творения их отделаны, а у Тургенева, например, почти ювелирски отточены. И редко кому приходит в голову припомнить и взвесить те обстоятельства, при которых жили и работали другие писатели, и при которых жил и работал мой муж. Почти все они (Толстой, Тургенев, Гончаров) были люди здоровые и обеспеченные и имевшие полную возможность обдумывать и отделывать свои произведения. Федор же Михайлович страдал двумя тяжкими болезнями, был обременен большою семьею, долгами и занят тяжелыми мыслями о завтрашнем дне, о насущном хлебе. Была ли какая возможность при таких обстоятельствах отделывать свои произведения? Сколько раз случалось за последние четырнадцать лет его жизни, что две-три главы были уже напечатаны в журнале, четвертая набиралась в типографии, пятая шла по почте в «Русский вестник», а остальные были еще не написаны, а только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочитав уже напечатанную главу своего

романа, вдруг ясно прозревал свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь.

— Если б можно было вернуть,— говаривал он иногда,— если б можно было исправить! Теперь я вижу, в чем затруднение, вижу, почему мне не удается роман. Я, может быть, этой ошибкой вконец убил мою «идею».

И это была истинная скорбь, скорбь художника, увидевшего ясно, в чем он ошибался, и не имеющего возможности исправить ошибку. Да, к несчастию, никогда не представлялось ему такой возможности: нужны были деньги для житья, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после припадка, работать, торопиться, еле просматривать рукопись, только чтобы она была отослана к сроку и за нее можно было бы поскорее получить деньги. И ни разу в жизни (за исключением его первой повести «Бедные люди») не пришлось Федору Михайловичу написать произведение не наспех, не торопясь, обдумав обстоятельно план романа и обсудив все его детали. Такого великого счастия судьба не послала Федору Михайловичу, а это всегда было его задушевной, хотя, увы, недостижимой мечтой!

Эти взятые на себя долги были вредны Федору Михайловичу и в экономическом отношении: в то время когда обеспеченные писатели (Тургенев, Толстой, Гончаров) знали, что их романы будут наперерыв оспариваться журналами, и они получали по пятьсот рублей за печатный лист[133], необеспеченный Достоевский должен был *сам предлагать* свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше. Так, он получил за романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» по полтораста рублей за печатный лист; за роман «Подросток» — по двести пятьдесят рублей и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» — по триста рублей.

Горькое чувство подымается во мне, когда вспоминаю, как испортили мою личную жизнь эти *чужие* долги, долги человека, которого я никогда в жизни не видала, к тому же долги фиктивные по векселям, взя-

тым у мужа обманом недобросовестными людьми. Вся моя тогдашняя жизнь была омрачена постоянными размышлениями о том, где к такому-то числу достать столько-то денег; где и за сколько заложить такую-то вещь; как сделать, чтобы Федор Михайлович не узнал о посещении кредитора или об закладе какой-нибудь вещи. На это ушла моя молодость, пострадало здоровье и расстроились нервы.

Еще обиднее становится при мысли, что половина этих бедствий могла бы быть устранена, если бы среди друзей мужа нашлись добрые люди, которые хотели бы руководить Федора Михайловича в незнакомом ему деле издания журнала. Мне всегда представлялось непонятным и жестоким, что лица, которых Федор Михайлович считал своими друзьями, зная его чисто детскую непрактичность, излишнюю доверчивость и болезненность, могли допустить его разбираться одного во всех претензиях и долгах, оставшихся после смерти Михаила Михайловича. Неужели не могли они помочь ему рассмотреть все претензии и потребовать доказательств каждого долга? Я убеждена, что многие претензии никогда бы и не появились, если бы стало известно, что их будет разбирать не один доверчивый Федор Михайлович. Увы, между друзьями и почитателями моего мужа не нашлось ни одного доброго человека, который захотел бы пожертвовать своим временем и оказать ему настоящую услугу. Все они жалели Федора Михайловича, сочувствовали ему, но все это были «слова, слова, слова».

Скажут, пожалуй, что друзья Федора Михайловича были поэты, романисты и ничего не понимали в практической жизни. Отвечу на это, что все эти лица превосходно умели устраивать свои личные дела. Возразят, может быть, что Федор Михайлович желал самостоятельности и не допустил бы посторонних указаний. Но и это возражение будет неверно. Он охотно передал мне все свои дела, выслушивал и исполнял мои советы, хотя вначале он, конечно, не мог считать меня опытным дельцом. С тем же доверием отнесся бы Федор Михайлович и к помощи друзей, если бы ему она была предложена. С горьким чувством обиды за Федора Михайловича думаю я о подобных друзьях и о подобных дружеских отношениях.

IV

Первое время после возвращения в Россию я надеялась уплатить часть долгов, продав назначенный мне в приданое дом. Я с нетерпением ждала возвращения из Дрездена моей матери, уехавшей на свадьбу сына, и возвращения из Рима моей сестры, которая в отсутствие матери заведовала всеми нашими домами. Она обещала, вернувшись весною, сдать нам все отчеты по управлению. Но весною она заболела тифом и скончалась 1 мая 1872 года в Риме. После ее кончины мы узнали, что доверенность на управление всеми делами она давно уже дала своему мужу, а тот, в свою очередь, уезжая часто из Петербурга вместе с женою, передал управление какому-то своему знакомому. Этот господин, пользуясь в течение трех-четырех лет доходами с домов, не нашел нужным уплачивать казенных налогов. Накопились крупные недоимки, и дома были назначены к продаже с публичного торга. У нас не было средств заплатить эти недоимки и спасти дома от аукциона, но мы надеялись, что их купят за хорошую цену и моя мать получит деньги, которые и отдаст мне вместо обещанного дома. К сожалению, надежды мои не оправдались. Господин, управлявший нашими домами, совершил фиктивные условия с подставными лицами, которым будто бы отдал дома в аренду на десять лет, и получил вперед все деньги. Эта сделка обнаружилась лишь на торгах, и понятно, что не нашлось желающих купить дома. Тогда негодяй приобрел их, заплатив казенные недоимки, то есть за несколько тысяч получил три дома, два больших флигеля и громадный участок земли. Таким образом на долю матери, брата и меня не осталось ничего. Конечно, мы могли бы начать процесс, но у нас не было средств, чтобы его вести. К тому же, возбудив его, мы должны были бы привлечь к ответственности мужа моей сестры. Это нас бы с ним поссорило, и мы лишились бы возможности видеться с детьми-сиротами, которых мы очень любили. Тяжело было мне отказаться от единственной надежды поправить наши печальные обстоятельства!

Вначале я допускала кредиторов вести переговоры с Федором Михайловичем. Но результаты этих пере-

говоров были плохие: кредиторы говорили мужу дерзости, грозили описью обстановки и долговым отделением. Федор Михайлович после таких разговоров приходил в отчаяние, целыми часами ходил по комнате, теребил волосы на висках (его обычный жест, когда он сильно волновался) и повторял:

— Ну что же, что же будем мы теперь делать?!

А назавтра случался припадок эпилепсии.

Мне было чрезвычайно жаль моего бедного мужа, и я, не говоря ему о том, решила переговоры с кредиторами взять на одну себя. Какие удивительные типы перебывали у меня за это время! То были, главным образом, перекупщики векселей — чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, ходатаи низшего разряда. Все они купили векселя за гроши, а получить желали полностью. Грозили мне и описью и долговым, но я уже знала, как с ними говорить. Доводы мои были те же самые, как и при переговорах с Гинтерштейном. Видя бесполезность угроз, кредиторы соглашались, и мы взамен векселя Федора Михайловича подписывали отдельное условие. Но как трудно было мне выплачивать обещанное в назначенный срок! На какие ухищрения приходилось пускаться: занимать у родных, закладывать вещи, отказывать себе и семье в самом необходимом!

Получение денег у нас было нерегулярным и всецело зависело от успеха работы Федора Михайловича. Приходилось должать за квартиру и по магазинам, и когда получались деньги, четыреста — пятьсот рублей зараз (их муж всегда отдавал мне), у меня зачастую на другой же день оставалось лишь двадцать пять — тридцать рублей.

Посещения кредиторов не могли иногда пройти незамеченными моим мужем. Он допрашивал меня, кто, по какому делу приходил, и, видя мое нежелание рассказывать, начинал упрекать меня в скрытности. Жалобы эти отразились и в некоторых из его писем. Но я не могла быть всегда откровенной с Федором Михайловичем. Ему был необходим покой для успешной работы. Неприятности же обыкновенно вызывали припадки эпилепсии, мешавшие этой работе. Приходилось тщательно скрывать от него все, что могло его расстроить или огорчить, даже рискуя показаться ему

скрытной. Как все это было тяжело! И такую жизнь мне пришлось вести почти тринадцать лет!

С горечью вспоминаю также бесцеремонные просьбы родных мужа. Как ни малы были наши средства, Федор Михайлович считал себя не вправе отказывать в помощи брату Николаю Михайловичу, пасынку, а в экстренных случаях и другим родным. Кроме определенной суммы (пятьдесят рублей в месяц), «брат Коля» получал при каждом посещении по пяти рублей [134]. Он был милый и жалкий человек, я любила его за доброту и деликатность и все же сердилась, когда он учащал свои визиты под разными предлогами: поздравить детей с рождением или именинами, беспокойством о нашем здоровье и т. п. Не скупость говорила во мне, а мучительная мысль, что дома лишь двадцать рублей, а завтра назначен кому-нибудь платеж, и мне придется опять закладывать вещи.

Особенно раздражал меня Павел Александрович. Он не просил, а *требовал* и был глубоко убежден, что имеет на это право.

При каждой крупной получке денег Федор Михайлович непременно давал пасынку значительную сумму. Но у того постоянно являлись экстренные нужды, и он приходил к отчиму за деньгами, хотя отлично знал, как тяжело нам живется в материальном отношении.

— Ну, что папа́? Как его здоровье? — спрашивал он меня, входя,— мне необходимо с ним поговорить: до зарезу нужны сорок рублей.

— Ведь вы знаете, что Катков ничего еще не прислал и у нас денег совсем нет,— отвечала я.— Сегодня я заложила свою брошь за двадцать пять рублей. Вот квитанция, посмотрите!

— Ну, что ж! Заложите еще что-нибудь.

— Но у меня все уже заложено.

— Мне необходимо сделать такую-то издержку,— настаивал пасынок.

— Сделайте ее тогда, когда мы получим деньги.

— Я не могу отложить.

— Но у меня нет денег!!

— А мне что за дело! Достаньте где-нибудь.

Я принималась уговаривать Павла Александровича просить у отчима не сорок рублей, которых у меня нет, а пятнадцать, чтобы у меня самой осталось хоть пять

рублей на завтрашний день. После долгих упрашиваний Павел Александрович уступал, видимо, считая, что делает мне этим большое одолжение. И я давала мужу пятнадцать рублей для пасынка, с грустью думая, что на эти деньги мы спокойно бы прожили дня три, а теперь завтра опять придется идти закладывать какую-нибудь вещь. Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек!

Может быть, удивятся, почему я не протестовала против такого бесцеремонного требования денег. Но если б я поссорилась с Павлом Александровичем, то он тотчас пожаловался бы на меня Федору Михайловичу, сумел бы все извратить, представиться обиженным, произошла бы ссора, и все это подействовало бы на мужа самым угнетающим образом. Щадя его спокойствие, я предпочитала лучше сама терпеть и во всем себе отказывать, лишь бы в нашей семье сохранился мир.

V

Несмотря на неприятные приставания кредиторов и постоянный недостаток денег, я все же с удовольствием вспоминаю зиму 1871/72 года. Уже одно то, что мы опять на родине, среди русских и всего русского, представляло для меня величайшее счастье. Федор Михайлович также был чрезвычайно рад своему возвращению, возможности увидеться с друзьями и, главное, возможности наблюдать текущую русскую жизнь, от которой он чувствовал себя несколько отдалившимся. Федор Михайлович возобновил знакомство со многими прежними друзьями, а у своего родственника, профессора М. И. Владиславлева, имел случай встретиться со многими лицами из ученого мира; с одним из них, В. В. Григорьевым (востоковедом), Федор Михайлович с особенным удовольствием беседовал [135]. Познакомился у князя Вл. П. Мещерского, издателя «Гражданина» [136], с Т. И. Филипповым [137] и со всем кружком, обедавшим у Мещерского по средам. Здесь же встретился с К. П. Победоносцевым, с которым впоследствии очень сблизился, и эта дружба сохранилась до самой его смерти [138].

Помню, в эту зиму приезжал в Петербург постоян-

но живший в Крыму Н. Я. Данилевский, и Федор Михайлович, знавший его еще в юности ярым последователем учения Фурье и очень ценивший его книгу «Россия и Европа», захотел возобновить старое знакомство [139]. Он пригласил Данилевского к нам на обед и, кроме него, несколько умных и талантливых людей. (Запомнила Майкова, Ламанского, Страхова.) Беседа их затянулась до глубокой ночи.

В эту же зиму П. М. Третьяков, владелец знаменитой Московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет [140]. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник В. Г. Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете «минуту творчества Достоевского». Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы «в себя смотрит», и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила.

Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать [141]. Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание.

Зима пролетела быстро, и наступила весна 1872 года, а с нею в нашей жизни целый ряд несчастий и бедствий, оставивших после себя долго незабываемые последствия.

VI

1872 ГОД. ЛЕТО *

Пословица говорит: «Беда не ходит одна», и в жизни почти каждого человека было время, когда его

* Мне пришлось слишком подробно рассказать несчастия, приключившиеся с нами летом 1872 года, главным образом, ради того, чтобы были понятны читателю письма Федора Михайловича ко мне, относ(ящиеся) к тому времени.

постигала целая полоса, серия разнообразных и неожиданных несчастий и неудач. То же самое случилось и с нами. Несчастия наши начались в конце 1871 года, когда наша дочка Лиля (ей было тогда два с половиной года), бегая на наших глазах по комнате, споткнулась и упала. Так как она сильно закричала, то мы бросились к ней, подняли и принялись успокаивать, но она продолжала плакать и не позволяла дотронуться до своей правой руки. Это заставило нас подумать, что ушиб был серьезный. Федор Михайлович, няня и горничная бросились отыскивать доктора. Федор Михайлович, узнав в аптеке адрес ближайшего хирурга, привез его через полчаса. Почти одновременно привела и няня другого доктора из Обуховской больницы. Осмотрев ушибленную руку, хирург высказал мнение, что произошел вывих, тотчас вправил кость и забинтовал ручку в толстую папку. Второй доктор подтвердил мнение хирурга о вывихе и уверил, что раз кость вправлена, она скоро срастется. Мнение двух компетентных докторов нас успокоило. Мы пригласили хирурга посещать больную, и тот в течение двух недель каждое утро приходил к нам, разбинтовывал ручку и говорил, что все идет как должно. Оба мы с Федором Михайловичем указывали хирургу на то, что на три вершка выше ладони имеется некоторое возвышение темно-багрового цвета. Хирург уверял, что и вся ручка больной распухла и что это обычное кровоизлияние при вывихе, которое должно мало-помалу разойтись. Ввиду нашего отъезда, хирург предложил нам, для безопасности в дороге, не разбинтовывать ручку до того времени, пока мы не приедем на место. Вполне успокоенные насчет происшедшего печального случая, мы выехали 15 мая 1872 года в Старую Руссу.

Выбор этого курорта, как нашего летнего местопребывания, был сделан по совету профессора М. И. Владиславлева, мужа родной племянницы Федора Михайловича, Марии Михайловны. И муж и жена уверяли, что в Руссе жизнь тихая и дешевая и что их дети за прошлое лето, благодаря соленым ваннам, очень поправились. Федор Михайлович, чрезвычайно заботившийся о здоровье детей, захотел повезти их в Руссу и дать им возможность воспользоваться купаньями.

Первое наше путешествие в Старую Руссу ярко за-

печатлелось в моей памяти, как одно из отрадных воспоминаний нашей семейной жизни[142]. Хоть зима 1871/72 года и прошла для нас благополучно и интересно, но мы уже с великого поста начали мечтать о том, как бы уехать раннею весною и куда-нибудь подальше, в глушь, где можно было бы работать, да и пожить вместе, не на народе, как в Петербурге, а как привыкли с мужем жить за границей, довольствуясь обществом друг друга. И вот наша мечта осуществилась.

Выехали мы в прекрасное теплое утро и часа через четыре были на станции Соснинка, откуда по Волхову идут пароходы до Новгорода. На станции мы узнали, что пароход отходит в час ночи и что нам придется прождать здесь целый день. Остановились на постоялом дворе, а так как в комнате было душно, то мы вместе с детьми и их старушкой-няней пошли гулять по деревне. Но тут с нами произошел комический случай: не успели мы пройти половину улицы, как повстречали бабу с ребенком, лицо которого было покрыто красными пятнами и волдырями. Прошли дальше и встретили трех-четырех ребятишек, у которых тоже были волдыри и красные пятна на лицах. Это нас очень смутило и навело на мысль, нет ли в деревне больных оспою и не заразились бы наши дети. Федор Михайлович живо скомандовал идти домой и обратился к хозяйке с вопросом, не было ли болезни в деревне и почему у детей лица в пятнах. Баба даже обиделась и ответила, что никаких «болестей» у них нет и не было, а что это все «комарики детей забижают». Насчет оспы мы вскоре успокоились, так как не прошло и часу, как мы убедились, что и в самом деле это «комарики», так как лица и ручки наших детей были сильно обезображены их укусами.

В полночь мы перешли на пароход, уложили деток спать, а сами часов до трех ночи просидели на палубе, любуясь на реку и на только что распустившиеся деревья по берегам Волхова. Пред рассветом стало холодно, я ушла в каюту, а Федор Михайлович остался сидеть на воздухе: он так любил белые ночи!

Часов в шесть утра я почувствовала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я поднялась и слышу — говорит Федор Михайлович:

— Аня, выйди на палубу, посмотри, какая удивительная картина!

И вправду, картина была удивительная, ради которой можно было забыть о сне. Когда я впоследствии припоминала Новгород, эта картина всегда представлялась моим глазам.

Было чудное весеннее утро, солнце ярко освещало противоположный берег реки, на котором высились белые зубчатые стены Кремля и ярко горели золоченые главы Софийского собора, а в холодном воздухе гулко раздавался колокольный звон к заутрене. Федор Михайлович, любивший и понимавший природу, был в умиленном настроении, и оно невольно передалось мне. Мы долго рядом сидели молча, как бы боясь нарушить очарование. Впрочем, радостное настроение наше продолжалось и весь остальной день,— давно уже у нас не было так хорошо и покойно на душе!

Когда дети проснулись, мы переехали на другой пароход, идущий в Старую Руссу. Пассажиров было мало, и мы хорошо устроились. Да и ехать было чудесно: озеро Ильмень было спокойно, как зеркало; благодаря безоблачному небу оно казалось нежно-голубым, и можно было думать, что мы находимся на одном из швейцарских озер. Последние два часа переезда пароход шел по реке Полисти; она очень извилиста, и Старая Русса, со своими, издалека виднеющимися церквами, казалось, то приближалась, то отдалялась от нас.

Наконец, в три часа дня, пароход подошел к пристани. Мы забрали свои вещи, сели на линейки и отправились разыскивать нанятую для нас (чрез родственника Владиславлева) дачу священника Румянцева. Впрочем, разыскивать долго не пришлось: только что мы завернули с набережной реки Перерытицы в Пятницкую улицу, как извозчик мне сказал: «А вон и батюшка стоит у ворот, видно, вас дожидается». Действительно, зная, что мы приедем около 15 мая, священник и его семья поджидали нас и теперь сидели и стояли у ворот. Все они нас радостно приветствовали, и мы сразу почувствовали, что попали к хорошим людям. Батюшка, поздоровавшись с ехавшим на первом извозчике моим мужем, подошел ко второму, на котором я сидела с Федей на руках, и вот мой мальчуган, додовольно дикий и ни к кому не шедший на руки, очень

дружелюбно потянулся к батюшке, сорвал с него широкополую шляпу и бросил ее на землю. Все мы рассмеялись, и с этой минуты началась дружба Федора Михайловича и моя с отцом Иоанном Румянцевым и его почтенной женой, Екатериной Петровной, длившаяся десятки лет и закончившаяся только с смертью этих достойных людей [143].

Все мы очень устали с дороги и в добром и в радостном настроении кончили этот первый день нашей старорусской жизни.

Но, боже мой! Как мало дано человеку возможности знать, что будет с ним завтра! А завтра произошло вот что: часов в одиннадцать, после завтрака, желая отпустить детей в сад и стесняясь тем, что повязка на руке девочки сильно загрязнилась, я решила распороть ту папку, в которую была зашита хирургом ее больная ручка, и разбинтовать ее, как он мне это позволил. И что же я увидела: за несколько дней опухоль ручки сильно опала, но зато ясно выказалось то возвышение ниже ладони, на которое мы с мужем указывали в Петербурге хирургу. Возвышение казалось уже не мягким, как прежде, а твердым. С верхней же части руки было заметно углубление в палец глубиною, так что кривизна ручки была несомненна. Меня это страшно поразило, и я тотчас позвала Федора Михайловича. И он ужасно встревожился, полагая, что не произошло ли что дурное с ручкой девочки во время нашего долгого пути. Позвали о. Иоанна и просили его указать нам доктора. Тот жил близко и скоро пришел. Осторожно осмотрев руку, он, к нашему ужасу, объявил, что у девочки была не вывихнута рука, а надломлена косточка, а так как ее неудачно скрепили и не сделали гипсовой повязки, то она и срослась неправильно. На наш вопрос, что же будет с рукой впоследствии, доктор ответил, что кривизна увеличится и рука будет изуродована; возможно и то, что левая будет расти нормально, а правая — отставать в росте, словом, что девочка будет сухорукая.

Каково было нам с мужем услышать, что наша милая девочка, которую мы так нежили и любили, будет калекой! Сначала мы не поверили и спросили, нет ли в городе хирурга? Доктор ответил, что с солдатами, посылаемыми в Руссу на ванны, приехал военный врач-

хирург, но что он с ним незнаком и не может поручиться за его уменье. Решили пригласить хирурга, а доктора просили у нас подождать. Добрый батюшка отправился за хирургом и чрез полчаса привез к нам военного врача, сильно навеселе, которого он разыскал где-то в гостинице за бильярдом. Привыкший обращаться с солдатами, врач не подумал быть осторожнее с маленькой пациенткой и, осматривая руку, так нажал на едва сросшуюся кость, что она страшно закричала и заплакала.

К нашему большому горю, военный врач подтвердил мнение своего коллеги [144], то есть, что произошел не вывих, а надлом кости, а так как с того времени прошло около трех недель, то косточка успела срастись и срослась неправильно. Когда мы спросили докторов, что ж теперь делать, оба выразили мнение, что необходимо сросшуюся кость вновь сломать и, соединив осколки, наложить гипсовую (неподвижную) повязку, и что тогда кость срастется правильно. Предупредили, что операцию надо сделать теперь же, как можно скорее, пока косточка не вполне срослась. На вопрос наш, будет ли операция очень болезненная, доктора ответили утвердительно, и хирург даже прибавил, что не может взять на себя ответственность за то, выдержит ли наша девочка, на вид такая бледная и хрупкая, столь мучительную операцию.

— Но нельзя ли сделать операцию под хлороформом? — спросил Федор Михайлович, но ему ответили, что маленьких детей опасно хлороформировать, так как они могут уснуть навсегда.

С сердечною болью вспоминаю о том, как мы с мужем были поражены неожиданным открытием и до чего несчастливы. Не зная, на что решиться, мы просили торопивших нас докторов дать нам день сроку, чтобы все обдумать. Положение наше было поистине трагическое: с одной стороны, немыслимо было оставить девочку калекой и не сделать попытки выпрямить ее ручку. С другой — как доверить эту операцию хирургу, может быть, даже неопытному (мы так недавно жестоко поплатились за наше доверие!), да к тому же любящему выпить. К тому же неуверенность хирурга в успехе операции («ведь я не могу поручиться за то, что рука правильно срастется, может, придется и по-

вторить операцию» — его подлинные слова), неуверенность его даже в том, выдержит ли наша милая крошка такую мучительную операцию,— все это повергло нас в страшное отчаяние. Боже, что́ мы с мужем пережили в этот несчастный день, обдумывая наше решение! Федор Михайлович, вне себя от горя и беспокойства, быстро ходил взад и вперед по садовой террасе, теребя себя за виски, что всегда было признаком его крайнего волнения, я же с минуты на минуту ждала, что с ним произойдет припадок, и, глядя на него и больную дочку, плакала. Бедная наша крошка, не отходившая от меня, тоже плакала. Словом, был сплошной ужас!

Выручил нас ставший с тех пор нашим другом священник о. Иоанн Румянцев. Видя наше отчаяние, он сказал нам:

— Бросьте вы наших докторов: они ничего не понимают и ничего не умеют. Они только замучают вашу дочку. Лучше поезжайте с нею в Петербург, и если нужна операция, то сделайте ее там.

Отец Иоанн говорил так убедительно, представил столько доводов, что помог нам решиться на поездку в Петербург. Но имелись основательные возражения и против поездки. Подумать только: рассчитывали провести лето в уединении и покое и запастись здоровьем на зиму, нашли хорошую дачу, совершили такой утомительный путь — и вдруг приходится возвращаться назад всей семьей в душный Петербург, где у нас и квартиры-то нет (мы ее сдали пред отъездом). Заплатив за дачу полтораста рублей, приходилось искать дачу где-нибудь в окрестностях столицы, и это при наших-то незначительных средствах, когда приходилось держаться строгой экономии. Кроме того, жалко было покидать и дачу, нам понравившуюся, и оставлять людей, которые отнеслись к нам с такою добротой.

Батюшка предложил и другой исход, именно: уехать нам с Любой и после операции вернуться обратно в Руссу, Федю же с его няней и кухаркой оставить на даче. Батюшка и его жена, Екатерина Петровна, обещали смотреть за ребенком и его няньками все то время, пока мы будем в отсутствии. Оба они, и батюшка и матушка, так искренно сочувствовали нашему горю и с такою сердечною готовностью взялись при-

сматривать за Федей, что мы могли быть спокойны, что они уберегут нашего мальчугана.

Но было одно обстоятельство, сильно нас тревожившее, именно: нашему сыну было всего десять месяцев и я продолжала его кормить. И он и я были вполне здоровы, и я предполагала его перестать кормить, когда выйдут глазные зубы. И вот приходилось внезапно бросить мальчика, не знавщего никакой другой пищи. Нам представлялось, что перемена сразу всего режима дурно на него подействует и он заболеет; да и на мое здоровье мог неблагоприятно повлиять внезапный отказ от кормления. Все это страшно смущало нас обоих, но боязнь и жалость к нашей крошке все превозмогли, и мы решились завтра же выехать в Петербург.

Как грустен был наш отъезд! Я все утро не расставалась с моим дорогим мальчуганом; Федор Михайлович часто приходил в детскую и, казалось, не мог наглядеться на сына. Наконец, когда пришел час отъезда, я покормила мальчика в последний раз и крепко прижала к груди; мне казалось, что я больше никогда его не увижу. Затем все присели, помолились пред образом, мы благословили нашего весело улыбавшегося мальчика и с душою, полною беспокойства, поехали на пароход.

Я должна с сердечною благодарностью вспомнить семью Румянцевых. Благодаря их заботам все обошлось благополучно. Мне передавали потом, что мой мальчик, проголодавшись, все искал меня, указывал няне пальчиком на дверь и говорил «туда». Старушка носила его из комнаты в комнату; не находя меня нигде, ребенок заливался слезами, отталкивал предлагаемое питье и не спал напролет всю ночь. Затем привык пить молоко и был совершенно здоров. Но всего обиднее для меня было то, что когда я, столь тосковавшая по моем Феде, приехала через три недели в Руссу, то он меня, свою маму, не узнал и не пошел ко мне на руки, то есть успел меня совершенно забыть.

Грустно было наше путешествие в Петербург, и представлявшиеся нам картины Ильменя и Волхова не останавливали нашего внимания. Все оно было направлено на то, как бы сберечь нашу девочку. Чтоб она ночью не легла на свою больную ручку и не потре-

вожила ее, мы с мужем устроили дежурство и каждые два часа сменяли друг друга и с нетерпением ждали, когда кончится наш длинный путь.

Как я уже сказала, квартиры своей у нас не было, поэтому мы решили остановиться в городской, пустой теперь квартире моего брата И. Г. Сниткина, который с женою и матерью поселился в окрестностях на даче. Был жаркий, удушливый день. Отворившая дверь прислуга первым словом сказала нам:

— А у нас старая барыня (моя мать) больна.

— Боже мой, что с ней? Где она? На даче?

— Нет, здесь, на квартире.

Бегу в ее комнату и вижу, что мама, очень бледная и осунувшаяся, сидит на диване с забинтованною ногой. Начинаю расспрашивать и узнаю, что беда случилась с нею в день перевозки нашей мебели в Кокоревские склады. Мама не убереглась, и мужик, должно быть, выпивший, уронил сундук с вещами ей на ногу. Большой палец левой ноги был раздроблен. Позванный доктор объявил, что началось воспаление, запретил двигаться и обещал выздоровление не ранее как через месяц. Наше внезапное возвращение и по такому печальному поводу чрезвычайно огорчило мою матушку, которая очень любила свою единственную внучку. Мама моя стала плакать, растревожилась, у ней появился сильный жар, и посетивший ее вечером доктор сказал, что воспаление настолько усилилось, что, пожалуй, придется ампутировать палец. Можно представить, в каком я была отчаянии, узнав о новом несчастии.

Федор Михайлович тотчас по приезде отправился к Ивану Мартыновичу Барчу, главному врачу Максимилиановской лечебницы. Это был в то время один из лучших хирургов столицы. Он был старинный знакомый Федора Михайловича, но по возвращении из-за границы муж у него еще не был. Когда случилось несчастье с ручкой девочки, мы хотели обратиться к Барчу, но муж знал, что Барч за визит с нас денег не возьмет, и это нас очень стесняло. Отплатить же Барчу каким-нибудь подарком у нас не было средств. К тому же лечивший ручку хирург показался нам знающим, да и представил нам происшедший случай таким незначительным вывихом, что обращаться к знамени-

сти, какою был тогда Барч, как-то было и неловко. Федор Михайлович горько упрекал себя и никогда не мог простить себе и мне этой (как он писал) «нашей небрежности».

И. М. Барч принял Федора Михайловича чрезвычайно дружелюбно, попенял ему, зачем не обратились к нему с самого начала, и обещал приехать к нам вечером. В назначенное время он приехал, сумел заинтересовать девочку своими часами и брелоками, потихоньку развязал ей ручку, даже не ощупал, чтоб напрасно не делать ей больно, а прямо объявил, что старорусские врачи определили верно и что кость срослась неправильно. Он высказал мнение, что девочка вряд ли будет иметь правую руку короче левой, но предупредил, что все-таки углубление с одной стороны и небольшое возвышение со стороны ладони будет заметно. Чтоб исправить беду, надо вновь сломить косточку и дать ей срастись под гипсовой повязкой. Федор Михайлович сказал, что он знает про чрезвычайную болезненность операции и боится, что девочка ее не перенесет.

— Да она и не почувствует ничего, операция будет под хлороформом,— ответил Барч.

— Старорусские врачи сказали нам,— говорил мой муж,— что маленьких детей не хлороформируют, так как это опасно.

— Ну, там старорусские врачи, как хотят,— улыбнулся хирург на это замечание,— а мы хлороформируем даже грудных детей, и все проходит благополучно.

Расспрашивая подробности, Барч пристально всматривался в меня. От его опытного взгляда не ускользнул мой лихорадочный вид.

— А вы сами здоровы ли? — обратился он ко мне,— отчего у вас лицо багровое, ведь у вас лихорадка!

Тут мне пришлось признаться, что меня всю ночь била лихорадка и что весь день голова страшно болит и кружится, и объяснить причину.

Федор Михайлович страшно встревожился и стал упрекать, зачем я от него скрыла мое недомогание.

— Вот что, барыня,— сказал Барч,— дочку вашу мы вылечим, но я и к операции не приступлю, прежде чем вы сами не поправитесь. У вас молоко может в го-

лову броситься, а с этим шутки плохие. Вот пошлите-ка в аптеку за лекарством, что я вам пропишу, да сами постарайтесь хорошенько уснуть.

Узнав, что мы находимся в чужой квартире, да к тому же у нас имеется больная, Барч предложил переехать на три недели в Максимилиановскую лечебницу, где и взять отдельную комнату. Ранее трех недель он не ожидал срастания кости, и не брался делать операции, если мы не можем остаться в Петербурге это необходимое для лечения время. Понятно, что ему, как отличному хирургу, не хотелось брать на себя ответственности за неудавшуюся, может быть, операцию, происшедшую по вине того врача, который в Старой Руссе будет следить за лечением и снимет повязку.

Мы с мужем тотчас же и порешили на другой день переехать в лечебницу, а Барч обещал, если возможно, завтра же произвести операцию.

Настал для нас тяжелый, полный сомнений день. Мы приехали в лечебницу к двенадцати часам, и к нам вскоре присоединился Аполлон Николаевич Майков, крестный отец нашей дочки. Барч еще вчера просил, чтоб кто-либо из наших родных или знакомых присутствовал при операции, и Федор Михайлович попросил об этом Майкова.

Было решено, что девочку станут хлороформировать, когда она, по обыкновению, заснет после завтрака. Но она была возбуждена переездом по городу и незнакомой обстановкой и не могла заснуть. Тогда решили дать ей хлороформу наяву. В комнату явился Барч и его ассистент доктор Глама. Когда Барч узнал, что мы с мужем предполагаем присутствовать при операции, то этому воспротивился.

— Помилуйте,— говорил он,— да с одной сделается обморок, а с другим припадок, вот и приводи вас в чувство, а операцию бросай! Нет, вы оба должны уйти, а если надо будет, я за вами пошлю.

Мы перекрестили несколько раз нашу девочку, поцеловали ее, и так как, под влиянием хлороформа, она начала засыпать, то Барч взял ее из моих рук и бережно положил на постель. Мы с мужем вышли из комнаты, со смертью в душе, не предполагая больше увидеть нашу дочку в живых. Слуга повел нас в отдаленную комнату и оставил одних. Федор Михайлович был

бледен, как платок, руки его тряслись; я тоже от волнения едва держалась на ногах.

— Аня, будем молиться, просить помощи божией, господь нам поможет! — прерывающимся голосом сказал мне муж, и мы опустились на колени и никогда, может быть, не молились так горячо, как в эти минуты! Но вот послышались чьи-то поспешные шаги, и в комнату вошел Майков.

— Идите туда, Барч зовет вас,— сказал он.

И Федору Михайловичу и мне пришла одна и та же мысль,— это что Лиля не выдержала хлороформирования и что Барч зовет нас присутствовать при ее последних минутах. Никогда доселе я не испытывала подобного ужаса: мне так и представилась картина смерти нашей старшей дочери. Муж взял меня за руку, судорожно сжал ее, и мы быстро-быстро, чуть не бегом, пошли по коридору. Войдя в комнату, мы увидели Барча (без сюртука, с засученными белыми рукавами), видимо, взволнованного. Он знаком позвал нас к постели, на которой спокойно спала наша девочка. Ее сломанная ручка, теперь совершенно *прямая,* без прежнего, тревожившего нас возвышения, была откинута и лежала на маленькой подушке.

— Ну, вот, смотрите,— сказал Барч,— видите, ручка вполне прямая, а вы мне, кажется, не верили? А теперь отойдите, дайте мне докончить.

И вот, при нас троих, Барч забинтовал ручку, обложил повязку гипсом и сделал все с такою быстротою (7 минут), что мы не успели опомниться, как операция была кончена. Доктор Глама все время следил за пульсом девочки. Затем Барч нашел своевременным разбудить девочку и заставил меня громко звать ее по имени. Она долго не могла проснуться, но когда пришла в себя, то очень удивилась, глядя на свою подвязанную ручку, и объявила, что у нее сахарная (по цвету гипса) «лучта».

Боже, как мы с мужем были безумно счастливы, когда все кончилось, доктора ушли и мы остались наедине с нашею милою крошкой. Трудно описать то чувство радости и успокоения, которое овладело нами. Казалось нам, что все наши горести и заботы исчезли и никогда не повторятся, но, к несчастью, не так случилось на самом деле.

Федор Михайлович пробыл в Петербурге еще один день. Так как результаты операции (то есть правильно ли на этот раз срослась косточка) могли выясниться только через три недели, то Федор Михайлович решил не ждать, а тотчас ехать в Руссу к своему Феде, о котором он все время тосковал. Про меня и говорить нечего: я без боли сердечной не могла подумать о том, что так безжалостно бросила своего дорогого сынишку, и все мучилась мыслью, не случилось ли с ним какого несчастия. Поэтому я была рада, что муж поспешил домой. Я знала, какой он нежный и заботливый отец, и была уверена, что он сбережет нашего милого мальчика.

Но, оставшись с Лилей в Петербурге, я не представляла себе, какие мучения мне придется перенести. Во-первых, во мне возникло страшное беспокойство, как бы она, бегая по комнате, не упала на свою больную ручку, не ударилась бы ею обо что-нибудь. От всякого неловкого движения гипс мог лопнуть, могла сдвинуться повязка, и тогда косточка срослась бы опять неправильно. Я следила за нею каждое мгновение, но так как она была живого характера девочка, то от вечной боязни и напряженного внимания у меня страшно расстроились нервы. К тому же я и ночи спала плохо, каждую минуту просыпаясь, чтобы поглядеть, не легла ли Лиля во сне на свою больную ручку. Да и девочка привыкла жить в семье, видеть вокруг себя людей, то есть отца, брата, няню и пр.; тут же она была обречена на полное уединение и поэтому, понятно, скучала, капризничала и плакала. К тому же в городе было жарко, душно, а в помещениях лечебницы пахло лекарствами. Не выходить на воздух было невозможно, да и мне хотелось навещать мою маму, которая все еще не могла поправиться. А выходя на улицу — сколько возможностей упасть, ушибить ребенка. Носить ее на руках мне было не под силу, ходить долго она не могла, а ездить на извозчиках была настоящая мука: садясь в пролетки или сходя с них, так легко было повредить ручку девочки.

Кроме боязни за Лилю, у меня не выходила из головы мысль о том, что-то теперь с моим мужем, не случилось ли с ним припадка? Из его писем я видела, что он тоскует и беспокоится о нас, а я ничем не могла ему

помочь. Мучилась я тоскою и по моем милом мальчике, тревожилась и о том, что рана на ноге моей матери не только не заживает, но все более разбаливается. Благодаря всему этому нервы мои были донельзя натянуты, и я по нескольку раз в день принималась плакать и рыдать.

Но несчастия продолжали нас преследовать. Несколько дней спустя по отъезде Федора Михайловича мой брат, Иван Григорьевич (он ожидал в ближайшем времени родин своей жены, а потому имел возможность ежедневно отлучаться с дачи лишь на самый короткий срок, чтоб навестить маму и меня), пришел ко мне до того опечаленный и убитый, что это тотчас бросилось мне в глаза. Я стала допрашивать, не случилось ли чего; он отвечал, что все идет хорошо. Жена его здорова, маме даже немного лучше; так почему же у него такой подавленный вид и иногда как будто слезы на глазах? — подумала я. Он скоро ушел, а мне пришло на мысль, не случилось ли несчастия с Федором Михайловичем или с моим сыном и что брат это от меня скрывает. Беспокойство мое дошло до последних пределов, я всю ночь не спала, воображая разные ужасы. Рано утром я телеграфировала брату, чтобы он непременно ко мне приехал. И вот брат пришел, и все такой же печальный и подавленный, как и накануне. Я высказала ему мои подозрения насчет какого-нибудь несчастия с моими в Руссе и прибавила, что не могу долее выносить беспокойства о них, а поэтому сегодня же выезжаю с дочкой домой, рискуя испортить все ее лечение. Брат стал меня уверять, что не получал никаких дурных известий из Руссы и что причина его грусти другая. Видя мои настояния и опасаясь, что я решусь уехать, брат, боявшийся огорчить меня, уже и без того измученную всеми нашими горестями, решился, наконец, сообщить мне о новом постигшем нашу семью несчастии — о смерти единственной нашей сестры Марии Григорьевны Сватковской *. Сестру Машу и я

* М. Г. Сватковская вместе со своим мужем и двумя старшими детьми в ноябре 1871 г. уехала за границу, оставив двух младших в Петербурге. В феврале 1872 г. они поселились в Риме. Здесь на прогулке она заразилась малярией или, по мнению других докторов, тифом, прохворала два месяца и скончалась 1 мая.

и мой брат очень любили, и весть о ее безвременной кончине страшно нас поразила. Сестра наша была очень красивая, здоровая и жизнерадостная женщина, и ей только недавно минуло тридцать лет. Кроме искреннего сожаления о ней, нас с братом беспокоила мысль о том, что будет теперь с ее четырьмя детьми, для которых она была очень нежная мать. Нашему отчаянию не было пределов, и бедная моя дочка, видя нас плачущими, тоже заливалась слезами. Никогда я не забуду этого печального дня!

Когда первые минуты отчаяния прошли, я стала расспрашивать, как брат узнал о нашей невознаградимой потере. Оказалось, что, по просьбе моей мамы, он заехал навестить детей сестры и здесь застал только что утром вернувшегося из-за границы ее мужа. Зная, что известие о смерти сестры будет для меня страшным ударом, брат боялся, что я с горя заболею, и тогда кто же будет наблюдать за моей дочкой, а потому не решался мне говорить. Брат уверял, что ему стало легче, когда он поделился со мною своим горем и может со мною посоветоваться. А нам обоим предстояла тяжелая задача — сообщить о смерти сестры Маши нашей матери. Это была ее старшая дочь, ее любимица, и мы с братом опасались, что она не вынесет несчастия и с нею случится удар или она сойдет с ума.

Мы с братом на первых порах решили скрывать от мамы смерть сестры. Я предполагала уговорить маму поехать со мной в Руссу и хотела уже там сказать ей о случившемся несчастии, постепенно подготовив ее к печальной вести. Рассчитывала я в этом случае и на помощь моего мужа, всегда очень дружного с моею матерью и имевшего влияние на нее. Но Федор Михайлович изо всех сил * восстал против нашего плана, считая, что исполнение его только усугубит горе нашей матери. Он убедил нас в необходимости сказать ей теперь же, когда она может разделить свое горе с осиротевшими внуками.

Наша задача осложнялась еще тем обстоятельством, что доктор, лечивший мою мать, узнав о новом

Ее муж почему-то не нашел возможным сообщить о ее кончине, а только сообщал своей сестре, жившей с его детьми, о скором возвращении домой.

* Письмо от 30 мая 1872 г.[145]

постигшем нас несчастии, просил скрывать от нее до того времени, пока поправится нога. Он уверял, что воспаление (вследствие волнения и слез), несомненно, увеличится, и тогда придется ампутировать палец. На что решиться? — вот был ужасный для нас с братом вопрос. К тому же у брата были свои тяжелые заботы: жене его предстояло на днях произвести на свет, и так как это были первые роды, то мой брат и его жена страшно тревожились, благополучно ли все окончится. У меня были свои сердечные муки: о Федоре Михайловиче, о милом моем сынишке, об удаче или неудаче операции дочери, о болезни моей матери, и вот теперь нас поражает новое, тяжкое горе! Вот когда въявь видишь, что милосердный господь, посылая нам испытания, дает нам и силы переносить их!

Итак, мы решили до времени скрывать от моей дорогой матери смерть нашей сестры! Но как тяжело нам было это! Ведь мама говорила о своей дочери, как о живой, писала ей письма, готовила к ее приезду подарки. Каково нам было слышать ее разговоры о Маше и сторожить каждое слово, чтобы не проговориться, тогда как у самих нас напоминание об усопшей вызывало слезы и грусть. Мама часто замечала, что я плачу, но я уверяла ее, что я беспокоюсь об успехе операции или о своих близких, находящихся в Руссе.

Время шло, а мы решиться открыть нашу тайну откладывали. Но вдруг моя милая мать, так грустившая о том, что не имеет никаких известий о больной дочери, решила навестить ее младших детей. Сколько мы с братом ее ни отговаривали, ни представляли, что она своею поездкою может повредить больную ногу, она настояла на своем. К тому времени пришли и письма Федора Михайловича, поколебавшие принятое нами решение. Наконец назначили день поездки. Я условилась с сестрой милосердия лечебницы, что она посидит часа два-три с Лилей и займет ее игрушками, но сама трепетала при мысли, что она оставит ее на минуту и с девочкой что-нибудь случится дурное. Брат тоже с чрезвычайною боязнию оставил свою больную жену, и вот мы повезли в карете нашу дорогую маму к детям умершей сестры. Что мы с братом выстрадали в тот день! Ехали мы медленно, чтобы не растревожить больную ногу моей матери, и мне представлялось,

точно меня везут на смертную казнь. Каждая минута, каждый поворот колес приближал нас, думала я, может быть, к новому несчастию, может быть, даже к смерти моей мамы. Какой это был ужас! Даже теперь, по прошествии многих лет, этот день представляется мне, как ужасный кошмар!

Подъехали к дому сестры (по М. Итальянской), и швейцар и дворник понесли мою матушку на руках во второй этаж. Навстречу маме выбежали на лестницу старшие дети, Ляля и Оля. Но то, что вместе с ними встречать не вышла сестра,—поразило мою бедную маму; у ней *внезапно* (как она говорила потом) явилось глубокое убеждение, что ее дочери уже нет на свете.

— Маша умерла! Моя дорогая Маша умерла!— вскричала она истерически и зарыдала. Стали плакать дети, плакали и мы с братом, вышел и Павел Григорьевич (муж сестры), тоже в большом волнении. Тут произошла раздирающая душу сцена горести и отчаяния, описать которую не хватает слов. Прошло, может быть, часа два, прежде чем мы немного пришли в себя. Надо было думать о том, чтобы отвезти маму домой, так как оставить ее у Сватковских было немыслимо: кто бы за нею, больною, присмотрел в семье, которая сама еще не успела отдохнуть с дороги и устроиться. Да и мама желала ехать домой, чтоб остаться наедине со своим горем. Брату нужно было спешить к больной жене, мне нужно было вернуться к Лиле в лечебницу, а между тем слезы и отчаяние нас всех продолжались. Наконец мама согласилась на наши уговоры и на обещание вновь привезти ее на днях к сироткам, и мы так же медленно отвезли ее домой. От нее я помчалась в лечебницу, но, к счастию, там оказалось все благополучно: я застала и Лилю и сестру милосердия крепко уснувшими на постели. Я тотчас одела мою дочку и вместе с нею поехала на весь остальной день к моей матери, не решаясь оставлять ее одну в ее тяжком горе. Много мы с нею плакали, и для меня было некоторым облегчением то, что не приходилось от мамы скрывать так тяготившую нас с братом тайну.

По возвращении моем с Лилей в Руссу наступило некоторое затишье и успокоение, но оно продолжалось

недолго: вследствие сильной простуды (лето было дождливое и холодное) у меня сделался нарыв в горле, при температуре около 40°, в течение нескольких дней. Лечивший меня главный военный врач, приехавший на сезон, К. А. Шенк, в один несчастный день нашел нужным предупредить Федора Михайловича, что если нарыв в течение суток не прорвется, то он за мою жизнь не отвечает, так как силы мои падают и сердце плохо работает. Услышав это, Федор Михайлович пришел в совершенное отчаяние. Чтоб меня не встревожить, он не стал плакать при мне, а пошел к о. Иоанну, присел к столу, закрыл руками лицо и залился слезами. Жена священника подошла к нему и спросила, что́ сказал врач.

— Умирает Анна Григорьевна! — прерывающимся от рыданий голосом сказал Федор Михайлович.— Что я буду без нее делать? Разве я могу без нее жить, она *все* для меня составляет!

Добрая матушка обняла его за плечо и стала уговаривать:

— Не плачьте, Федор Михайлович, не отчаивайтесь, господь милостив, он не оставит вас и детей сиротами!

Сердечное участие и уговоры доброй матушки благотворно подействовали на моего мужа и подняли в нем упавшую бодрость. Федор Михайлович всегда с благодарностью вспоминал участие матушки и очень ее уважал.

Можно представить мое отчаяние во время болезни: я видела, что положение мое ухудшается, я уже несколько дней не могла сказать ни слова, а только писала на листочках мои желания. Просматривая записанную доктором два раза в день температуру (Федор Михайлович прятал листок, но няня, ничего не понимавшая, по моей просьбе, показывала), я ясно понимала, к чему клонится дело. Мне страшно жаль было умирать, тяжело было оставить дорогих моих мужа и деток, будущее которых мне представлялось вполне безотрадным. Без матери, при больном и необеспеченном отце что́ могло их ожидать? Мать моя стара и больна, сестра умерла. Оставалась надежда на моего доброго брата, что он моих детей не оставит. Страшно жаль было моего доброго мужа: кто его полюбит, кто

о нем будет заботиться и разделять его труды и горести? Я звала к себе знаками то Федора Михайловича, то детей, целовала, благословляла и писала свои наставления мужу, как ему поступить в случае моей смерти. Но последние два дня пред кризисом наступило какое-то тупое равнодушие: мне как будто не стало жаль ни Федора Михайловича, ни детей, точно я ушла уже из этого мира.

К общей нашей радости, кризис произошел в ту же ночь: нарыв в горле прорвался, и я начала поправляться. Недели через две нарыв в горле повторился, но уже в слабой степени. Им закончилась полоса несчастий, случившихся с нами в 1872 году.

Много горького пришлось мне переиспытать в моей жизни: были страшно тяжелые утраты: смерти мужа и сына Алеши, но такой полосы несчастий уже не повторялось.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1872—1873 гг.

I

1872 ГОД

К осени 1872 года мы несколько оправились от тяжелых впечатлений этого несчастного для нас лета и, вернувшись из Старой Руссы, поселились во 2-й роте Измайловского полка, в доме генерала Мевес. Квартира наша помещалась во втором этаже особняка, в глубине двора. Она состояла из пяти комнат, небольших, но удобно расположенных, и гостиной в три окна. Кабинет Федора Михайловича был средней величины и находился вдали от детских комнат, так что дети своим шумом и беготней не могли мешать Федору Михайловичу во время его занятий.

Хотя муж и работал все лето над романом, но до того был неудовлетворен своим произведением, что отбросил прежде намеченный план и всю третью часть переделал заново.

В октябре Федор Михайлович побывал в Москве и уговорился с редакцией, чтобы третья часть романа была помещена в двух последних книжках «Русского вестника». Надо сказать, что роман «Бесы» имел большой успех среди читающей публики, но вместе с тем доставил мужу массу врагов в литературном мире[146].

В конце зимы Федору Михайловичу удалось встретиться у Н. П. Семенова[147] с Н. Я. Данилевским, бывшим фурьеристом, с которым он не видался около двадцати пяти лет. Федор Михайлович был в восторге от книги Данилевского «Россия и Европа» и хотел еще раз с ним побеседовать. Так как тот скоро уезжал, то муж тут же пригласил его к себе пообедать на завтра. Услышав об этом, друзья и поклонники Данилевского сами напросились к нам на обед. Можно представить мой ужас, когда муж перечислил будущих гостей и их оказалось около двадцати человек. Несмотря на мое маленькое хозяйство, мне удалось устроить все как надо, обед был оживленный, и гости за интересными разговорами просидели у нас далеко за полночь.

II

К ВОСПОМИНАНИЯМ 1872 ГОДА

Раздумывая о нашем бедственном материальном положении, я стала мечтать о том, как бы увеличить наши доходы собственным трудом и вновь начать заниматься стенографией, в которой за последние годы я сделала значительные успехи. Я стала просить у родных и знакомых достать мне стенографическую работу в каком-нибудь учреждении. Мой учитель стенографии П. М. Ольхин чрез одного знакомого достал мне работу стенографирования на съезде лесохозяев, и редактор лесного журнала Н. Шафранов * предложил мне приехать в Москву с 3—13 августа. К сожалению, я чувствовала себя такою подавленною тяжелыми происшествиями этого лета, что отказалась от работы.

Зимою 1872 года брат мой, недавно переехавший с молодою женой в Петербург, сообщил мне, что скоро предполагается в одном из городов Западного края

* Письмом от 17 июля 1872 г.

съезд, не помню по какому отделу, и для этого съезда приискивают стенографа. Тотчас же я написала председателю съезда, от которого зависел выбор. Сделала я это, разумеется, с согласия Федора Михайловича, который хоть и утверждал, что, занимаясь детьми и хозяйством, да еще помогая ему в работе, я достаточно делаю для семьи, но, видя мое горячее желание зарабатывать деньги своим трудом, не решился мне противоречить. Он признавался мне потом, что надеялся на отказ со стороны председателя съезда. Однако тот ответил согласием и сообщил условия. Не скажу, чтоб они были заманчивы: большая часть их ушла бы на проезд и житье в гостинице. Важны, впрочем, были не столько деньги, сколько начало труда. Если бы я хорошо исполнила свою работу, то могла бы, имея рекомендацию от председателя съезда, получить другие, более выгодные занятия.

Серьезных возражений против моей поездки Федор Михайлович не имел никаких, так как на время моего отсутствия моя мать обещала переехать к нам и смотреть и за детьми, и хозяйством. У Федора Михайловича тоже не было для меня работы: он переделывал в то время план романа «Бесы». И все же предполагаемая поездка крайне не нравилась мужу. Он придумывал всевозможные предлоги, чтобы меня не отпустить. Спрашивал, как это я, молодая женщина, одна поеду в польский город, где у меня нет знакомого лица, как устроюсь и т. п. Услыхав подобные возражения, брат мой вспомнил, что на съезд едет один из его прежних товарищей, хорошо знающий Западный край, и пригласил меня с мужем прийти к ним пить чай, чтобы познакомиться с его другом и получить от него все сведения.

В назначенный вечер мы приехали к брату. Федор Михайлович, у которого давно не было припадка, был в прекрасном настроении. Мы мирно беседовали с братом и его женой, дожидаясь его друга. Я его никогда не видала, но много о нем от брата слышала. То был добрый, но не особенно умный кавказский юноша, которого за горячность и скоропалительность товарищи прозвали «диким азиатом». Он очень возмущался этим прозвищем и в доказательство того, что он «европеец», создал себе кумиры в каждом искусстве. В музыке бо-

гом его был Шопен, в живописи — Репин, в литературе — Достоевский. Брат встретил гостя в передней. Узнав, что он познакомится с Федором Михайловичем и даже может оказать ему услугу, бедный юноша пришел в восторг, хотя тотчас же оробел. Войдя в гостиную и увидав свое божество, он до того смутился, что молча, кое-как раскланялся с мужем и хозяйкой дома. Был он лет двадцати трех, высокого роста, с курчавыми волосами, выпуклыми глазами и ярко-красными губами.

Видя замешательство товарища, брат мой поспешил его представить мне. «Азиат» схватил мою руку, поцеловал ее, несколько раз сильно потряс и, картавя, проговорил:

— Как я рад, что вы едете на съезд и что я могу быть вам полезным!

Его восторженность меня рассмешила, но очень рассердила мужа. Федор Михайлович, хотя и редко, но целовавший у дам руку и не придававший этому никакого значения, был всегда недоволен, когда кто-нибудь целовал руку у меня. Мой брат, заметивший, что настроение Федора Михайловича изменилось (переходы от одного настроения к другому у мужа всегда были резки), поспешил завести деловой разговор о съезде. «Азиат» по-прежнему был очень смущен и, не смея смотреть на Федора Михайловича, отвечал на вопросы, большею частью обращаясь ко мне. Я запомнила некоторые его любезные, но нелепые ответы.

— А что, не трудно доехать до Александрии? — расспрашивала я,— много ли предстоит пересадок?

— Не беспокойтесь, Анна Грыгоровна, я сам буду сопровождать вас; а если пожелаете, могу даже ехать в одном с вами вагоне.

— Есть ли в Александрии приличная гостиница, где могла бы остановиться молодая женщина? — спросил его муж.

Юноша с восторгом на него посмотрел и с жаром воскликнул:

— Если Анна Грыгоровна пожелает, то я могу поселиться в одной с нею гостинице, хоть и намеревался остановиться у товарища.

— Аня, ты слышишь? Молодой человек согласен поселиться с тобою вместе! Но ведь это же пре-восход-

но!!! — громко вскрикнул Федор Михайлович и изо всех сил ударил по столу. Стоявший перед ним стакан чаю слетел на пол и разбился. Хозяйка бросилась поддерживать сильно покачнувшуюся от удара зажженную лампу, а Федор Михайлович вскочил с места, выбежал в переднюю, накинул пальто и убежал.

Я быстро оделась и бросилась за ним: выйдя на улицу, я увидела мужа, бегущего в противоположную нашему дому сторону. Я побежала вслед за ним и минут через пять догнала Федора Михайловича, сильно к тому времени запыхавшегося, но не останавливающегося, несмотря на мои просьбы остановиться. Я забежала вперед, схватила обеими руками полы его надетого внакидку пальто и воскликнула:

— Ты с ума сходишь, Федя! Куда же ты бежишь? Ведь это же не наша дорога! Остановись, надень пальто в рукава, так нельзя, ты простудишься!

Мой взволнованный вид подействовал на мужа. Он остановился, натянул на себя пальто. Я застегнула пуговицы, взяла его под руку и повела в обратную сторону. Федор Михайлович молчал в смущении.

— Что ж, опять приревновал, не правда ли? — возмущалась я,— думаешь, что я успела в несколько минут влюбиться в «дикого азиата», а он в меня, и мы собираемся вместе бежать, не так ли? Ну как тебе не стыдно? Неужели ты не понимаешь, как обижаешь меня своею ревностью? Мы пять лет женаты, ты знаешь, как я тебя люблю, как ценю наше семейное счастье, и ты все же способен ревновать меня к первому встречному и ставить меня и себя в смешное положение!

Муж извинялся, оправдывался, обещал никогда более не ревновать. Я не могла долго на него сердиться: я знала, что сдержать себя в порыве ревности он не в состоянии. Я стала смеяться, вспоминая восторженного юношу, внезапный гнев и бегство Федора Михайловича. Видя перемену в моем настроении, муж тоже стал над собою подтрунивать, расспрашивать, сколько вещей он перебил у брата и не прибил ли кстати и своего восторженного поклонника.

Вечер был чудесный, и мы пешком дошли до дому. Путь был далекий, и мы употребили на него больше часу. Дома мы застали у себя брата. Увидав наше внезапное бегство, брат испугался, помчался к нам

и страшно был поражен, не найдя нас дома. Целый час просидел он с самыми мрачными предчувствиями и очень был удивлен, увидя нас в самом мирном настроении. Мы оставили его пить с нами чай и много смеялись, вспоминая о случившемся. На вопрос, чем же он объяснил кавказцу наше странное бегство, брат отвечал:

— Когда он спросил, что тут такое случилось, я ему сказал: а ну тебя к черту, если сам не понимаешь.

Я поняла после этой истории, что мне приходится отказаться от поездки. Конечно, я и теперь могла бы уговорить мужа отпустить меня. Но после моего отъезда он стал бы волноваться, беспокоиться, а затем, не выдержав, поехал бы за мною в Александрию. Вышел бы скандал, и были бы напрасно издержаны деньги, которых у нас было и так мало.

Так закончилась моя попытка зарабатывать деньги стенографией.

III

1872 ГОД. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БОЛЕЗНЬ ФЕДЮШИ

На рождестве 1872 года в семье нашей произошел следующий курьезный случай.

Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая «звезду».

Елка 1872 года была особенная: на ней наш старший сын, Федя, в первый раз присутствовал «сознательно». Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович торжественно ввел в гостиную своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери — прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну — большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными грива-

ми и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей. Девочке, впрочем, санки скоро наскучили, и она занялась другими игрушками. Не то было с мальчиком: он выходил из себя от восторга, покрикивал на лошадей, ударял вожжами, вероятно, припомнив, как делали это проезжавшие мимо нашей дачи в Старой Руссе мужики. Только каким-то обманом удалось нам унести мальчика из гостиной и уложить спать.

Мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника, и Федор Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей. Я легла спать в двенадцать, а муж похвалился мне новой, сегодня купленной у Вольфа книгой, очень для него интересной, которую собирался ночью читать. Но не тут-то было. Около часу он услышал неистовый плач в детской, тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика, раскрасневшегося от крика, вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего какие-то непонятные слова. (Ему было менее полутора лет, и он неясно еще говорил.) На крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую. Так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру, то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет. Когда мы проходили чрез гостиную и Федя при свете свечи увидал санки, то мигом замолк и с такою силою потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам, что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить. Хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка, но он уже смеялся, схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать, как бы погоняя лошадей. Когда ребенок, по-видимому, вполне успокоился, Федор Михайлович хотел отнести его в детскую, но Федя залился горьким плачем и до тех пор плакал, пока его опять не посадили в саночки. Тут мы с Федором Михайловичем, сначала испуганные загадочною для нас болезнию, приключившеюся с ребенком, и уже решившие, несмотря на ночь, пригласить доктора, поняли, в чем дело: очевидно, воображение мальчика было поражено елкою, игрушками и тем удовольствием, кото-

рое он испытал, сидя в саночках, и вот, проснувшись ночью, он вспомнил о лошадках и потребовал свою новую игрушку. А так как его требование не удовлетворили, то и поднял крик, чем и достиг своей цели. Что было делать: мальчик окончательно, что называется, «разгулялся» и не хотел идти спать. Чтоб не бодрствовать всем троим, решили, что я и нянька пойдем спать, а Федор Михайлович посидит с мальчуганом и, когда тот устанет, отнесет его в постельку. Так и случилось. Назавтра муж весело жаловался мне:

— Ну, и замучил меня ночью Федя! Я часа два-три не спускал с него глаз, все боялся, как бы он не вывернулся из саней и не расшибся. Уж няня два раза приходила звать его «баиньки», а он ручками машет и собирается опять заплакать. Так и просидели вместе часов до пяти. Тут он, видимо, устал и стал приваливаться к сторонке. Я его поддержал, и, вижу, крепко заснул, я и перенес его в детскую. Так мне и не пришлось начать купленную книгу,— смеялся Федор Михайлович, видимо, чрезвычайно довольный, что происшествие, сначала нас испугавшее, кончилось так благополучно.

IV

1873 ГОД. ИЗДАНИЕ «БЕСОВ». РЕДАКТОРСТВО. ЗНАКОМСТВА

Закончив роман «Бесы», Федор Михайлович был некоторое время в большой нерешительности, чем ему теперь заняться. Он так был измучен работой над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным. Осуществить же зародившуюся еще за границей идею — издавать «Дневник писателя», в виде ежемесячного журнала, было затруднительно [148]. На издание журнала и на содержание семьи (не говоря уже об уплате долгов) требовались средства довольно значительные, а для нас составляло загадку — велик ли будет успех журнала, так как он представлял собою нечто небывалое доселе в русской литературе и по форме и по содержанию. А в случае неуспеха «Дневника» мы были бы поставлены в безвыходное положение.

Федор Михайлович сильно колебался, и я не знаю, на каком решении он бы остановился, если бы в это время князь Вл. П. Мещерский не предложил ему принять на себя обязанности редактора еженедельного журнала «Гражданин»[149]. Этот журнал основался всего год назад и выходил под редакцией Гр. К. Градовского. Около редакции нового журнала объединилась группа лиц одинаковых мыслей и убеждений. Некоторые из них: К. П. Победоносцев, А. Н. Майков, Т. И. Филиппов, Н. Н. Страхов, А. У. Порецкий[150], Евг. А. Белов[151] — были симпатичны Федору Михайловичу, и работать с ними представлялось ему привлекательным. Не меньшую привлекательность составляла для мужа возможность чаще делиться с читателями теми надеждами и сомнениями, которые назревали в его уме. На страницах «Гражданина» могла осуществиться и идея «Дневника писателя», хотя и не в той внешней форме, которая была придана ему впоследствии.

С материальной стороны дело было обставлено сравнительно хорошо: обязанности редактора оплачивались тремя тысячами, кроме платы за статьи «Дневника писателя», а впоследствии за «политические» статьи. В общей сложности мы получали около пяти тысяч в год. Ежемесячное получение денег в определенном размере имело тоже свою хорошую сторону: оно позволяло Федору Михайловичу не отвлекаться от взятого на себя дела заботами о средствах к существованию, которые так угнетающе действовали на его здоровье и настроение.

Впрочем, Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование «Гражданина», не скрывал от них, что берет на себя эти обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы и ради возможности ближе ознакомиться с текущей действительностью, но что, когда потребность поэтического творчества в нем вновь возникнет, он оставит столь несвойственную его характеру деятельность.

Начало 1873 года мне особенно памятно благодаря выходу в свет первого изданного нами романа «Бесы». Этим изданием было положено основание нашей общей с Федором Михайловичем, а после его кончины —

моей издательской деятельности, продолжавшейся тридцать восемь лет.

Одною из наших надежд на поправление денежных обстоятельств (пожалуй, главною) была возможность продать право издания отдельной книгой романа «Идиот», а затем романа «Бесы». Живя за границей, трудно было устроить такую продажу; не легче стало и тогда, когда мы вернулись в Россию и получили возможность лично сговариваться с издателями. К кому из них мы ни обращались, нам предлагали очень невыгодную цену: так, за право издания отдельной книгой романа «Вечный муж» (в 2000 экземпляров) книгопродавец А. Ф. Базунов уплатил нам сто пятьдесят рублей, за право издать роман «Бесы» предлагали всего пятьсот рублей, да еще с уплатою по частям в течение двух лет.

Федор Михайлович еще в юности мечтал о том, чтобы самому издавать свои произведения, и писал об этом брату[152], говорил мне об этом и живя за границей. Меня тоже очень заинтересовала эта идея, и я мало-помалу старалась узнать все условия издательства и распространения книг. Заказывая визитные карточки для мужа, я разговорилась с владельцем типографии и спросила, на каких условиях издаются книги. Он объяснил, что большая часть книг издается на наличные, но что если у автора имеется значительное литературное имя и книги его раскупаются, то каждая типография с охотою даст полугодовой кредит с тем, что если через полгода деньги не будут уплачены, то на неуплаченную сумму будет взиматься известный процент. На таких же условиях кредита можно получить и бумагу для издания. Он же мне сообщил и приблизительную стоимость предполагаемого мною издания, то есть стоимость бумаги, типографской и брошюровочной работ. Согласно его расчету, издание романа «Бесы» в количестве 3500 экз. могло обойтись около четырех тысяч рублей. Назначить за три тома, напечатанных крупным, изящным шрифтом на белой атласистой бумаге, типографщик советовал не менее трех рублей пятидесяти копеек. Из общей суммы 12 250 руб., вырученной за все экземпляры, следовало уступить в пользу книгопродавцов около тридцати процентов, но и в этом случае, считая прочие расходы,

при успешной продаже романа, в нашу пользу очищалась значительная сумма.

В те времена никто из писателей не издавал сам своих сочинений, а если и являлся такой смельчак, то за свою смелость непременно платился убытком. Существовало несколько книжных фирм: Базунова, Вольфа, Исакова и др., которые покупали право на издание книг, издавали и распространяли их по всей России. Изданные же учеными обществами или частными лицами книги брались книгопродавцами на склад или на комиссию с уступкою пятьдесят процентов, под предлогом, что хранение книг, а также публикации (которые, впрочем, делались ими очень скупо) стоят им дорого. В результате отданные на склад или на комиссию книги возвращались иногда частью не проданными издателю и, случалось даже, в испорченном виде.

Желая издать роман «Бесы», я пыталась спрашивать в книжных магазинах, какую они имеют уступку, но получала неопределенные ответы: что уступка зависит от книги, уступают сорок — пятьдесят процентов и даже больше. Как-то раз, покупая для мужа книгу ценою в три рубля, я, для проверки, попросила уступить ее за два, под предлогом, что они сами получают пятьдесят процентов, и, следовательно, книга им стоит полтора. Приказчик был возмущен моим предложением и объявил, что сами они получают двадцать, двадцать пять и на немногие книги тридцать процентов, да еще при условии, если купят большое количество. Из подобных расспросов для меня выяснилось, какой процент и при каком количестве экземпляров следует уступать книгопродавцам.

Когда мы сказали нашим друзьям и знакомым, что хотим сами издать роман, то услышали много возражений и советов не пускаться в такое незнакомое для нас предприятие, в котором мы, по неопытности, должны были непременно погибнуть и, в придачу к старым долгам, нажить несколько тысяч новых. Но отговаривания не повлияли на нас, и мы решили нашу идею привести в исполнение.

Бумагу для печатания мы взяли у фирмы А. И. Варгунина, в лучшей как тогда, так и поныне фабрике тряпичной бумаги. Печатать же отдали в типографию Замысловского, тогда же перешедшую в собственность

бр. Пантелеевых. Конец 1872 года и начало следующего года прошли у нас в заботах о книге: я читала первую и вторую корректуры, авторскую же просматривал Федор Михайлович.

Около двадцатых чисел января книга была сброшюрована и часть ее доставлена к нам на дом. Федор Михайлович был очень доволен внешним видом книги, а я так даже ею очарована. Накануне выхода книги в свет Федор Михайлович повез ее показать одному из виднейших книгопродавцов (у которого постоянно покупал книги) в надежде, что тот захочет купить некоторое количество экземпляров. Книгопродавец повертел книгу в руках и сказал:

— Ну, что ж, пришлите двести экземпляров на комиссию.

— С какою же уступкой? — спросил муж.

— Да не меньше, как с пятьюдесятью.

Федор Михайлович ничего не ответил. Опечаленный вернулся он домой и рассказал про свою неудачу. Я тоже была обеспокоена, а предложение книгопродавца взять на комиссию двести экземпляров мне вовсе не улыбалось: я знала, что если он и продаст книги, то получим мы с него деньги не скоро.

Наступил знаменательный день в нашей жизни, 22 января 1873 года, когда в «Голосе» появилось наше объявление о выходе в свет романа «Бесы». Часов в десять явился посланный от книжного магазина М. В. Попова, помещавшегося под Пассажем. Я вышла в переднюю и спросила, что ему надо.

— Да вот объявление ваше вышло, так мне надо десяток экземпляров.

Я вынесла книги и с некоторым волнением сказала:

— Цена за десять экземпляров — тридцать пять рублей, уступка двадцать процентов, с вас следует двадцать восемь рублей.

— Что так мало? А нельзя ли тридцать процентов? — сказал посланный.

— Нельзя.

— Ну, хоть двадцать пять процентов?

— Право, нельзя,— сказала я, в душе сильно беспокоясь: а что, если он уйдет и я упущу первого покупателя?

— Если нельзя, так получите.— И он подал мне деньги.

Я была так довольна, что дала ему даже тридцать копеек на извозчика. Немного спустя пришел мальчик из книжного магазина для иногородних и купил десять экземпляров, тоже с двадцатью процентами уступки и тоже поторговавшись со мной. Присланный от книжного магазина Глазунова хотел взять двадцать пять экземпляров, если я уступлю двадцать пять процентов; ввиду значительного количества мне пришлось уступить. Приходило и еще несколько человек, все брали по десятку экземпляров, все торговались, но я больше двадцати процентов не уступала. Около двенадцати часов явился расфранченный приказчик знакомого Федору Михайловичу книгопродавца и объявил, что приехал взять на комиссию двести экземпляров. Ободренная успехом утренних продаж, я ответила, что на комиссию книг не даю, а продаю на наличные.

— Но как же, ведь Федор Михайлович обещал нам прислать на комиссию, я за ними и приехал.

Я сказала, что книгу издал мой муж, а заведую продажей я и что у меня такие-то и такие книгопродавцы купили на деньги.

— А нельзя ли мне повидать «самих» Федора Михайловича,— сказал приказчик, очевидно, рассчитывая на его уступчивость.

— Федор Михайлович работал ночью, и я разбудить его не могу раньше двух.

Приказчик предложил мне отпустить с ним двести экземпляров, а «деньги отдадим самому Федору Михайловичу».

Я и тут осталась тверда и, объяснив, сколько процентов и на какое количество я уступаю, высказала мысль, что нам книг доставлено всего пятьсот экземпляров и я рассчитываю их сегодня распродать. Приказчик помялся и ушел не солоно хлебавши, а через час явился от них же уже другой посланный, попроще, и купил пятьдесят экземпляров на наличные с тридцатью процентами уступки.

Мне страшно хотелось поделиться с Федором Михайловичем своею радостью, но приходилось ждать, пока он выйдет из своей комнаты.

К слову скажу, что в характере моего мужа была странная черта: вставая утром, он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров, которые его

иногда мучили, был до крайности молчалив и очень не любил, когда с ним в это время заговаривали. Поэтому у меня возникла привычка ничем по утрам его не тревожить (как бы ни были важны поводы), а выжидать, когда он выпьет в столовой две чашки страшно горячего кофе и пойдет в свой кабинет. Тогда я приходила к нему и сообщала все новости, приятные и неприятные. В это время Федор Михайлович приходил в самое благодушное настроение: всем интересовался, обо всем расспрашивал, звал детей, шутил и играл с ними. Так было и на этот раз: когда он беседовал с детьми, я отослала их в детскую, а сама села на своем обычном месте около письменного стола. Видя, что я молчу, Федор Михайлович, насмешливо на меня поглядывая, спросил:

— Ну, Анечка, как идет наша торговля?

— Превосходно идет,— ответила я ему в тон.

— И ты, пожалуй, одну книгу уже успела продать?

— Не одну, а сто пятнадцать книг продала.

— Неужели?! Ну, так поздравляю тебя! — продолжал насмешливо Федор Михайлович, полагая, что я шучу.

— Да я правду говорю,— подосадовала я,— что ж ты мне не веришь? — И я достала из кармана листок, на котором было записано количество проданных экземпляров, а вместе с листком пачку кредиток, всего около трехсот рублей. Так как Федор Михайлович знал, что дома у нас денег немного, то показанная мною сумма убедила его в том, что я не шучу. А с четырех часов пошли опять звонки: являлись новые покупатели, являлись и утренние за новым запасом. Издание, видимо, имело большой успех, и я торжествовала, как редко когда случалось. Конечно, я рада была и полученным деньгам, но главное тому, что нашла себе интересующее меня дело — издание сочинений моего дорогого мужа; была я довольна и тем, что так удачно осуществила предприятие, вопреки предостережениям моих литературных советчиков.

Федор Михайлович был тоже очень доволен, особенно когда я передала ему слова одного приказчика о том, что «публика давно уже спрашивает роман». Для Федора Михайловича всегда было чрезвычайно дорого сочувствие публики, так как она одна только

его и поддерживала своим вниманием и сочувствием во все время его литературной деятельности. Критика же (кроме Белинского, Добролюбова и Буренина) очень мало в те времена сделала для выяснения его таланта она или игнорировала его произведения, или враждебно к ним относилась[153]. Теперь, когда прошло со смерти Федора Михайловича более тридцати пяти лет, даже странно перечитывать критические отзывы о его произведениях, до того эти суждения были неглубоки, поверхностны, легковесны, но зато часто так глубоко враждебны.

Но торжество мое было полное, когда к нам приехал книгопродавец Кожанчиков и предложил купить сразу триста экземпляров на векселя на четырехмесячный срок. Уступку просил ту же, то есть тридцать процентов. Предложение Кожанчикова было заманчиво, так как он брал для провинции и, следовательно, не мешал нашей городской торговле. Смущало, что он брал на векселя, и Федор Михайлович пришел ко мне посоветоваться по этому поводу. Я тогда не имела понятия о купеческих векселях, а поэтому предложила мужу побеседовать с покупателем, пока я съезжу к типографщику, жившему неподалеку. К моей удаче, я застала одного из Пантелеевых, и он посоветовал не упускать такой солидной продажи; уверил, что векселя Кожанчикова можно учесть и что он согласен взять их в уплату за долг наш по типографии. С такими вестями вернулась я домой, и Кожанчиков (как опытный коммерсант, всегда имевший при себе вексельные бланки) тотчас написал нам три векселя на семьсот тридцать пять рублей, а Федор Михайлович выдал ему записку для получения книг из типографии.

Словом, наша издательская деятельность началась блистательно, и три тысячи экземпляров были распроданы до окончания года. Продажа остальных пятисот экземпляров затянулась на дальнейшие два-три года. В результате, за вычетом книгопродавческой уступки и за уплатою всех расходов, очистилось в нашу пользу более четырех тысяч, что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги.

Не скажу, чтоб на первый раз у нас не было потерь: два-три плута воспользовались моею издательскою

неопытностью; но потери научили нас быть осторожнее и не поддаваться на предложения, по-видимому, блестящие, но которые оказывались потом убыточными.

Название романа «Бесы» послужило для приходивших покупать книгу поводом называть ее выдававшей книги девушке различными именами: то называли ее «вражьей силой», иной говорил: «Я за «чертями» пришел», другой: «Отпустите мне десяточек «дьяволов». Старушка-няня, слыша часто эти названия романа, даже жаловалась мне и уверяла, что с тех пор, как у нас завелась на квартире «нечистая сила» («Бесы»), ее питомец (мой сын) стал беспокойнее днем и хуже спит по ночам.

На первых порах редактирования «Гражданина» Федора Михайловича очень заинтересовала и новизна его редакторских обязанностей, и та масса самых разнообразных типов, с которыми ему приходилось встречаться в редакции. Я тоже сначала радовалась перемене занятий мужа, полагая, что редактирование еженедельного журнала не может представлять особых трудностей и позволит Федору Михайловичу хоть несколько отдохнуть после почти трехлетней работы над романом «Бесы». Но мало-помалу мы с мужем стали понимать, что он сделал ошибку, решившись приняться за такую не подходящую его характеру деятельность. Федор Михайлович чрезвычайно добросовестно относился к своим редакторским обязанностям и не только сам прочитывал все присылавшиеся в журнал статьи, но некоторые, неумело написанные, вроде статей самого издателя *, исправлял, и на это у него уходило масса времени. У меня сохранилось два-три черновика стихотворений, неуклюже написанных, но в которых были видны блестки таланта, и какими изящными выходили эти стихотворения после исправления их Федором Михайловичем.

Но, помимо чтения и исправления чужих статей, Федора Михайловича одолевала переписка с авторами. Многие из них стояли за каждую свою фразу и, в случае сокращения или изменения, писали ему резкие, а иногда и дерзкие письма. Федор Михайлович не оставался в долгу и на резкое письмо недовольного

* Письмо ко мне от 29 июля 1873 г.[154]

сотрудника отвечал не менее резким, о чем назавтра же сожалел. Так как отправление писем обыкновенно поручалось мне, то, зная наверно, что раздражение мужа назавтра уляжется и он будет сожалеть, зачем погорячился, я не отправляла сразу данных мне мужем писем, и когда, на другой день, он выражал сожаление, зачем так резко ответил, оказывалось всегда, что «случайно» это письмо еще не отправлено, и Федор Михайлович отвечал уже в более спокойном настроении. В моем архиве сохраняется более десятка таких «горячих» писем, которые могли поссорить мужа с людьми, с которыми он ссориться вовсе не хотел, но под влиянием досады или раздражения не мог себя сдержать и высказал свое мнение, не щадя самолюбия своего корреспондента. Федор Михайлович всегда был благодарен мне за это «случайное» неотправление писем.

А сколько Федору Михайловичу приходилось вести личных переговоров. При редакции состоял секретарь, Виктор Феофилович Пуцыкович, но большинство авторов желало говорить с редактором, и происходили иногда крупные недоразумения. Федор Михайлович, всегда искренний в своих словах и поступках, прямо высказывал свое мнение, и сколько он этим нажил себе врагов в журналистике!

Кроме материальных неприятностей, Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению «Гражданина» или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилось в литературе масса врагов, именно как против редактора такого консервативного органа, как «Гражданин» [155]. Как это ни странно, но и в дальнейшем времени, и до, и после смерти Федора Михайловича, многие не могли простить ему его редакторства «Гражданина», и отголоски этого недружелюбия попадаются и теперь в печати.

На первых порах своей новой деятельности Федор Михайлович сделал промах,— именно, он поместил в «Гражданине» (в статье князя Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге») слова государя императора, обращенные к депутатам [156].

По условиям тогдашней цензуры, речи членов императорского дома, а тем более слова государя могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора. Муж не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду без участия присяжных. Суд состоялся 11 июня 1873 года в С.-Петербургском окружном суде *. Федор Михайлович явился лично на судоговорение, конечно, признал свою виновность и был приговорен к двадцати пяти рублям штрафа и к двум суткам ареста на гауптвахте [157]. Неизвестность, когда придется ему отсиживать назначенное ему наказание, очень беспокоила мужа, главным образом потому, что мешала ему ездить к нам в Руссу. По поводу своего ареста Федору Михайловичу пришлось познакомиться с тогдашним председателем С.-Петербургского окружного суда Анатолием Федоровичем Кони, который сделал все возможное, чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время. С этой поры между А. Ф. Кони и моим мужем начались самые дружеские отношения, продолжавшиеся до кончины [158].

Чтобы жить поближе к редакции «Гражданина», нам пришлось переменить квартиру и поселиться на Лиговке, на углу Гусева переулка, в доме Сливчанского. Выбор квартиры был очень неудачен: комнаты были небольшие и неудобно расположенные, но так как мы переехали среди зимы, то пришлось примириться со многими неудобствами. Одно из них было — беспокойный характер хозяина нашего дома. Это был старичок очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли и Федору Михайловичу и мне большие огорчения. О них говорил мой муж в своем письме ко мне от 19 августа [159].

Весною 1873 года я, по совету докторов, поехала с детьми в Старую Руссу, чтобы закрепить в них прошлогоднее лечение солеными ваннами, уже принесшими им значительную пользу. Поселились мы на этот раз не у о. Румянцева, дом которого был уже сдан, а в доме старого полковника, Александра Карловича Гриббе, состоявшего на службе в военных поселениях еще при Аракчееве.

* Членами суда были гр. Е. М. Борх, В. Н. Крестьянов, К. А. Бильбасов, прокурор Г. Зегер.

Разлука с семьей была мучительна для Федора Михайловича, он о нас тосковал и раза четыре за лето побывал в Руссе. Самому же ему пришлось, за отсутствием князя Мещерского, взять на себя все материальные заботы по журналу, а вследствие этого жаркие месяцы прожить в столице и вынести все неприятные стороны петербургского лета.

Все вышесказанные обстоятельства так удручающе действовали на нервы и вообще здоровье Федора Михайловича, что уже осенью 1873 года он стал тяготиться своим редакторством и мечтать, как опять он засядет за свой любимый, чисто художественный труд.

В 1873 году Федор Михайлович сделался членом Общества любителей духовного просвещения, а также членом С.-Петербургского Славянского благотворительного общества [160] и посещал собрания и заседания этих обществ. Знакомства наши расширились, и у нас стали бывать чаще друзья и знакомые мужа. Кроме Н. Н. Страхова, обедавшего у нас несколько лет сряду, по воскресеньям, и Ап. Н. Майкова, часто нас навещавшего, в эту зиму нас стал посещать Владимир Сергеевич Соловьев, тогда еще очень юный, только что окончивший свое образование [161].

Сначала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем, по приглашению его, пришел к нам. Впечатление он производил тогда очаровывающее, и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность. Один раз мой муж высказал Вл. Соловьеву причину, почему он так к нему привязан.

— Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека,— сказал ему Федор Михайлович,— некоего Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние [162]. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас.

— А он давно умер? — спросил Соловьев.

— Нет, всего года четыре тому назад.

— Так как же вы думаете, я до его смерти двадцать лет ходил без души? — спросил Владимир Сергеевич и страшно расхохотался. Вообще он был иногда

очень весел и заразительно смеялся. Но иногда, благодаря его рассеянности, с ним случались курьезные вещи: зная, например, что Федору Михайловичу более пятидесяти лет, Соловьев считал, что и мне, жене его, должно быть около того же. И вот однажды, когда мы разговаривали о романе Писемского «Люди сороковых годов», Соловьев, обращаясь к нам обоим, промолвил:

— Да, вам, как людям сороковых годов, может казаться... и т. д.

При его словах Федор Михайлович засмеялся и поддразнил меня:

— Слышишь, Аня, Владимир Сергеевич и тебя причисляет к людям сороковых годов!

— И нисколько не ошибается,— ответила я,— ведь я действительно принадлежу к сороковым годам, так как родилась в тысяча восемьсот сорок шестом году.

Соловьев был очень сконфужен своею ошибкою: он, кажется, тут только в первый раз посмотрел на меня и сообразил разницу лет между моим мужем и мною. Про лицо Вл. Соловьева Федор Михайлович говорил, что оно ему напоминает одну из любимых им картин Аннибала Карраччи «Голова молодого Христа».

К 1873 году относится знакомство Федора Михайловича с Юлией Денисовной Засецкой, дочерью партизана Дениса Давыдова. Она только что основала тогда первый в Петербурге ночлежный дом (по 2-й роте Измайловского полка) и чрез секретаря редакции «Гражданина» пригласила Федора Михайловича в назначенный день осмотреть устроенное ею убежище для бездомных. Ю. Д. Засецкая была редстокистка, и Федор Михайлович, по ее приглашению, несколько раз присутствовал при духовных беседах лорда Редстока[163] и других выдающихся проповедников этого учения.

Федор Михайлович очень ценил ум и необычайную доброту Ю. Д. Засецкой, часто ее навещал и с нею переписывался[164]. Она тоже бывала у нас, и я с нею сошлась, как с очень доброю и милою женщиною, выразившею ко мне при кончине моего мужа много участия в моем горе.

В 1873 году мы часто бывали у Кашпиревых: Василий Владимирович, глава семьи, издавал журнал «Зарю», а его жена, София Сергеевна, была редактором и издательницею детского журнала «Семейные вечера». Оба супруга были очень нам симпатичны, и Федор Михайлович любил посещать их. У них в 1873 году состоялся, в присутствии многих литераторов, интересный вечер, когда известный писатель А. Ф. Писемский читал свой не напечатанный еще роман «Мещане». Наружностью Писемский не производил выгодного впечатления: он показался мне толстым и неуклюжим, но читал он превосходно, талантливо оттеняя типы героев своего романа.

В 1873 году Федор Михайлович возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдер, центром которого была Елена Андреевна, дочь знаменитого архитектора[165]. Она была умна и литературно образованна и соединяла у себя по воскресеньям общество литераторов и художников. Она была всегда чрезвычайно добра к Федору Михайловичу и ко мне, и мы очень сошлись. Впрочем, в те годы мне редко случалось бывать в обществе, так как дети были малы и оставлять их на няньку было опасно.

Федор Михайлович всегда относился с большим сожалением к моему вынужденному обстоятельствами домоседству и зимою 1873 года настоял на том, чтобы я воспользовалась представившимся случаем и абонировалась на Итальянскую оперу, в которой блистали такие знаменитости, как Патти, Вольпини, Кальцолари, Scalchi, Эверарди и др. Мое место было в галерее, прямо против громадной люстры, и я видела лишь то, что происходило на правой стороне сцены, а иногда лишь одни ноги, и я иногда допрашивала мою соседку: «А кто это в ярко-желтых ботфортах или в розовых ботинках?» Но неудобное место не мешало мне наслаждаться очаровательными голосами артистов*. За детей я не беспокоилась, потому что Федор Михайлович в те вечера не уходил из дому и при каждом шорохе или плаче ребенка тотчас шел узнавать о том, не случилось ли чего дурного?

---

* Особенно запомнилась мне опера «Dinorah», в которой Патти «разливалась соловьем».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1874—1875 гг.

I

1874 ГОД. АРЕСТ. НЕКРАСОВ

Первые месяцы 1874 года были для нас неблагоприятны. Принужденный по делам «Гражданина» выезжать из дому во всякую погоду, а пред выпуском номера по целым часам просиживать в жарко натопленной корректорской, Федор Михайлович стал часто простужаться: небольшой кашель его обострился, появилась одышка, и профессор Кошлаков, к которому муж обратился, посоветовал ему лечиться сжатым воздухом. Кошлаков рекомендовал лечебницу доктора Симонова (помещалась на Гагаринской улице), где Федор Михайлович и просиживал два часа под колоколом по три раза в неделю. Лечение сжатым воздухом принесло мужу большую пользу, хотя отнимало от него массу времени, так как разбивало весь его день: приходилось рано вставать, спешить к назначенному часу, ожидать запоздавших пациентов, сидевших вместе с ним под колоколом, и пр. Это все неприятно действовало на настроение мужа.

Тяготило в то время Федора Михайловича и то, что, благодаря редакционной работе и нездоровью, ему все еще не удавалось отсидеть свой двухсуточный арест, к которому он был приговорен в прошлом году за статью в «Гражданине» *. Наконец муж уговорился с А. Ф. Кони, и арест был назначен во второй половине марта. 21-го числа, утром, явился к нам околодочный, Федор Михайлович его уже ожидал, и они поехали сначала в окружной суд. Я же через два часа должна была зайти в участок узнать, в каком именно учреждении муж будет помещен. Оказалось, его поместили на гауптвахте на Сенной (ныне городская лаборатория). Я тотчас отвезла туда небольшой чемодан и постельные принадлежности. Времена были простые, и меня тотчас к мужу пропустили. Федора Михайловича я нашла в добродушном настроении: он стал рас-

* См. с. 268.

спрашивать, не скучают ли по нем детки, просил дать им гостинцев и сказать, что он поехал в Москву за игрушками. Вечером, уложив детей спать, я не утерпела и опять поехала к мужу, но, за поздним временем, меня к нему не пропустили, и мне только удалось передать ему через сторожа свежие булки и письмо. Мне так было обидно, что не удалось с ним поговорить и его успокоить насчет детей, что я стала под окном гауптвахты (последнее от Спасского переулка) и увидела мужа, сидящего за столом и читающего книгу. Я стояла минут пять, тихонько постучала, и муж тотчас встал и посмотрел в окно. Увидев меня, он весело улыбнулся и стал кивать головой. Ко мне в эту минуту подошел часовой, и пришлось уйти. Я пошла к А. Н. Майкову (жившему вблизи, на Садовой) и просила его завтра навестить мужа. Он был так добр, что уведомил об аресте Вс. С. Соловьева, и тот тоже навестил мужа назавтра *. И на второй день я побывала у мужа два раза (вечером опять у окна, и на этот раз он меня поджидал), а на третий день часов в двенадцать мы с детишками радостно встретили вернувшегося «из Москвы» папу. Он по дороге заехал в магазин и купил детям игрушек. Вернулся из-под ареста Федор Михайлович очень веселый и говорил, что превосходно провел два дня. Его сожитель по камере, какой-то ремесленник, целыми часами спал днем, и мужу удалось без помехи перечитать «Les Misérables» Виктора Гюго — произведение, которое он высоко ценил.

— Вот и хорошо, что меня засадили,— весело говорил он,— а то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения?

В начале 1874 года Федор Михайлович решил окончательно оставить редактирование «Гражданина» (последний номер, подписанный его именем, вышел <15 апреля>) [167].

Федора Михайловича вновь потянуло к чисто художественной работе. Новые идеи и типы зародились в мозгу его, и он чувствовал потребность воплотить их в новом произведении. Заботил, конечно, вопрос, куда поместить роман [168] на тот случай, если у «Русского

* Воспоминания Вс. С. Соловьева.— «Исторический вестник», 1881. Апрель.[166]

вестника» будет уже приобретен материал для следующего года. Да и вообще для мужа всегда было тягостно самому предлагать свой труд. Но случилось одно обстоятельство, которое счастливо разрешило беспокоивший нас вопрос.

В одно апрельское утро, часов в двенадцать, девушка подала мне визитную карточку, на которой было напечатано: «Николай Алексеевич Некрасов». Зная, что Федор Михайлович уже оделся и скоро выйдет, я велела просить посетителя в гостиную, а карточку передала мужу. Минут через пять Федор Михайлович, извинившись за промедление, пригласил гостя в свой кабинет.

Меня страшно заинтересовал приход Некрасова, бывшего друга юности, а затем литературного врага. Я помнила, что в «Современнике» Федора Михайловича бранили еще в шестидесятых годах, когда издавались «Время» и «Эпоха», да и за последние годы не раз прорывались в журнале недоброжелательные выпады со стороны Михайловского, Скабичевского, Елисеева и др.[169]. Я знала также, что, по возвращении из-за границы, Федор Михайлович еще нигде не встречался с Некрасовым, так что посещение его должно было иметь известное значение. Любопытство мое было так велико, что я не выдержала и стала за дверью, которая вела из кабинета в столовую. К большой моей радости, я услышала, что Некрасов приглашает мужа в сотрудники, просит дать для «Отечественных записок» роман на следующий год и предлагает цену по двести пятьдесят рублей с листа, тогда как Федор Михайлович до сих пор получал по ста пятидесяти.

Некрасов, видя нашу очень скромную обстановку, вероятно, думал, что Федор Михайлович будет чрезвычайно рад такому увеличению гонорара и тотчас даст свое согласие. Но Федор Михайлович, поблагодарив за предложение, сказал:

— Я не могу дать вам, Николай Алексеевич, положительного ответа по двум причинам: во-первых, я должен списаться с «Русским вестником» и спросить, нуждаются ли они в моем произведении? Если у них на будущий год материал имеется, то я свободен и могу обещать вам роман. Я давнишний сотрудник «Русского вестника», Катков всегда с добрым вниманием отно-

сился к моим просьбам, и будет неделикатно с моей стороны уйти от них, не предложив им своего труда. Это может быть выяснено в одну-две недели. Считаю нужным предупредить вас, Николай Алексеевич, что я всегда беру аванс под мою работу, и аванс в две-три тысячи.

Некрасов изъявил на это полное свое согласие.

— А второй вопрос,— продолжал Федор Михайлович,— это — как отнесется к вашему предложению моя жена. Она дома, и я ее сейчас спрошу.

И муж пошел ко мне.

Тут произошел курьезный случай. Когда Федор Михайлович пришел ко мне, я торопливо сказала ему:

— Ну, зачем спрашивать? Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно.

— На что соглашаться? — с удивлением спросил муж.

— Ах, боже мой! Да на предложение Некрасова.

— А ты как знаешь о его предложении?

— Да я слышала весь разговор, я стояла за дверью.

— Так ты подслушивала? Ну, как тебе, Анечка, не стыдно? — горестно воскликнул Федор Михайлович.

— Ничего не стыдно! Ведь ты не имеешь от меня тайн и все равно непременно сказал бы мне. Ну, что за важность, что я подслушала, ведь не чужие дела, а наши общие.

Федору Михайловичу оставалось только развести руками при такой моей логике.

Федор Михайлович, вернувшись в кабинет, сказал:

— Я переговорил с женой, и она очень довольна, что мой роман появится в «Отечественных записках».

Некрасов, по-видимому, был несколько обижен, что в таком деле понадобилось мое согласие, и сказал:

— Вот уж никак не мог я предположить, что вы находитесь «под башмачком» вашей супруги.

— Чему тут удивляться? — возразил Федор Михайлович.— Мы с нею живем очень дружно, я предоставил ей все мои дела и верю ее уму и деловитости. Как же мне не спросить у нее совета в таком важном для нас обоих вопросе?

— Ну, да, конечно, я понимаю...— сказал Некрасов и перевел разговор на другой предмет. Посидев еще

минут двадцать, Некрасов ушел, дружелюбно простившись с мужем и прося его уведомить, как только получит ответ от «Русского вестника».

Чтобы скорее выяснить вопрос о романе, Федор Михайлович решил не списываться с «Русским вестником», а самому съездить в Москву и поехал туда в конце апреля. Катков, выслушав о предложении Некрасова, согласился назначить ту же цену, но когда Федор Михайлович просил дать ему аванс в две тысячи, то Катков сказал, что им только что затрачены большие деньги на приобретение одного произведения (романа «Анна Каренина») и редакция затрудняется в средствах. Таким образом, вопрос о романе был решен в пользу Некрасова.

II

1874 ГОД. ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Прожив май вместе с семьею в Старой Руссе, Федор Михайлович 4 июня уехал в Петербург, с тем чтобы по совету проф. Д. И. Кошлакова поехать для лечения в Эмс. В Петербурге князь В. П. Мещерский и какой-то его родственник стали убеждать мужа поехать не в Эмс, а в Соден. Такой же совет дал мужу и всегда лечивший его доктор Я. Б. фон Бретцель. Эти настойчивые советы настолько смутили Федора Михайловича, что он решил в Берлине попросить совета у тамошней медицинской знаменитости проф. Фрёриха. Приехав в Берлин, он и побывал у профессора. Тот продержал его две минуты и только дотронулся стетоскопом до груди, а затем подал ему адрес эмского доктора Гутентага, к которому и предложил обратиться. Федор Михайлович, привыкший к внимательному осмотру русских врачей, остался очень недоволен небрежностью немецкой знаменитости.

Федор Михайлович приехал в Берлин 9 июня, и так как все банкирские дома были заперты, то отправился в Королевский музеум смотреть Каульбаха, о работах которого так много говорили и писали. Произведения художника Федору Михайловичу не понравились: он нашел в них «одну холодную аллегорию» *. Но другие

* Письмо ко мне от 25/13 июня 1874 г.[170]

картины музеума, особенно старинных мастеров, произвели на мужа отличное впечатление, и он выражал сожаление о том, что в наш первый приезд в Берлин мы не осмотрели вместе эти художественные сокровища.

В Берлине Федору Михайловичу пришлось ходить по магазинам, чтобы купить, по просьбе хозяйки нашей дачи, для нее черную кашемировую шаль, вроде той, какую муж мой купил для меня в Дрездене. Федор Михайлович удачно справился со взятым на себя поручением и купил отличную шаль и сравнительно за недорогую цену. К слову скажу, что муж мой понимал толк в вещах, и все его покупки были безукоризненны.

Дорогой из Берлина Федор Михайлович был в полном восхищении от прелестных картин природы. Он писал мне: «Все, что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самом очаровательном в мире; холмы, горы, замки, города, как Марбург, Лимбург с прелестными башнями, в изумительном сочетании гор и долин — ничего еще я не видал в этом роде, и так мы ехали до самого Эмса в жаркое, сияющее от солнца утро» *. С восторгом описывает Федор Михайлович и красоты Эмса, который в дальнейшем (вследствие тоски и одиночества) всегда производил на него угнетающее впечатление.

Остановившись в гостинице, Федор Михайлович в день приезда пошел к доктору Орту, к которому имел письмо от доктора Я. Б. фон Бретцеля. Орт очень внимательно осмотрел мужа, нашел, что у него временный катар, но заявил, что болезнь довольно важная, потому что чем больше она будет развиваться, тем будет меньше способности дышать. Предписал пить воды и обещал после четырехнедельного лечения верное выздоровление.

В тот же день мужу, после долгих поисков, удалось найти себе две комнаты во втором этаже в Haus Blucher № 7, за плату по двенадцать талеров в неделю. Кроме того, хозяйка за утренний кофе, обед, чай и небольшой ужин согласилась брать по полтора талера в день.

Федор Михайлович, описывая, как проводит время, пишет, что «читал только Пушкина и упивался востор-

---

* Там же.[171]

гом; каждый день нахожу что-нибудь новое». В этом же письме (от 28/16 июня) муж сообщает: «Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил императора Вильгельма: высокого роста, важного вида старик. Здесь все встают (и дамы), снимают шляпы и кланяются; он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой. Наш царь, напротив, всем здесь кланяется, и немцы очень это ценят. Мне рассказывали, что и немцы и русские (особенно дамы высшего нашего света) так и норовили, чтобы как-нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть» [172].

Прошла какая-нибудь неделя, как Федор Михайлович уже затосковал по семье, с которой ему до сих пор приходилось расставаться лишь на короткое время, причем имелась возможность к ней приехать в каком-нибудь экстренном случае. Тоска Федора Михайловича увеличивалась и вследствие того, что письма мои отсылались несвоевременно и приходили значительно позже, чем их ожидал мой муж. Зная, что он будет беспокоиться, я сама относила письма на почту и каждый раз просила почтмейстера немедленно их отправлять. Приносила им показать письма мужа с жалобами на медлительность старорусского почтамта, умоляла не задерживать нашу корреспонденцию, но все было напрасно: ее оставляли в Руссе на два-три дня, и только весною 1875 года мы узнали, отчего подобная задержка происходит [173].

После трех недель житья в Haus Blucher, где хозяйка его очень обсчитывала и думала перевести его в верхний этаж, Федор Михайлович переселился в Hotel Ville d'Alger № 4—5. На этой квартире ему жилось очень хорошо, так как комнаты были выше и имелся балкон, который оставался открытым до позднего вечера.

В Эмсе у Федора Михайловича было несколько знакомых из русских, которые были ему симпатичны. Так, он встретился с Кублицким, А. А. Штакеншнейдером, г-м X. и с княжною Шаликовой, с которой он встречался у Каткова. Эта милая и добрая старушка очень помогла Федору Михайловичу переносить тоску одиночества своим веселым и ясным обращением. Я была глубоко ей за это признательна. Тоска мужа усиливалась оттого, что он, привыкший ежедневно делать боль-

шие прогулки (два раза), лишен был этого удовольствия. Гулять в небольшом парке курзала, среди толпы и толкотни, было немыслимо, а подниматься в гору не позволяло состояние здоровья. Беспокоили его тоже мысли о том, как нам придется жить этой зимой. Довольно большой аванс, который мы получили от Некрасова, был уже истрачен: частью на уплату неотложных долгов, частью на заграничную поездку мужа. Просить вперед, не доставив хоть части романа, было немыслимо. Все эти обстоятельства, вместе взятые, влияли на мужа, нервы его расшатались (возможно, что также и от питья вод), и он слыл в публике «желчным» русским, читающим всем наставления *. Очень утешали мужа мои письма и рассказы о детях, их шалостях и их словечках. «Твои анекдоты о детишках, милая моя Аня (писал он от 21/9 июля), меня просто обновляют, точно я у вас побывал». В том же письме Федор Михайлович упоминает о пробеле в воспитании наших деток: «у них нет *своих* знакомств, то есть подруг и товарищей, то есть таких же маленьких детей, как и они». Действительно, в числе наших знакомых было мало таких, у которых имелись детки равного с нашими детьми возраста, и только летом детки находили себе друзей среди членов семьи о. Иоанна Румянцева.

Проектируя весною поездку Федора Михайловича за границу, мы с мужем предполагали, что, окончив курс лечения, он поживет где-нибудь в виде Nachkur **, а если достанет денег, то заглянет и в Париж. Мне и пришло на мысль послать мужу пятьдесят рублей на покупку в Париже черной шелковой материи себе на парадное платье, которое было необходимо в некоторых случаях жизни. Присылкою денег я удивила мужа, и, под влиянием припадка, он даже сделал мне выговор, не так поняв, или, вернее, объяснив мои слова. Тем не менее мысль об исполнении моего желания не покидала его, и муж, проезжая чрез Берлин, обошел много магазинов и привез мне чудесного шелкового драпу. Хоть он и предъявил свою покупку на таможне, но там не обратили внимания на его заявление, а усердно пе-

---

* Письмо ко мне от 21/9 июля 1874 г.[174]

** Дополнительный курс лечения (*нем.*).

ресмотрели все имевшиеся при нем книги и записные книжки, ожидая найти что-нибудь запрещенное.

На поездку в Париж у Федора Михайловича денег не хватило, но он не мог отказать себе в искреннем желании побывать еще раз в жизни на могилке нашей старшей дочери Сони, память о которой он сохранял в своем сердце. Он проехал в Женеву, побывал два раза на детском кладбище «Plain Palais» и привез мне с могилки Сони несколько веток кипариса, успевшего за шесть лет разрастись над памятником девочки.

Около десятого августа Федор Михайлович, пробыв два-три дня в Петербурге, вернулся в Руссу.

III

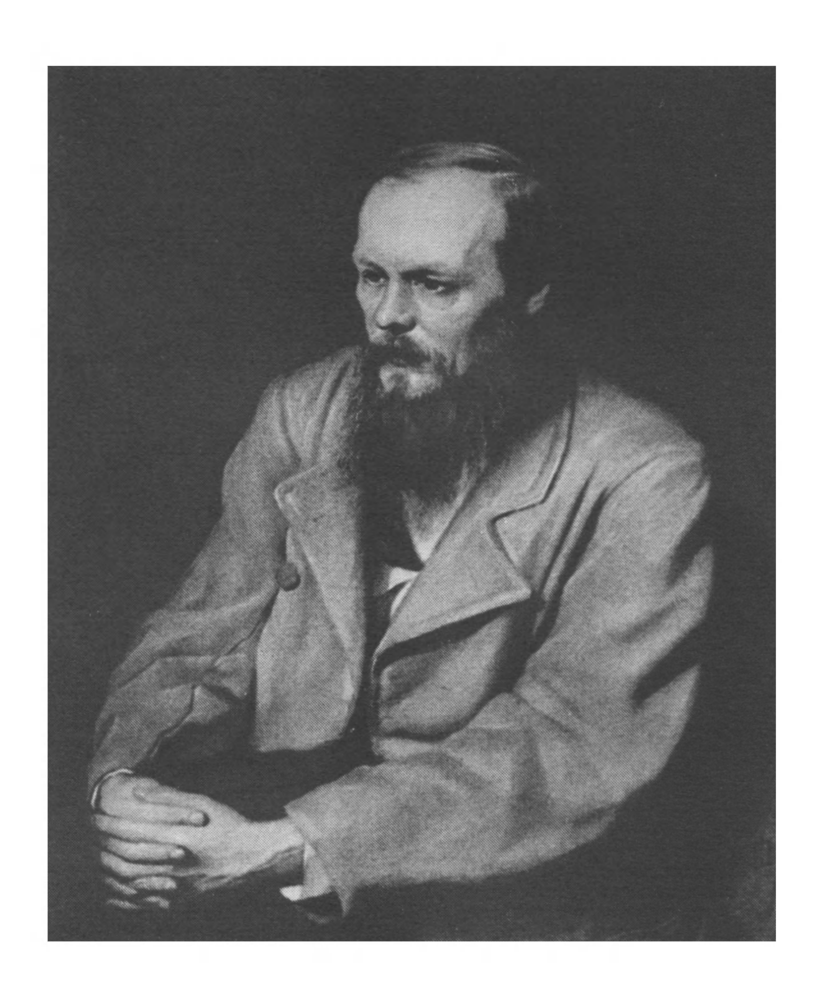
1874—1875 гг. ЛЕТО И ЗИМА В СТАРОЙ РУССЕ

В своих летних письмах 1874 года ко мне из Эмса Федор Михайлович несколько раз возвращается к угнетавшей его мысли о том тяжелом времени, которое предстояло нам пережить в ближайшем будущем *. Положение действительно было таково, что могло заставить задуматься нас, которым и всегда-то не легко жилось в материальном отношении.

Я уже упоминала, что в апреле приезжал к нам Н. А. Некрасов просить Федора Михайловича поместить его будущий роман в «Отечественных записках» на 1875 год. Муж мой был очень рад возобновлению дружеских отношений с Некрасовым, талант которого высоко ставил; были мы оба довольны и тем обстоятельством, что Некрасов предложил цену на сто рублей выше, чем получал муж в «Русском вестнике».

Но в этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона: «Отечественные записки» были журналом противоположного лагеря и еще так недавно, во время редактирования мужем журналов «Время» и «Эпоха», вели с ним ожесточенную борьбу [176]. В составе редакции находилось несколько литературных врагов Федора Михайловича: Михайловский, Скабичевский, Елисеев, отчасти Плещеев [177], и они могли потребовать от мужа изменений в романе в духе их направления. Но Федор Михайлович ни в коем случае не

* Письма ко мне от 24 июня, 14 июля и др.[175]



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

Портрет маслом работы В. Перова. 1872 г.



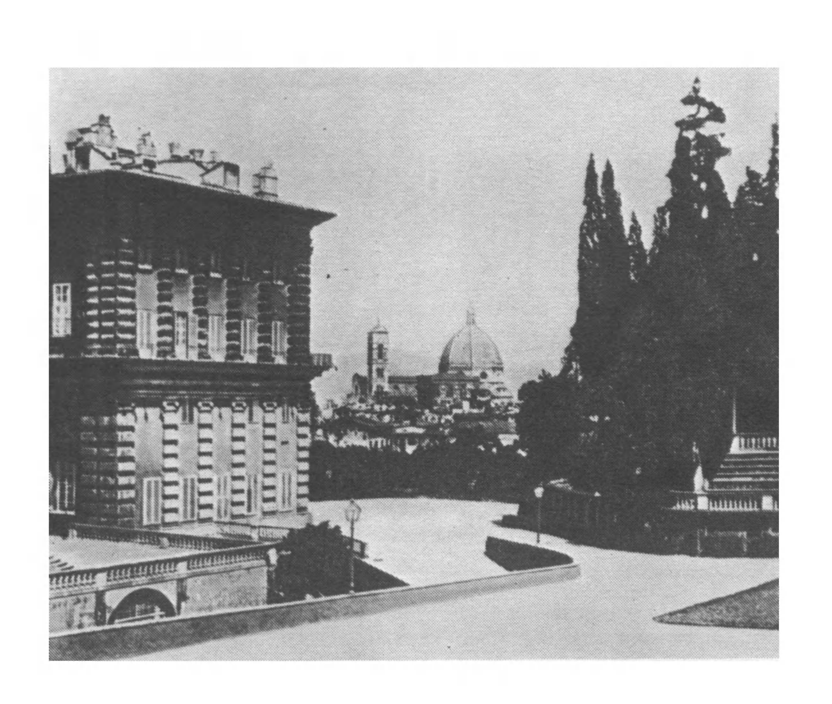
А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ.
Фотография. 1860-е годы.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.
Рис. художника К. А. Трутовского.
1847 г.





ДОМ В ВЕВЕ, ГДЕ ЖИЛИ ДОСТОЕВСКИЕ В 1868 г.



ФЛОРЕНЦИЯ. САД БОБОЛИ.



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ.
Фотография. 1871 г.



МИЛАНСКИЙ СОБОР.



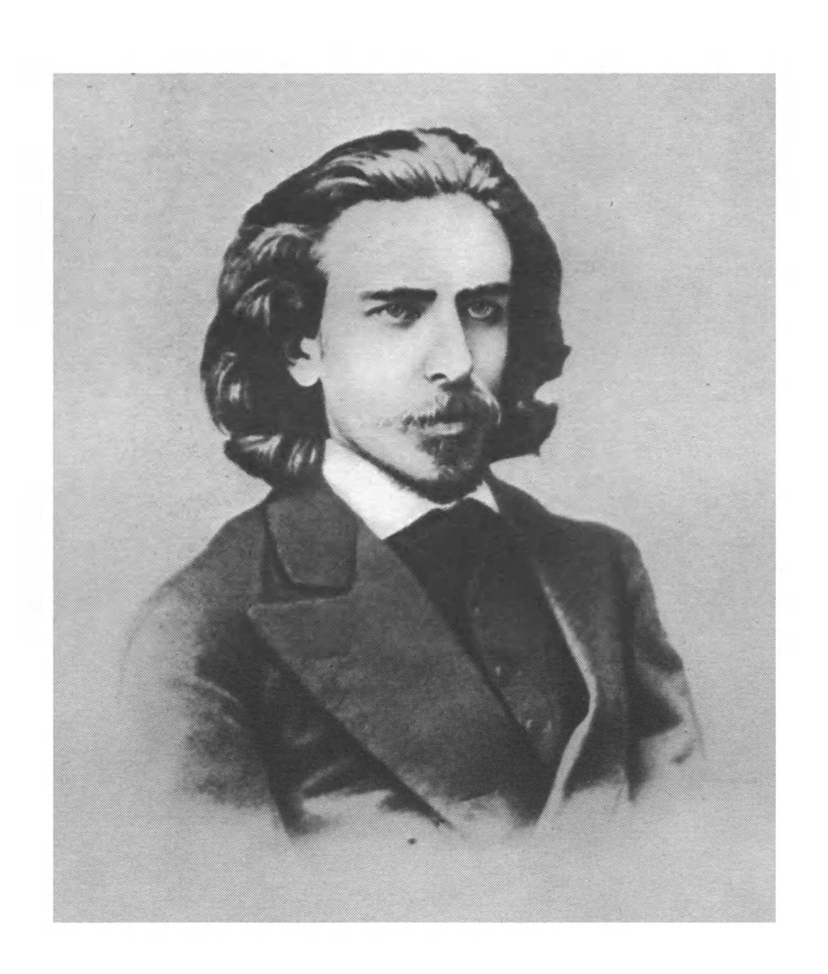
С. А. ИВАНОВА-ХМЫРОВА.
1870-е годы.

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ.
Фотография. 1880-е годы.





Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.
Фотография начала 1860-х годов.



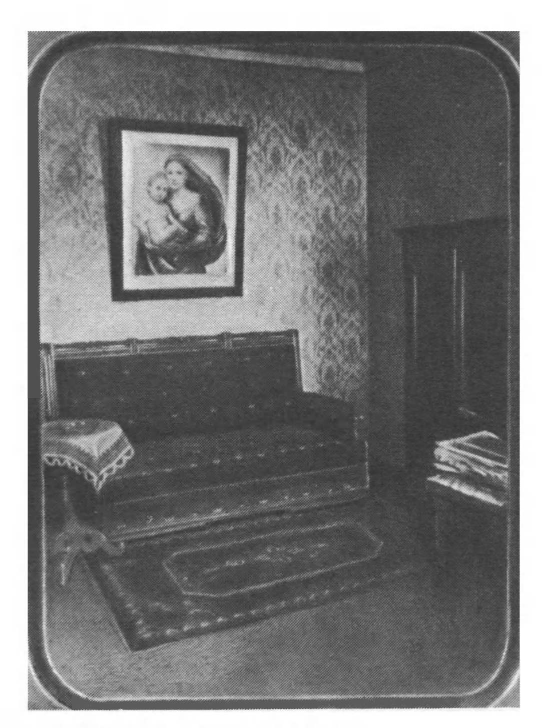
ВЛ. СОЛОВЬЕВ.



ДОМ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СТАРОЙ РУССЕ.
1880-е годы.



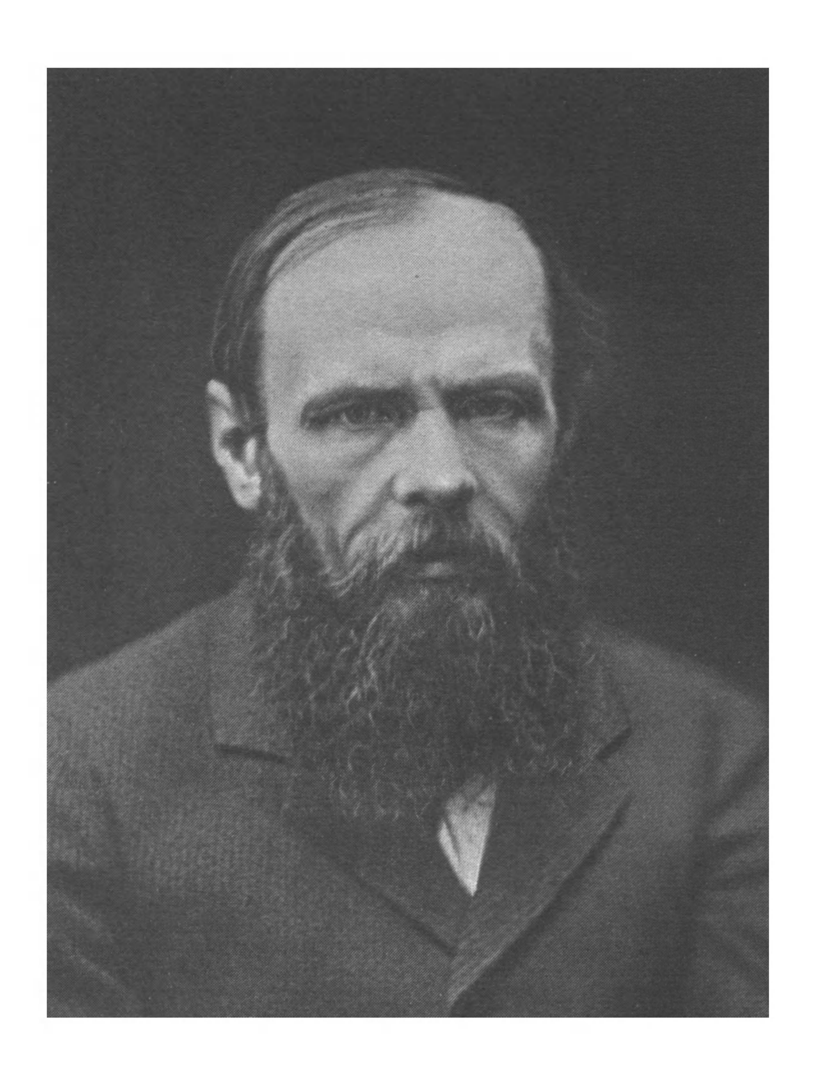
А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ.
Фотография. 1878 г.



КАБИНЕТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО,
В КОТОРОМ ОН СКОНЧАЛСЯ.



ДОМ В ПЕТЕРБУРГЕ,
ГДЕ УМЕР Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.



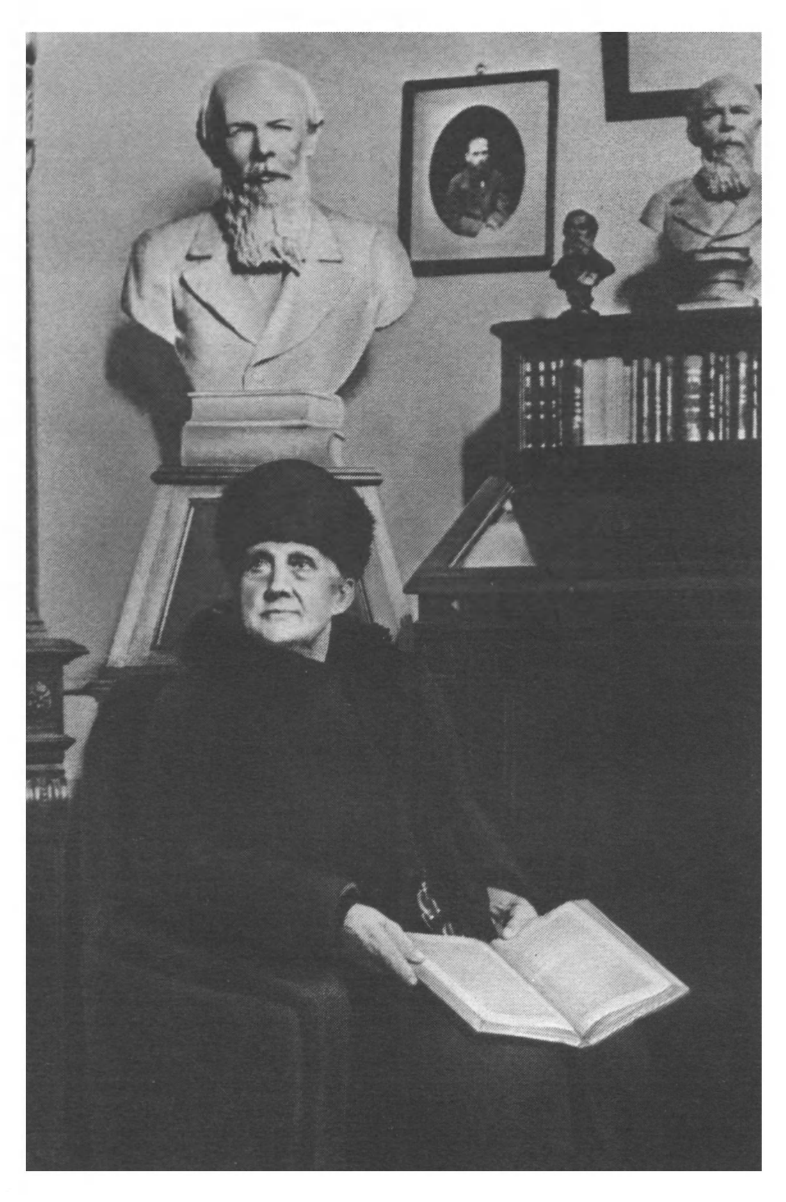
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.
Фотография 1880 г. работы М. М. Панова.



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ С ДОЧЕРЬЮ ЛЮБОВЬЮ ФЕДОРОВНОЙ И СЫНОМ ФЕДОРОМ ФЕДОРОВИЧЕМ.
С фотографии 1880-х годов.



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ.
Фотография 1912 г.



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ В КОМНАТЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ПРИ МОСКОВСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ.
Фотография. 1916 г.

могі поступиться своими коренными убеждениями. Отечественные же записки, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений мужа, и вот при первом сколько-нибудь серьезном разногласии Федор Михайлович, несомненно, потребовал бы свой роман обратно, какие бы ни произошли от этого для нас печальные последствия. В письме от 20 декабря 1874 года, беспокоясь теми же думами, он пишет мне: «Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления... Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки» [178].

Что бы мы стали делать в случае размолвки с «Отечественными записками» — мысль эта чрезвычайно беспокоила нас обоих. Не говорю уже о том, что пришлось бы тотчас же вернуть взятые авансом деньги, а они были уже частью прожиты, и уплатить немедленно представило бы для нас чрезвычайную трудность. Кроме того, являлась мысль — на какие средства мы стали бы жить до того времени, пока Федору Михайловичу удалось бы пристроить свой роман? Ведь «Русский вестник» был единственный тогда журнал, в котором мой муж, по своим убеждениям, мог работать [179].

Придумывая разные исходы ввиду предвидимой неудачи, я остановилась на мысли (насколько возможно) уменьшить расходы на содержание нашей семьи. Как скромно мы ни жили, но, кроме уплаты тяготевших над нами долгов и процентов, мы тратили в год не менее трех тысяч рублей, так как одна наша (всегда скромная) квартира стоила семьсот — восемьсот рублей, а с дровами и всю тысячу. Вот мне и пришло в голову остаться зимовать в Руссе, тем более, что мы с мужем твердо решили и будущею весною вновь приехать в Руссу ввиду той пользы, которую тамошние купанья принесли нашим деткам. Таким образом, переезжать в столицу приходилось всего лишь на восемь-девять месяцев, из которых месяца полтора-два, наверно, ушли бы на приискивание квартиры, устройство, а весною на приготовления к отъезду. Все это время было бы потеряно для работы, а Федор Михайлович чрезвычайно дорожил возможностью скорее окончить роман, чтобы приступить к исполнению своей заветной мечты — изданию своего независимого органа—«Дневника писателя».

Не говоря уже о дешевизне квартир в Старой Руссе, жизненные припасы были втрое дешевле петербургских; сокращались и другие расходы, неизбежные в столице.

Кроме материальных расчетов, для меня лично очень соблазнительна была возможность прожить целую зиму тою же спокойною, мирною и столь милою нам семейной жизнью, какою мы всегда жили летом и о которой всегда с добрым чувством вспоминали зимой. В Петербурге по зимам Федор Михайлович мало принадлежал семье: ему приходилось часто бывать в обществе, в заседаниях Славянского благотворительного общества, где он с 1872 года был членом [180]. Приходилось много принимать у себя. Все это отнимало Федора Михайловича от меня и детей, с которыми ему приходилось проводить меньше времени, а детки наши и общение с ними составляло для моего мужа высшее счастье. Оставаясь на зиму в Старой Руссе, мы разом избавлялись от многого, что портило нашу счастливую семейную жизнь.

Остановившись на мысли перезимовать в Руссе, я принялась искать квартиру. На даче Гриббе оставаться зимою было невозможно по многим причинам. Но в Руссе большую квартиру найти было нетрудно: дачи, отдающиеся за триста — четыреста рублей в сезон, зимой пустуют, и их отдают за пятнадцать — двадцать в месяц. Но без Федора Михайловича я решиться не могла: проездом через Петербург он мог найти подходящую квартиру, и тогда о зимовке в Руссе нечего было бы и думать.

Федор Михайлович вернулся в Руссу в конце июля; в Петербурге он пробыл два-три дня, но квартиры не нашел, да и не старался искать, так как очень соскучился по семье и спешил домой.

Несколько дней спустя по приезде зашел у нас разговор о зимней квартире и о том, когда нам из Руссы придется уехать. Тогда я, в виде предложения, сказала:

— Ну, а если бы нам остаться на зиму в Руссе?

Мое предложение встретило горячий протест со стороны Федора Михайловича. Повод отказа был неожиданный, но очень для меня лестный. Муж стал говорить, что я соскучусь в Руссе, живя такою уединенною, как летом, жизнью.

— Ты и в прошлые зимы,— говорил он,— нигде не бывала и не пользовалась никакими удовольствиями; в эту зиму, бог даст, работа хорошо пойдет, и денег будет больше: сошьешь себе нарядов, будешь посещать общество. Я это твердо решил. В Руссе же ты совсем захиреешь!

Я стала убеждать Федора Михайловича, что зима предстоит нам рабочая, надо продолжать и закончить «Подросток», а потому ни о каких нарядах и увеселениях мне не придется и помышлять.

— Да и не нужны они мне вовсе, а для меня милее и дороже та спокойная, тихая, семейная, не смущаемая разными неожиданностями жизнь, которую мы здесь ведем.

Говорила, что боюсь только, как бы он в Руссе не соскучился, не имея для себя подходящего общества. Но этому горю можно было помочь — съездив раза два-три в зиму в Петербург и повидав тех друзей и знакомых, которые для него дороги и интересны. Такие поездки ему одному не будут стоить дорого, а между тем дадут ему возможность обновить впечатления и не отстать от своих литературных и художественных интересов. Я представила мужу на вид все те удобства, материальные и иные, нашей зимовки в Руссе. И самого моего мужа прельстила нарисованная мною картина мирной семейной жизни, при которой он мог вполне отдаться своему творчеству. Федор Михайлович, однако, сомневался в том, удастся ли приискать поместительную и теплую квартиру; тогда я предложила мужу сегодня же, на прогулке, зайти посмотреть на днях освободившуюся дачу адмирала Леонтьева, которую всегда сдавали и зимой. Осмотр этой дачи решил вопрос окончательно: Федору Михайловичу чрезвычайно понравилась квартира в нижнем этаже дачи Леонтьева на оживленной Ильинской улице. Это — большой двухэтажный дом *, отдававшийся внаем (верх и низ) за восемьсот рублей в сезон. Облюбованная нами квартира состояла из шести господских комнат. Главное, что понравилось мужу, это — что его комнаты (спальня и кабинет) отделялись от нашей половины большой комнатой в четыре окна. Благодаря

* Существует и поныне в том виде.

этому беготня и шум детей не достигали Федора Михайловича и не мешали ему работать и спать; да и детки не были стеснены (о чем всегда особенно заботился муж) и могли кричать и шуметь сколько душе угодно.

Мы тут же сговорились с госпожой, управлявшей домом, и наняли квартиру по 15 мая будущего года, за плату по пятнадцати рублей в месяц. Чтобы не терять времени для работы, мы решили тотчас же переехать и устроиться на зимнее житье.

Эта зима 1874/75 года, проведенная в Старой Руссе, составляет одно из прекраснейших моих воспоминаний. Дети были вполне здоровы, и за всю зиму ни разу не пришлось пригласить к ним доктора, чего не случалось, когда мы жили в столице. Федор Михайлович тоже чувствовал себя хорошо: результаты эмского лечения оказались благоприятными: кашель уменьшился, дыхание стало значительно глубже. Благодаря спокойной, размеренной жизни и отсутствию всех неприятных неожиданностей (столь частых в Петербурге) нервы мужа окрепли, и припадки эпилепсии происходили реже и были менее сильные. А как следствие этого, Федор Михайлович редко сердился и раздражался и был всегда почти добродушен, разговорчив и весел. Недуг, сведший его через шесть лет в могилу, еще не развился, муж не страдал одышкой, а потому позволял себе бегать и играть с детьми. Я, мои дети и наши старорусские друзья отлично помнят, как, бывало, вечером, играя с детьми, Федор Михайлович, под звуки органчика*, танцевал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Муж мой особенно любил мазурку и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухарски, с воодушевлением, как «завзятый поляк», и он был очень доволен, когда я раз высказала такое мое мнение.

Наша повседневная жизнь в Старой Руссе была вся распределена по часам, и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее одиннадцати часов. Выходя пить кофе, он звал детей, и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в это утро, и про все, виденное ими на прогулке. А Федор Михайлович, глядя на них, радо-

* Федор Михайлович сам купил его для детей, а теперь им забавляются и его внуки.

вался и поддерживал с ними самый оживленный разговор. Я ни прежде, ни потом не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в миросозерцание детей и так их заинтересовать своею беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком.

После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Федором Михайловичем была для меня всегда наслаждением, и про себя я очень гордилась, что помогаю ему и что я первая из читателей слышу его произведение из уст автора.

Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи. Но если он был недоволен своею работою или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу зараз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.

IV
НАШИ ДИКТОВКИ

Кстати, скажу несколько слов о наших диктовках.

Федор Михайлович всегда работал ночью, когда в доме наступала полная тишина и ничто не нарушало течение его мыслей. Диктовал же он днем, от двух до трех, и эти часы вспоминаются мною, как одни из счастливых в моей жизни. Слышать новое произведение из уст самого, столь любимого мною писателя, с теми оттенками, которые он придавал словам своих героев, было для меня счастливым уделом. Закончив диктовку, муж всегда обращался ко мне со словами:

— Ну, что ты скажешь, Анечка?

— Скажу, что прекрасно! — говорила я. Но это мое «прекрасно» для Федора Михайловича значило, что, может быть, продиктованная сцена и удалась ему, но не произвела на меня особенного впечатления. А моим непосредственным впечатлениям муж придавал большую цену. Как-то так всегда случалось, что страницы романа, производившие на меня трогательное или угнетающее впечатление, действовали подобным же образом на большинство публики, в чем муж убеждался из разговоров с читателями и из суждений критики.

Я хотела быть искренней и не высказывала похвал или восхищения, когда его не чувствовала. Этою моею

искренностью муж очень дорожил. Не скрывала я и своих впечатлений. Помню, как смеялась я при чтении разговоров г-жи Хохлаковой или генерала в «Идиоте» и как подтрунивала над мужем по поводу речи прокурора в «Братьях Карамазовых».

— Ах, как жаль, что ты не прокурор! Ведь ты самого невинного упрятал бы в Сибирь своею речью.

— Так, по-твоему, речь прокурора удалась? — спросил Федор Михайлович.

— Чрезвычайно удалась,— подтвердила я,— но все же я жалею, что ты не пошел по судейской части! Был бы ты теперь генералом, а я по тебе генеральшей, а не отставной подпоручицей.

Когда Федор Михайлович продиктовал речь Фетюковича и обратился ко мне со всегдашним вопросом, я, помню, сказала:

— А теперь скажу, зачем ты, дорогой мой, не пошел в адвокаты?! Ведь ты самого настоящего преступника обелил бы чище снега. Право, это твое манкированное призвание! А Фетюкович удался тебе на славу!

Но иной раз мне приходилось и плакать. Помню, когда муж диктовал мне сцену возвращения Алеши с мальчиками после похорон Илюшечки, я так была растрогана, что одною рукою писала, а другою вытирала слезы. Федор Михайлович заметил мое волнение, подошел ко мне и, не сказав ни слова, поцеловал меня в голову.

Федор Михайлович вообще меня идеализировал и приписывал мне более глубокое понимание его произведений, чем, я думаю, это было на самом деле. Так, он был убежден, что я понимаю философскую сторону его романов. Помню, после диктовки одной главы из «Братьев Карамазовых», я на всегдашний его вопрос ответила:

— Знаешь, а ведь я, в сущности, мало что поняла в продиктованном (шла речь о Великом Инквизиторе). Думаю, чтоб понимать, надо иметь философское, иное, чем у меня, развитие.

— Постой,— сказал муж,— я тебе расскажу яснее.

И он передал мне в более определенных для меня выражениях.

— Ну, теперь ясно? — спросил муж.

— И теперь неясно. Заставь меня повторить, и я не сумею этого сделать.

— Нет, ты поняла, заключаю это из тех вопросов, которые ты мне задавала. А если не можешь изложить, так это только неуменье, недостаток формы.

Скажу кстати: чем дальше шла для меня жизнь с ее иногда печальными осложнениями, тем шире открывались для меня рамки произведений моего мужа и тем глубже я начинала их понимать.

Из нашей старорусской жизни припоминаю, что раз как-то Федор Михайлович прочитал мне только что написанную главу романа о том, как девушка повесилась («Подросток», часть первая, глава девятая) *. Окончив чтение, муж взглянул на меня и вскрикнул:

— Аня, что с тобой, голубчик, ты побледнела, ты устала, тебе дурно?

— Это ты меня напугал! — ответила я.

— Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею! Как я жалею!

V

Возвращаюсь к 1874 году. Окончив диктовку и позавтракав со мною, Федор Михайлович читал (в ту зиму) «Странствования инока Парфения» [182] или писал письма и во всякую погоду, в половине четвертого, выходил на прогулку по тихим пустынным улицам Руссы. Почти всегда он заходил в лавку Плотниковых ** и покупал только что привезенное из Петербурга (закуски, гостинцы), хотя все в небольшом количестве. В магазине его знали и почитали и, не смущаясь тем, что он покупает полуфунтиками и менее, спешили показать ему, если появлялась какая новинка.

В пять часов садились обедать вместе с детьми, и тут муж был всегда в прекрасном настроении. Первым делом подносилась рюмка водки старухе Прохоровне, нянюшке нашего сына ***. «Нянюшка — водоч-

* Эта глава произвела громадное впечатление на Некрасова, о чем муж сообщает мне в письме от 9 февраля 1875 г.[181]

** Она описана в романе «Братья Карамазовы» в виде магазина, где Митя Карамазов закупал гостинцы, отправляясь в Мокрое.

*** Федор Михайлович очень дорожил Прохоровной за ее горячую любовь к нашему мальчику. О ней муж часто упоминал

ки!» — приглашал Федор Михайлович. Она выпивала и закусывала хлебом с солью. Обед проходил весело, дети болтали без умолку, а мы никогда не разговаривали за обедом о чем-нибудь серьезном, выше понимания детей. После обеда и кофе муж еще с полчаса и более оставался с детьми, рассказывая им сказки или читая им басни Крылова.

В семь часов вечера мы с Федором Михайловичем отправлялись вдвоем на вечернюю прогулку и неизменно заходили на обратном пути в почтовое отделение *, где к тому времени успевали разобрать петербургскую почту.

Корреспонденция у Федора Михайловича была значительная, и потому мы иногда с интересом спешили домой, чтобы приняться за чтение писем и газет.

В девять часов детей наших укладывали спать, и Федор Михайлович непременно приходил к ним «благословить на сон грядущий» и прочитать вместе с ними «Отче наш», «Богородицу» и свою любимую молитву: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под покровом Твоим!»

К десяти часам во всем доме наступала тишина, так как все домашние, по провинциальному обычаю, рано ложились спать. Федор Михайлович уходил в свой кабинет читать газеты; я же, утомленная дневной сутолокой и детским шумом, рада была посидеть в тишине, усаживалась в своей комнате и принималась раскладывать пасьянсы, которых знала до дюжины.

С сердечным умилением вспоминаю я, как муж каждый вечер по многу раз заходил ко мне, чтобы сообщить вычитанное из последних газет или просто поболтать со мною, и всегда начинал помогать мне закончить пасьянс. Он уверял, что у меня потому не сходятся пасьянсы, что я пропускаю хорошие шансы,

---

в письмах ко мне и выставил ее в романе «Братья Карамазовы» в виде старушки, подавшей за упокой души живого сына, от которого не получала известий. Федор Михайлович отсоветовал ей делать это и напророчил скорое получение письма, что действительно и случилось.

* В те времена железная дорога доходила только до Новгорода; оттуда почту везли 80 верст (чрез озеро — 40) на лошадях, так что чрез почтальонов мы получали газеты только на следующий день, а если заходили сами, то получали газеты от дня выхода.

и, к моему удивлению, всегда находил нужные, но не замеченные мною карты. Пасьянсы были мудреные, и мне редко удавалось торжествовать без помощи мужа*. Когда било одиннадцать часов, муж появлялся в дверях моей комнаты, и это означало, что и мне пора идти спать. Я только просила позволить мне еще один разочек, муж соглашался, и мы вместе раскладывали пасьянс. Я уходила к себе, все в доме спали, и только мой муж бодрствовал за работой до трех-четырех часов ночи.

Первая половина нашей зимовки в Старой Руссе (с сентября по март) прошла вполне благополучно, и я не запомню другого времени, когда бы мы с Федором Михайловичем пользовались таким безмятежным покоем. Правда, жизнь была однообразна: один день так походил на другой, что все они слились в моих воспоминаниях, и я не могу припомнить каких-либо происшествий за это время. Помню, впрочем, один трагикомический эпизод в самом начале зимы, нарушивший на несколько дней наше спокойствие. Дело было вот в чем: я прослышала, что торговцы в рядах получили с Нижегородской ярмарки партию нагольных полушубков для взрослых и детей, и как-то сказала об этом мужу. Он очень заинтересовался, сказал, что сам когда-то ходил в нагольном тулупчике, и захотел купить такой же для нашего Феди. Отправились в лавки, и нам показали с десяток полушубков, один другого лучше. Мы выбрали несколько и просили прислать нам на дом для примерки. Один из них светло-желтый, с очень нарядной вышивкой на груди и полах, чрезвычайно понравился Федору Михайловичу и пришелся как раз по фигуре нашего сына. В высокой кучерской шапке, одетый в тулуп и подпоясанный красным кушаком, наш толстый, румяный мальчик выглядел совершенным красавцем. Заказали и девочке нарядное пальтецо, и муж каждый день осматривал детей пред их прогулкой и любовался ими.

---

* Кстати о картах: в том обществе (преимущественно литературном), где вращался Федор Михайлович, не было обыкновения играть в карты. За всю нашу 14-летнюю совместную жизнь муж всего один раз играл в преферанс у моих родственников и, несмотря на то, что не брал в руки карт более 10 лет, играл превосходно и даже обыграл партнеров на несколько рублей, чем был очень сконфужен.

Но нашему любованию скоро пришел конец: в один злосчастный день я заметила на передней поле светло-желтого тулупчика громадные сальные пятна, причем сало на коже лежало слоями. Мы все пришли в недоумение, так как мальчик на прогулке не мог запачкаться салом. Но истина скоро открылась: у нашей старухи-кухарки каждый день с угра сидел на кухне ее полуслепой муж. Позавтракав, он загрязнил руки и, не найдя под рукой полотенца, вытер жирные пальцы о тулупчик, развешенный в кухне для просушки. Пытались мы разными средствами вывести из кожи сало, но после каждой новой чистки пятна становились заметнее, и красивый тулупчик был совершенно испорчен. Я была страшно раздосадована порчею вещи, заменить которую не представлялось возможности, и досадовала на кухарку, не сумевшую присмотреть на кухне, и сгоряча чуть не прогнала ее с места, вместе с ее неловким мужем, но за них вступился Федор Михайлович и образумил меня. Но, конечно, это маленькое неудовольствие скоро забылось.

Так как оба наши издания, романы «Бесы» и «Идиот», имели большой успех, то мы, оставшись на зиму в Руссе, решили издать и «Записки из Мертвого дома», которые давно были распроданы и часто спрашивались книгопродавцами. Корректуры высылались нам в Руссу, но ко дню выпуска книги в свет мне необходимо было приехать в столицу, для того чтоб продать некоторое количество экземпляров (что мне и удалось сделать), раздать книги на комиссию, свести счеты с типографией и пр. Хотелось, кроме того, повидать родных и друзей и закупиться к рождественским праздникам игрушками и сластями для елки, которую мы хотели устроить как для своих, так и для детей священника о. Румянцева, так расположенного к нашей семье. Я уехала 17 декабря и вернулась 23-го. При возвращении чрез замерзшее озеро Ильмень я натерпелась большого страха: несколько троек, выехавших вместе, сбились на озере с дороги, поднялась снежная буря, и мы рисковали всю ночь пробыть на жестком ветру; к счастью, ямщики отпустили поводья, и умные животные, побродив в разные стороны, в конце концов вывезли нас на проторенную дорогу.

VI
1874 ГОД. ЗИМА

В Старой Руссе в те времена, и зимой и летом, случались частые пожары, от которых выгорали целые улицы. Большею частью они происходили по ночам (где-нибудь в пекарне или в бане). Федор Михайлович, припоминая незадолго перед тем выгоревший дотла Оренбург, очень тревожился, если начинался пожар и принимались звонить на соборной колокольне, а в случае если пожар разгорался, то и на колокольнях вблизи его расположенных церквей. Федора Михайловича особенно беспокоило то, что он знал, до чего я, в обычное время столь бодрая и ничего не боящаяся, «терялась» при какой-нибудь внезапности и начинала совершать нелепые поступки. Поэтому у нас раз навсегда, во время пребывания в Руссе, было условлено будить друг друга, как только услышим набат. Обыкновенно, заслышав звон, Федор Михайлович тихо тряс меня за плечо и говорил: «Проснись, Аня, не пугайся, где-то пожар. Не волнуйся, пожалуйста, а я пойду посмотреть, где горит!»

Я тотчас вставала, одевала спящим детям чулочки и башмачки и приготовляла им верхнюю одежду, чтоб не простудить, если придется их вынести. Затем я вынимала большие простыни, в одну из них складывала (возможно тщательнее) всю одежду мужа, его записные книжки и рукописи. В другие складывала все находившееся в шкафу и комоде — мое платье и детские вещи. Сделав это, я успокаивалась, зная, что главнейшее будет спасено. Сначала я все узлы выносила в переднюю, поближе к выходу, но с того раза, как Федор Михайлович, возвращаясь с разведки, споткнулся в темноте на узлы и чуть не упал, стала оставлять их в комнатах. Федор Михайлович не раз потешался надо мной, говоря, что «пожар за три версты, а я уже собралась спасать вещи». Но, видя, что меня в этом не разубедишь и что подобные сборы меня успокаивают, предоставил мне при каждом набате «укладываться», требуя, однако, чтобы все его вещи, по миновению мнимой опасности, были немедленно водворены на своих местах.

Помню, как весною 1875 года мы переезжали с зимней нашей квартиры в доме Леонтьева опять на дачу Гриббе, сторож нашего дома, прощаясь, сказал:

— Пуще всего мне жаль, что уезжает ваш барин.

— Почему так? — спросила я, зная, что муж не имел с ним сношений.

— Да как же, барыня: чуть где ночью пожар и зазвонят в соборе, барин уже тут как тут: стучится в сторожку: вставай, дескать, где-то пожар! Так про меня даже пристав говорит: во всем городе нет никого исправнее, как сторож генерала Леонтьева, чуть зазвонят, а уж он у ворот. А теперь как я буду? Как же мне барина не жалеть?

Придя домой, я передала мужу похвалу дворника. Он рассмеялся и сказал:

— Ну, вот видишь, у меня есть достоинства, о которых я и сам не подозреваю.

Жизнь наша пошла обычным порядком, и работа над романом продолжалась довольно успешно. Это было для нас очень важно, так как при поездке в Петербург Федор Михайлович виделся с профессором Д. И. Кошлаковым, и тот, ввиду благоприятных результатов прошлогоднего курса вод, настойчиво советовал ему, чтобы закрепить лечение, вновь поехать весною в Эмс.

В апреле 1875 года пришлось хлопотать о заграничном паспорте. В Петербурге это не представляло затруднений; живя же в Руссе, муж должен был получить паспорт от новгородского губернатора. Чтобы узнать, какое прошение муж должен послать в Новгород, сколько денег и пр., я пошла к старорусскому исправнику. В то время исправником был полковник Готский, довольно легкомысленный, как говорили, человек, любивший разъезжать по соседним помещикам. Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объемистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула ее и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе: «Дело об отставном подпоручике Федоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой

Руссе»[183]. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась.

— Как? Так мы находимся под вашим просвещенным надзором, и вам, вероятно, известно все, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала!

— Да, я знаю все, что делается в вашей семье,— сказал с важностью исправник,— и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен.

— Могу я передать моему мужу вашу похвалу? — насмешливо говорила я.

— Да, прошу вас передать, что он ведет себя прекрасно и что я рассчитываю, что и впредь он не доставит мне хлопот.

Придя домой, я передала Федору Михайловичу слова исправника, смеясь при мысли, что такой человек, как мой муж, мог быть поручен надзору глуповатого полицейского. Но Федор Михайлович принял принесенное мною известие с тяжелым чувством:

— Кого, кого они не пропустили мимо глаз из людей злонамеренных,— сказал он,— а подозревают и наблюдают за мною, человеком, всем сердцем и помыслами преданным и царю и отечеству. Это обидно!

Благодаря болтливости исправника обнаружилось обстоятельство, чрезвычайно нам досаждавшее, но причину которого мы не могли уяснить, именно отчего письма, отправляемые мною из Старой Руссы в Эмс, никогда не отсылались Федору Михайловичу в тот день, когда были доставлены мною на почту, а почему-то задерживались почтамтом на день или на два. То же самое было и с письмами из Эмса в Руссу. А между тем неполучение мужем вовремя писем от меня не только доставляло ему большие беспокойства, но и доводило его до приступов эпилепсии, что видно, например, из письма его ко мне от 28/16 июля 1874 года[184]. Теперь выяснилось, что письма наши перлюстрировались, и отправка их зависела от усмотрения исправника, который нередко на два-три дня уезжал в уезд.

Это перлюстрирование тем или другим начальством моей переписки с мужем (а возможно, что и всей его корреспонденции) продолжалось и в дальнейшие годы и причиняло моему мужу и мне много сердечных беспокойств, но избавиться от такого неудобства было невозможно. Сам Федор Михайлович не возбуждал

вопроса об освобождении его из-под надзора полиции, тем более, что компетентные лица уверяли, что раз ему дозволено быть редактором и издателем журнала «Дневник писателя», то нет сомнения, что секретный надзор за его деятельностью снят. Но, однако, он продолжался до 1880 года, когда, во время пушкинского празднества, Федору Михайловичу пришлось говорить об этом с каким-то высокопоставленным лицом, по распоряжению которого секретный надзор и был снят [185].

VII

1875 ГОД. ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ, ЭМС

В начале февраля Федору Михайловичу пришлось поехать в Петербург и провести там две недели. Главною целью поездки была необходимость повидаться с Некрасовым и условиться о сроках дальнейшего печатания романа. Необходимо было также попросить совета у профессора Кошлакова, так как муж намерен был и в этом году поехать в Эмс, чтобы закрепить столь удачное прошлогоднее лечение.

На другой день по приезде в столицу с мужем произошло досадное происшествие, заставившее его тревожиться: его вызвали к участковому приставу. Так как он не мог подняться к назначенному часу (к девяти), то поехал к нему днем, никого не застал и должен был вторично ехать вечером. Оказалось, что мужа вызывали по поводу того, что у него был временный паспорт, а от него требовали представления подлинного вида, которого у него не было. Федор Михайлович доказывал помощнику пристава, что он живет по временному виду с 1859 года, получает на основании его заграничные паспорта, и никто никогда не требовал от него другого вида. Приведу его письмо от 7 февраля 1875 года. «Помощник пристава стал тоже спорить: не дадим вам паспорт, да и только; мы должны наблюдать законы.— Да что же мне делать? — Дайте постоянный вид.— Да где же я его теперь возьму? — Это не наше дело.— Ну, и в этом роде. Но дурь, однако же, в этом народе; это все только, чтоб перед «писателем» шику задать. Я и говорю, наконец: в Петербурге

20 000 беспаспортных, а вы всем известного человека, как бродягу, задерживаете.— Это мы знаем-с, слишком знаем, что вы всей России известный человек, но нам закон. Впрочем, зачем вам беспокоиться? Мы вам завтра иль послезавтра вместо вашего паспорта выдадим свидетельство, так не все ли вам равно? — Э, черт, так зачем же вы давно не говорили, а спорили»[186]. Кончилось тем, что паспорт мужа задержали до его отъезда и вернули, не заменив новым, а доставив мужу несколько ненужных волнений.

С чувством сердечного удовлетворения сообщал мне муж в письмах шестого[187] и девятого февраля о дружеской встрече с Некрасовым и о том, что тот пришел выразить *свой восторг* по прочтении конца первой части «Подростка». «Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе». «И какая, батюшка, у вас свежесть». (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой.) «Такой свежести в наши лета уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше». Сцену самоубийства и рассказ он находит «верхом совершенства». И вообрази, ему нравятся тоже первые две главы. «Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава,— тут много происшествий чисто внешних»,— и что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понравилась мне самому эта восьмая глава, и я много из нее выбросил»[188].

Вернувшись в Руссу, муж передавал мне многое из разговоров с Некрасовым, и я убедилась, как дорого для его сердца было возобновление задушевных сношений с другом юности. Менее приятное впечатление оставили в Федоре Михайловиче тогдашние встречи его с некоторыми лицами литературного круга[189]. Вообще две недели в столице прошли для мужа в большой суете и усталости, и он был донельзя рад, когда добрался до своей семьи и нашел всех нас здоровыми и благополучными.

В конце мая Федору Михайловичу опять пришлось поехать на несколько дней в Петербург, а оттуда за границу. На этот раз он ехал в Эмс с большою неохотою, и мне стоило многих усилий уговорить его не про-

пустить лето без лечения. Нежелание его происходило оттого, что он оставлял меня не вполне здоровою (я была в «интересном положении»), и помимо обычной тоски по семье муж испытывал большое беспокойство на мой счет.

И был такой случай (уже в конце лечения мужа), который грозил мне большой бедой: 23 июня я получила из Петербурга письмо, в котором меня уведомляли, что в «С. Петербургских ведомостях» появилось известие о тяжкой болезни Федора Михайловича. Не поверив письму, я побежала в читальню Минеральных вод, разыскала вчерашние газеты и в номере 159-м указанной газеты нашла в хронике следующую заметку:

«Мы слышали, что наш известный писатель Ф. М. Достоевский серьезно захворал».

Можно себе представить, как подействовало на меня подобное известие. Мне пришло в голову, что, вероятно, с Федором Михайловичем случился двойной припадок эпилепсии, всегда так угнетающе на него действующий. Но мог быть и нервный удар или что-либо иное ужасное. В полном отчаянии поехала я на почту подать мужу телеграмму, а вернувшись домой, в ожидании ответа, стала приготовляться к отъезду, решившись оставить детей на попечение батюшки и матушки Румянцевых. Хозяева пробовали меня уговаривать не ехать к мужу, но я не могла допустить и мысли, что мой дорогой муж тяжко болен и может умереть, а меня около него не будет. По счастию, к шести часам был получен успокоительный ответ. Я с ужасом вспоминаю, что могло бы произойти в случае моей поездки в моем «положении» и при том сердечном беспокойстве, в котором я находилась по поводу мужа и детей. Поистине, господь спас от беды!

Так мне и не удалось узнать, кем именно было сообщено в газеты это неосновательное известие, заставившее и мужа, и меня провести несколько мучительных часов.

Но, кроме чрезвычайного беспокойства о детях и обо мне, Федора Михайловича мучила мысль о том, что работа не двигается и что он не может доставить продолжение «Подростка» к назначенному сроку. В письме от 13 июня Федор Михайлович пишет: «Пуще всего меня мучает неуспех работы: до сих пор сижу,

мучаюсь и сомневаюсь и нет сил начать. Нет, не так надо писать художественные произведения, не на заказ из-под палки, а имея время и волю. Но, кажется, наконец скоро сяду за настоящую работу, но что выйдет, не знаю. В этой тоске могу испортить самую «идею» [190].

Очень беспокоил Федора Михайловича и вопрос о найме зимней квартиры. Хоть нам и отлично жилось в Руссе, но оставаться в ней на вторую зиму было затруднительно, особенно ввиду того, что в начале следующего (1876) года Федор Михайлович предполагал предпринять давно задуманный им журнал «Дневник писателя». Вопрос заключался в том, искать ли квартиру Федору Михайловичу во время проезда чрез Петербург или же приехать всей семьей в столицу и, остановившись в гостинице, найти себе помещение? И то и другое решение вопроса имело свои неудобства, и я склонялась к мысли самой приехать в Петербург ко времени возвращения мужа и вместе с ним искать квартиру. Против последнего решения муж решительно протестовал, принимая в соображение тогдашнее состояние моего здоровья. Порешили, что Федор Михайлович останется два-три дня в Петербурге и, если ему не посчастливится найти в этот срок удобную квартиру, то он уедет в Руссу.

1875 ГОД. МЫШОНОК

За время нашего житья в Старой Руссе настроение Федора Михайловича было всегда добродушное и веселое, о чем свидетельствует, например, его шутка надо мной.

Как-то раз под весну 1875 года Федор Михайлович вышел утром из своей спальни чрезвычайно нахмуренный. Я обеспокоилась и спросила его о здоровье.

— Совершенно здоров,— ответил Федор Михайлович,— но случилась досадная история: у меня в постели оказался мышонок. Я проснулся, почувствовав, что что-то пробежало по ноге, откинул одеяло и увидел мышонка. Так было противно! — с брезгливою гримасой говорил Федор Михайлович.— Надо бы поискать в постели! — добавил он.

— Да, непременно же,— ответила я.

Федор Михайлович пошел в столовую пить кофе, а я позвала горничную и кухарку, и общими силами принялись осматривать постель: сняли одеяло, простыни, подушки, сменили белье и, ничего не найдя, стали отодвигать столы и этажерки от стен, чтобы найти мышиную норку.

Заслышав поднятую нами возню, Федор Михайлович сначала окликнул меня, но так как я не отозвалась, то послал за мной кого-то из детей. Я ответила, что приду, как только окончу уборку комнаты. Тогда Федор Михайлович уже настоятельно велел просить меня в столовую. Я тотчас пришла.

— Ну, что, нашли мышонка? — по-прежнему брезгливо спросил меня Федор Михайлович.

— Где его найдешь, убежал. Но страннее всего, что в спальне не оказалось никакой лазейки, очевидно, забежал из передней.

— Первое апреля, Анечка, первое апреля! — ответил мне Федор Михайлович, и милая, веселая улыбка разлилась по его доброму лицу. Оказалось, что муж вспомнил, что первого апреля принято обманывать, и захотел надо мной подшутить, а я как раз и поверила, совершенно забыв, какое у нас было число. Конечно, смеху было много, мы принялись «первым апрелем» обманывать друг друга, в чем деятельное участие приняли и наши «детишки», как обычно называл их мой муж.

VIII

1875 ГОД. РОЖДЕНИЕ ЛЕШИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

Федор Михайлович вернулся из Эмса в Петербург 6 июля, остался в городе два-три дня, но так как в такое короткое время трудно было отыскать удобную квартиру, то он, осмотрев несколько квартир, бросил поиски и поехал в Руссу. Уж очень его тянуло домой, к семье. Поразмыслив, мы порешили остаться в Руссе до наступления ожидаемого прибавления семейства, тем более, что и старики-хозяева, очень полюбившие наших детей, уговаривали не увозить их среди лета.

Федор Михайлович с особенным удовольствием согласился остаться, так как это давало ему возмож-

ность спокойно поработать над своим романом до и после предстоявшей мне болезни, не отказываясь от моего сотрудничества. Работать же предстояло усиленно, чтоб иметь право, по приезде в Петербург, попросить у Некрасова денег за «Подросток». А деньги нам чрезвычайно были нужны для начала нашей столичной жизни.

Все шло благополучно. Федор Михайлович чувствовал себя поправившимся, дети подросли и поздоровели, да и у меня с возвращением мужа почти совсем исчезли мои всегдашние пред родами страхи о возможности смерти. В такой безмятежной жизни прошел месяц, и 10 августа бог даровал нам сына, которого мы назвали Алексеем *. Оба мы с Федором Михайловичем были донельзя счастливы и рады появлению (да еще малоболезненному) на свет божий нашего Алеши. Благодаря этому, я довольно скоро вернула силы и опять могла помогать мужу стенографией.

Весь август простояла хорошая погода, а в сентябре наступило так называемое «бабье лето», на диво теплое и тихое. Однако около 15 числа мы, боясь перемены погоды, решили уехать. Путь предстоял нам трудный, так как пароходы, из-за мелководья реки Полисти, не доходили до города, а останавливались на озере Ильмень, против деревни Устрики, в восемнадцати верстах от Руссы. В одно прелестное теплое утро мы выехали из дому длинной вереницей: в первой кибитке Федор Михайлович с двумя детками; во второй — я с новорожденным и его няней; в третьей — на горе сундуков, мешков, узлов восседала кухарка. Мы весело ехали под звон бубенчиков, и Федор Михайлович то и дело останавливал лошадей, чтобы узнать, все ли у меня благополучно, и похвалиться тем, как ему с детьми весело.

Часа через два с половиной мы достигли Устрики, но тут нам встретилось обстоятельство, на которое мы не рассчитывали. Пароход приходил вчера; забрав массу пассажиров, капитан решил, что сегодня их будет мало, а потому обещал прийти только завтра. Делать было нечего, приходилось остаться здесь на

* Имя св. Алексия — Человека божия было особенно почитаемо Федором Михайловичем, отчего и было дано новорожденному, хотя этого имени не было в нашем родстве.

сутки. Из двух-трех домов выбежали хозяйки с приглашением у них переночевать. Мы выбрали дом почище и перебрались в него всей семьей. Я тотчас же спросила хозяйку, сколько она возьмет за ночлег. Хозяйка добродушно ответила: «Будьте спокойны, барыня, лишнего не возьмем, а вы нас не обидите».

Комната оказалась средней величины с широчайшей постелью, поперек которой можно было уложить детей; я решила спать на сдвинутых табуретках, а Федор Михайлович на старинном диване, своим фасоном напоминавшем ему детство. Девушек обещали пристроить на сеновале.

Так как мы ехали по-помещичьи, со съестными припасами, то кухарка тотчас же принялась готовить обед, мы же все пошли гулять и, разостлав пледы, расположились на горе, в виду озера. Даже новорожденного вынесли, и он спал на вольном воздухе. День прошел необыкновенно приятно: Федор Михайлович был очень весел, шалил с детьми и даже бегал с ними вдогонку. Я же была довольна, что мы успели благополучно сделать часть нашего длинного пути. Пообедали, и так как скоро темнело, то все рано легли спать.

Наутро, часов в восемь, нам сказали, что вдали показался дымок парохода и через час-полтора он подойдет к Устрики. Принялись укладываться, одевать детей по-дорожному, а я пошла расплачиваться. Хозяйка куда-то скрылась, а вместо нее явился получать по счету ее сын, судя по распухшему лицу, человек пристрастный к водочке. На счете, безобразно написанном, стояло четырнадцать рублей с копейками: из них два рубля за курицу, два — за молоко и десять за ночлег. Я страшно рассердилась и стала оспаривать счет, но хозяйский сын не уступал и грозил, в случае неуплаты всех денег, задержать наши чемоданы. Конечно, пришлось заплатить, но я не удержалась и назвала его «грабителем».

Пароход между тем приближался и остановился в полуверсте от берега, так что к нему надо было доехать на лодке. Но когда мы спустились к самому берегу, то оказалось, что лодки стоят в десяти шагах от берега и к ним простой народ, сняв обувь, идет по воде. Нас же на своих спинах перенесли в лодку дюжие

бабы. Можно представить, сколько страху и беспокойства за детей испытали мы с мужем. Его перенесли первого, и он принимал пищавших и кричавших от страха детей. Последнюю перенесли меня и затем новорожденного. Сидя в лодке, я с ужасом представляла себе, как-то мы с такими малышами поднимемся по трапу на пароход. Но, к счастью, все обошлось благополучно: капитан выслал нам навстречу матроса, который и перенес всех деток. К тому времени подъехали и наши вещи, привезенные на отдельной лодке хозяйским сыном.

День был восхитительный, озеро Ильмень казалось бирюзового цвета и напомнило нам швейцарские озера. Качки не было ни малейшей, и мы все четыре часа переезда просидели на палубе.

Около трех часов доехали до Новгорода. Федор Михайлович и я с детьми поехали прямо на вокзал железной дороги, а наш багаж взялись доставить ломовые извозчики, вместе с багажом прочих пассажиров. Через час багаж привезли, и я, не доверяя прислуге, сама сходила его проверить: у нас было два больших кожаных чемодана, черный и желтый, и несколько саквояжей, и я успокоилась, видя, что все на месте.

День прошел довольно быстро, и часов в семь ко мне подошел сторож и сказал, что лучше бы заранее взять билеты и сдать наш багаж, пока не набралось публики. Я согласилась, купила билеты и, вернувшись, указала сторожу на два чемодана и два больших саквояжа, которые надо сдать в багаж. Вдруг, к моему чрезвычайному удивлению, сторож сказал мне, указывая на черный чемодан: «Барыня, это не ваш чемодан, мне его давеча дал на сохранение другой пассажир».

— Как не мой? Быть не может! — вскричала я и бросилась осматривать чемодан. Увы — хоть он был совершенно такой же формы и размера, как наш (тоже, должно быть, купленный в Гостином дворе рублей за десять), но он, вне всякого сомнения, принадлежал другому лицу, и даже на верхней его крышке стояли какие-то полуистершиеся инициалы.

— Боже, но где же в таком случае наш чемодан? Ищите его,— говорила я сторожу, но тот отвечал, что другого черного чемодана тут не было. Я пришла в совершенное отчаяние: в пропавшем чемодане находи-

лись вещи, принадлежавшие исключительно Федору Михайловичу, его верхнее платье, белье, и что всего важнее — рукописи романа «Подросток», которые муж завтра же должен был отвезти в «Отечественные записки» и получить в счет гонорара столь необходимые нам деньги. Следовательно, не только пропал труд последних двух месяцев, но и возобновить рукопись было невозможно, так как исчезли находившиеся в чемодане записные книги Федора Михайловича, а без них он был вполне беспомощен, и ему пришлось бы вновь составлять план романа. Размер случившегося несчастия разом представился моему воображению. Вне себя от горя, вбежала я в общую залу, где находился с детьми Федор Михайлович. Увидев мое расстроенное лицо, муж испугался, не случилось ли чего с новорожденным, который находился у няни в дамской комнате. Едва находя слова, я рассказала мужу о том, что случилось.

Федор Михайлович был страшно поражен, даже побледнел и тихо вымолвил:

— Да, это большое несчастье. Что же мы теперь будем делать?

— Знаешь что,— припомнила вдруг я,— ведь это негодяй хозяйский сын не доставил чемодана на пароход, назло мне, за то, что я назвала его грабителем.

— Пожалуй, ты права,— согласился со мной Федор Михайлович.— Но, знаешь, ведь так нельзя оставить, надо попытаться разыскать чемодан. Не может же он в самом деле пропасть? Вот что мы сделаем: ты поезжай с детьми в Петербург (остаться здесь в гостинице с детьми и прислугой немыслимо, денег не хватит), а я останусь здесь, завтра пойду к Лерхе (новгородскому губернатору, с которым Федор Михайлович был знаком), попрошу, чтоб он дал мне полицейского, и завтра же с пароходом поеду в Устрики. Если хозяин оставил чемодан у себя, то, ввиду возможного обыска, наверно, его отдаст. Ну, а ты, ради бога, успокойся! Посмотри, на что ты похожа? Побереги себя для ребенка! Поди умойся холодной водой и возвращайся к нам поскорее!

Я пошла в полном отчаянии. Я укоряла себя в происшедшем несчастии, в том, что недоглядела за самым

драгоценным из нашего имущества, что из-за моего недосмотра пропал двухмесячный труд мужа! «Но ведь я смотрела, я была уверена, что это наш чемодан! — говорила я про себя.— Надо же было случиться такому совпадению, что тут же очутился схожий с нашим чемодан!»

Я стояла в багажной, опираясь на стойку, и слезы так и катились по моим щекам. Вдруг одна мысль промелькнула в голове: а что, если чемодан остался на пароходной пристани? В таком случае его, конечно, спрятали. Что, если там справиться? Я обратилась к сторожу и спросила, не может ли он съездить на пристань, узнать, нет ли там чемодана, и привезти его сюда; а если не отдадут, то сказать, что за ним завтра приедет владелец. Сторож ответил, что отлучиться не может, потому что дежурный. Тогда я, долго не думая, решила поехать на пристань сама. Я вышла из вокзала, нашла на дворе двух извозчиков и крикнула: «Кто свезет меня на пароходную пристань, туда и обратно, даю полтора рубля?» Один сказал, что он не свободен, а другой, парень лет девятнадцати, согласился, я вскочила в пролетку, и мы поехали. Было около восьми часов и порядком темно. Пока ехали городом, то при фонарях и прохожих было не страшно. Но когда переехали Волховский мост и завернули направо, мимо каких-то длинных амбаров, то у меня захолонуло на сердце: тут, в темноте, в углублении амбаров, казалось, прятались люди, и даже двое каких-то оборванцев стали за нами бежать. Парень мой вструхнул и пришпорил лошадь так, что она помчалась вскачь. Минут через двадцать подъехали к пристани. Я соскочила с пролетки и по мостику побежала к пароходной конторке. В ней все было темно, очевидно, сторож спал. Я принялась стучать изо всех сил в одну стенку, в другую, затем в окно, начала кричать во весь голос: «Сторож, отвори, отвори скорей!» Минут через пять, когда я уже отчаялась в успехе и хотела вернуться к извозчику, раздался вдруг какой-то старческий кашель, а затем голос: «Кто стучит? Что надо?» — «Отвори, дедушка, скорей! — кричала я, решив, судя по голосу, что говорю со стариком.— Тут оставлен большой черный чемодан, так я за ним».— «Есть»,— ответил голос. «Так тащи его скорей!» — «Иди сюда»,— сказал

старичок и в боковой стенке выдвинул деревянную перегородку (чрез которую передают в конторку багаж) и выкинул на пристань мой черный чемодан. Можно представить себе мою чрезвычайную радость!

— Дедушка, донеси чемодан до извозчика, я тебе на водку дам,— просила я, но дедушка или меня не расслышал, или побоялся вечерней сырости, но он задвинул перегородку, и в конторке стало по-прежнему мертво. Я сдвинула чемодан, он был тяжел, пуда на четыре. Я побежала за парнем, но тот отказался сойти с козел: «Сами видите, какие здесь места, сойду — и лошадь угонят!» Делать нечего, побежала обратно, схватилась за ручку чемодана и потащила, останавливаясь на каждом шагу. А мостки, как на беду, были длинные. Однако дотащила. Извозчик соскочил и положил чемодан между сиденьем и козлами, а я, своею персоной, уселась на чемодан, решившись не отдавать его, если б на нас напали «раклы». Кучер стал хлестать свою лошадь, мы быстро пронеслись мимо каких-то окликающих нас фигур и выехали минут чрез пятнадцать на Торговую площадь. Тут было безопасно. Мой возница ободрился и стал рассказывать, какого страху он натерпелся: «Хотел было уехать да побоялся вас оставить. Тут два «ракла» подходили, допрашивали, я сказал, что привез мужика, а как услышали, что вы с кем-то кричите, то и отошли».

Я умоляла парня ехать скорее, так как тут только сообразила, как много времени прошло с моего отъезда и что меня мог хватиться Федор Михайлович. Оказывается, что мой муж, видя, что я не возвращаюсь, пошел в дамскую и, не найдя меня там и оставив детей с Алешиной нянькой, пошел меня разыскивать. Стал расспрашивать у сторожей, не видал ли кто меня: нашелся один, который сказал, что барыня нанимала извозчика на ту сторону города. Федор Михайлович был в отчаянии, не зная, куда я в такой поздний час могла поехать, и, чтоб скорее меня встретить, вышел на крыльцо. Завидев его издали, я закричала:

— Федор Михайлович, это я, и чемодан со мной!

Хорошо, что у дверей вокзала было не особенно светло, а то мой вид — дамы, сидящей не на сиденье пролетки, а на чемодане, был, полагаю, не живописен.

Когда я рассказала Федору Михайловичу все мои похождения, он пришел в ужас и назвал меня безумной.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул он.— Подумай, какой опасности ты себя подвергала! Ведь, видя, что извозчик везет женщину, мазурики, бежавшие за вами, могли наброситься на тебя, ограбить, изувечить, убить! Подумай, что было бы с нами, что было бы со мной, детьми? Истинно господь сохранил тебя ради наших ангелов-детей! Ах, Аня, Аня! Твоя стремительность тебя до добра не доведет!

Федор Михайлович мою стремительность, или как говорится, скоропалительность, способность в одну минуту положить решение и действовать, не размышляя о последствиях, называл моим пороком и об этом упоминает где-то и в письмах ко мне.

Мало-помалу Федор Михайлович успокоился, мы в тот же вечер выехали и самым благополучным образом добрались до Петербурга.

Привожу этот эпизод в образец того, с какими трудностями и неприятностями приходилось в те далекие времена совершать даже такие сравнительно недалекие поездки, как поездка в Старую Руссу.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1876—1877 гг.

I

1876 ГОД. МОЯ ШУТКА

18-го мая 1876 года произошел случай, о котором я вспоминаю почти с ужасом. Вот как было дело: в «Отечественных записках» того года печатался новый роман С. Смирновой под названием «Сила характера». Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил ее литературный талант. Заинтересовался он и последним ее произведением и просил меня доставлять ему книжки журнала

по мере выхода их в свет. Я всегда выбирала те несколько дней, когда муж отдыхал от работы по «Дневнику писателя», и приносила ему «Отечественные записки». Но так как новые номера журналов обычно выдаются на два-три дня, то я всегда торопила мужа прочесть книжку, чтоб, во избежание штрафа, вовремя вернуть ее в библиотеку. То же случилось и с апрельской книжкой. Федор Михайлович прочел роман и говорил мне, как удался нашей милой Софии Ивановне (которую я тоже очень ценила) один из мужских типов этого романа [191]. В тот же вечер муж уехал на какое-то собрание, а я, уложив детей, принялась за чтение «Силы характера». В романе, между прочим, было помещено анонимное письмо, посланное каким-то негодяем герою романа. Оно заключалось в следующем:

«Милостивейший государь *,
благороднейший Петр Иванович! [192]

Будучи совершенно незнакомой вам особой, но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к вам с сими строками. Ваше благородство мне достаточно известно, и мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойно обманывает. Будучи от вас отпущена более, может быть, чем за тысячу верст, она, как голубица какая обрадованная, которая, распустивши свои крылья, возносится на поднебесье и не хочет вернуться в дом отчий. Вы ее отпустили себе и ей на погибель, в когти человека, коего она трепещет; но очаровал он ее своей льстивой наружностью, похитил он ее сердце, и нет ей милее очей, как его очи. Дети малые и те ей постылы, коли не скажет он ей слова ласкового. Коли хотите вы знать, кто он — этот злодей ваш, то я вам имени его не скажу, а вы посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. Коли увидите брюнета, что любит ваши пороги обивать, поприсмотритесь. Давно вам этот брюнет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку.

А меня ничто, кроме вашего благородства, к этому не побуждает, чтобы вам эту тайну открыть. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон

---

* «Отечественные записки», 1876, апрель, с. (457).

повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит. Вам навеки неизвестная, но доброжелательная особа».

Я должна сказать, что за последнее время я была в самом благодушном настроении: у мужа давно приступов эпилепсии не было, дети совершенно оправились от болезни, долги наши мало-помалу уплачивались, а успех «Дневника писателя» шел creszendo*. Все это поддерживало во мне столь свойственное моему характеру жизнерадостное настроение, и вот под влиянием его, по прочтении анонимного письма у меня мелькнула в голове шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора Михайловича. Мне представлялось, что он, только вчера прочитавший это письмо в романе Смирновой, тотчас же догадается, что это шутка, и мы вместе с ним посмеемся. Промелькнула и другая мысль, что муж примет письмо всерьез; в таком случае меня интересовало, как он отнесется к полученному анонимному письму: покажет ли мне или бросит в корзину для бумаг? По моему обыкновению, что задумано, то и сделано. Сначала я хотела написать письмо своим почерком, но ведь я каждый день переписывала для Федора Михайловича стенограммы «Дневника», и почерк мой был ему *слишком* знаком. Следовало несколько замаскировать шутку, и вот я принялась переписывать письмо другим, более круглым, чем мой, почерком. Но это оказалось довольно трудно, и мне пришлось испортить несколько почтовых листков, прежде чем письмо было написано однообразно. Назавтра утром я бросила письмо в ящик, и оно среди дня было доставлено нам почтой вместе с другой корреспонденцией.

В этот день Федор Михайлович где-то замешкался и вернулся домой ровно к пяти; не желая заставить детей ждать обеда, он, переодевшись в домашнее платье и не разбирая писем, пришел в столовую. За обедом было шумно и весело. Федор Михайлович был в хорошем настроении, много говорил и смеялся, отвечая детям на их вопросы. После обеда муж со стаканом чаю, по обыкновению, пошел к себе в кабинет,

* Возрастая, усиливаясь (*ит.*).

я же ушла в детскую и только минут через десять отправилась узнать об эффекте, который произвело мое анонимное письмо.

Я вошла в комнату, села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми, шагами, расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:

— Что ты такой хмурый, Федя?

Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошелся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

— Ношу.

— Покажи мне его!

— Зачем? Ведь ты много раз его видел.

— По-ка-жи ме-даль-он! — закричал во весь голос Федор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец, муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны — портрет нашей Любочки, с другой — свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

— Ну, что нашел? — спросила я.— Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Федор Михайлович живо повернулся ко мне.

— А ты откуда знаешь об анонимном письме?

— Как откуда? Да я тебе сама его послала!

— Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!

— А я тебе сейчас докажу!

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Федор Михайлович даже руками развел от изумления.

— И ты сама сочинила это письмо?

— Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

— Ну где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?

— Просто хотела пошутить,— объясняла я.

— Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!

— Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

— В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

— Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь? — смеялась я, желая рассеять его настроение,— пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато *ей,* злодейке, выцарапала бы глаза!!

— Вот ты все смеешься, Анечка,— заговорил виноватым голосом Федор Михайлович,— а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нем оказалась полоска крови: очевидно, сорван-

ная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние.

— Боже мой, что я наделал! Анечка, дорогая моя, прости меня! Я тебя поранил! Тебе больно, скажи, тебе очень больно?

Я стала его успокаивать, что никакой «раны» нет, а только простая царапина, которая завтра же заживет. Федор Михайлович был не на шутку обеспокоен, а главное, пристыжен своею вспышкою. Весь вечер прошел в его извинениях, сожалениях и самой дружеской нежности. Я и сама была бесконечно счастлива, что моя нелепая шутка кончилась так благополучно. Я искренно раскаивалась, что заставила помучиться Федора Михайловича, и дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж.

Как медальон, так и анонимное письмо (от 18 мая 1876 года) хранятся у меня и доселе.

II

1876 ГОД. ПОИСКИ КОРОВЫ

Летом 1876 года в Старой Руссе жил с семьею профессор С.-Петербургского университета Николай Петрович Вагнер. Пришел он к нам с письмом Я. П. Полонского и произвел на моего мужа хорошее впечатление. Они стали очень часто видеться, и Федор Михайлович очень заинтересовался новым знакомым, как человеком, фанатически преданным спиритизму [193].

Однажды, встретившись со мною в парке, Вагнер сказал мне:

— Ну, и удивил же меня вчера Федор Михайлович!

— Чем это?— полюбопытствовала я.

— Вечером, гуляя, я хотел зайти к вам и на самом перекрестке встречаю вашего мужа и спрашиваю: «Вы идете на прогулку, Федор Михайлович?»

— Нет, не на прогулку, я иду по делу.

— А можно мне с вами?

— Идите, если хотите,— ответил он неприветливо. Вид его мне показался озабоченным, видимо, ему

не хотелось поддерживать разговор. Дошли до первого перекрестка. Тут навстречу попалась какая-то баба, и Федор Михайлович спросил ее:

— Тетка, ты не повстречала ли бурой коровы?

— Нет, батюшка, не встречала,— ответила та.

Вопрос о бурой корове показался мне странным, и я приписал его народному поверью, по которому по первой возвращающейся с поля корове можно судить о завтрашней погоде, и подумал, что Федор Михайлович с целью узнать о погоде на завтра осведомляется о корове. Но когда прошли еще квартал и встретившемуся мальчику Федор Михайлович повторил тот же вопрос, я не выдержал и спросил:

— Да на что вам, Федор Михайлович, понадобилась бурая корова?

— Как на что? Я ее ищу.

— Ищете?— удивился я.

— Ну, да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли ее разыскивать, и я тоже ищу.

Тут только я понял, почему Федор Михайлович так пристально всматривался в канавы по сторонам улицы и был так рассеян.

— Что же вас так удивило? — спросила я Вагнера.

— Да как же,— отвечал он,— великий художник слова, ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка, и он бродит по улице, разыскивая какую-то бурую корову.

— Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович,— сказала я,— что Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого все происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если б корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока или получили бы его от незнакомой, а пожалуй, и нездоровой коровы. Вот Федор Михайлович и пошел на розыски.

Надо сказать, что мы не имели собственной коровы, но когда приезжали на лето в Руссу, то окрестные крестьяне наперебой старались отдать нам на все лето свою корову, в надежде вместо отощавшей за зиму получить осенью откормленную на славу. Платили мы крестьянам за лето десять — пятнадцать рублей, но в

случае если б корова пала, или мы бы ее испортили, то обязаны были уплатить девяносто рублей. Каждое лето случалось раза три-четыре, что корова не возвращалась с поля со стадом, и тогда весь дом, кроме няньки с грудным ребенком, уходил в разные улицы на поиски. Федор Михайлович, близко принимавший к сердцу наши семейные радости и горести, и в этом случае нам помогал и раза два-три сам пригонял нашу корову домой и впускал ее в калитку. Меня всегда чрезвычайно трогала эта сердечная забота моего мужа о своей семье.

III

1876 ГОД. ЗИМА. ЗНАКОМСТВА

В эту зиму светские знакомства Федора Михайловича значительно расширились. Его повсюду встречали очень радушно, так как ценили в нем не только ум и талант, но и доброе, отзывчивое ко всякому людскому горю, сердце.

Я же и в эту зиму решила не выезжать в свет: я до того уставала за день от работы по «Дневнику писателя», от хозяйственных забот и от возни с моими детками, что к вечеру хотелось лишь отдыхать и почитать интересную книгу, и в обществе я, наверно бы, имела скучающий вид. Впрочем, я нимало не жалею о том, что не бываю в обществе, и вот почему: с самого нашего возвращения в Россию у нас завелся обычай, продолжавшийся до смерти мужа. Сокрушаясь постоянно о том, что я не бываю в обществе и, пожалуй, скучаю, Федор Михайлович хотел меня несколько удовлетворить тем, что рассказывал мне обо всем, что в гостях видел, слышал или о чем беседовал с таким-то или таким-то лицом. И рассказы Федора Михайловича были до того увлекательны и передавались им с такою экспрессиею, что вполне заменяли мне общество. Помню, что я всегда с большим нетерпением ожидала возвращения его из гостей. Возвращался он обыкновенно в час, в половине второго; к этому времени для него был готов только что заваренный чай; он переодевался в свое широкое летнее пальто (служившее ему вместо халата), выпивал стакан горячего чая и принимался рассказывать о встречах сегодняшнего ве-

чера. Федор Михайлович знал, что меня интересуют подробности, а поэтому на них не скупился и сообщал все свои разговоры, а я всегда выспрашивала: «Ну, а что она тебе сказала, а ты что ему ответил?»

Вернувшись из гостей, Федор Михайлович уже не принимался за работу, а так как привык поздно ложиться, то мы за этими разговорами просиживали иногда до пяти часов утра, и Федор Михайлович насильно отсылал меня спать, уверяя, что у меня будет голова болеть и что остальное доскажет завтра.

Иной раз Федору Михайловичу удавалось похвалиться предо мною, как ему пришлось взять верх в каком-либо литературном или политическом споре. Иной раз муж рассказывал о своем промахе, как он не узнал или не признал кого-либо и какое из этого получилось недоразумение, и спрашивал моего мнения или совета, как исправить сделанный промах. Иногда Федор Михайлович откровенно высказывал жалобы на то, как к нему несправедливы были иные люди и как старались его оскорбить или задеть его самолюбие. Надо правду сказать, люди его профессии, даже обладавшие и умом и талантом, часто не щадили его и мелкими уколами и обидами старались показать, как мало значит его талант в их глазах. Например, иные вовсе не говорили с Федором Михайловичем об его новом произведении, как бы не желая огорчать его плохими отзывами, хотя, конечно, знали, что он ждал от них не похвал или комплиментов, а искреннего их мнения насчет того, удалось ли ему провести в романе задуманную им идею? Или на прямой вопрос Федора Михайловича, читал ли «друг» последнюю главу романа (уже чрез месяц после появления журнала), «друг» отвечал, что «книгу захватила молодежь, передает ее из рук в руки и хвалит роман», хотя говоривший отлично знал, что Федору Михайловичу дорого не мнение его зеленой молодежи, а его личное, и что ему будет больно, что «друг» так мало интересуется его произведением, что за целый месяц не удосужился его прочесть.

Помню, например, как один литератор, встретившись с Федором Михайловичем в обществе, объявил, что ему наконец-то удалось прочесть роман «Идиот», а он вышел в свет лет пять назад, что роман ему понравился, но он нашел в нем неточность.

— В чем неточность?— заинтересовался Федор Михайлович, полагая, что она заключается в идее или в характерах героев романа.

— Я жил этим летом в Павловске,— отвечал собеседник,— и, гуляя с дочерьми, мы все искали ту роскошную дачу, во вкусе швейцарской хижины, в которой жила героиня романа, Аглая Епанчина. Воля ваша, такой дачи в Павловске не существует.

Как будто Федор Михайлович обязан был в своем романе изобразить непременно существующую, а не фантастическую дачу.

Другой литератор (уже впоследствии) объявил, что с великим любопытством два раза прочел речь прокурора (в романе «Братья Карамазовы») и второй раз вслух и с часами в руках.

— Почему с часами?— удивился мой муж.

— В романе вы говорите, что речь продолжалась... * минут. Мне и захотелось проверить. Оказалось не... **, а только (всего)...***[194].

Федор Михайлович сначала подумал, что самая речь прокурора настолько заинтересовала литератора, что он решил перечитать ее во второй раз, как бывает, когда нас что-либо поразит; оказалось, причина была другая, столь незначительная, что о ней можно было упомянуть, лишь желая обидеть или уязвить Федора Михайловича. И примеров такого отношения литературных современников к мужу было немало.

Все это были, конечно, мелкие уколы самолюбия, недостойные этих умных и талантливых людей, но тем не менее они действовали болезненно на расстроенные нервы моего больного мужа. Я часто негодовала на этих недобрых людей и склонна была (да простят мне, если я ошибалась) объяснять эти оскорбительные выходки «профессиональною завистью», которой у Федора Михайловича, надо отдать ему в том справедливость, никогда не было, так как он всегда отдавал должное талантливым произведениям других писателей, несмотря на разницу в убеждениях с тем лицом, о котором говорил или писал.

Для меня всегда было интересно, когда на мои

---

* Пропуск в рукописи.
** Пропуск в рукописи.
*** Пропуск в рукописи.

вопросы Федор Михайлович описывал костюмы дам, виденных им в обществе. Иногда он высказывал желание, чтоб я непременно сшила себе понравившееся ему платье.

— Знаешь, Аня,— говорил он,— на ней было прелестное платье; фасон самый простой: справа приподнято и собрано, сзади спущено до полу, но не волочится, слева вот только забыл, кажется, тоже приподнято. Сшей себе такое, увидишь, как оно будет хорошо.

Я обещала сшить, хотя по описаниям Федора Михайловича довольно трудно было составить понятие о фасоне.

В красках Федор Михайлович тоже иногда ошибался и их плохо разбирал. Называл он иногда такие краски, названия которых совершенно исчезли из употребления, например, цвет массака; Федор Михайлович уверял, что к моему цвету лица непременно подойдет цвет массака, и просил сшить такого цвета платье. Мне хотелось угодить мужу, и я спрашивала в магазинах материю этого цвета. Торговцы недоумевали, а от одной старушки (уже впоследствии) я узнала, что массака — густо-лиловый цвет, и бархатом такого цвета прежде в Москве обивали гробы. Возможно, что густолиловый цвет идет к иным лицам, может быть, пошел бы и ко мне, но так и не удалось мне сделать себе платье такого цвета и тем исполнить желание мужа.

Скажу, кстати, что муж всегда был чрезвычайно доволен, когда видел меня в красивом платье или в красивой шляпе. Его мечта была видеть меня нарядной *, и это его радовало гораздо более, чем меня. Наши денежные дела были всегда неважны, и нельзя было думать о нарядах. Но зато как бывал доволен и счастлив мой дорогой муж, когда ему случалось, и даже иногда против моего желания, купить или привезти мне из-за границы какую-нибудь красивую вещь. При каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить, чтобы привезти мне подарок: то привез роскошный (резной) веер слоновой кости, художественной работы; в другой раз — великолепный бинокль голубой эмали, в третий — янтарную парюру (брошь, серьги и браслет). Эти вещи он долго выбирал,

* Письмо ко мне от 24 июля 1876 г.[195]

присматривался и прицenивался к ним и был чрезвычайно доволен, если подарки мне нравились. Зная, как мужу было приятно дарить мне, я всегда, получая подарки, выказывала большую радость, хотя иногда в душе была огорчена тем, что покупал он не столько полезные, сколько изящные вещи. Помню, например, как мне было жаль, когда Федор Михайлович однажды, получив от Каткова деньги, купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек, по двенадцати рублей штука. Конечно, я приняла подарок в видимом восхищении, но в душе пожалела денег, так как белья у меня было достаточно, а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое.

Покупке роскошных сорочек предшествовал комический анекдот, очень меня потешивший. Как-то раз, часу во втором ночи, муж вошел в мою комнату и разбудил громким вопросом: «Аня, это твои сорочки?» — «Какие сорочки, вероятно, мои»,— не понимала я спросонья. «Но разве можно носить такое грубое белье?»— говорил муж в негодовании. «Конечно, можно, не понимаю, про что ты говоришь, голубчик, дай мне спать!» Утром последовала разгадка прихода мужа и его возмущения. Горничная рассказала, как ее и кухарку сначала испугал, а затем удивил «барин». Вечером она выстирала свои две сорочки и вывесила их сушить на веревочку за окно. Ночью поднялся ветер, и замерзшие сорочки стали колотиться о стекло. Федор Михайлович, работавший у себя в кабинете, услышав стук и боясь, что шум разбудит детей, пошел в кухню, встал на табурет, отворил форточку и потихоньку вытянул вещи одну за одной. Затем тщательно развесил обе на веревке над плитой. Вот тут-то Федор Михайлович и рассмотрел белье (оно было, конечно, из грубого серого холста), ужаснулся и пришел меня разбудить. Утром я рассказала мужу, в чем дело, и он так смеялся своей ошибке. Когда я спросила, зачем он не разбудил горничную, муж ответил: «Да жалко было будить, ведь наработались в целый-то день, пусть отдохнут». Таково было всегдашнее отношение мужа к прислуге, от которой он лишних услуг для себя никогда не требовал.

Но особенно Федор Михайлович был доволен, когда, за два года до кончины, ему удалось подарить мне

серьги с бриллиантами, по одному камню в каждой. Стоили они около двухсот рублей, и по поводу покупки их муж советовался с знатоком драгоценных вещей П. Ф. Пантелеевым. Помню, я одела в первый раз подарок на литературный вечер, на котором читал муж. В то время, когда читали другие литераторы, мы с мужем сидели рядом вдоль стены, украшенной зеркалами. Вдруг я заметила, что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается; затем обратился ко мне и с восторгом прошептал: «Блестят, великолепно блестят!» Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею, и муж был этим доволен, как дитя.

IV

1876 ГОД. ДОЛГ ТУРГЕНЕВУ

Из нашей жизни за 1876 год запомнила одно маленькое недоразумение, очень взволновавшее моего мужа, у которого дня за два, за три пред тем был приступ эпилепсии. К Федору Михайловичу явился молодой человек, Александр Федорович Отто (Онегин), живший в Париже и впоследствии составивший ценную коллекцию пушкинских книг и документов. Г-н Отто объявил, что друг его, Ив. С. Тургенев, поручил ему побывать у Федора Михайловича и получить должные ему деньги. Муж удивился и спросил, разве Тургенев не получил от П. В. Анненкова тех пятидесяти талеров, которые он дал Анненкову для передачи Тургеневу в июле прошлого года, когда встретился с ним в поезде по дороге в Россию. Г-н Отто подтвердил получение от Анненкова денег, но сказал, что Тургенев помнит, что выслал Федору Михайловичу в Висбаден не пятьдесят, а сто талеров, а потому считает за Федором Михайловичем еще пятьдесят. Муж очень взволновался, предполагая свою ошибку, и тотчас вызвал меня.

— Скажи, Аня, сколько я был должен Тургеневу?— спросил муж, представив мне гостя.

— Пятьдесят талеров.

— Верно ли? Хорошо ли ты помнишь? Не ошибаешься ли?

— Отлично помню. Ведь Тургенев в своем письме точно обозначил, сколько тебе посылает.

— Покажи мне письмо, где оно у тебя?— требовал муж.

Конечно, письма под рукой не было, но я обещала отыскать его, и мы просили молодого человека заглянуть к нам дня через два.

Федор Михайлович очень был расстроен возможною с моей стороны ошибкой и так беспокоился, что я решила просидеть хоть всю ночь, но найти письмо. Беспокойство мужа передалось мне, и мне стало казаться, не произошло ли в этом случае какого недоразумения. На беду, корреспонденция моего мужа за прежние годы находилась в полном хаосе, и мне пришлось пересмотреть по меньшей мере триста — четыреста писем, пока я наконец не напала на тургеневское. Прочитав письмо и убедившись, что ошибки с нашей стороны не произошло, муж успокоился.

Когда чрез два дня пришел г-н Отто, мы показали ему письмо Тургенева. Он был очень сконфужен и просил дать ему это письмо, чтоб он мог послать его Тургеневу, причем обещал письмо нам возвратить.

Недели через три г-н Отто вновь явился к нам и принес письмо, но не то, которое мы ему дали, а письмо самого Федора Михайловича из Висбадена, в котором он просил Тургенева ссудить его пятьюдесятью талерами [196]. Таким образом недоразумение объяснилось к нашему полному удовольствию. Пострадал только А. Ф. Отто, который в письме своем, много лет спустя (19 декабря 1888 года) *, напоминая о себе, писал:

«Мое маленькое знакомство с Федором Михайловичем было основано на неприятном для него недоразумении, в котором я играл роль невольную.— Я — то лицо, которое являлось к вам, давно, давно тому назад, когда вы жили еще на Песках. Я явился в тяжелую материальную минуту, тогда усугубленную болезненностью Федора Михайловича, с поручением моего друга, Ив. С. Тургенева, получить деньги — долг Федора Михайловича. Я пережил тогда тяжелые минуты, ибо вы сами доверчиво изложили мне общее положение дел, а потом Федор Михайлович доказал, волнуясь и кипя, что требование Ивана Сергеевича было более

* Письма как Федора Михайловича, так и г-на Отто сохраняются.

чем несправедливо. По свойственной мне несчастной резкости, я написал тогда резкое письмо Ивану Сергеевичу. Дело выяснилось: Иван Сергеевич сознался в своей ошибке, но я почти утратил его дружбу, как всегда бывает с третьим лицом, замешанным в ссору двух других»[197].

V

1877 ГОД. ПРОПАЖА САЛОПА

В начале 1877 года случилось «событие», благодаря которому мне пришлось ознакомиться с порядками тогдашнего столичного сыскного отделения: у меня украли новый лисий салоп.

Надо сказать, что, вернувшись в Россию, я по зимам продолжала носить то полудлинное пальто из серого барашка, в котором ходила в Дрездене. Федор Михайлович приходил в ужас, видя меня столь легко одетою, и предсказывал мне жестокую простуду со всеми ее последствиями. Конечно, пальто не годилось для декабрьских и январских морозов, и в холода мне приходилось надевать поверх пальто толстый плед, что представляло довольно непривлекательный вид. Но в первые годы по возвращении в Россию приходилось думать, главным образом, об уплате долгов, так нас беспокоивших, а потому вопрос о теплой шубке, поднимавшийся каждую осень, так и не мог разрешиться в благоприятную сторону. Наконец в конце 1876 года явилась возможность исполнить наше давнишнее желание, и я помню, как это незначительное домашнее дело интересовало Федора Михайловича. Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться этим делом сам: повез меня в меховой магазин Зезерина (ныне Мертенса, у которого всегда летом сберегалась его шуба) и попросил старшего приказчика «на совесть» выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник. Приказчик (поклонник таланта мужа) накидал целую гору лисьих мехов и, указывая их достоинства и недостатки, выбрал, наконец, безукоризненный на назначенную (сто рублей) цену мех. Воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным. У них же нашлись образчики черного шелкового атласа, которые Федор Михайлович просмотрел и на свет,

и на цвет, и на ломкость. Когда зашел разговор о фасоне (ротонды только что начинали входить в употребление), Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против «нелепой» моды. Когда же приказчик, шутя, сообщил, что ротонду выдумал портной, желавший избавиться от своей жены, то муж мой объявил:

— А я вовсе не хочу избавляться от своей жены, а потому сшейте-ка ей вещь по-старинному, салоп с рукавами!

Видя, что заказ салопа так заинтересовал мужа, я не настаивала на ротонде. Когда через две недели салоп был принесен и я его надела, Федор Михайлович с удовольствием сказал:

— Ну, ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха! Теперь я не буду бояться, что в нем ты простудишься.

И вот салоп, «сооруженный» после стольких лет ожидания и стольких волнений, был украден!

Случилось это среди бела дня, в какие-нибудь десять минут. Я откуда-то вернулась и, узнав, что Федор Михайлович уже встал и обо мне спрашивал, тотчас поспешила к нему в кабинет, оставив салоп на вешалке в передней, хотя обычно относила его в свою комнату. Переговорив с мужем, я вернулась в переднюю, но салопа на вешалке уже не оказалось. Поднялась суматоха; обе девушки, бывшие в кухне, объявили, что никого не видали. Посмотрели на дверь, на парадную лестницу — она оказалась отпертою. Очевидно, девушка, помогая мне снять салоп, позабыла запереть дверь, и этою оплошностью воспользовался вор.

Федор Михайлович был очень огорчен пропажею салопа, тем более, что холодного времени оставалось целых два месяца. Я же была в совершенном отчаянии, «рвала и метала», бранила прислуг, сердилась и на себя, зачем оставила салоп в передней. Позвали старшего дворника, тот дал знать о пропаже в полицию. Вечером пришел какой-то полицейский чин допросить прислугу и посоветовал мне самой съездить в сыскное отделение и попросить тщательнее заняться розыском.

На следующее утро я поехала на Офицерскую. Ввиду моей литературной фамилии, меня тотчас же принял кто-то из главных чинов. (Моя фамилия при жиз-

ни мужа всегда производила некоторое впечатление в официальных учреждениях: «литератор, пожалуй, опубликует в газетах!»).

Меня внимательно выслушали, и чиновник спросил, на кого я имею подозрение?

Я заявила, что в прислугах моих я уверена, обе они вывезены мною из Старой Руссы, служат три года и ни в чем дурном мною не замечены. Никого других тоже не подозреваю.

— Скажите, кто у вас частые посетители?— спросил чиновник.

— Знакомые наши, да вот еще приходят посыльные из магазинов за книгами и журналами [198]. Но они всегда проходят чрез кухню, а вчера никто из них не был.

— А не бывают ли у вас попрошаи, то есть просящие на бедность?

— Эти бывают, и даже их много приходит. Надо вам сказать, что мой муж необыкновенно добрый человек и не имеет силы кому-нибудь отказать в помощи, конечно, сообразно с своими средствами. Случается, когда у моего мужа не найдется мелочи, а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал деньги. Потом эти посетители начинали приходить сами и, узнав имя мужа благодаря прибитой к двери дощечке, стали спрашивать Федора Михайловича. Выходила, конечно, я; они рассказывали мне про свои бедствия, и я выдавала им копеек тридцать — сорок. Хоть мы и не особо богатые люди, но такую помощь всегда оказать можем.

— Вот кто-нибудь из этих просителей у вас и украл,— сказал чиновник.

— Не думаю. Позвольте заступиться за моих бедняков,— говорила я,— хоть они очень надоедливы и отнимают много времени, но не верится, чтобы они были воры: слишком у них несчастный и обиженный вид.

— А вот мы посмотрим,— сказал чиновник.— Иванов, принеси-ка альбом.

Помощник принес толстый альбом и положил его предо мною на стол.

— Не угодно ли просмотреть,— предложил он,— может быть, найдется знакомое вам лицо.

Я с любопытством принялась пересматривать и на

третьей же странице заметила хорошо известную мне физиономию.

— Господи!— воскликнула я.— Этого человека я хорошо знаю. Он часто у нас бывал. И этот тоже бывал, и этот тоже,— повторяла я, по мере того как перевертывала страницы альбома. И под каждой фотографиею моего «знакомого» стояла подпись: «Вор по передним», а под одною — тоже очень хорошо мне известною, стояло: «Взломщик, схваченный с огнестрельным оружием».

Я была поражена чрезвычайно: люди, которые у нас бывали часто, с которыми я обычно разговаривала одна, оказывались ворами, даже убийцами, которые могли не только ограбить, но и убить меня или Федора Михайловича, и наша семья могла подвергнуться страшной опасности. Холод ужаса проходил по спине: мне представилась ужасная мысль: ведь эти люди будут продолжать к нам приходить, и мы ничем не гарантированы от смертельной опасности в будущем. Даже если теперь будем отказывать им в помощи, то тем, пожалуй, ожесточим их и навлечем на себя эту опасность.

Несколько минут я сидела в самом подавленном состоянии.

— Как жаль,— сказала я,— что мой муж не видит портретов этих знакомых и ему и мне лиц; он, пожалуй, не поверит, что они воры.

— А вот не угодно ли выбрать портреты знакомых лиц, у нас имеются дуплеты. Они пригодятся вам и вот для чего: если кто-нибудь из них заявится к вам, то скажите, что вы побывали в сыскном отделении и вам дали их портреты; поверьте, они друг другу передадут, и вы на целый год будете избавлены от их посещений.

Редко я так радовалась чьему-нибудь подарку, как подарку этой замечательной коллекции, и теперь у меня сохраняющейся. Любезный чиновник, прощаясь, обещал прислать ко мне одного опытного агента, который, очень возможно, что и найдет украденную у меня вещь, особенно благодаря тому, что теперь известно, в какой именно порочной среде надо искать вора.

Федор Михайлович не менее меня был поражен, видя портреты с такими характерными надписями. Некоторые лица он отлично признал, так как часто встре-

чал их во время своей вечерней прогулки у ворот больницы принца Ольденбургского, где они выпрашивали у прохожих деньги на похороны будто бы умерших в детской больнице своих племянников или детей. И к Федору Михайловичу они часто с этими просьбами обращались, и он хоть и знал, что они выпрашивают под вымышленным предлогом, тем не менее никогда не отказывал им в помощи.

Подаренная коллекция портретов мне действительно пригодилась. Должна заметить, что в течение первого месяца после кражи никто нас не беспокоил просьбами о помощи. Затем появился один из самых назойливых попрошаев, которому за два года его посещений я, своими мелкими выдачами, помогла похоронить не только больную матушку, но и несколько тетушек. Он пришел опять с просьбой помочь ему купить лекарство какой-то больной тетушке. Я для своей охраны вызвала из кухни Лукерью (девушку большого роста) и спросила у нее тридцать копеек, которые она и положила на стол; затем строго обратилась к «вору по передним»:

— Слушайте, возьмите эти тридцать копеек и не приходите ко мне больше, прошу вас. У меня недавно украли салоп: по этому поводу я побывала в сыскном, и мне подарили там портреты «воров по передним» и сказали, чтоб я представляла в полицию всех, кто будет приходить ко мне за милостыней. И ваш портрет почему-то там очутился. Хотите посмотреть?

— Нет, зачем вам беспокоиться,— проговорил посетитель и мигом исчез, оставив даже на столе предложенные ему деньги. Очевидно, проситель сообщил о портретах своим товарищам, но с тех пор очень долгое время никто из них не приходил. Федор же Михайлович тоже с того времени не приводил никого с улицы, а если не было, что дать, то просил нищего подождать у подъезда и высылал деньги с служанкой.

Агент, обещанный сыскным отделением, явился на следующий день и заставил меня с мельчайшими подробностями рассказать происшедшее, допрашивая меня с таинственным видом о самых ненужных вещах. Между прочим, я предложила агенту вопрос: часто ли отыскиваются украденные вещи, и получила в ответ:

— Это, сударыня, зависит, главным образом, от того, желает ли потерпевший получить обратно свою вещь или нет?

— Я полагаю, что каждый желает.

— Положим, что каждый, но один более заботится, другой —менее. Например, была произведена кража у князя Г. на пять тысяч рублей драгоценных вещей. Он прямо мне сказал: отыщете — десять процентов ваши. Ну, вещи и отыскались. Всякому агенту лестно знать, что его усиленные труды будут вознаграждены.

И агент привел два-три примера. Я ушла на несколько минут к мужу и сказала, что, очевидно, и мне надо пообещать ему десять процентов и дать в счет хоть пять рублей. Федор Михайлович только покачал головой и только высказал предположение, что из розысков толка не будет. Вернувшись к агенту, я пообещала десять процентов и дала пятирублевку, после чего он обещал немедленно принять какие-то экстренные меры.

Дня через два агент опять явился и сказал, что напал на след похитителя салопа, только из боязни преждевременной огласки не решается назвать мне его имя. Опять начал расспрашивать о ненужных подробностях и отнял от меня с час времени. Полагая, что он, получив взятку, скорее уйдет, я дала ему пять рублей и сказала, что всегда очень занята и прошу его прийти лишь тогда, когда он будет иметь возможность сообщить что-нибудь существенное по этому делу.

Прошло недели полторы, как однажды в столовую, где мы сидели с мужем, вбежала Лукерья с восклицанием:

— Радуйтесь, барыня, шуба ваша нашлась! Агент нам сказал, он сейчас придет.

Мы все, конечно, очень обрадовались. Агент сообщил, что вор заложил мою украденную шубу в Обществе для заклада (на Мойке), что у него нашлась залоговая квитанция и что Общество должно бесплатно отдать шубу, если я доставлю доказательства, что она мне принадлежит. Говорил, что надо немедленно заявить свои права, и предложил мне сейчас же с ним ехать в Общество и теперь же получить свою шубу обратно.

Федору Михайловичу очень не понравилось это предложение агента; он выразил намерение сам поехать с ним, но тот отклонил, сказав, что, как мужчина, муж мой, пожалуй, не сумеет выяснить все признаки пропавшего салопа. Мне так хотелось получить вещь обратно, что я уговорила мужа разрешить мне поехать с агентом, причем, на случай встречи со знакомыми, закрыла лицо плотною вуалью. И вот я, в яркий солнечный день, проехала чрез весь центральный Петербург в сопровождении агента сыскного отделения и про себя смеялась, думая, что все столичные воры, гуляющие по Невскому проспекту, поставлены в недоумение, какую не известную им похитительницу везет теперь с собою слишком известный им агент сыскного отделения.

Приехали на Мойку, и я хотела заплатить за извозчика, но агент сказал, что извозчик понадобится мне, чтоб отвезти меня домой, когда мне выдадут салоп. Я и велела извозчику ждать. Вошли в правление, нас отвели в отдельную комнату и минут через десять принесли дамский салоп на лисьем меху. С первого же взгляда на него я увидела, что это вещь чужая, и сказала об этом агенту.

— Да вы хорошенько его рассмотрите,— просил он меня,— может, и узнаете, посмотрите рукава, дамы больше по рукавам признают.

Тут агента на миг отозвали, а мне метнулся в глаза ярлык Общества, пришитый к поле салопа. Я нагнулась прочитать, и каково же было мое негодование, когда я прочла на ярлыке, что салоп заложен в ноябре 1876 года, то есть за четыре месяца до того времени, как мой салоп был у меня украден. Ясно, что агент отлично это знал, но предполагал, что я или не узнаю своей вещи, или готова буду взять себе чужую, раз своя не отыскивается. Когда агент вернулся, я показала ему ярлык и при директоре Общества громко высказала ему свое негодование за его явный обман. Он очень покоробился и тотчас отошел что-то рассматривать в витринах. Выйдя из Общества, я сказала извозчику, что с ним не поеду, и спросила, сколько ему следует за езду с Греческого проспекта и за простой. Какова же была моя досада, когда извозчик объявил, что ему следует семь рублей, так как он возил «барина» с утра

и тот, выйдя сейчас из подъезда, сказал, что «барыня за все заплатит». Конечно, мне пришлось заплатить требуемое. Таким образом, предвидение Федора Михайловича оправдалось, и из моих поисков салопа не вышло толку. К стоимости пропавшей вещи пришлось прибавить семнадцать рублей, истраченные на агента. Жаловаться на агента любезному чиновнику, его рекомендовавшему, не имело, по мнению моего мужа, смысла: он прислал бы другого агента, и началась бы такая же канитель. Всего выгоднее было примириться с потерею и дать себе слово не обращаться впредь, в подобных случаях, к помоши этого почтенного учреждения.

VI

1877 ГОД. ПОКУПКА ДОМА. ПОЕЗДКА В МИРОПОЛЬЕ. ПРЕДСКАЗАНИЕ ФИЛЬД

В начале 1877 года мы получили очень опечалившее нас известие: скончался А. К. Гриббе[199], хозяин старорусской дачи, на которой мы проживали последние четыре лета. Кроме искреннего сожаления о кончине доброго старичка, всегда так сердечно относившегося к нашей семье, нас с мужем обеспокоила мысль, к кому перейдет его дача и захочет ли будущий владелец ее иметь нас своими летними жильцами. Этот вопрос был для нас важен: за пять лет житья мы очень полюбили Старую Руссу и оценили ту пользу, которую минеральные воды и грязи принесли нашим деткам. Хотелось бы и впредь пользоваться ими. Но, кроме самого города, мы полюбили и дачу Гриббе, и нам казалось, что трудно будет найти что-нибудь подходящее к ее достоинствам. Дача г-на Гриббе была не городской дом, а скорее представляла собою помещичью усадьбу, с большим тенистым садом, огородом, сараями, погребом и проч. Особенно ценил в ней Федор Михайлович отличную русскую баню, находившуюся в саду, которою он, не беря ванн, часто пользовался.

Дача Гриббе стояла (и стоит) на окраине города близ Коломца, на берегу реки Перерытицы, обсаженной громадными вязами, посадки еще аракчеевских времен. По другие две стороны дома (вдоль сада) идут

широкие улицы, и только одна сторона участка соприкасается с садом соседей. Федор Михайлович, боявшийся пожаров, сжигающих иногда целиком наши деревянные города (Оренбург), очень ценил такую уединенность нашей дачи. Мужу нравился наш тенистый сад, и большой мощеный двор, по которому он совершал необходимые для здоровья прогулки в дождливые дни, когда весь город утопал в грязи и ходить по немощеным улицам было невозможно. Но особенно нравились нам обоим небольшие, но удобно расположенные комнаты дачи, с их старинною, тяжелою, красного дерева мебелью и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось. К тому же мысль о том, что здесь родился наш милый Алеша, заставляла нас считать дом чем-то родным. Мы некоторое время были встревожены возможностью потерять свой излюбленный уголок, но вскоре дело выяснилось: наследница г-на Гриббе уезжала из города, решила продать дом и запросили за него (вместе с обстановкой и даже десятью саженями дров) одну тысячу рублей, что горожанам Руссы показалось дорогою ценой. Денег своих в то время у нас не было, но мне так хотелось не упустить этой дачи, что я просила моего брата, Ивана Григорьевича, купить дом на свое имя, с тем, чтобы перепродать его нам, когда у нас будут деньги. Брат мой исполнил мою просьбу и купил дом, а я уже после смерти мужа купила у брата дом на свое имя.

Благодаря этой покупке, у нас, по словам мужа, «образовалось свое гнездо», куда мы с радостью ехали раннею весною и откуда так не хотелось нам уезжать позднею осенью. Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя и, помню, чтение любимых и интересных книг всегда откладывал до приезда в Руссу, где желаемое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями.

В 1877 году мы продолжали издание «Дневника писателя», и хотя успех его, нравственный и материальный, возрастал, но возрастали вместе с ним и тяготы, связанные с издательством ежемесячного журнала: то есть рассылка номеров, ведение подписных книг, переписка с подписчиками и проч. и проч. Так как в этом деле я не имела помощников (кроме посыльного),

то я страшно уставала, и это отразилось на моем доселе крепком здоровье. За два последние года я сильно похудела и начала кашлять. Мой добрый муж, всегда следивший за моим здоровьем, стал настаивать на полном для меня отдыхе в течение лета, но так как такого отдыха в Старой Руссе, имея на руках хозяйство, достигнуть было нельзя, то он и решил принять приглашение моего брата провести все лето у него в деревне. В начале мая мы всей семьей поехали в Курскую губернию, в имение брата «Малый Прикол» близ г. Мирополье.

Ясно помню наше тогдашнее продолжительное путешествие, с остановками в Москве и на больших железнодорожных станциях, где приходилось нашему поезду стоять часами ввиду передвижения войск, отправляемых на войну [200]. На всех остановках Федор Михайлович закупал в буфете в большом количестве булки, пряники, папиросы, спички и нес в вагоны, где и раздавал вещи солдатам, а с иными из них долго беседовал.

Вспоминая это длинное путешествие, скажу, что меня всегда удивляло, что Федор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге: на все соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но, наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих в дороге и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка: чуть, бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка (он садился в том же вагоне, но поодаль от нас), брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое уменье разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми) и так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашнею любовью к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать.

В конце июня Федору Михайловичу пришлось из деревни поехать в Петербург, чтобы редактировать и

выпустить в свет летний двойной номер «Дневника писателя» за май — июнь. Одновременно с ним до станции Коренево поехала и я с двумя старшими детьми, направляясь на богомолье в Киев. Федор Михайлович придавал в воспитании своих детей большое значение ярким и светлым впечатлениям, испытанным ими в раннем детстве. Зная, что я давно мечтала побывать в Киеве и поклониться тамошним святыням, муж предложил мне воспользоваться его отсутствием и побывать в Киеве, что мы благополучно и исполнили.

Федор Михайлович удачно справился с выпуском и рассылкою летнего номера «Дневника писателя», но, к сожалению моему, испытал много беспокойства по поводу долгого неполучения от меня писем. Особенно его раздражало то обстоятельство, что я, по соглашению с ним, посылала ему письма чрез старшего дворника нашего дома. Под влиянием случившегося с ним приступа эпилепсии, муж совершенно забыл про наше соглашение и про то, что если б я посылала письма, адресуя прямо на его имя, то главный почтамт, имея сделанное им весною пред отъездом в деревню распоряжение, отсылал бы мои письма в Мирополье, как поступал со всею многочисленною корреспонденциею, адресованною мужу на Петербург.

За последние годы Федор Михайлович много раз выражал сожаление, что ему никак не удается побывать в Даровом, в имении его покойной матери, где он по летам жил во времена своего детства. Ввиду того, что летом 1877 года Федор Михайлович чувствовал себя вполне здоровым, я уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье остановиться в Москве и оттуда съездить в Даровое. Федор Михайлович так и сделал и прожил у своей сестры, В. М. Ивановой (к которой перешло имение), двое суток. Родные его рассказывали мне потом, что в свой приезд муж мой посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком (версты две от усадьбы) в любимую им в детстве рощу «Чермашню», именем которой он потом назвал рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор Михайлович и в избы мужиков, своих сверстников, из которых многих он помнил. Старики и старухи и свер-

стники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. Поездка в Даровое доставила много воспоминаний, о которых муж по приезде передавал нам с большим оживлением [201]. Он обещал своим детям непременно поехать с ними в Даровое с целью показать все свои любимые места в парке. Исполняя это желание мужа показать своим детям места, где он провел свое детство, я в 1884 году поехала с детьми в Даровое, и мы, по указанию его родных, побывали везде, где в последний раз ходил Федор Михайлович.

Лето 1877 года прошло для всей нашей семьи весело и благополучно, и мы только жалели, что не могли остаться в деревне и на сентябрь. Но надо было выпускать в свет двойной летний номер, июль — август, и к концу августа мы вернулись в Петербург.

Началась обычная, полная мелких треволнений жизнь. Ежедневно стали посещать Федора Михайловича лица знакомые и незнакомые. В эту осень довольно часто бывал у нас большой поклонник таланта моего мужа, писатель Всев. Серг. Соловьев. Однажды, придя к нам, он рассказал мужу, что познакомился с интересной дамой, г-жой Фильд, которая, определив очень верно его прошлую жизнь, предсказала ему некоторые факты, которые, к удивлению его, уже сбылись. Когда Соловьев направился домой, то вместе с ним вышел и мой муж, делавший по вечерам продолжительную прогулку. Дорогой муж спросил Соловьева, далеко ли живет г-жа Фильд, и, узнав, что она живет близко, предложил ему зайти к ней теперь же. Соловьев согласился, и они направились к гадалке [202]. Г-жа Фильд, конечно, не имела понятия, кто был ее незнакомый гость, но то, что она предсказала Федору Михайловичу, в точности сбылось. Г-жа Фильд предсказала мужу, что в недалеком будущем его ожидает поклонение, великая слава, такая, какой он даже и вообразить себе не может,— и это предсказание сбылось на пушкинском празднестве! Сбылось, к большому нашему несчастию, и печальное ее предсказание о том, что в скором времени мужа постигнет семейное горе — умер наш милый Алеша! О печальном предсказании гадалки Федор Михайлович сообщил мне уже после нашей утраты.

По мере того как приближался конец года, Федор Михайлович стал задумываться над вопросом: продолжать ли ему в следующем году издание «Дневника писателя»? Денежным успехом этого издания муж был вполне доволен; отношение к нему общества, искреннее и доверчивое, выражавшееся в переписке с ним и многочисленных посещениях незнакомых лиц, было для него драгоценно, но потребность художественного творчества превозмогла, и Федор Михайлович решил прекратить издание «Дневника писателя» на два-три года и приняться за новый роман. Какие литературные задачи занимали и волновали моего мужа, можно судить по найденной после него памятной книжке, в которой 24 декабря 1877 года он записал:

«Memento.— На всю жизнь.

1. Написать русского Кандида.
2. Написать книгу об Иисусе Христе.
3. Написать свои воспоминания.
4. Написать поэму Сороковины.

(Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», то есть minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет)».

К 1877 ГОДУ

В половине апреля Федору Михайловичу понадобилось по какому-то делу съездить в Государственный банк. Боясь, что мужа затруднит разыскивание отделения банка, которое было ему необходимо, я вызвалась его сопровождать. Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди толпятся около продавцов газет. Мы остановили извозчика, я пробилась сквозь толпу и купила только что вышедшее объявление. Это был «Высочайший Манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, данный в Кишиневе 12 апреля 1877 года». Манифест давно ожидали, но теперь объявление войны стало совершившимся фактом. Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было немало народу и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской божьей матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла

за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. О поездке в банк не было и речи, так сильно был потрясен Федор Михайлович происшедшим событием и его великими последствиями для столь любимой им родины. Манифест муж мой отложил в число своих важных бумаг, и он находится в его архиве[203].

VII

1877 ГОД

В ноябре 1877 года Федор Михайлович находился в очень грустном настроении: умирал Н. А. Некрасов, давно страдавший какою-то мучительною болезнью. С Некрасовым для мужа соединялись воспоминания о его юности, о начале его литературной карьеры. Ведь Некрасов был один из первых, кто признал талант Федора Михайловича и содействовал его успеху в тогдашнем интеллигентном обществе. Правда, впоследствии они оба разошлись в политических убеждениях и в шестидесятых годах между журналами «Время» и «Современник» шла ожесточенная полемическая борьба. Но Федор Михайлович не помнил зла, и когда Некрасов предложил ему поместить свой роман в «Отечественных записках», то он согласился и возобновил свои дружелюбные отношения к бывшему другу юности. Некрасов искренно отвечал на них. Узнав, что Некрасов опасно болен, Федор Михайлович стал часто заходить к нему — узнать о здоровье. Иной раз просил ради него не будить больного, а лишь передать ему сердечное приветствие. Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения и, указывая на одно из них — «Несчастные» (под именем «Крота»),— сказал: «Это я про вас написал!», что чрезвычайно тронуло мужа[204]. Вообще последние свидания с Некрасовым оставили в Федоре Михайловиче глубокое впечатление[205], а потому когда 27 декабря он узнал о кончине Некрасова, то был огорчен до глубины души. Всю ту ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренно восхищаясь многими из них и признавая их

настоящими перлами русской поэзии. Видя его крайнее возбуждение и опасаясь приступа эпилепсии, я до утра просидела у мужа в кабинете и из его рассказов узнала несколько неизвестных для меня эпизодов их юношеской жизни.

Федор Михайлович бывал на панихидах по Некрасове и решил поехать на вынос его тела и на его погребение. Рано утром 30 декабря мы приехали на Литейную к дому Краевского, где жил Некрасов, и здесь застали массу молодежи с лавровыми венками в руках. Федор Михайлович провожал гроб до Итальянской улицы, но так как идти с обнаженной головой в сильный мороз было опасно, то я уговорила мужа поехать домой, а затем через два часа приехать в Новодевичий монастырь к отпеванию. Так и сделали, и в полдень были в монастыре.

Постояв с полчаса в жаркой церкви, Федор Михайлович решил выйти на воздух. Вышел с нами и Ор. Ф. Миллер, и мы вместе пошли искать будущую могилу Некрасова. Тишина кладбища произвела на Федора Михайловича умиротворяющее впечатление, и он сказал мне: «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами, довольно я натерпелся от них при жизни!»

Мне было очень тяжело слышать его распоряжения насчет похорон; я стала его уговаривать, уверять, что он вполне здоров и что ему незачем думать о смерти. Желая изменить его грустное настроение, я стала фантазировать насчет его будущих похорон, умоляя жить на свете как можно дольше.

— Ну, не хочешь на Волковом, я похороню тебя в Невской Лавре, рядом с Жуковским, которого ты так любишь. Только не умирай, пожалуйста! Я позову невских певчих, а обедню служить будет архиерей, даже два. И знаешь, я сделаю, что за тобой пойдет не только эта громадная толпа молодежи, а весь Петербург, тысяч шестьдесят — восемьдесят. И венков будет втрое больше. Видишь, какие блестящие похороны я обещаю тебе устроить, но под одним условием, чтобы ты жил еще много, много лет! Иначе я буду слишком несчастна!

Я нарочно высказывала свои гиперболические обещания, зная, что это может отвлечь Федора Михайловича от угнетавшей его в ту минуту мысли, и мне удалось этого добиться. Федор Михайлович улыбнулся и сказал:

— Хорошо, хорошо, постараюсь пожить дольше!

Ор. Ф. Миллер сказал что-то о моей богатой фантазии, и разговор перешел на другое *.

На могиле Некрасова окружавшая ее толпа молодежи, после нескольких речей сотрудников «Отечественных записок», потребовала, чтобы Достоевский сказал свое слово. Федор Михайлович, глубоко взволнованный, прерывающимся голосом произнес небольшую речь, в которой высоко поставил талант почившего поэта и выяснил ту большую потерю, которую с его кончиною понесла русская литература. Это было, по мнению многих, самое задушевное слово, сказанное над раскрытой могилой Некрасова. Эта речь, значительно распространенная, была напечатана в декабрьском номере «Дневника писателя» за 1877 год. Она содержала в себе следующие главы: I. Смерть Некрасова.— О том, что сказано было на его могиле. II. Пуш-

---

* Прошло три года, и когда скончался Федор Михайлович и состоялись его грандиозные похороны, каких в столице доселе еще не бывало, то Ор. Ф. Миллер, в скором времени навестивший меня, напомнил мне о моем почти дословном предсказании всего, что произошло. Действительно, как я предсказала, Федор Михайлович нашел место своего вечного успокоения в Александро-Невской лавре, рядом с могилою поэта Жуковского (места рядом могло и не найтись), на отпевании его тела присутствовало два архиерея и пели превосходные невские певчие; за кортежем, как я предсказала, шло 60—80 тысяч народу и несли большое количество венков. Я сама припомнила мои фантастические обещания, сказанные на кладбище Новодевичьего монастыря, но своему столь точному предсказанию нисколько не удивилась: я знала за собою способность иногда высказать предположение или замечание (совершенно случайное, как бы невольно вырвавшееся у меня в разговоре), но которое исполнялось почти буквально. Обыкновенно эта способность проявлялась у меня в тех случаях, когда мои нервы были очень расстроены, а такими именно были они, когда мы провожали Некрасова и я с беспокойством видела, до чего смерть старинного друга и современника болезненно подействовала на моего мужа.

Я где-то читала, что способность некоторого как бы «провидения» присуща северным женщинам, то есть норвежкам и шведкам. Не моим ли происхождением от матери-шведки объясняется эта моя способность, доставившая мне в некоторых случаях немало неприятных минут.

кин, Лермонтов и Некрасов. III. Поэт и гражданин.— Общие толки о Некрасове как о человеке. IV. Свидетель в пользу Некрасова. По мнению многих литераторов, статья эта представляла лучшую защитительную речь Некрасова как человека, кем-либо написанную из тогдашних критиков[206].

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

1878—1879 гг.

I

Великим постом 1878 года Вл. С. Соловьев прочел ряд философских лекций, по поручению Общества любителей духовного просвещения, в помещении Соляного городка. Чтения эти собирали полный зал слушателей; между ними было много и наших общих знакомых. Так как дома у нас все было благополучно, то на лекции ездила и я вместе с Федором Михайловичем[207].

Возвращаясь с одной из них, муж спросил меня:

— А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

— Да и мне показалось, будто он нас избегал,— ответила я.— Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: «Не забудьте воскресенья»,— он ответил: «Ваш гость».

Меня несколько тревожило, не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу.

В ближайшее воскресенье Николай Николаевич пришел к обеду, я решила выяснить дело и прямо спросила, не сердится ли он на нас.

— Что это вам пришло в голову, Анна Григорьевна? — спросил Страхов.

— Да нам с мужем показалось, что вы на последней лекции Соловьева нас избегали.

— Ах, это был особенный случай,— засмеялся Страхов.— Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

— Как! С вами был Толстой! — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович.— Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете,— смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали! [208]

И в дальнейшем Федор Михайлович не раз выражал сожаление о том, что не знает Толстого в лицо.

II

К ВОСПОМИНАНИЯМ 1878 ГОДА

16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастие: скончался наш младший сын Леша. Ничто не предвещало постигшего нас горя: ребенок был все время здоров и весел. Утром в день смерти он еще лепетал на своем не всем понятном языке и громко смеялся с старушкой Прохоровной, приехавшей к нам погостить пред нашим отъездом в Старую Руссу. Вдруг личико ребенка стало подергиваться легкою судорогою; няня приняла это за родимчик, случающийся иногда у детей, когда у них идут зубы; у него же именно в это время стали выходить коренные. Я очень испугалась и тотчас пригласила всегда лечившего у нас детского доктора, Гр. А. Чошина, который жил неподалеку и немедленно пришел к нам. По-видимому, он не

придал особенного значения болезни, что-то прописал и уверил, что родимчик скоро пройдет. Но так как судороги продолжались, то я разбудила Федора Михайловича, который страшно обеспокоился. Мы решили обратиться к специалисту по нервным болезням, и я отправилась к профессору Успенскому. У него был прием, и человек двадцать сидело в его зале. Он принял меня на минуту и сказал, что как только отпустит больных, то тотчас приедет к нам; прописал что-то успокоительное и велел взять подушку с кислородом, который и давать по временам дышать ребенку. Вернувшись домой, я нашла моего бедного мальчика в том же положении: он был без сознания и от времени до времени его маленькое тело сотрясалось от судорог. Но, по-видимому, он не страдал: стонов или криков не было. Мы не отходили от нашего маленького страдальца и с нетерпением ждали доктора. Около двух часов он наконец явился, осмотрел больного и сказал мне: «Не плачьте, не беспокойтесь, это скоро пройдет!» Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтоб было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем, хотела его спросить, что́ именно сказал доктор (а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония), но он знаком запретил мне говорить. Прошло около часу, и мы стали замечать, что судороги заметно уменьшаются. Успокоенная доктором, я была даже рада, полагая, что его подергивания переходят в спокойный сон, может быть, предвещающий выздоровление. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу.

Федор Михайлович был страшно поражен этою смертию. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии,—болезни, от него унаследованной. Судя по виду, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над

нами удар судьбы, но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича, но так трудно было это осуществить. Владимир Сергеевич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в Пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и тут же было решено, что Федор Михайлович в половине июня приедет в Москву (он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Каткову свой будущий роман) и воспользуется случаем, чтобы съездить с Вл. С. Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев хоть и был, по моему мнению, «не от мира сего», но сумел бы уберечь Федора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии.

На меня смерть нашего дорогого мальчика произвела потрясающее впечатление; я до того потерялась, до того грустила и плакала, что никто меня не узнавал. Моя обычная жизнерадостность исчезла, равно как и всегдашняя энергия, на место которой явилась апатия. Я охладела ко всему: к хозяйству, делам и даже к собственным детям — и вся отдалась воспоминаниям последних трех лет. Многие мои сомнения, мысли и даже слова запечатлены Федором Михайловичем в «Братьях Карамазовых» в главе «Верующие бабы», где потерявшая своего ребенка женщина рассказывает о своем горе старцу Зосиме.

Федор Михайлович очень мучился моим состоянием: он уговаривал, упрашивал меня покориться воле божьей, с смирением принять ниспосланное на нас несчастие, пожалеть его и детей, к которым, по его мнению, я стала «равнодушна». Его уговоры и увещания на меня подействовали, и я поборола себя, чтобы своею экспансивною горестью не расстраивать еще более моего несчастного мужа.

Тотчас после похорон Алеши (мы похоронили его на Больше-Охтенском кладбище) мы переехали в Старую Руссу, а затем 20 июня Федор Михайлович уже был в Москве. Здесь ему очень скоро удалось сговориться с редакцией «Русского вестника» по поводу напечатания в следующем 1879 году нового его романа [209]. Окончив это дело, Федор Михайлович поехал в Оптину пустынь. История его путешествия или, вернее, «блужданий» с Вл. С. Соловьевым описана моим мужем в его письме ко мне от 29 июня 1878 года [210].

Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи Пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым «старцем», о. Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал «старцу» о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери... *. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый «старец».

Вернувшись осенью в Петербург, мы не решились остаться на квартире, где все было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в Кузнечном переулке, в доме № <5>, где через два с половиной года было суждено судьбою умереть моему мужу.

Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход (ныне заделанный) расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом).

Как ни старались мы с мужем покориться воле божьей и не тосковать, забыть нашего милого Лешу мы

* Пропуск в рукописи [211].

не могли, и вся осень и наступившая зима были омрачены печальными воспоминаниями. Потеря наша повлияла на мужа в том отношении, что он, и всегда страстно относившийся к своим деткам, стал их еще сильнее любить и сильнее за них тревожиться.

Внешняя жизнь шла по-прежнему: Федор Михайлович усиленно работал над планом своего нового произведения (составление плана романа всегда было главным делом в его литературных работах и самым трудным, так как планы некоторых романов, например романа «Бесы», переделывались иногда по нескольку раз). Работа шла настолько успешно, что уже в декабре 1878 года, кроме составленного плана, было написано около десяти печатных листов романа «Братья Карамазовы», которые и были напечатаны в январской книжке «Русского вестника» за 1879 год.

В декабре 1878 года (14-го) Федор Михайлович принимал участие в литературно-музыкальном вечере в зале Благородного собрания в пользу Бестужевских курсов. Он прочел из романа «Униженные» «рассказ Нелли». Что всех слушателей поразило в чтении Федора Михайловича — это было необыкновенное простодушие, искренность, как будто читал не автор, а рассказывала про свою горькую жизнь девушка-подросток. Было особенное искусство в том, чтобы столь простым чтением произвести на слушателей неизгладимое впечатление. Курсистки чрезвычайно горячо принимали читавшего, и, я помню, мужу было очень приятно быть среди этой восторженной молодежи, так искренно к нему относившейся. Впоследствии Федор Михайлович с особенным удовольствием откликался на зовы читать в пользу учащегося юношества [212].

III

1878 ГОД

Когда в предпоследнем номере «Дневника писателя» появилось извещение, что Федор Михайлович по болезненности прекращает свое издание [213], муж стал получать от подписчиков и читателей «Дневника писателя» сочувственные письма, в которых одни соболезновали по поводу его болезни и желали ему выздоров-

ления, другие выражали сожаление о прекращении журнала, так чутко отзывавшегося на все, что волновало в то время общество! Некоторые высказывали пожелание, чтобы Федор Михайлович, если его обременяет ежемесячный выпуск журнала, выдавал бы свой «Дневник» без определенного срока, когда здоровье и силы это позволят, но чтоб было можно хоть изредка слышать его искренние суждения о выдающихся событиях текущей жизни. Таких писем в начале года пришло более сотни, и письма эти производили на мужа самое доброе впечатление. Они доказывали Федору Михайловичу, что у него есть единомышленники и что общество ценит его беспристрастный голос и верит ему. По этому поводу у меня сохранилось напечатанное письмо Федора Михайловича к его другу Ст. Д. Яновскому[214], которое здесь выписываю:

«Вы не поверите, до какой степени я пользовался сочувствием русских людей в эти два года издания. Письма одобрительные и даже искренно выражавшие любовь приходили ко мне сотнями. С октября, когда объявил о прекращении издания, они приходят ежедневно со всей России, из всех (самых разнородных) классов общества, с сожалениями и с просьбами не покидать дела. Только совестливость мешает мне высказать ту степень сочувствия, которую мне все выражают. И если б вы знали, сколько я сам научился в эти два года издания из этих сотен писем русских людей. А главная наука в том, что истинно русских людей, не с исковерканным интеллигентно-петербургским взглядом, а с истинным и правым взглядом русского человека, оказалось несравненно больше у нас в России, чем я думал два года назад. До того больше, что даже в самых горячих желаниях и фантазиях моих я не мог бы этого результата представить. Поверьте, что у нас в России многое совсем не так безотрадно, чем прежде казалось, а главное — многое свидетельствует о жажде новой, правой жизни, о глубокой вере в близкую перемену в образе мыслей нашей интеллигенции, отставшей от народа и не понимающей его даже вовсе. Вы сердитесь на Краевского, но он не один; все они отрицали народ, смеялись и смеются над движением его и таким ярким святым проявлением его воли и фор-

мой, в которой он представил свое желание. С тем эти господа и исчезнут, слишком устарели и измочалились. Не понимающие народа теперь должны, несомненно, примкнуть к биржевикам и жидам, и вот final представителей нашей «передовой» мысли. Но идет новое. В армии наша молодежь и наши женщины (сестрицы) показали другое, чем все ожидали и о чем все пророчествовали. Будем ждать.

(Краевский же служит известным лицам и, кроме того, на мой взгляд, хотел отличиться оригинальностью еще с сербской войны. Задавшись раз, уже не мог оставить.) Впрочем, здесь у нас мало толку во всех даже газетах, кроме «Московских ведомостей» и их политических передовых, ценимых за границей очень. Остальные газеты эксплуатируют лишь минуту. Во всех сотнях писем, которые я получил в эти два года, всего более хвалили меня за искренность и честность мысли: значит, этого-то всего более и недостает у нас, этого-то и жаждут, этого-то и не находят. Граждан у нас мало в представителях интеллигенции» [215].

Шестого февраля 1878 года Федор Михайлович получил от Непременного Секретаря Академии Наук следующую бумагу:

«Императорская Академия Наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по Отделению Русского Языка и Словестности».

Избрание это состоялось в торжественном заседании Академии 29 декабря 1877 года.

Федор Михайлович был очень доволен этим избранием, хотя и несколько запоздалым (на 33-й год его деятельности) сравнительно с его сверстниками по литературе [216].

Припоминаю, что в начале 1878 года Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в «Малоярославце» и др. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Д. И. Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года)

Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах <...>

IV

1878 ГОД. ПРИЕЗД ПОКЛОННИЦЫ

Как-то раннею весною 1878 года мы мирно всей семьей сидели за обедом. Освежившись долгой прогулкой, Федор Михайлович был в очень хорошем настроении и весело беседовал с детьми. Вдруг раздался сильный звонок, девушка побежала отворить, и мы чрез полуоткрытую в переднюю дверь услышали, как чей-то женский, несколько визгливый голос произнес:

— Жив еще?

Девушка, не понявшая вопроса, молчала.

— Я спрашиваю, жив ли еще Федор Михайлович?

— Они живы-с,— ответила оторопевшая девушка.

Я хотела пойти узнать, в чем дело, но Федор Михайлович, сидевший ближе к двери, опередил меня, быстро вскочил и почти выбежал в переднюю.

К нему навстречу поднялась со стула немолодая дама, которая, простирая к нему руки, воскликнула:

— Вы живы, Федор Михайлович? Как я рада, что вы еще живы!

— Но, сударыня, что с вами? — воскликнул в свою очередь изумленный Федор Михайлович.— Я жив и намерен еще долго жить!

— А у нас в Харькове разнеслись слухи,— говорила в волнении дама,— что жена ваша вас бросила, что от измены ее вы тяжко заболели и лежите без помощи, и я тотчас выехала, чтоб за вами ухаживать. Я к вам прямо с машины!

Слыша возгласы, я тоже вышла в переднюю и нашла Федора Михайловича в полном негодовании:

— Слышишь, Аня,— обратился он ко мне,— какие-то негодяи распустили сплетню, будто ты от меня убежала, как это тебе покажется? Нет, как это тебе покажется?!!

— Да успокойся, дорогой, не волнуйся,— говорила я,— это какое-нибудь недоразумение. Уйди, пожалуйста, тебя в передней продует.— И я потихонечку потянула Федора Михайловича в сторону столовой. Он меня послушался, ушел, и еще долго слышались из столовой его негодующие восклицания.

Я же разговаривала с незнакомкою, которая оказалась учительницею, очень доброю, но не особенно, должно быть, умною особой. Ее, кажется, прельстила мысль ухаживать за знаменитым писателем, которого покинула негодная жена, и возможно, что проводить его в лучший мир, а затем гордиться остальную жизнь тем, что он скончался на ее руках. Мне было донельзя жаль бедную незнакомку, очевидно, серьезно взволнованную, и, извинившись, я отошла на минутку в столовую и сказала мужу, что хочу накормить ее обедом.

Федор Михайлович замахал руками и зашептал: «Да, позови ее, только дай мне сначала уйти!», вскочил с места и ушел к себе.

Я вернулась к незнакомке и предложила ей отдохнуть и пообедать, но она, видимо, огорченная сделанным ей мужем моим приемом, отказалась и попросила только горничную отнести до извозчика ее довольно большую плетеную корзину, которую за ней принес дворник. Я не стала настаивать, но осведомилась, где она остановится и как ее фамилия и имя-отчество.

Вернувшись к мужу, я нашла его в большом раздражении.

— Нет, ты подумай только,— говорил он, в волнении ходя по комнате,— какую низость придумали: ты меня бросила! Какая подлая клевета! Какой это враг сочинил?

Мысль, что меня могли оклеветать, наиболее поразила мужа в этом инциденте. Видя, что это сравнительно неважное происшествие так сильно его обеспокоило, я предложила ему написать в Харьков к своему старинному другу, профессору Н. Н. Бекетову[217], и расспросить его, какие слухи там о нас ходят. Муж принял мой совет, в тот же вечер написал Бекетову[218] и немного успокоился. На другой же день он просил меня навестить незнакомку, но я ее не застала: она еще утром уехала обратно.

V

1879 ГОД

Первые два месяца наступившего года прошли для нас спокойно: Федор Михайлович усиленно работал над романом, и работа ему давалась. В начале марта мужу пришлось принять участие в нескольких литературных вечерах. Так, 9 марта муж читал в пользу Литературного фонда в зале Благородного собрания. В этом вечере приняли участие наши лучшие писатели: Тургенев, Салтыков, Потехин и другие. Федор Михайлович выбрал для чтения «Рассказ по секрету» из «Братьев Карамазовых», прочел превосходно и своим чтением вызвал шумные овации [219]. Успех литературного вечера был так велик, что решили повторить его 16 марта почти с теми же (кроме Салтыкова) исполнителями. Во время чтения 16 марта мужу был поднесен букет цветов от лица слушательниц Высших женских курсов [220]. На ленте, расшитой в русском вкусе, находилась сочувственная чтецу надпись.

Около двадцатых чисел марта с мужем произошел неприятный случай, который мог иметь печальные последствия. Когда Федор Михайлович, по обыкновению, совершал свою предобеденную прогулку, его на Николаевской улице нагнал какой-то пьяный человек, который ударил его по затылку с такою силой, что муж упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь. Мигом собралась толпа, явился городовой, и пьяного повели в участок, а мужа пригласили пойти туда же. В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его «прощает». Тот пообещал, но так как назавтра о «нападении» появилось в газетах, то, ввиду литературного имени потерпевшего, составленный полицией протокол был передан на рассмотрение мирового судьи 13-го участка, г-на Трофимова. Недели через три Федор Михайлович был вызван на суд. На разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснил, что был «зело выпимши и только слегка дотронулся до «барина», который от этого и с ног свалил-

* Газ. «Голос», 1879, № 102, 14 апреля.

ся» *. Федор Михайлович заявил на суде, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Мировой судья, снисходя к его просьбе, постановил, однако, «за произведение шума» и беспорядка на улице подвергнуть крестьянина Андреева денежному штрафу в шестнадцать рублей, с заменою арестом при полиции на четыре дня. Муж мой подождал своего обидчика у подъезда и дал ему шестнадцать рублей для уплаты наложенного штрафа [221].

На пасхальных праздниках (3 апреля) в Соляном городке состоялось литературное чтение в пользу Фребелевского общества [222]; на нем Федор Михайлович прочел «Мальчика у Христа на елке». Ввиду того, что праздник был детский, муж пожелал взять на него и своих детей, чтобы они могли услышать, как он читает с эстрады, и увидеть, с какою любовью встречает его публика. Прием и на этот раз был восторженный, и группа маленьких слушателей поднесла чтецу букет цветов. Федор Михайлович оставался до конца праздника, расхаживая со своими детьми по залам, любуясь на игры детей и радуясь их восхищению доселе невиданными зрелищами.

На пасхе же Федор Михайлович читал в помещении Александровской женской гимназии в пользу Бестужевских курсов. Он выбрал сцену из «Преступления и наказания» и произвел своим чтением необыкновенный эффект. Курсистки не только горячо аплодировали Федору Михайловичу, но в антрактах окружали его, беседовали с ним, просили высказаться о разных интересовавших их вопросах, а когда, в конце вечера, он собрался уходить, то громадною толпой, в двести или более человек, бросились вслед за ним по лестнице до самой прихожей, где и стали помогать ему одеваться. Я стояла рядом с мужем, но стремительно бросившаяся толпа меня оттеснила, и я осталась далеко позади, уверенная, что муж без меня не уедет. Действительно, надев пальто, Федор Михайлович оглянулся и, не видя меня, жалобным голосом проговорил: «Где же моя жена? Она была со мной. Отыщите ее, прошу вас»,— обращался муж к окружавшим его почитательницам, и те дружно принялись выкрикивать мое имя. К счастью, меня не пришлось долго звать, и я тотчас подошла к мужу.

Наступила весна, и мы, по обыкновению, стали спешить с отъездом в Старую Руссу, тем более, что Федору Михайловичу было предписано профессором Кошлаковым непременно поехать в Эмс, а мужу хотелось пожить с семьей на даче и, если удастся, на свободе поработать.

На наше горе, весна была холодная и дождливая, и муж не только на даче не поправился, а даже похудел, что нас всех очень огорчило.

Зато лето началось для нас очень приятно: в Руссу приехала на сезон А. В. Жаклар-Корвин с семьей, которую мы оба очень любили. Муж почти каждый день, возвращаясь с прогулки, заходил побеседовать с умной и доброй женщиной, имевшей значение в его жизни.

Во второй половине июля (18-го) Федор Михайлович выехал за границу и 24-го был в Эмсе. Остановился (на прежней квартире) в Ville d'Alger и направился к своему доктору, г-ну Орту. Хотя прошло уже три года со времени последнего приезда мужа, но доктор его узнал и даже утешил обещанием, что «Кренхен его воскресит». «Нашел (писал мне муж от 25 июля), что у меня какая-то часть легкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом — все вследствие эмфиземы, хотя,— прибавил в утешение,— сердце совершенно здорово, а все эти перемены мест тоже немного значат и не грозят особенно. Конечно, он, как доктор, обязан даже говорить утешительные вещи, но если эмфизема еще только в начале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом? Впрочем, я сильно надеюсь на воды»[223].

Объяснения доктора Орта меня чрезвычайно смутили и обеспокоили, так как я, видя последние годы мужа бодрым и сильным, не предполагала, что болезнь его сделала такие зловещие успехи. Но зная, что питье Кренхена всегда приносило мужу большую пользу, я утешала себя мыслью, что улучшение здоровья произойдет и на этот раз.

Рассчитывала я очень на то, что Федор Михайлович встретит кого-либо из своих приятных ему знакомых, что встречи его развлекут и он не будет так ску-

чать, как скучал всегда, когда приходилось разлучаться с семьей. Но, к искреннему моему сожалению, мои надежды не осуществились: за все пятинедельное пребывание мужа в Эмсе не встретилось ни единого знакомого лица, и он горько жаловался на свое полнейшее одиночество. «В довершение досады и в читальне оказались только «Московские ведомости», страшно опаздывающие, и мерзкий «Голос», который меня только бесит[224]. Все развлечение — смотреть на детей, которых здесь много, и разговаривать с ними. Да и тут пакости: сегодня встречаю ребенка, идущего в школу в толпе других, пяти лет, идет, закрывает ладонями глаза и плачет. Спрашиваю, что с ним, и узнаю от прохожих немцев, что у него уже целый месяц воспаление в глазах (сильное мучение), а отец, сапожник, *не хочет* свести его к доктору, чтобы не истратить несколько пфеннигов на лекарство. Это меня ужас как расстроило, и вообще нервы у меня ходят, и я очень угрюм. Нет, Аня, скука не ничего. При скуке и работа мучение. Да и лучше каторга, нет, каторга лучше была!» *. Письма Федора Михайловича ко мне были самые грустные. В письме от 13 августа муж пишет: «Известие о бедной Эмилии Федоровне очень меня опечалило. Правда, оно шло к тому, с ее болезнью нельзя было долго жить. Но у меня с ее смертью кончилось как бы все, что еще оставалось на земле для меня от памяти брата. Остался один Федя, Федор Михайлович, которого я нянчил на руках. Остальные дети брата выросли как-то не при мне. Напиши Феде о моем глубоком сожалении, я же не знаю, куда писать ему... Представь, какой я видел сон 5-го числа (я записал число): вижу брата, он лежит на постели, а на шее у него перерезана артерия, и он истекает кровью, я же в ужасе думаю — бежать к доктору, и между тем останавливает мысль, что ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный сон, и главное, 5 августа, накануне ее смерти. Я не думаю, чтоб я был очень перед ней виноват: когда можно было, я помогал, и перестал помогать постоянно, когда уже были ближайшие ей помощники, сын и зять. В год же смерти брата я убил на их дело, не рассуждая и не сожалея, не только

* Письмо ко мне от 10 августа 1879 г.[225]

все мои 10 000, но и пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое отдал на позор с провалившимся изданием, работал, как вол, даже брат покойный не мог бы упрекнуть меня с того света». В конце письма прибавляет: «Завтра останется ровно две недели моему здешнему *молчанию,* ибо это не уединение только, а молчание. Я совсем разучился говорить, говорю даже сам с собой, как сумасшедший»[226]. В письме от 16 августа муж пишет мне: «Я от уединения стал мнителен, и мне все мерещится что ни есть худого и безотрадного. Тоска моя такая, что и не опишешь: забыл говорить даже, удивляюсь на себя, даже если случайно произнесу громкое слово. Голосу своего вот уже четвертую неделю не слышу»[227].

Я тоже очень мучилась тяжелым душевным состоянием мужа, особенно зная, что, кроме того, он беспокоится насчет присылки обещанных мною денег; выслать же деньги я не могла, так как произошло недоразумение с редакцией «Русского вестника»: редакция прислала мне перевод на контору Ахенбах и Колли в Петербурге. Так как я дала слово мужу, что не оставлю детей ни на один день, то поехать за деньгами я не могла, и мне пришлось отослать обратно перевод и просить выслать деньги наличными на Старую Руссу. Как только деньги были мною получены, я тотчас выслала их мужу.

VI

1879 ГОД. МЫСЛЬ О ПОКУПКЕ ИМЕНИЯ

Задумываясь о судьбе семьи в случае ослабления своей литературной деятельности или смерти, Федор Михайлович часто останавливался на мысли, когда мы расплатимся с долгами, купить небольшое имение и жить отчасти на доходы с него. В письме из Эмса от 13 августа 1879 года муж писал мне: «Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьезно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее Карамазовы, надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. Но вещь тоже и роковая: она должна установить

имя мое, иначе не будет никаких надежд. Кончу роман и в конце будущего года объявлю подписку на «Дневник» и на подписные деньги куплю имение, а жить и издавать «Дневник» до следующей подписки протяну как-нибудь продажей книжонок. Нужна энергическая мера, иначе никогда ничего не будет. Но довольно, еще успеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь деревни, а у меня все убеждения, что 1) деревня есть капитал, который к возрасту детей утроится, и 2) что тот, кто владеет землею, участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того, чем они будут: твердыми ли и самостоятельными гражданами (никого не хуже) или стрюцкими». В одном из следующих писем * нахожу:

«Я здесь все мечтаю об устройстве будущего и о том, как бы купить имение. Поверишь ли, чуть не помешался на этом. За деток и за судьбу их трепещу».

В принципе я совершенно была согласна в этом вопросе с мужем, но находила, что при наших обстоятельствах мысль об обеспечении судьбы детей имением могла оказаться неосуществимою. Первый и главный вопрос заключался в том: кто же будет заниматься имением, если б и удалось его приобрести? Федор Михайлович хоть и понимал в сельском хозяйстве, но, занятый литературным трудом, навряд ли мог бы принимать в нем деятельное участие. Я же ничего не понимала в деревенском хозяйстве, и, вероятно, прошло бы несколько лет, прежде чем я бы его изучила или приспособилась бы к этому вполне незнакомому для меня делу. Оставалось поручить имение управляющему, но по опыту многих знакомых помещиков я предвидела, к какому результату может привести хозяйничание иного управляющего.

Но Федор Михайлович так твердо установился на этой утешавшей его мысли, что мне было искренно жаль ему противоречить, и я просила его только выждать, когда нам выделят, наконец, нашу долю в наследстве после тетки мужа, А. Ф. Куманиной, и уже на выделенной нам земле начать помаленьку устраивать хозяйство. Федор Михайлович согласился со

* Письмо от 16 августа 1879 г.

мной и решил оставлять деньги за роман «Братья Карамазовы» в редакции «Русского вестника», чтобы иметь их в запасе, когда они понадобятся на устройство имения.

Наследство после А. Ф. Куманиной досталось нам еще в начале семидесятых годов. Оно состояло из имения в количестве 6000 десятин, находившихся в ста верстах от Рязани, близ поселка Спас-Клепики. На долю четырех братьев Достоевских (которым приходилось уплатить сестрам деньги), досталась одна треть имения, около двух тысяч десятин; из них на долю Федора Михайловича приходилось пятьсот десятин.

Так как наследников после Куманиной оказалось много, то сговориться с ними представляло большие трудности. Продать имение целиком — не находилось покупателей, а между тем с нас, как и с прочих сонаследников, требовались деньги на уплату повинностей; поверенный наш тоже требовал деньги на поездки в имение, бумаги, судебные расходы и проч., так что наследство это доставляло нам только одни неприятности и расходы.

Наконец, наследники пришли к решению взять землю натурой, но так как земля была разнообразная, от векового леса до сплошных болот, то мы с мужем решили получить значительно меньше десятин, но лишь бы земля была хорошего качества. Но чтоб выбрать участок, следовало съездить и осмотреть имение. Каждую весну заходил разговор о съезде всех наследников в имение с целью выбрать и отмежевать на свою долю известное количество десятин. Но всегда случалось, что то одному, то другому из сонаследников нельзя было приехать, и дело отлагалось на следующий год. Наконец, летом 1879 года наследники решили собраться в Москве с целью войти в какое-либо окончательное соглашение, и если это удастся, то всем проехать в Рязань, а оттуда в имение, и там на месте решить дело окончательно.

Федор Михайлович в то время лечился в Эмсе, и возвращение его ожидалось чрез месяц. Упустить представлявшийся случай покончить с этим столь тяготившим нас вопросом было бы жаль. С другой стороны, я была в затруднении — извещать ли мужа о предполагаемой поездке в имение, тем более, что она могла и

не состояться? Зная, как страстно Федор Михайлович любит своих детей и трепещет за их жизнь, я боялась известием о продолжительной поездке обеспокоить его и тем повредить его лечению. К счастию, я получила еще заранее согласие мужа повести детей в монастырь св. Нила Столбенского (в ста верстах от Руссы), и так как поездка должна была продлиться с неделю, то я решила сначала заехать на два, на три дня в Москву. Но, приехав туда и застав главных сонаследников, направлявшихся в имение, я решила воспользоваться случаем и поехала вместе с детьми, чтобы осмотреть землю и наметить то, что более всего подходило бы к желаниям мужа. Поездка наша в имение, продолжавшаяся около десяти дней, обошлась вполне благополучно, и мне удалось выбрать на долю мужа двести десятин строевого леса в так называемой «Пехорке» и сто десятин земли полевой. Федор Михайлович был доволен моим выбором, но в своих письмах из Эмса меня жестоко разбранил за мою «скрытность». Мне самой всегда было тяжело скрывать что-либо от Федора Михайловича, но иногда это было необходимо и именно ради того, чтобы не тревожить его и волнениями (которых можно было избежать) не вызвать лишний раз приступа эпилепсии, последствия которой так тягостны для мужа, особенно когда приступ случался вдали от семьи.

В начале сентября мы вернулись из Руссы, и у нас началась наша обычная жизнь: к двум часам у нас собиралось несколько человек, частью знакомых, частью незнакомых, которые по очереди входили к Федору Михайловичу и иной раз просиживали у него по часу. Зная, как утомительно действуют на мужа продолжительные разговоры, я иногда посылала горничную просить мужа выйти ко мне на минуту, и когда он приходил, давала ему стакан свежезаваренного чаю. Он наскоро выпивал, спрашивал о детях и спешил к своему собеседнику. Иногда, ввиду чересчур затянувшейся беседы, приходилось вызывать Федора Михайловича в столовую с тем, чтоб он принял какую-нибудь депутацию, пришедшую просить его читать на литературном вечере (в пользу какого-нибудь учреждения) или повидался с кем-нибудь из друзей, которым было трудно выждать очередь незнакомых посетителей.

В эту зиму симпатии общества к Федору Михайловичу (благодаря успеху «Братьев Карамазовых») еще более увеличились, и он стал получать почетные приглашения и билеты на балы, литературные вечера и концерты. Приходилось писать любезные отказы, благодарственные письма, а иногда, не желая обидеть приглашавших, муж направлял меня, и я, проскучав часа два, разыскивала учредительниц праздника и от имени мужа приносила благодарность за любезность и извинения его, что, по случаю спешной работы, он не мог быть на вечере. Все это усложняло нашу жизнь и мало приносило удовольствия.

В декабре 1879 года Федору Михайловичу пришлось несколько раз участвовать в литературных чтениях. Так, 16 декабря он читал в пользу общества вспомоществования нуждающимся ученикам Ларинской гимназии. Прочел он «Мальчик у Христа на елке». Чтение было дневное, в час дня. В числе участвовавших был актер, знаменитый рассказчик И. Ф. Горбунов, и я запомнила, что, благодаря его присутствию, в читательской все были чрезвычайно оживлены. Литераторы, прочитав выбранный отрывок, уже не выходили в публику, а оставались в читательской. Иван Федорович был в ударе, много рассказывал неизвестного и остроумного и даже на афише нарисовал чей-то портрет.

30 декабря состоялось тоже литературное утро, на котором Федор Михайлович мастерски прочитал «Великого Инквизитора» из «Братьев Карамазовых». Чтение имело необыкновенный успех, и публика много раз заставляла автора выйти на ее аплодисменты [228].

VII

1879—1880 гг.

В 1879—1880 годах Федору Михайловичу часто приходилось читать в пользу различных благотворительных учреждений, Литературного фонда и т. п. Ввиду слабого здоровья мужа я постоянно его сопровождала на эти литературные вечера, да и самой мне страшно хотелось послушать его поистине художественное чтение и присутствовать при тех восторженных

овациях, которые ему постоянно делала почитавшая его петербургская публика *.

Литературные вечера устраивались большею частью в зале городского Кредитного общества против Александринского театра или в Благородном собрании у Полицейского моста.

К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чем не основанными приступами ревности Федора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение. Приведу один такой случай.

В один из подобных литературных вечеров мы с Федором Михайловичем несколько запоздали, и прочие участники вечера были уже в сборе. При нашем входе все они дружески приветствовали Федора Михайловича, а мужчины поцеловали у меня руку. Этот светский обычай (целование руки), видимо, произвел неприятное впечатление на моего мужа. Он сухо со всеми поздоровался и отошел в сторону. Я мигом поняла, в чем дело. Обменявшись несколькими фразами с присутствовавшими, я села рядом с мужем с целью рассеять его дурное настроение. Но это мне не удалось: на два-три вопроса Федор Михайлович мне не ответил, а затем, взглянув на меня «свирепо», сказал:

— Иди к нему!!

Я удивилась и спросила:

— К кому к нему?

— Не по-ни-маешь?

— Не понимаю. К кому ж мне идти? — смеялась я.

— К тому, кто так *страстно* сейчас поцеловал твою руку!

Так как все бывшие в читательской мужчины из вежливости поцеловали мне руку, то я, конечно, не могла решить, кто был виновен в предполагаемом мужем моим преступлении.

Весь этот разговор Федор Михайлович вел вполголоса, однако так, что сидевшие вблизи отлично все

* Я постоянно привозила с собой на вечера: книгу, по которой муж читал, лекарство от кашля — эмские пастилки, лишний носовой платок (на случай его потери), плед, чтобы закутать горло мужа по выходе на холодный воздух, и проч. Видя меня всегда нагруженною, Федор Михайлович называл меня своим «верным оруженосцем».

слышали. Я очень сконфузилась и, боясь семейной сцены, сказала:

— Ну, Федор Михайлович, я вижу, ты не в духе и не хочешь со мною говорить. Так я лучше пойду в зал, отыщу свое место. Прощай!

И ушла. Не прошло пяти минут, как подошел ко мне П. А. Гайдебуров и сказал, что меня зовет Федор Михайлович. Предполагая, что муж затрудняется найти в книге помеченный для чтения отрывок, я тотчас пошла в читательскую. Муж встретил меня враждебно.

— Не удержалась?! Пришла поглядеть на него?— заметил он.

— Ну, да, конечно,— смеялась я,— но и на тебя тоже. Тебе что-нибудь нужно?

— Ничего мне не нужно.

— Но ведь ты меня звал?

— И не думал звать! Не воображай, пожалуйста!

— Ну, если не звал, так прощай, я ухожу.

Минут через десять ко мне подошел один из распорядителей и сказал, что Федор Михайлович осведомляется, где я сижу, а потому думает, что мой муж желает меня видеть. Я ответила, что только что была в читательской и не хочу мешать Федору Михайловичу сосредоточить все свое внимание на предстоящем ему чтении. Так и не пошла. Однако в первый же антракт распорядитель опять подошел ко мне с настоятельною просьбою от моего мужа прийти к нему. Я поспешила в читательскую, подошла к моему дорогому мужу и увидела его смущенное, виноватое лицо. Он нагнулся ко мне и чуть слышно проговорил:

— Прости меня, Анечка, и дай руку на счастье: я сейчас выхожу читать!

Я была донельзя довольна, что Федор Михайлович успокоился, и только недоумевала, кого из присутствовавших лиц (все как на подбор были более чем почтенного возраста) он заподозрил во внезапной любви ко мне. Только презрительные слова: «Ишь французишка, так мелким бесом и рассыпается»,— дали мне понять, что объектом ревнивых подозрений Федора Михайловича на этот раз оказался старик Д. В. Григорович (мать его была француженка).

Вернувшись с вечера, я очень журила мужа за его ни на чем не основанную ревность. Федор Михайлович,

по обыкновению, просил прощения, признавал себя виноватым, клялся, что это больше не повторится, и искренно страдал раскаянием, но уверял, что не мог превозмочь этой внезапной вспышки и в течение целого часа безумно меня ревновал и был глубоко несчастлив.

Сцены такого рода повторялись почти на каждом литературном вечере: Федор Михайлович непременно посылал распорядителей или знакомых посмотреть, где я сижу и с кем разговариваю. Он часто подходил к полуотворенной двери читательской и издали разыскивал меня на указанном мною месте. (Обыкновенно родным читавших предоставляли места вдоль правой стены, в нескольких шагах от первого ряда.)

Вступив на эстраду и раскланявшись с аплодирующей публикой, Федор Михайлович не приступал к чтению, а принимался внимательно рассматривать всех дам, сидевших вдоль правой стены. Чтобы муж меня скорее заметил, я или отирала лоб белым платком, или привставала с места. Только убедившись, что я в зале, Федор Михайлович принимался читать. Мои знакомые, а также распорядители вечером, разумеется, подмечали эти подглядывания и расспрашивания обо мне моего мужа и слегка над ним и надо мной подтрунивали, что меня иногда очень сердило. Мне это наскучило, и я однажды, едучи на литературный вечер, сказала Федору Михайловичу:

— Знаешь, дорогой мой, если ты и сегодня будешь так всматриваться и меня разыскивать среди публики, то, даю тебе слово, я поднимусь с места и мимо эстрады выйду из залы.

— А я спрыгну с эстрады и побегу за тобой узнавать, не случилось ли чего с тобой и куда ты ушла?

Федор Михайлович проговорил это самым серьезным тоном, и я убеждена в том, что он способен был решиться, в случае моего внезапного ухода, на подобный скандал.

VIII

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА

Приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и главным образом память на имена и лица, и он нажил себе немало врагов тем,

что не узнавал людей в лицо, а когда ему называли имя, то совершенно не был в состоянии, без подробных вопросов, определить, кто именно были говорившие с ним люди. Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, считали его гордецом, а забывчивость — преднамеренной, с целью оскорбить человека. Припоминаю случай, как раз, посещая Майковых, мы встретились на их лестнице с писателем Ф. Н. Бергом, который когда-то работал во «Времени», но которого мой муж успел позабыть. Берг очень приветливо приветствовал Федора Михайловича и, видя, что его не узнают, сказал:

— Федор Михайлович, вы меня не узнаете?

— Извините, не могу признать.

— Я — Берг.

— Берг? — вопросительно посмотрел на него Федор Михайлович (которому, по его словам, пришел на ум в эту минуту «Берг», типичный немец, зять Ростовых из «Войны и мира»).

— Поэт Берг,— пояснил тот,— неужели вы меня не помните?

— Поэт Берг? — повторил мой муж,— очень рад, очень рад!

Но Берг, принужденный так усиленно выяснять свою личность, остался глубоко убежденным, что Федор Михайлович не узнавал его нарочно, и всю жизнь помнил эту обиду. И как много врагов, особенно литературных, Федор Михайлович приобрел своею беспамятностью.

Эта забывчивость и неузнавание лиц, которых Федор Михайлович встречал в обществе, ставили подчас и меня в нелепое положение, и мне приходилось приносить за него извинения. Вспоминаю комический случай по этому поводу. Мы с мужем раза три-четыре в году на праздниках бывали в гостях в семье двоюродного брата, М. Н. Сниткина, очень любившего собирать у себя родных. Почти каждый раз случалось нам встречать там мою крестную мать, Александру Павловну И., которую я, после своего замужества, не посещала, так как ее муж, по своим политическим взглядам, не подходил к Федору Михайловичу. Она была очень обижена, что мой муж, вежливо поздоровавшись, никогда с нею не беседовал; она говорила об этом общим род-

ным, а те передали мне. При первой же поездке к Сниткиным я стала просить моего мужа побеседовать с Александрой Павловной и быть с нею как можно любезнее.

— Хорошо, хорошо,— обещал Федор Михайлович,— ты только покажи, которая из дам твоя крестная мать, а я уж найду интересный предмет для разговора. Ты останешься мною довольна!

Приехав в гости, я указала Федору Михайловичу на сидевшую на диване даму. Он внимательно посмотрел сначала на нее, потом на меня, затем опять на нее и, вежливо с нею поздоровавшись, во весь остальной вечер так к ней и не подошел. Вернувшись домой, я упрекнула мужа, что он не захотел исполнить такой незначительной моей просьбы.

— Да скажи мне, пожалуйста, Аня,— смущенно отвечал мне Федор Михайлович,— кто кому приходится крестной матерью? Ты ее крестила или она тебя? Я вас обеих давеча рассматривал: вы так мало отличаетесь друг от друга! Меня взяло сомнение, и, чтоб не ошибиться, я решил лучше к ней не подходить.

Дело в том, что разница лет между мною и крестною была сравнительно небольшая (16 лет), но так как я всегда очень скромно одевалась, почти всегда в темном, она же любила наряжаться и носить красивые наколки, то казалась значительно моложе своих лет. Вот эта моложавость и ввела в смущение моего мужа.

Но любопытнее всего было то, что через год, опять на рождестве, зная, что я непременно встречусь у Сниткиных с моею крестною матерью, я обратилась к Федору Михайловичу с тою же просьбою, усиленно растолковывая ему степень моей к ней близости. По-видимому, муж выслушал меня очень внимательно (очевидно, думая о чем-нибудь другом), обещал мне на этот раз с нею побеседовать, но так и не исполнил своего обещания: прошлогодние сомнения опять к нему вернулись, и он не мог решить вопроса, «кто из нас кого крестил», а спросить у меня при чужих счел неудобным.

Забывчивость Федора Михайловича на самые обыкновенные и близкие ему имена и фамилии ставила его иногда в неудобные положения: вспоминаю, как однажды муж пошел в наше дрезденское консульство,

чтобы засвидетельствовать мою подпись на какой-то доверенности (сама я не могла пойти по болезни). Увидев из окна, что Федор Михайлович поспешно возвращается домой, я пошла к нему навстречу. Он вошел взволнованный и сердито спросил меня:

— Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?

— Достоевская,— смущенно ответила я, удивившись такому странному вопросу.

— Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия? Меня в консульстве спросили, чья ты урожденная, а я забыл, и приходится второй раз туда идти. Чиновники, кажется, надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогой опять забуду!

Подобные случаи были нередки в жизни Федора Михайловича и, к сожалению, доставляли ему много врагов.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

I

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

Начало 1880 года ознаменовалось для нас открытием нового нашего предприятия: «Книжной торговли Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)».

Хотя с каждым годом наши денежные дела стали приходить в порядок и большинство долгов (лежавших на Федоре Михайловиче еще с 60-х годов) было уплачено, тем не менее материальное положение наше было шатко: жизнь становилась дороже и сложнее, а нам никак не удавалось отложить что-нибудь «на черный день». Это нас чрезвычайно тревожило, тем более, что Федор Михайлович сам сознавал, что ему становится все труднее и труднее работать. Да и болезнь его (эмфизема) прогрессировала, и можно было опасаться, что ввиду ухудшения здоровья наступит пере-

рыв в литературной работе. Вот на такой-то печальный случай и желалось бы иметь некоторый запас денег или какое-нибудь побочное занятие, которое бы их приносило. Но круг занятий для женщин и теперь довольно ограничен, а в те времена и подавно.

Я долго раздумывала, каким бы таким заняться делом, которое могло бы послужить нам хотя бы некоторым подспорьем. После долгих обдумываний и расспросив знающих лиц, я остановилась на мысли открыть книжную торговлю для иногородних, тем более что, благодаря нескольким своим изданиям, я отчасти уже ознакомилась с книжным делом. Начинаемое мною предприятие имело два преимущества: первое, самое для меня главное, оно не заставляло меня отлучаться из дому, и я по-прежнему могла следить за здоровьем мужа, за воспитанием детей и управлять своим хозяйством и делами. Второе преимущество состояло в том, что для открытия книжной торговли не приходилось затрачивать почти никаких денег: не надо было нанимать магазина и обзаводиться товаром, а можно было, на первое время, ограничиваться покупкою тех книг, на выписку которых были высланы деньги. Единственный расход заключался в уплате «торговых прав» и в найме мальчика, который бы ходил покупать книги, зашивал посылки и относил их на почту. Это составляло рублей 250—300 в год, и на такую сумму можно было рискнуть. Конечно, для успеха дела требовались объявления в газетах, но, на первый случай, я понадеялась на те гектографированные объявления, которые я разослала к бывшим подписчикам «Дневника писателя», а в будущем году предполагала разослать на общих издержках с издательницей «Семейных вечеров» [229] большое объявление во многих тысячах экземпляров. Это объявление было разослано в начале 1881 года, но уже не имело влияния на ход торговли.

Конечно, предпринятое дело могло рассчитывать на успех в том только случае, если книжная торговля принадлежала Ф. М. Достоевскому. Таким образом, взяв в казенной палате «торговые права», Федору Михайловичу пришлось обратиться в купца, над чем не преминули поглумиться его газетные недруги. Эти глумления нисколько не задевали самолюбия моего мужа, так

как он, вникнув в дело, одобрил мою идею и так же, как я, верил в успех нашего предприятия.

Надежды мои на успех основывались, главным образом, на том предположении, что подписчики на «Дневник писателя» 1876—1877 годов, привыкшие к аккуратному ведению дела в редакции, могли с доверием отнестись к книжной торговле того же издателя и при выписке нужных им книг. Надежды эти оправдались, и не прошло двух-трех месяцев, как из бывших подписчиков «Дневника писателя» образовался кружок лиц (человек тридцать), которые ежемесячно выписывали книги через нашу книжную торговлю. Припоминаю, например, епископа полтавского, который, при посредстве состоявшего при его преосвященстве князя В. М. Елецкого, выписывал ежемесячно (для личной библиотеки и для подарков) многие дорогие издания. Запомнила еще инженера из Минска, который на крупные суммы выписывал книги, и не по одной своей специальности.

Но, кроме образовавшегося прочного кружка покупателей, оказалось немало и единичных лиц, заметивших вновь открывшуюся книжную торговлю. Конечно, были и досадные клиенты вроде подписчиков на какую-нибудь газету, причем в пользу торговли очищалось двадать пять копеек. Но еще более досаждали покупщики, заставлявшие разыскивать какую-нибудь давным-давно распроданную книгу. После продолжительных и добросовестных поисков приходилось таким заказчикам возвращать их деньги обратно.

От меня лично книжная тогровля не отнимала много времени: приходилось лишь вести книги, записывать требования и писать счеты. Мальчика же мне рекомендовали уже служившего в книжном магазине, и Петр, несмотря на свои пятнадцать лет, отлично справлялся с покупкою книг и их отправкою [230].

Федор Михайлович очень интересовался ходом нашего предприятия, и в конце каждого месяца я составляла для него рапортичку доходов и расходов по этому делу. Обыкновенно прибыль колебалась от 80—90 рублей в начале и конце года (при подписке на журналы и газеты) и от 40—50 рублей в летние месяцы. В общем, первый год торговли дал за всеми расходами чи-

стой прибыли 811 рублей, и такой результат мы с Федором Михайловичем сочли хорошим предзнаменованием для будущего.

Разумеется, дело могло принять сразу более широкие размеры: были требования от учебных заведений и земских складов выслать им книги в кредит, но так как на приобретение книг требовались значительные суммы, то, несмотря на предстоявшую выгоду, нам приходилось от таких покупателей отказываться.

Книжная торговля для иногородних — дело очень прибыльное, разумеется, при умелом и аккуратном ведении его, и на моих глазах подобные небольшие книжные торговли за три десятка лет обратились в солидные книгопродавческие фирмы (Братья Башмаковы, Панафидин, Клюкин), и я вполне убеждена, что если б я продолжала свою книгопродавческую деятельность, то имела бы теперь магазин не хуже «Нового времени». Не продолжала же я книжные дела потому, что предприняла издание полного собрания сочинений моего мужа, которое потребовало от меня все мои силы и все мое время.

Когда после кончины Федора Михайловича я объявила о намерении закрыть книжную торговлю, то многие лица стали просить меня передать им мое предприятие, некоторые даже желали купить фирму и предлагали за нее около полутора тысяч рублей. Но я не согласилась: вести книжную торговлю, соединенную с именем Ф. М. Достоевского, могла лишь я сама, так как сознавала себя ответственною за достоинство фирмы. Неизвестно, как бы посмотрел на этот вопрос купивший фирму или получивший ее в дар и не подверглось ли бы дорогое для меня имя Федора Михайловича порицанию или глумлению в случае неумелого или недобросовестного ведения дел этою фирмою.

Таким образом, в начале марта 1881 года книжная торговля Ф. М. Достоевского прекратила свое существование.

Впрочем, я вспоминаю это мое недолговременное предприятие с хорошими чувствами, главным образом, за те добрые отношения, которые установились между покупателями и книжной торговлей. Некоторые лица наивно полагали, что Ф. М. Достоевский действительно сам занимается продажею книг, и писали, обращаясь

к нему лично. Другие, адресуясь в книжную торговлю, просили передать Федору Михайловичу свой восторг, испытанный при чтении романа «Братья Карамазовы» или другого его произведения. Иные просили при посылке счета сообщить на нем о здоровье «великого писателя» и выражали ему лучшие пожелания. Некоторыми подобными наивными и восторженными письмами Федор Михайлович был тронут до глубины души и просил меня написать корреспондентам от его имени поклоны и приветствия. Федор Михайлович, так часто встречавший недоброжелательство от своих литературных и иных друзей и критиков, очень ценил простодушные, а иногда наивные выражения восторга пред его талантом, уважения и преданности от совершенно ему незнакомых, но сочувствовавших его художественной деятельности людей.

II

НАЧАЛО 1880 ГОДА. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА. ПОСЕЩЕНИЕ ЗНАКОМЫХ

Вообще говоря, 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Федора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879 г.), по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. «Братья Карамазовы» имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Федор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен [231]. Задуманное нами предприятие (книжная торговля) осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Федора Михайловича, и настроение его духа было веселое и приподнятое.

В начале года Федор Михайлович был очень заинтересован предстоявшим диспутом Влад. Серг. Соловьева на доктора философии и непременно захотел присутствовать на этом торжестве. Я тоже поехала с мужем, главным образом, чтоб его уберечь от возможной в толпе простуды. Диспут был блестящий, и Соловьев с успехом отразил нападки серьезных своих оп-

понентов. Федор Михайлович остался ждать, пока публика не разошлась, чтоб иметь возможность пожать руку виновнику торжества. Вл. Соловьев был, видимо, доволен тем, что Федор Михайлович, несмотря на свою слабость, захотел быть в университете в числе его друзей в такой знаменательный день его жизни [232].

В 1880 году, несмотря на то, что Федор Михайлович усиленно работал над «Братьями Карамазовыми», ему пришлось много раз участвовать в литературных чтениях в пользу различных обществ. Мастерское чтение Федора Михайловича всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят.

В начале года я запомнила следующие его выступления: по просьбе П. И. Вейнберга Федор Михайлович читал 2 февраля в Коломенской женской гимназии, 20 марта Федор Михайлович читал в зале городской думы в пользу отделения несовершеннолетних С.-Петербургского дома милосердия *. Он выбрал для чтения «Беседу старца Зосимы с бабами».

Случилось так, что Федору Михайловичу пришлось и на следующий день (21 марта) участвовать в зале Благородного собрания в пользу Педагогических курсов. Муж выбрал отрывок из «Преступления и нака-

---

* Не могу не сказать об одном курьезе, случившемся со мной на литературном вечере 20 марта 1880 г. Зал городской думы был переполнен нарядною публикою, среди которой преобладал мужской элемент. Когда я разглядывала публику, меня поразило одно обстоятельство, именно: что лица большинства мужчин мне показались чрезвычайно знакомыми. Я сказала об этом Федору Михайловичу, и он подивился такому странному явлению. Но оно разъяснилось, когда в антракте всех участвующих и их жен попросили пожаловать в соседнюю залу. Там на больших столах стояли вазы с шампанским, фруктами, конфетами и распорядители вечера, городской голова И. И. Глазунов и его супруга, очень радушно угощали певцов и литераторов. Г-жа Глазунова была попечительницей Отделения С.-Петербургского дома милосердия, и, конечно, все купцы и приказчики Гостиного двора отозвались на ее зов посетить литературный вечер в пользу патронируемого ею учреждения. А так как я, запасаясь ввиду лета материями для детских платьиц, в поисках красивых рисунков, на днях обошла весь Гостиный двор, то лица приказчиков мне запомнились и теперь показались знакомыми. Я была очень довольна, что явление, которое я готова была принять за какую-нибудь неизвестную мне болезнь, так просто объяснилось.

зания» — «Сон Раскольникова о загнанной лошади». Впечатление было подавляющее, и я сама видела, как люди сидели, бледные от ужаса, а иные плакали. Я сама не могла удержаться от слез. Последним весенним чтением этого года был «Разговор Раскольникова с Мармеладовым», прочитанный мужем в Благородном собрании 28 марта в пользу Общества вспомоществования студентам С.-Петербургского университета.

Осенью 1880 года литературные чтения возобновились. Председатель Литературного фонда В. П. Гаевский, слышавший на Пушкинском празднестве чтение Федора Михайловича, уговорил его участвовать в пользу Литературного фонда 19 октября, в день лицейской годовщины. Федор Михайлович прочел сцену в подвале из «Скупого рыцаря» (сцена 2-я), затем стихотворение «Как весенней теплой порой», а когда его стали вызывать, то прочел «Пророка», чем вызвал необыкновенный энтузиазм публики. Казалось, стены Кредитного общества сотрясались от бурных аплодисментов. Федор Михайлович раскланивался, уходил, но его вызывали вновь и вновь, и это продолжалось минут десять [233].

Ввиду громадного успеха этого чтения, В. П. Гаевский решил повторить его через неделю, 26 октября, с тою же программою и теми же исполнителями. Благодаря городским толкам этот вечер привлек громадную толпу публики, которая не только заняла места, но густою толпою стояла в проходах. Когда вышел Федор Михайлович, публика стала аплодировать и долго не давала начать говорить; затем прерывала на каждом стихе рукоплесканиями и не отпускала с кафедры. Особенного подъема достиг восторг толпы, когда Федор Михайлович прочел «Пророка». Происходило что-то неописуемое по выражениям восторга.

21 ноября в зале Благородного собрания опять чтение в пользу Литературного фонда. В первом отделении прочел стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья», а во втором — отрывки из первой части поэмы Гоголя «Мертвые души».

30 ноября в зале городского Кредитного общества был устроен вечер в пользу Общества вспомоществования студентам С.-Петербургского университета. Федор Михайлович прочел «Похороны Илюшечки». Чте-

ние это, несмотря на тихий голос, было до того художественно, до того затронуло сердца, что я кругом себя видела скорбные и плачущие лица, и это не только у женщин. Студенты поднесли мужу лавровый венок и проводили его большою толпою до самого подъезда. Федор Михайлович мог воочию убедиться, до чего его любит и чтит молодежь. Сознание этого было очень дорого мужу.

На литературных чтениях публика принимала Федора Михайловича необыкновенно радушно. Появление его на эстраде вызывало гром аплодисментов, которые продолжались несколько минут. Федор Михайлович вставал из-за читального столика, раскланивался, благодарил, а публика не давала ему читать, а затем, во время чтения, прерывала его не раз оглушительными рукоплесканиями. То же было и при окончании чтения, и Федору Михайловичу приходилось выходить на вызовы по три-четыре раза. Конечно, восторженное отношение публики к его таланту не могло не радовать Федора Михайловича, и он чувствовал себя нравственно удовлетворенным. Пред чтением Федор Михайлович всегда боялся, что его слабый голос будет слышен лишь в передних рядах, и эта мысль его огорчала. Но нервное возбуждение Федора Михайловича в этих случаях было таково, что обычно слабый голос его звучал необыкновенно ясно и каждое слово было слышно во всех уголках большой залы [234].

Надо сказать правду, Федор Михайлович был чтец первоклассный *, и в его чтении своих или чужих про-

---

* Чтобы не быть голословной, приведу слова С. А. Венгерова о впечатлении, произведенном на него чтением Федора Михайловича: «На мою долю выпало великое счастье слышать его (Достоевского) чтение на одном из вечеров, устроенных в 1879 году Литературным фондом... Достоевский не имеет никого себе равного как чтеца. «Чтецом» Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который выходит в черном сюртуке на эстраду и читает свое произведение. На том же вечере, когда я слышал Достоевского, читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Григорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято-торжественно, все читали очень хорошо. Но именно только читали. А Достоевский в полном смысле слова пророчествовал. Тонким, но пронзительно-отчетливым голосом и невыразимо-захватывающе читал он одну из удивительнейших глав «Братьев Карамазовых» — «Исповедь горячего сердца»,— рассказ Мити Карама-

изведений все оттенки и особенности каждого передавались с особенною выпуклостью и мастерством. А между тем Федор Михайлович читал просто, не прибегая ни к каким ораторским приемам. Своим чтением (особенно когда он читал рассказ Нелли из «Униженных» или Алеши Карамазова про Илюшечку) Федор Михайлович производил впечатление потрясающее, и я видела у присутствовавших слезы на глазах; да и сама я плакала, хотя наизусть знала отрывки. Каждому своему чтению Федор Михайлович считал полезным предпослать небольшое предисловие, для того, чтоб оно было понятно лицам, которые или не читали, или забыли произведение.

Кроме литературных вечеров, Федор Михайлович в зиму 1879/80 года часто посещал своих знакомых, бывал по субботам у достоуважаемого Ивана Петровича Корнилова (бывшего попечителя Виленского учебного округа), у которого встречал много ученых и лиц, занимавших высокое официальное положение. Бывал на вечерах у Елены Андреевны Штакеншнейдер (дочери знаменитого архитектора),— у ней по вторникам собирались многие выдающиеся литераторы, читавшие иногда свои произведения [236]. Устраивались у ней и домашние спектакли; например, я запомнила, что мы с мужем зимою 1880 года присутствовали на представлении «Дон-Жуана»; исполнителями пьесы были: С. В. Аверкиева (дона Анна), с большим талантом исполнившая свою роль, поэт К. К. Случевский и Н. Н. Страхов. Роль так подходила к нему, что Федор Михайлович аплодировал ему и был очень весел в тот

зова о том, как пришла к нему Катерина Ивановна за деньгами, чтобы выручить отца. И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека. Когда читали другие, слушатели не теряли своего «я» и так или иначе, но по-своему относились к слышанному. Даже совместное с Савиной превосходное чтение Тургенева не заставляло забываться и не уносило ввысь. А когда читал Достоевский, слушатель, как и читатель кошмарно-гениальных романов его, совершенно терял свое «я» и весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходивших куда-то глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который некогда горел в глазах протопопа Аввакума» («Речь», 1915, 25 апреля).[235]

вечер. У Штакеншнейдер Федор Михайлович в эту зиму познакомился с Лидиею Ивановною Веселитской, впоследствии известной писательницей В. Микулич. Отмечу как чуткость и провидение Федора Михайловича: поговорив с молодой девушкой два-три раза, Федор Михайлович, несмотря на молодость ее и понятное смущение, угадал в ней не заурядную барышню, а заключающую в себе задатки чего-то высшего, стремления ее к идеалу и, наверное, литературный талант. В этом Федор Михайлович не ошибся, и автор «Мимочки» своими произведениями оставил заметный след в русской литературе [237].

Федор Михайлович очень уважал и любил Елену Андреевну Штакеншнейдер за ее неизменную доброту и кротость, с которою она переносила свои постоянные болезни, никогда на них не жалуясь, а, напротив, ободряя всех своею приветливостью. В семье Штакеншнейдеров особенною симпатиею пользовался брат Елены Андреевны, Адриан Андреевич, человек большого ума и искренний почитатель таланта Федора Михайловича. С Адрианом Андреевичем, как с талантливым юристом, Федор Михайлович советовался во всех тех случаях, когда дело касалось порядков судебного мира, и ему Федор Михайлович обязан тем, что в «Братьях Карамазовых» все подробности процесса Мити Карамазова были до того точны, что самый злостный критик (а таких было немало) не смог бы найти каких-либо упущений или неточностей.

Чрезвычайно любил Федор Михайлович посещать К. П. Победоносцева<...>.

Но всего чаще в годы 1879—1880 Федор Михайлович посещал вдову покойного поэта графа Алексея Толстого, графиню Софию Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин [238]. Но, кроме выдающегося ума, графиня С. А. Толстая обладала нежным, чутким сердцем, и я всю жизнь с глубокою благодарностью вспоминаю, как она сумела однажды порадовать моего мужа.

Как-то раз Федор Михайлович, говоря с графиней о Дрезденской картинной галерее, высказал, что в живописи выше всего ставит Сикстинскую мадонну, и, между прочим, прибавил, что, к его огорчению, ему все не удается привезти из-за границы хорошую большую фотографию с Мадонны, а здесь достать такую нельзя. Федор Михайлович, отправляясь в Эмс, непременно хотел купить хорошую копию с этой картины, но все не удавалось исполнить это намерение. Я тоже разыскивала большую копию с Мадонны в столичных эстампных магазинах, но тоже безуспешно. Прошло недели три после этого разговора, как в одно утро, когда Федор Михайлович еще спал, приезжает к нам Вл. С. Соловьев и привозит громадный картон, в котором была заделана великолепная фотография с Сикстинской мадонны в натуральную величину, но без персонажей, Мадонну окружающих.

Владимир Сергеевич, бывший большим другом графини Толстой, сообщил мне, что она списалась с своими дрезденскими знакомыми, те выслали ей эту фотографию, и графиня просит Федора Михайловича принять от нее картину «на добрую память». Это случилось в половине октября 1879 года, и мне пришло на мысль тотчас вставить фотографию в раму и порадовать ею Федора Михайловича в день его рождения, 30 октября. Я высказала мою мысль Соловьеву, и он ее одобрил, тем более что, оставаясь без рамы, фотография могла испортиться. Я просила Владимира Сергеевича передать графине мою сердечную благодарность за ее добрую мысль, а вместе с тем предупредить, что Федор Михайлович не увидит ее подарка ранее дня своего рождения. Так и случилось: накануне 30-го прекрасная, темного дуба резная рама со вставленною в нее фотографиею была доставлена переплетчиком и вбит для нее гвоздь в стену, прямо над диваном (постелью Федора Михайловича), где всего лучше выдавались на свету все особенности этого chef-d'oeuvr'a *.

Утром, в день нашего семейного праздника, когда Федор Михайлович ушел пить чай в столовую, картина была повешена на место; после веселых поздравле-

* шедевра *(фр.)*.

ний и разговоров мы вместе с детьми отправились в кабинет. Каково же было удивление и восторг Федора Михайловича, когда глазам его представилась столь любимая им Мадонна! «Где ты могла ее найти, Аня?» — спросил Федор Михайлович, полагая, что я ее купила. Когда же я объяснила, что это подарок графини Толстой, то Федор Михайлович был тронут до глубины души ее сердечным вниманием и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести пред ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений! Эта фотография составляет нашу семейную реликвию и хранится у моего сына.

Федор Михайлович любил посещать графиню С. А. Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, София Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина, и трое ее детей: два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича.

У графини С. А. Толстой Федор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества: с графиней А. А. Толстой (родственницей графа Л. Толстого) [239], с Е. А. Нарышкиной, графиней А. Е. Комаровской, с Ю. Ф. Абаза, княгиней Волконской, Е. Ф. Ванлярской, певицей Лавровской (княгиней Цертелевой) [240] и др. Все эти дамы относились чрезвычайно дружелюбно к Федору Михайловичу; некоторые из них были искренними поклонницами его таланта, и Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу.

Из лиц, с которыми Федор Михайлович любил беседовать и которых часто посещал в последние годы своей жизни, упомяну графиню Елизавету Николаев-

ну Гейден, председательницу Георгиевской общины. Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли. Любил Федор Михайлович бывать у Юлии Денисовны Засецкой (дочери партизана Дениса Давыдова) и постоянно вел с нею горячие, хотя и дружеские, споры по поводу ее религиозных убеждений. Бывал Федор Михайлович изредка у А. П. Философовой, которую очень ценил за ее энергическую деятельность, и говорил, что у нее «умное сердце» [241].

Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович.

III

ПОЕЗДКА В МОСКВУ НА ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

В марте 1880 года в литературных кружках стали ходить слухи о том, что памятник, сооружаемый Пушкину в Москве, готов и будет открыт этою же весною, причем предполагается совершить его открытие с особенною торжественностью. Предстоявшее событие очень заинтересовало наше интеллигентное общество, и многие собирались поехать на торжество. В Москве составился комитет по открытию памятника, а Общество любителей российской словесности при императорском Московском университете постановило праздновать открытие памятника публичными заседаниями. Председатель общества С. Юрьев разослал выдающимся литераторам приглашения прибыть на торжество [242]. Такое же приглашение получил Федор Михайлович. В пригласительном письме было предложено ему, как и другим, в случае его желания, произнести на торжественном заседании речь, посвященную памя-

ти Пушкина. Разноречивые толки, ходившие в столице, по поводу тех речей, которые будут произнесены представителями двух тогдашних партий: западников и славянофилов, очень волновали Федора Михайловича, и он объявил, что если болезнь не помешает, то он непременно поедет в Москву и выскажет в своей речи о Пушкине все то, что столь многие годы лежало у него на уме и на сердце. При этом Федор Михайлович выразил желание, чтобы и я поехала с ним. Конечно, я была страшно рада поехать в Москву не только ради того, чтоб увидеть столь необычное торжество, но и чтобы быть вблизи Федора Михайловича в эти для него тревожные, как я предвидела заранее, дни.

К чрезвычайному моему горю и искреннему сожалению Федора Михайловича, наша совместная поездка не могла осуществиться. Когда мы стали подсчитывать, во что может нам обойтись поездка, то пришли к убеждению, что она нам недоступна. После смерти нашего сына Алеши Федор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал еще мнительнее насчет их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку. Следовало взять детей с собой. Но так как путешествие и пребывание в Москве не могло продлиться менее недели, то наше житье с детьми в хорошей гостинице (вместе с проездом в Москву и обратно) не могло нам стоить менее трехсот рублей лишних. К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то все-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки. Как назло, наши счеты с «Русским вестником» были несколько запутаны, и взять денег из редакции представлялось затруднительным. Словом, после долгих размышлений и колебаний мы с мужем пришли к заключению, что я должна отказаться от пленявшей меня мысли поехать в Москву на торжество. Скажу, что впоследствии я остальную жизнь считала для меня величайшим лишением то обстоятельство, что мне не привелось присутствовать при том необычайном триумфе, которого удостоился мой дорогой муж на Пушкинском празднике.

Чтоб иметь возможность в тишине и на свободе обдумать и написать свою речь в память Пушкина Федор Михайлович пожелал раньше переехать в Старую

Руссу, и в самом начале мая мы всей семьей были уже у себя на даче.

В апреле 1880 года Федору Михайловичу стали говорить знакомые, что в «Вестнике Европы» появилась статья П. В. Анненкова под названием «Замечательное десятилетие», в которой автор говорит и о Достоевском. Федор Михайлович очень заинтересовался статьей и просил меня достать из библиотеки апрельскую книжку журнала. Мне удалось ее достать от знакомых только пред самым отъездом в Руссу, и мы увезли книгу с собой. Прочитав статью, муж мой пришел в негодование: Анненков в своих воспоминаниях сообщает, что Достоевский был такого высокого мнения о своем литературном таланте, что будто бы потребовал, чтобы его первое произведение, «Бедные люди», было отмечено особо — именно было напечатано «с каймой по сторонам страниц». Муж был страшно возмущен такою клеветой и немедленно написал Суворину, прося его заявить в «Новом времени» от его имени, что *ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым насчет «каймы», не было и не могло быть.* Многие из сверстников Федора Михайловича (например, А. Н. Майков), отлично помнившие те времена, тоже были возмущены статьею Анненкова, и А. С. Суворин, на основании письма Федора Михайловича и свидетельств современников, написал по поводу «каймы» две талантливых заметки (2 и 16 мая 1880 года) и поместил их в «Новом времени».

В ответ на опровержение Федора Михайловича П. В. Анненков высказал в... *, что произошла ошибка, что требование «каймы» относилось до другого произведения Федора Михайловича под названием «Рассказ Плисмылькова» (никогда не написанного). Клевета Анненкова так возмутила моего мужа, что он решил, если придется встретиться с ним на Пушкинском празднестве, не узнать его, а если подойдет,— не подать ему руки [243].

Открытие памятника Пушкину было назначено на 25 мая, но Федор Михайлович решил поехать за несколько дней для того, чтобы, не торопясь, достать се-

---

* Пропуск в рукописи.

бе билеты, необходимые для присутствования на всех торжественных заседаниях; кроме того, как товарищ председателя Славянского благотворительного общества, Федор Михайлович являлся представителем этого общества на торжестве и должен был заказать венки для возложения их на памятник.

Выехал Федор Михайлович 22 мая, и я с детьми поехала провожать его на вокзал. С истинным умилением припоминаю, как мой дорогой муж говорил мне на прощанье:

— Бедная ты, моя Анечка, так тебе и не удалось поехать! Как это жаль, как это грустно! Я так мечтал, что ты будешь со мной!

Огорченная предстоящею разлукою, а главное, страшно обеспокоенная за его здоровье и душевное настроение, я отвечала:

— Значит, не судьба, но зато ты должен меня утешить — писать мне каждый день непременно и самым подробным образом, чтоб я могла знать все, что с тобой происходит. Иначе я буду бесконечно беспокоиться. Обещаешь писать?

— Обещаю, обещаю,— говорил Федор Михайлович,— буду писать каждый день.— И как человек, верный данному слову, Федор Михайлович исполнил его и писал мне не только один, а иногда и два раза в день, до того хотелось ему избавить меня от беспокойства о нем, а также, по обыкновению, поделиться со мною всеми своими впечатлениями.

Расставаясь, мы оба полагали, что отсутствие Федора Михайловича продлится не дольше недели; двое суток на переезд в Москву и обратно и пять дней на те торжества, на которых Федору Михайловичу необходимо было присутствовать. И муж дал мне слово, что лишнего дня не задержится в Москве. Но случилось так, что Федор Михайлович вместо недели возвратился через двадцать два дня, и я могу сказать, что три недели его отсутствия были для меня временем мучительного беспокойства и опасений.

Надо сказать, что в конце 1879 года, по возвращении из Эмса, Федор Михайлович при посещении своем моего двоюродного брата, доктора М. Н. Сниткина, попросил осмотреть его грудь и сказать, большие ли успехи произвело его леченье в Эмсе. Мой родственник,

хотя и был педиатром, но был знаток и по грудным болезням, и Федор Михайлович доверял ему, как врачу, и любил его, как доброго и умного человека. Конечно (как сделал бы каждый доктор), он успокоил Федора Михайловича и заверил, что зима пройдет для него прекрасно и что он не должен иметь никаких опасений за свое здоровье, а должен лишь принимать известные предосторожности. Мне же, на мои настойчивые вопросы, доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своем теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды легких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжелые вещи, и вообще советовал беречь Федора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных.

Правда, доктор успокаивал меня тем, что эти разрывы артерий не всегда ведут к смерти, так как иногда образуется так называемая «пробка» — сгусток, который не допустит сильной потери крови. Можно представить себе, как я была испугана и как внимательно я стала наблюдать за здоровьем мужа.

Чтоб не отпускать Федора Михайловича одного в те семьи, где он мог иметь неприятные для него встречи и беседы, я стала жаловаться мужу, что мне дома скучно, и выражать желание бывать в обществе. Федор Михайлович, всегда жалевший, что я мало бываю в свете, был рад моему решению, и зиму 1879 года и весь 1880 год я часто сопровождала Федора Михайловича на собрания у знакомых и на литературные вечера; я заказала себе для выезда элегантное черное шелковое платье и приобрела две цветные наколки, которые, по уверению мужа, очень ко мне шли. На вечерах и собраниях мне иногда приходилось прибегать к хитростям, чтоб уберечь Федора Михайловича от неприятных для него встреч и разговоров; так, например, просила хозяйку дома посадить Федора Михайловича за вечерним столом подальше от такого-то господина или госпожи или, под благовидным предлогом, отзывала Федора Михайловича, если видела, что он начинает горячиться и сильно спорить. Словом, я была постоян-

но настороже, и вследствие этого выезды в свет доставляли мне мало удовольствия.

И вот, когда я находилась в таком страшном беспокойстве насчет здоровья Федора Михайловича, нам пришлось разлучиться не на неделю, как я рассчитывала, а на двадцать два дня. Боже, что я перенесла за это время, особенно видя по письмам, что возвращение Федора Михайловича все более и более отдаляется, а между тем столь опасные для него волнения и беспокойства увеличиваются. Мне представлялось, что волнения эти должны завершиться припадком, если не двумя, тем более, что приступов эпилепсии давно уже не было и можно было ожидать их скорого наступления. Самые мрачные предположения приходили мне в голову. Мысли о том, что с Федором Михайловичем случится припадок, что он, еще не придя в себя, пойдет по гостинице отыскивать меня *, что там его примут за помешанного и ославят по Москве, как сумасшедшего; что некому будет оберегать его спокойствие после припадка, что его могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка,— все эти мысли бесконечно меня мучили, и я не раз приходила к решению поехать в Москву и жить там, никому не показываясь, а лишь наблюдая за Федором Михайловичем. Но зная, что он будет бесконечно тревожиться за оставленных на няньку детей, не могла решиться на поездку. Я просила моих московских друзей, в случае, если с Федором Михайловичем произойдет припадок, тотчас мне телеграфировать, и я тогда бы выехала с первым поездом. Дни шли за днями, открытие памятника откладывалось, неприятные для Федора Михайловича обстоятельства (судя по письмам) [244] нарастали, а вместе возрастали и мои душевные страдания. Даже теперь, после такого долгого промежутка, я не могу вспомнить об этом времени без тягостного чувства.

К этому времени относится один эпизод, который не стоило бы записывать, если б о нем не упоминал Федор Михайлович в своем письме, написанном тотчас по возвращении с заседания, на котором московская публика

* Еще не вполне придя в себя от приступа эпилепсии, всегда шел ко мне, так как в эти минуты испытывал мистический ужас и присутствие близкого лица приносило ему успокоение.

так восторженно оценила речь Федора Михайловича в память Пушкина. Я говорю о покупке «жеребеночка».

Наш старший сын, Федя, с младенческих лет чрезвычайно любил лошадей, и, проживая по летам в Старой Руссе, мы с Федором Михайловичем всегда опасались, как бы не зашибли его лошади: двух-трех лет от роду, он иногда вырывался от старушки-няньки, бежал к чужой лошади и обнимал ее за ногу. К счастью, лошади были деревенские, привыкшие к тому, что около них вертятся ребятишки, а потому все сходило благополучно. Когда мальчик подрос, то стал просить, чтоб ему подарили живую лошадку. Федор Михайлович обещал купить, но как-то это не удавалось сделать. Я купила жеребенка в мае 1880 года совершенно случайно и горько потом в этом раскаивалась. Случилось это вот каким образом.

Однажды рано утром я с детьми пошла на городской базар. Когда мы шли по набережной нашей реки Перерытицы, мимо нас промчалась телега, на которой сидел бывший несколько навеселе мужик. За телегой бежал жеребенок. чрезвычайно статный, то обгоняя лошадь, то отставая от нее. Мы залюбовались жеребенком, и мой сын сказал, что вот такого жеребеночка и он хотел бы иметь. Подойдя к площади четверть часа спустя, мы заметили, что около лошади и жеребенка столпилось несколько мужиков и о чем-то спорят. Мы подошли и услышали, что подвыпивший мужик продает жеребенка «на кожу» и просит за него четыре рубля. Уже нашлись покупщики, но, ввиду просьбы сына и жалея, что жеребенка убьют, я предложила шесть рублей, и лошадка осталась за мной. Ничего не понимая ни в лошадях, ни в ведении сельского хозяйства, я, пока хозяин бегал «подкрепиться», стала расспрашивать мужиков, выживет ли у меня жеребенок без матери. Мнения разделились: одни уверяли, что нет, другие давали советы, чем именно кормить, и говорили, что при хорошем присмотре из него вырастет недурная лошадка. Впрочем, колебаться было уже нечего, и мы пошли вслед за телегой домой, а с нами рядом бежал жеребенок. Я в тот же день сообщила о нашей покупке Федору Михайловичу, и надо же было так случиться, что письмо мое пришло именно в тот день, когда Федором Михайловичем была произнесена его

знаменитая речь и когда все бывшее на заседании общество отнеслось к Федору Михайловичу с таким энтузиазмом! Прочтя мое письмо, Федор Михайлович, под влиянием волновавших его восторженных чувств, приписал слова: «цалую жеребеночка»[245], до того он чувствовал потребность излить на всех и на все подавлявшие его душу чувства умиления и восторга!

Первые дни прошли благополучно, жеребенок выпивал по пяти горшков молока, был весел и бегал за детьми, как собачка. Но потом пошло хуже. Федор Михайлович, понимавший толк в лошадях, нашел, что жеребенок имеет «унылый» вид, и послал за ветеринаром. Тот дал свои советы, но, должно быть, они пришли поздно, потому что три недели спустя жеребенка не стало. Дети были в отчаянии, я же не могла простить себе, что купила жеребенка. Правда, ему у другого владельца тоже предстояла бы смерть, но в ней я не чувствовала бы себя виноватой, как чувствовала теперь.

IV

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ИЗ МОСКВЫ

Наконец настал тот счастливый день, когда окончились мои мучения. 13 июня вернулся в Старую Руссу Федор Михайлович, и такой довольный и оживленный, каким я давно его не видала. Не только с ним в Москве не приключилось припадка эпилепсии, но благодаря нервному возбуждению он все время чувствовал себя очень бодрым. Рассказам его и моим расспросам о московских событиях не было конца, и сколько он рассказывал интересного, чего я потом не встречала в других описаниях Пушкинского празднества! Федор Михайлович как-то особенно умел все приметить и на недолгое время запомнить. Рассказывал мне, между прочим, Федор Михайлович о том, как он вернулся из последнего второго вечернего заседания (закончившего все пушкинские торжества) страшно усталый, но и страшно счастливый восторженным приемом прощавшейся с ним московской публики[246]. В полном изнеможении прилег он отдохнуть, а затем, уже позднею ночью, поехал опять к памятнику Пушкину. Ночь была

теплая, но на улицах почти никого не было. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании, после его речи, громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего «великого учителя» и поклонился ему до земли.

Искренняя радость при мысли, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина и воздвигла ему в «сердце России», Москве,— памятник; радостное сознание того, что он, с юных лет восторженный почитатель великого народного поэта, имел возможность своею речью воздать ему дань своего поклонения; наконец упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию, оваций публики,— все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, «минуты величайшего счастья». Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабываемые минуты [247].

Рассказывал мне Федор Михайлович и о том, что на следующее утро к нему приехал лучший тогдашний московский фотограф, художник Панов, и упросил Федора Михайловича дать ему возможность снять с него портрет. Так как муж мой торопился уехать из Москвы, то, не теряя времени, отправился с Пановым в его фотографию. Впечатления вчерашних знаменательных для Федора Михайловича событий живо отпечатлелись на сделанной художником фотографии, и я считаю этот снимок художника Панова наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения) портретов Федора Михайловича. На этом портрете я узнала то выражение, которое видала много раз на лице Федора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья [248].

Но прошло дней десять, и настроение Федора Михайловича резко изменилось; виною этого были отзывы газет, которые он ежедневно просматривал в читальне минеральных вод. На Федора Михайловича обрушилась целая лавина газетных и журнальных обвинений, опровержений, клевет и даже ругательств. Те представители литературы, которые с таким восторгом

прослушали его Пушкинскую речь и были ею поражены до того, что горячо аплодировали чтецу и шли пожать ему руку,— вдруг как бы опомнились, пришли в себя от постигшего их гипноза и начали бранить речь и унижать ее автора. Когда читаешь тогдашние рецензии на Пушкинскую речь, то приходишь в негодование от той бесцеремонности и наглости, с которою относились к Федору Михайловичу писавшие, забывая, что в своих статьях они унижают человека, обладающего громадным талантом, работающего на избранном поприще тридцать пять лет и заслужившего уважение и любовь многих десятков тысяч русских читателей [249]

Надо сказать, что эти недостойные нападки чрезвычайно огорчали и оскорбляли Федора Михайловича, и он был ими так расстроен, что предчувствуемые мною два приступа эпилепсии не замедлили случиться и отуманили на целых две недели голову Федора Михайловича. В письме к Ор. Ф. Миллеру от 26 августа 1880 года * Федор Михайлович писал:

«За мое же слово в Москве — видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство, мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев ** не был облит такими помоями, как я» [250].

Да, много, слишком много тяжелого пришлось Федору Михайловичу вынести от своей литературной братии!

Федор Михайлович, однако, не счел себя побежденным и, не имея возможности ответить на все нападки, решил возразить лицу, которого мог считать достойным себя соперником в литературном споре, именно профессору С.-Петербургского университета А. Д. Градовскому на его статью «Мечты и действительность» («Голос», 1880, № 174) [251]. Ответ свой Федор Михайлович поместил в единственном номере «Дневника писателя» за 1880 год вместе с своею Пушкинскою речью, которая первоначально была помещена в «Московских ведомостях» и усиленно спрашивалась публикою. Для издания этого номера мне пришлось поехать на три дня в столицу. «Дневник» со статьею

* «Журнал журналов», 1915, № 2.
** Герой одного банковского процесса.

«Пушкин» и отповедью Градовскому имел колоссальный успех, и шесть тысяч экземпляров были распроданы еще при мне, так что мне пришлось заказать второе издание того номера уже в большем количестве, и оно тоже все было раскуплено осенью.

Написав ответ своим критикам, Федор Михайлович несколько успокоился и принялся за окончание романа «Братья Карамазовы». Оставалось написать всю четвертую часть романа, около двадцати печатных листов, и необходимо было закончить его до октября, так как мы предполагали напечатать роман в отдельном издании. Ради удобства работы мы остались в Старой Руссе до конца сентября, о чем, впрочем, и не пришлось сожалеть, так как осень была прекрасная.

По возвращении нашем в Петербург, Федору Михайловичу пришлось читать на нескольких литературных вечерах [252]. Тогдашний председатель Литературного фонда В. П. Гаевский, бывший на Пушкинском празднестве и слышавший, как на одном вечернем чтении Федор Михайлович читал стихотворение Пушкина «Пророк», уговорил Федора Михайловича прочесть его на литературном вечере в пользу фонда, в день лицейского праздника, 19 октября. Чтение это было настоящим триумфом для Федора Михайловича: казалось, стены городского Кредитного общества дрожали от рукоплесканий, когда Федор Михайлович окончил «Пророка». Надо признать, что это было поистине высокохудожественное чтение, оставившее в слушателях неизгладимое впечатление. Мне случалось встречать людей, которые по прошествии двух десятков лет помнили, как поразительно хорошо удавалось прочесть Федору Михайловичу это талантливое стихотворение. Почти на всех последовавших в 1880 году чтениях публика непременно требовала, чтобы Федор Михайлович прочел «Пророка».

Успех литературного чтения 19 октября 1880 года, главным образом, благодаря участию Федора Михайловича, был настолько велик, что председатель Литературного фонда решил повторить то же самое чтение через неделю, 26 октября. На этот раз овации, сделанные Федору Михайловичу, достигли своего апогея: публика аплодировала, вызывала Федора Михайловича, кричала браво и упросила его прочесть «Пророка»

вторично, а затем ожидала его на лестнице и с аплодисментами проводила его до подъезда. На этот раз энтузиазм был колоссальный, и Федор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики.

Литературный фонд устроил литературный вечер 21 ноября 1880 года *, тоже с участием Федора Михайловича. Затем последовали чтения Федора Михайловича в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 ноября, в пользу <Общества вспомоществования студентам Петербургского университета> 14 декабря и, наконец, в пользу приюта св. Ксении в доме графини Менгден — 22 декабря. На последнем чтении, в антракте, Федор Михайлович был приглашен во внутренние комнаты, по желанию императрицы Марии Федоровны [253], которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала.

Участие в литературных чтениях чрезвычайно интересовало Федора Михайловича, а те шумные овации, которыми сопровождались чтения, были ему дороги и приятны, но, к сожалению, очень его волновали и отнимали много сил, которых у него было так мало.

В последние зимы Федора Михайловича особенно полюбила наша всегда отзывчивая молодежь. Ему постоянно присылались почетные билеты на концерты и балы, устраивавшиеся в высших учебных заведениях. На этих концертах Федор Михайлович был всегда чрезвычайно окружен; молодежь ходила за ним толпою, предлагала ему вопросы, на которые Федору Михайловичу приходилось отвечать чуть ли не речами; иногда горячо спорила с ним и с любопытством прислушивалась к его возражениям. Это живое общение с любившею и ценившею его талант молодежью было необыкновенно привлекательно для Федора Михайловича, и он возвращался после этих бесед хотя и очень усталый физически, но приятно возбужденный и подробно рассказывал мне (всегда на этих вечерах остававшейся хотя и вблизи, но в стороне) подробности так интересовавших его разговоров.

В начале декабря 1880 года вышел в свет в отдельном издании роман «Братья Карамазовы» в количест-

* Федор Михайлович читал отрывок из «Мертвых душ».

ве трех тысяч экземпляров. Издание это имело сразу громадный успех, и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров. Конечно, Федору Михайловичу было дорого убедиться в том интересе, который возбудил его новый роман. Это было, можно сказать, последнее радостное событие в его столь богатой всяческими невзгодами жизни.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

СМЕРТЬ. ПОХОРОНЫ

По натуре своей Федор Михайлович был на редкость трудолюбивым человеком. Мне представляется, что если б он был даже богат и ему не приходилось бы заботиться о средствах к жизни, то и тогда он не оставался бы праздным, а постоянно находил бы темы для неустанной литературной работы.

К началу 1881 года со всеми долгами, так долго нас мучившими, было покончено и даже в редакции «Русского вестника» имелись заработанные деньги (около пяти тысяч). Казалось, не было настоятельной надобности тотчас приниматься за работу, но Федор Михайлович не хотел отдыхать. Он решил вновь взяться за издание «Дневника писателя», так как за последние смутные годы у него накопилось много тревоживших его мыслей о политическом положении России, а высказать их свободно он мог только в своем журнале. К тому же шумный успех единственного номера «Дневника писателя» за 1880 год дал нам надежду, что новое издание найдет большой круг читателей, а распространением своих задушевных идей Федор Михайлович очень дорожил. Издавать «Дневник писателя» Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть «Братьев Карамазовых», где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни. Намеченный Федором Михайловичем план будущего романа, по его расска-

зам и заметкам, был необыкновенно интересен, и истинно жаль, что роману не суждено было осуществиться [254].

Объявленная на «Дневник писателя» подписка пошла успешно, и к двадцатым числам января у нас было около... * подписчиков.

Федор Михайлович всегда имел хорошую привычку не считать подписные деньги своими собственными до той поры, пока не удовлетворит подписчиков, а потому завел в государственном банке книжку на свое имя, по которой я и вносила получавшиеся от подписки деньги. Благодаря этому обстоятельству я имела возможность немедленно вернуть подписчикам подписные деньги.

Первую половину января Федор Михайлович чувствовал себя превосходно, бывал у знакомых и даже согласился участвовать в домашнем спектакле, который предполагали устроить у графини С. А. Толстой в начале следующего месяца. Шла речь о постановке двух-трех сцен из трилогии графа А. К. Толстого, и Федор Михайлович брал на себя роль схимника в «Смерти Иоанна Грозного».

Припадки эпилепсии уже три месяца не мучили его, и его бодрый, оживленный вид давал всем нам надежду, что зима пройдет благополучно. Со средины января Федор Михайлович сел за работу январского «Дневника», в котором ему хотелось высказать свои мысли и пожелания по поводу «Земского собора». Тема статьи была такого свойства, что ее могла бы не пропустить цензура [255], и это очень озабочивало Федора Михайловича. Про его беспокойство узнал чрез графиню С. А. Толстую только назначенный председателем цензурного комитета Николай Саввич Абаза и просил передать Федору Михайловичу, чтоб он не тревожился, так как цензором его статьи будет он сам. К 25 января статья была готова и сдана в типографию для набора, так что оставалось лишь прокорректировать окончательно, сдать цензору и печатать с тем, чтобы выдать номер «Дневника» в последний день месяца.

---

* Пропуск в рукописи.

25 января было воскресенье, и у нас было много посетителей. Пришел профессор Ор. Ф. Миллер и просил моего мужа читать 29 января, в день кончины Пушкина, на литературном вечере в пользу студентов. Не зная, какова будет судьба его статьи о Земском соборе и не придется ли заменить ее другою, Федор Михайлович сначала отказывался от участия в вечере, но потом согласился. Был Федор Михайлович, как замечено было всеми нашими гостями, вполне здоров и весел, и ничто не предвещало того, что произошло через несколько часов.

Утром. 26 января, Федор Михайлович встал, по обыкновеннию, в час дня, и когда я пришла в кабинет, то рассказал мне, что ночью с ним случилось маленькое происшествие: его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку (а вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос); чтобы достать вставку, Федор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжелая, и Федору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь; но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью. Я страшно встревожилась и, не говоря ничего Федору Михайловичу, послала нашего мальчика Петра к доктору Я. Б. фон Бретцелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать. К несчастию, тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после пяти.

Федор Михайлович был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать «Новое время». Часа в три пришел к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком — всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем «Дневнике»; собеседник начал что-то доказывать, Федор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я два раза говорила гостю, что Федор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить. Наконец, около пяти часов, гость ушел и мы собира-

лись идти обедать, как вдруг Федор Михайлович присел на свой диван, помолчал минуты три, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбородок мужа окрасился кровью и она тонкой струей течет по его бороде[256]. Я закричала, и на мой зов прибежали дети и прислуга. Федор Михайлович, впрочем, не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться; он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер «Стрекозы», где была карикатура двух рыболовов, запутавшихся в сетях и упавших в воду[257]. Он даже прочел детям это стихотворение, и так весело, что дети успокоились. Прошло спокойно около часу, и приехал доктор, за которым я вторично послала. Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя — первые слова его, обращенные ко мне, были:

— Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!

Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но, чтоб успокоить больного, я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник, о. Мегорский, чрез полчаса был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я стояла ни жива ни мертва, не имея силы сказать что-нибудь в ответ. Вошел доктор, уложил больного на диван, запретил ему малейшее движение и разговор и тотчас попросил послать за двумя докторами, одним, его знакомым, А. А. Пфейфером и за профессором Д. И. Кошлаковым, с которым муж мой иногда советовался. Кошлаков, поняв из записки доктора фон Бретцеля, что положение больного тяжелое, тотчас приехал к нам. На этот раз больного не тревожили

осматриванием и Кошлаков решил, что так как крови излилось сравнительно немного (в три раза — стакана два), то может образоваться «пробка», и дело пойдет на выздоровление. Доктор фон Бретцель всю ночь провел у постели Федора Михайловича, который, по-видимому, спал спокойно. Я тоже заснула лишь под утро.

Весь день 27 января прошел спокойно: кровотечение не повторялось, Федор Михайлович, по-видимому, успокоился, повеселел, велел позвать детей и даже шепотом с ними поговорил. Среди дня стал беспокоиться насчет «Дневника», пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хоть я задержала метранпажа на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился.

Между тем весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по городу, и с двух часов до позднего вечера раздавались звонки, которые пришлось привязать: приходили узнавать о здоровье знакомые и незнакомые, приносили сочувственные письма, присылались телеграммы. К больному запрещено было кого-либо допускать, и я только на две-три минуты выходила к знакомым, чтоб сообщить о положении здоровья. Федор Михайлович был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием, шепотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо. Приехал профессор Кошлаков, нашел, что положение значительно улучшилось, и обнадежил больного, что через неделю он будет в состоянии встать с постели, а через две — совсем поправится. Он велел больному как можно больше спать; поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой. Так как прошлую ночь я провела в креслах и плохо спала, то на эту ночь мне постлали постель на тюфяке, на полу рядом с диваном, где лежал Федор Михайлович,

чтоб ему легче было меня позвать. Утомленная бессонною ночью и беспокойным днём, я быстро заснула, ночью несколько раз поднималась и при свете ночника видела, что мой дорогой больной спокойно спит. Проснулась я около семи утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня,— сказал Федор Михайлович полушепотом,— я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру.

— Голубчик мой, зачем ты это думаешь? — говорила я в страшном беспокойстве,— ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет, очевидно, образовалась «пробка», как говорил Кошлаков. Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!

— Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!

Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске (когда он ехал на каторгу) женами декабристов (П. Е. Анненковой, ее дочерью Ольгой Ивановной, Н. Д. Муравьевой-Апостол[258] Фон-Визиной). Они упросили смотрителя острога позволить им видеться с приехавшими политическими преступниками, пробыли с ними час и «благословили их в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге» *. Федор Михайлович не расставался с этою святою книгою во все четыре года пребывания в каторжных работах[259]. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего). И теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть.

Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. II: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

---

* «Старые люди», «Дневник писателя», 1873 г.

— Ты слышишь — «не удерживай» * — значит, я умру,— сказал муж и закрыл книгу.

Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!

Я была до глубины души растрогана его задушевными словами, но и страшно встревожена, опасаясь, как бы волнение не принесло ему вреда. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть, уснуть. Муж послу-

---

* В Евангелии издания двадцатых годов прошлого столетия стоит слово «не удерживай», в новейших изданиях оно заменено словом «оставь». Именно это место Евангелия изложено в последующих изданиях в следующих словах: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

Слова Евангелия, открывшиеся Федору Михайловичу в день его смерти, имели глубокий смысл и значение в нашей жизни. Возможно, что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоровление было бы непродолжительно: известие о злодействе 1 марта [260], несомненно, сильно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя — освободителя крестьян; едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался. Конечно, его кончина и в смутное время произвела бы большое впечатление, но не такое колоссальное, какое произвела она тогда: мысли всего общества были бы слишком поглощены думами о злодействе и о тех осложнениях, которые могут последовать в такой трагический момент жизни государства. В январе 1881 г., когда все было, по-видимому, спокойно, смерть моего мужа явилась «общественным событием»: ее оплакивали самые различные по своим политическим воззрениям люди, самые различные круги общества. Необычайная торжественность погребального шествия и похорон Федора Михайловича привлекла массу читателей и почитателей из среды лиц, относившихся равнодушно к русской литературе, и, таким образом, возвышенные идеи моего мужа получили значительно большее распространение и надлежащую, достойную его таланта оценку.

После кончины великодушного царя-освободителя, возможно, что и семье нашей не было бы оказано царской милости, а ею была исполнена всегдашняя мечта моего мужа о том, чтобы наши дети получили образование и могли впоследствии стать полезными слугами царя и отечества.

шался меня, перестал говорить, но по умиротворенному лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен.

Около девяти утра Федор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей. Я сидела не шевелясь, боясь каким-нибудь движением нарушить его сон. Но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось. Я была в полном отчаянии, хотя изо всех сил старалась иметь бодрый вид и уверяла мужа, что крови вышло немного и что, наверно, как и третьего дня, опять образуется «пробка». На мои успокоительные слова Федор Михайлович только печально покачал головой, как бы вполне убежденный в том, что предсказание о смерти сегодня же сбудется.

Среди дня опять стали приходить родные, знакомые и незнакомые, опять приносили письма и телеграммы. Приехал пасынок Федора Михайловича, которого я накануне письмом уведомила о болезни мужа. Павел Александрович непременно хотел войти к больному, но доктор его не пустил; тогда он стал в щелку двери подглядывать в комнату. Федор Михайлович заметил его подглядывания, взволновался и сказал: «Аня, не пускай его ко мне, он меня расстроит!»

Между тем П. А. Исаев очень волновался и говорил всем приходившим узнавать о положении Федора Михайловича, знакомым и незнакомым, что у «отца» не составлено духовного завещания и что надо привезти на дом нотариуса, чтобы Федор Михайлович мог лично распорядиться тем, что ему принадлежит. Приехавший навестить больного профессор Кошлаков, узнав от пасынка о намерении его привезти нотариуса, воспротивился этому и объявил, что необходимо изо всех сил беречь силы больного, что подобная деловая сцена, где потребуются от него распоряжения и объяснения, может только укрепить мысли о скорой смерти, что всякое волнение может погубить больного.

В сущности, в духовном завещании не было надобности: литературные права на произведения Федора Михайловича были им подарены мне еще в 1873 году. Кроме пяти тысяч рублей, оставшихся в редакции «Русского вестника», у Федора Михайловича ничего не было, а наследниками этих небольших денег являлись мы, то есть дети и я.

Я весь день ни на минуту не отходила от мужа; он держал мою руку в своей и шепотом говорил: «Бедная... дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!..»

Я успокаивала его, утешала надеждой на выздоровление, но ясно, что в нем самом этой надежды не было, и его мучила мысль, что он оставляет семью почти без средств. Ведь те четыре-пять тысяч, которые хранились в редакции «Русского вестника», были единственными нашими ресурсами.

Несколько раз он шептал: «Зови детей». Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и, по приказанию доктора, тотчас уходили, а Федор Михайлович провожал их печальным взором. Часа за два до кончины, когда пришли на его зов дети, Федор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде.

В течение дня у нас перебывала масса разных лиц, к которым я не выходила. Приехал Аполлон Николаевич Майков и некоторое время говорил с Федором Михайловичем, который отвечал шепотом на его приветствия.

Около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой и ждали Кошлакова, который около этого часа посещал нас. Вдруг безо всякой видимой причины Федор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо. Мы стали давать Федору Михайловичу кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Около этого времени опять приехал Майков с своею женою, и добрая Анна Ивановна решила съездить за доктором Н. П. Черепниным. Федор Михайлович был без сознания, дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, это слух, и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего. Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьется все слабее и слабее. В восемь часов тридцать восемь минут вечера * Федор Михайлович отошел в вечность. Приехавший доктор

* Кто-то из присутствовавших (кажется, Маркевич) отметил точную минуту смерти.[261]

Н. П. Черепнин мог только уловить последние биения его сердца *.

Когда наступил конец, я и мои дети дали волю своему отчаянию: мы плакали, рыдали, говорили какие-то слова, целовали лицо и руки еще не охладевшего дорогого нам усопшего; все это представляется мне смутно, но ясно я сознавала лишь одно, что с этой минуты окончилась моя личная, полная безграничного счастья жизнь и что я навеки осиротела душевно. Для меня, которая так горячо, так беззаветно любила своего мужа, так гордилась любовью, дружбою и уважением этого редкого по своим высоким нравственным качествам человека, утрата его была ничем не вознаградима. В те поистине страшные минуты расставания мне казалось, что я не переживу кончины мужа, что у меня вот-вот разорвется сердце (так оно усиленно билось в моей груди) или что я сойду теперь же с ума.

Конечно, почти каждый из людей испытал в своей жизни потерю близких и любимых существ и каждому знакомо и понятно глубокое горе разлуки с ними. Но в большинстве случаев люди переживали свою душевную скорбь в эти незабываемые минуты в своей семье, среди близких и родных, и имели возможность выражать волновавшие их чувства, как могли и хотели, не стесняясь и не сдерживаясь. Такого великого счастия не досталось мне на долю: мой дорогой муж скончался в присутствии множества лиц, частью глубоко к нему расположенных, но частью и вполне равнодушных как к нему, так и к безутешному горю нашей осиротевшей семьи. Как бы для усиления моего горя в числе присутствовавших оказался литератор Бол. М. Маркевич, никогда нас не посещавший, а теперь заехавший по просьбе графини С. А. Толстой узнать, в каком состоянии нашел доктор Федора Михайловича. Зная Маркевича, я была уверена, что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа, и искренне пожалела, зачем смерть любимого мною человека не произошла в тиши, наедине с сердечно преданными ему людьми. Опасения мои оправдались: я с грустью узнала назавтра, что Маркевич послал в «Московские ведомости» «художественное» описание про-

* Н. П Черепнин говорил мне, много лет спустя, что он сохраняет этот стетоскоп как реликвию.

исшедшего горестного события. Чрез два-три дня прочла и самую статью («Московские ведомости», № 32) и многое в ней не узнала. Не узнала и себя в тех речах, которые я будто бы произносила, до того они мало соответствовали и моему характеру, и моему душевному настроению в те вечно печальные минуты [262].

Но милосердный господь послал мне и утешение: в этот скорбный вечер, около десяти часов, приехал мой родной брат, Иван Григорьевич Сниткин. Он из деревни прибыл по делам в Москву и, уже собравшись домой, сам не зная почему, вдруг надумал поехать в Петербург повидать нас. Правда, он прочел в какой-то газете о болезни Федора Михайловича, но не придал известию большого значения, предполагая, что случился иногда бывавший с мужем двойной припадок эпилепсии. Поезд его опоздал, и он, остановившись в гостинице, решил пойти к нам вечером. Подъехав к подъезду, он с удивлением заметил, что все окна нашей квартиры ярко освещены, а около входа стоят два-три подозрительных лица в чуйках. Одно из этих лиц побежало за братом по лестнице и стало шептать ему:

— Господин, будьте милостивы, похлопочите, чтоб заказ дали мне, пожалуйста...

— Что такое, какой заказ? — спросил ничего не понимавший брат.

— Да мы гробовщики, от такого-то, так вот насчет гроба.

— Кто же тут умер? — машинально спросил Иван Григорьевич.

— Да какой-то сочинитель, не упомнил фамилии, дворник сказывал...

У брата, по его словам, замерло сердце, он бросился наверх и вбежал в незапертую переднюю, в которой толпилось несколько человек. Сбросив шубу, брат поспешил в кабинет, где на диване продолжало еще покоиться медленно остывавшее тело Федора Михайловича.

Я стояла на коленях около дивана и, увидев вошедшего брата, с плачем бросилась к нему навстречу. Мы крепко обнялись, и я спросила: «От кого же ты, Ваня, узнал, что Федор Михайлович скончался?» — совершенно забыв о том, что брат живет не в Петербурге и

теперь находился в Москве и не мог узнать и приехать так быстро. Очевидно, я была так поражена и горем, и неожиданностью кончины (ведь еще вчера проф. Кошлаков подавал мне твердую надежду на выздоровление мужа), что я потеряла способность что-либо ясно соображать.

Приезд брата в столь горестное время я считаю истинною для меня божиею милостью: не говорю уже о том, что присутствие любимого брата и искреннего моего друга было для меня некоторым утешением, но теперь около меня оказался близкий и преданный мне человек, у которого я могла просить совета и которому могла поручить все мелкие, но многосложные заботы по погребению тела Федора Михайловича. Благодаря брату от меня были отстранены все деловые вопросы, и я была избавлена от многого неприятного и тяжелого в эти печальные дни.

Весь вечер 28 января, равно как и последующие четыре дня (29 января — 1 февраля), представляются в моих воспоминаниях каким-то угнетающим душу кошмаром. Многое из происходившего ярко рисуется предо мною, многое совершенно ускользнуло из моей памяти, и я многое знаю по рассказам других лиц. Помню, например, как в тот же вечер часов в двенадцать приехал к нам А. С. Суворин, чрезвычайно огорченный смертью моего мужа, которого он очень почитал и любил. Свое вечернее посещение Суворин описал в «Новом времени» [263].

К часу ночи все необходимые приготовления были окончены, и дорогой наш усопший уже возлежал на погребальном возвышении посредине своего кабинета. Пред изголовьем стояла этажерка с образом и горящей лампадой. Лицо усопшего было спокойно, и казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь «великой правде».

К полуночи все посторонние разошлись. Я уложила спать моих сильно огорченных смертию папы и плакавших весь вечер детей, и мы трое (моя мать, брат и я) могли без помехи побыть около тела почившего. С глубокою благодарностью судьбе вспоминаю я эту последнюю ночь, когда мой дорогой муж еще всецело принадлежал своей семье и я имела возможность без свидетелей, не стесняясь и не сдерживаясь, выражать

свою скорбь, вдоволь наплакаться, усердно помолиться за упокоение души новопреставленного и попросить у дорогого усопшего прощения в тех мелких обидах, неизбежных в домашнем быту, которые я, может быть, бессознательно или по непониманию могла когда-нибудь нанести моему, всегда горячо любимому мужу.

Мы с братом простояли и просидели у гроба почившего до четырех часов утра, и брат насилу уговорил меня пойти уснуть, представляя, что мне необходимо набраться сил для неизбежных волнений завтрашнего дня.

29 января, часов в одиннадцать, явился ко мне очень почтенного вида господин от тогдашнего министра внутренних дел графа Лорис-Меликова. Высказав мне от имени графа его соболезнования по поводу моей утраты, чиновник сказал, что имеет для передачи мне сумму на похороны моего почившего мужа. Не знаю, в каком размере была эта сумма, но я не захотела ее взять. Я, конечно, знала, что во всех министерствах существует обыкновение оказывать осиротевшей семье помощь на погребение почившего члена ее и что такая помощь никем не признается обидною. Но я почти обиделась на предложение мне этой помощи. Я просила чиновника очень благодарить графа Лорис-Меликова за предложенную помощь, но объявила, что не могу принять ее, так как считаю своею нравственною обязанностью похоронить мужа на заработанные им деньги. Кроме того, чиновник объявил мне от имени графа, что дети мои будут приняты на казенный счет в те учебные заведения, в которые я пожелаю их поместить. Я просила чиновника передать графу мою искреннюю признательность за его доброе предложение, но тогда же в душе решила, что дети мои должны быть воспитаны не на счет государства, а на труды их отца, а затем — труды матери. К моей большой радости, мне удалось выполнить взятую на себя обязанность и дети мои были воспитаны впоследствии на средства, получаемые от изданий полного собрания сочинений их отца. Я глубоко убеждена, что, отказавшись от помощи на погребение и от помощи на воспитание детей, я поступила так, как поступил бы мой незабвенный муж.

С одиннадцати часов начали, узнав из газет о смерти Федора Михайловича, приходить знакомые и незна-

комые, чтобы помолиться у его гроба, и их было такое множество, что скоро все пять жилых комнат заполнились густою толпою, и ко времени панихиды мне с детьми приходилось с трудом проталкиваться, чтобы стать поближе к гробу.

Совершать панихиды был приглашен мною духовник мужа о... *, а певчие были в первый день — из Владимирской церкви. В последние два дня на главные панихиды, о которых печаталось в объявлениях (в час дня и восемь вечера), являлся, по собственному желанию, с согласия ктитора, полный хор соборных певчих Исаакиевского собора Е. В. Богдановича. Но, кроме назначенных мною панихид, являлось каждый день две-три депутации от разных учреждений с священником своей церкви и певчими и просили разрешения отслужить панихиду у гроба почившего писателя. Так я запомнила депутацию от морского корпуса, священник которого о. протоиерей очень благолепно отслужил панихиду при пении отличного морского хора.

Я не стану перечислять имена тех лиц, которые бывали на панихидах у гроба моего мужа. Тут были все выдающиеся представители нашей литературы, сочувствовавшие Федору Михайловичу и ценившие его талант; были и лица, прямо ему враждебные, и которые, узнав о его кончине, поняли, какую утрату понесла русская литература, и захотели отдать дань уважения одному из благороднейших ее представителей. На одной из вечерних панихид присутствовал юный тогда великий князь Дмитрий Константинович с своим воспитателем, что приятно поразило присутствовавших.

В течение дня 29 января многие спрашивали меня, где будет похоронен Федор Михайлович? Помня, что, при погребении Некрасова, Федору Михайловичу понравилось кладбище Новодевичьего монастыря, я решила похоронить его там. Условиться о могиле я просила моего зятя П. Гр. Сватковского, а выбрать место поручила моей дочери Лиле и отправила ее вместе с зятем в Новодевичий, главным образом, с целью, чтобы дочь могла проехаться по городу и подышать чистым воздухом. (Бедные мои детки! Все три дня до похорон они сидели дома, в комнатах, битком наполненных публикой, присутствовали на всех панихидах,

* Пропуск в рукописи.

а дочь моя, Лиля, раздавала поклонницам таланта ее отца на память цветы из венков, лежавших на груди усопшего.)

Во время поездки в Новодевичий приехал Висс. Висс. Комаров, редактор «С.-Петербургских ведомостей». Он объявил, что является от имени Александро-Невской лавры предложить на ее кладбищах любое место для вечного упокоения моего мужа. «Лавра,— говорил В. В. Комаров,— просит принять место безвозмездно и будет считать за честь, если прах писателя Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться в стенах лавры». Предложение, сделанное Александро-Невскою лаврою, было столь почетно, что было истинно жаль его отклонить. Между тем было возможно, что могильное место было уже куплено П. Гр. Сватковским в Новодевичьем монастыре. Я не знала, на что решиться и какой ответ дать В. В. Комарову. На мое счастье, вернулся зять и заявил, что игуменья монастыря предъявила какие-то затруднения по поводу выбранного моею дочерью места. а потому покупка могилы отложена до завтра. Я была очень довольна, и гак как лавра предоставляла выбрать могильное место на любом из ее кладбищ, то я просила В. В. Комарова выбрать место на Тихвинском кладбище, ближе к могилам Карамзина и Жуковского, произведения которых Федор Михайлович так любил. По счастливой случайности свободное место оказалось рядом с памятником поэта Жуковского, и оно было избрано местом вечного упокоения моего незабвенного мужа.

30 января на дневную панихиду приехал гофмейстер Н. С. Абаза и передал мне от министра финансов письмо, в котором «в благодарность за услуги, оказанные моим покойным мужем русской литературе», мне нераздельно с детьми назначалась государем императором ежегодная пенсия в две тысячи рублей. Прочитав письмо и горячо поблагодарив Н. С. Абаза за добрую весть, я тотчас вошла в кабинет мужа, чтобы порадовать его доброю вестью, что отныне дети и я обеспечены, и только войдя в комнату, где лежало его тело, вспомнила, что его уже нет на свете, и горько заплакала. (Скажу, кстати, что такая непонятная для меня забывчивость продолжалась, по крайней мере,

месяца два после смерти Федора Михайловича: то я спешила домой, чтоб не заставить его ждать обеда, то покупала для него сласти, то, услышав какое-нибудь известие, думала про себя, что надо его сейчас же сообщить мужу. Конечно, чрез минуту я вспоминала, что он уже умер, и мне становилось невыразимо тяжело.)

Должна сказать, что те два с половиною дня, пока тело моего незабвенного мужа находилось у нас в доме, я вспоминаю с некоторым ужасом. Самое мучительное было то, что ни на час наша квартира не освобождалась от посторонних: плотный поток людей шел с парадного хода, второй — с черного хода проходил чрез все наши комнаты и останавливался в кабинете, где, по временам, до того сгущался воздух, до того мало оставалось кислорода, что гасли лампада и большие свечи, окружавшие катафалк. Посторонние лица находились у нас не только днем, но и ночью: находились люди, которые хотели провести ночь у гроба Федора Михайловича, другие желали читать и читали часами по нем псалтирь. Так помню, что последнюю ночь пред выносом псалтирь у гроба читал адъютант граф Николай Федорович Гейден, глубокий почитатель таланта Федора Михайловича.

Конечно, все это свидетельствовало о сердечной скорби почитателей таланта Федора Михайловича и о глубоком почтении к памяти усопшего, и я могла лишь чувствовать и выражать этим так расположенным к моему мужу людям лишь мою искреннюю признательность. Но при самой сердечной благодарности я в душе ощущала некоторую «обиду» за то, что общество отняло от меня моего дорогого мужа, что вокруг него хоть и любящие его люди, но что я, самое близкое к нему существо, не могу быть с ним наедине, не могу еще и еще раз поцеловать его дорогое лицо и руки, приникнуть головой к его груди, как это было в первую, по его кончине, ночь. Присутствие посторонних заставляло меня сдерживать все проявления моих чувств из боязни, что досужий репортер назавтра в нелепых выражениях опишет мою горесть. Единственное убежище, где я могла свободно отдаваться моему отчаянию, это была небольшая комната, где у меня гостила моя мама. Когда мне было невмоготу, я уходила к ней, запиралась, бросалась на ее постель и старалась сколь-

ко-нибудь уяснить себе случившееся. Но мне не давали покоя и взаперти: стучались и говорили, что прибыла депутация от такого-то учреждения и желает лично выразить мне соболезнование. Я выходила, и представитель депутации, заранее приготовивший красивую речь, начинал говорить о том значении, которое имел в русской литературе мой покойный муж, выставлял те высокие идеи, которые он проповедовал, и говорил, какую «громадную потерю понесла с его смертью Россия!». Я молча слушала, горячо благодарила, пожимала руки и уходила к маме. А чрез некоторое время — новая депутация, непременно желающая меня видеть и лично выразить свои соболезнования. И я выходила и выслушивала речи о значении моего мужа и о том, «кого в нем потеряла Россия». Выслушав за три дня много сочувственных речей, я, наконец, приходила в отчаяние и говорила себе:

«Боже, как они меня мучают! Что мне о том, «кого потеряла Россия»? Что мне в эти минуты до «России»? Вспомните, кого *я* потеряла? Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество! Пожалейте меня, лично меня пожалейте и не говорите мне про потерю России в эту минуту!»

Когда одно лицо из членов многочисленных депутатов захотело, кроме «России», пожалеть и *меня,* то я была так глубоко тронута, что схватила руку незнакомца и поцеловала ее.

Я вполне убеждена, что в те дни мысли мои были беспорядочны и ненормальны, чему, между прочим, содействовало и то, что я вела самую негигиеничую жизнь: пять дней (26—31 января) не выходила из душных комнат и питалась только булками и чаем. Детей моих добрые знакомые уводили гулять и к себе обедать, потому что при той толпе, которая шла в квартиру с черного хода, немыслимо было кухарке готовить, и все питались всухомятку.

В последний день (30 января) со мной начались истерики; во время одной из них произошел случай, который мог послужить причиною моей смерти: после одной из панихид, чувствуя нервный клубок в горле, я попросила кого-то из близких принести мне валериановых капель. Стоявшие около меня в гостиной впопы-

хах начали звать прислугу и говорить: «Дайте скорей валериану, валериану, где валериана?» Так как существует имя «Валериан», то моему расстроенному уму пришла смешная мысль: плачет вдова и все, чтоб ее утешить, зовут на помощь какого-то «Валериана». От этой нелепой мысли я стала неистово хохотать и восклицать «Валериан, Валериан!!», как и меня окружающие, и забилась в сильной истерике. Как на грех, прислуга валериановых капель не нашла, и ее тотчас послали за ними в аптеку, приказав зараз купить и нашатырного спирта, на случай, если меня придется приводить в чувство. Минут через десять оба лекарства были принесены, я же продолжала хохотать и биться на руках окружавших меня дам. Одна из дам, добрая Софья Викторовна Аверкиева, дама характера решительного, отлила в одну рюмку тридцать или более капель какой-то жидкости и, несмотря на мое сопротивление, заставила меня выпить. Но я почувствовала страшный ожог языка, выхватила носовой платок и выбросила в него все выпитое. Оказалось, что Софья Викторовна впопыхах перемешала склянки и дала мне вместо валериановых капель тридцать или более капель нашатырного спирта. За ночь у меня слезла вся кожица во рту и с языка и сходила потом почти целую неделю. Потом мне говорили, что если б я проглотила жидкость, то такой же ожог произошел бы в пищеводе и в желудке, и возможно, что это грозило бы мне если не смертью, то серьезною болезнию.

Я забыла упомянуть, что на другой день после кончины мужа в числе множества лиц, нас посетивших, был знаменитый художник И. Н. Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в натуральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим не ведомую никому тайну загробной жизни [264].

Кроме И. Н. Крамского, было несколько художников, фотографов и рисовавших и снимавших с усопшего портреты для иллюстрированных изданий. Посетил нас знаменитый ныне скульптор Леопольд Бернштам, тогда еще никому не известный, и снял с лица

моего мужа маску, благодаря которой имел потом возможность сделать поразительно похожий его бюст [265].

В субботу, 31 января, состоялся вынос тела Федора Михайловича из нашей квартиры в Александро-Невскую лавру. Я не стану описывать погребальное шествие, оно было многими описано [266]. Да и всего шествия я не видала или видела на иллюстрациях, так как шла сразу за гробом и видела лишь ближайшее. По словам зрителей, оно представляло величественное зрелище: длинная вереница на шестах несомых венков, многочисленные хоры молодежи, певшие погребальные песнопения, гроб, который высоко воздымался над толпой, и громадная, в несколько десятков тысяч масса людей, следовавших за кортежом,— все это производило большое впечатление. Главное достоинство этого печального чествования праха Федора Михайловича заключалось в том, что оно было никем не подготовлено. Впоследствии пышные похороны вошли в обычай, и их нетрудно устроить; в те же времена торжественных похоронных шествий (кроме похорон поэта Некрасова, сравнительно скромных) еще не бывало, да и времени (два дня) не хватило бы на сборы и на их устройство. Еще накануне выноса мой брат, желая меня порадовать, сказал, что восемь таких-то учреждений предполагают принести венки на гроб Федора Михайловича, а наутро венков уже оказалось семьдесят четыре, а возможно, что и более. Потом выяснилось, что все учреждения и корпорации, каждая по собственной инициативе, заказала свой венок и избрала депутацию. Словом, все партии самых разнообразных направлений соединились в общем чувстве скорби о кончине Достоевского и в искреннем желании возможно торжественнее почтить его память.

Погребальное шествие вышло из дому в одиннадцать часов и только после двух часов достигло Александро-Невской лавры. Я шла рядом с сыном и дочерью, и горькие думы не покидали меня: как-то я воспитаю моих детей без отца, без Федора Михайловича, так горячо их любившего? Какая страшная ответственность отныне лежит на мне перед памятью моего мужа, и смогу ли я достойно исполнить свои обязанности? Идя за гробом Федора Михайловича, я давала себе клятву жить для наших детей, давала обет осталь-

ную мою жизнь посвятить, сколько будет в моих силах, прославлению памяти моего незабвенного мужа и распространению его благородных идей. Теперь, предстоя пред приближающимся концом жизни, я, положа руку на сердце, могу сказать, что все обещания, данные мною в те тяжелые часы проводов праха моего незабвенного мужа, я исполнила, поскольку хватило моих сил и способностей.

В тот же вечер, 30 января, в Духовской церкви Александро-Невской лавры, где стоял гроб Федора Михайловича, был совершен парастас (торжественная всенощная). Я приехала ко всенощной с моими детьми. Церковь была полна молящихся; особенно много было молодежи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении псалтиря над гробом Достоевского. Потом мне передали одно характерное замечание: именно, что когда сторожа пришли убирать церковь, то не нашлось в ней ни одного окурка папирос, что чрезвычайно удивило монахов, так как обычно, за долгими службами, почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурок. Тут же никто из присутствовавших не решился курить из уважения к памяти почившего.

1 февраля 1881 года состоялось отпевание тела Федора Михайловича в церкви св. Духа Александро-Невской лавры. Церковь имела величественный вид: гроб усопшего, возвышавшийся среди храма, был покрыт множеством венков. Остальные венки с широкими лентами, на которых виднелись отпечатанные серебром и золотом надписи, стояли вдоль стен храма на высоких шестах, что придавало храму своеобразную красоту.

В день отпевания брат мой повез моего сына и мою мать в Невскую лавру. Меня же с дочерью обещала доставить туда в своей карете Ю. Д. Засецкая (дочь партизана Давыдова), горячая поклонница таланта моего мужа. Мы выехали в десять часов. Не доезжая сотни сажен до Лавры, карета Засецкой поравнялась с извозчиком, на котором ехал какой-то полковник. Он раскланялся, и Засецкая помахала ему рукой. На площади стояла громадная, в несколько тысяч, толпа, и подъехать к вратам было невозможно. Пришлось оста-

новиться среди площади. Мы с дочкой вышли и направились к вратам, Засецкая осталась в карете поджидать полковника и сказала, что он проводит ее в собор. Мы с трудом протискались сквозь толпу, но нас остановили и потребовали билеты. Конечно, в горе и суете мне не пришло в голову взять с собой билеты, предполагая, что нас пропустят и без них. Я ответила, что я «вдова покойного, а это его дочь».

— Тут много вдов Достоевского прошли и одни, и с детьми,— получила я в ответ.

— Но вы видите, что я в глубоком трауре.

— Но и те были с вуалями. Пожалуйте вашу визитную карточку.

Конечно, и визитной карточки со мной не оказалось. Я пробовала настаивать, стала просить вызвать какого-нибудь распорядителя похорон, назвала Григоровича, Рыкачева, Аверкиева, но мне ответили: «Где мы будем их разыскивать, в тысячной толпе разве скоро найдешь?»

Я пришла в отчаяние: не говоря о том, какое мнение могли получить обо мне люди, меня мало знавшие, не видя меня на отпевании мужа, но мне самой до мучения хотелось в последний раз проститься с мужем, помолиться и поплакать у его гроба. Я не знала, что предпринять, так как думала, что Засецкая уже успела пройти и не может меня выручить. К счастью, этого не случилось: спутник Засецкой властно удостоверил мою личность, нас пропустили, и мы с дочкой бегом побежали к церкви. К счастью, богослужение только началось.

Заупокойную литургию совершал архиерей, преосвященный Нестор, епископ Выборгский, в сослужении архимандритов и иеромонахов, а на отпевании вышли: ректор духовной академии И. Л. Янышев и наместник Лавры архимандрит Симеон, лично знавший моего мужа [267].

Умилительно пел увеличенный хор Александро-Невской лавры и хор Исаакиевского собора. Пред отпеванием протоиерей Янышев сказал превосходную речь, в которой ярко выставил все достоинства Федора Михайловича как писателя и христианина [268].

После отпевания гроб Федора Михайловича был поднят и понесен из церкви поклонниками таланта,

между которыми особенно выделялся своим взволнованным видом молодой философ Вл. С. Соловьев.

Публика запрудила все Тихвинское кладбище, люди взобрались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки, и шествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций. После погребения над открытой могилой стали произносить речи. Первым говорил бывший петрашевец А. И. Пальм. Затем говорили: Ор. Ф. Миллер, проф. К. Н. Бестужев-Рюмин, Вл. Соловьев, П. А. Гайдебуров и многие другие. Над открытой могилой говорилось много также стихотворений, посвященных памяти усопшего[269]. Публика накрыла принесенными венками гроб почти до верхней части склепа. Остальные венки разрывались на части, и присутствовавшие уносили листочки и цветки на память. Только к четырем часам могила была заделана, и я с детьми, ослабевшими от слез и голода, поехала домой. Толпа же долго еще не расходилась. <...>

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ СМЕРТИ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА

I
РАЗГОВОР С ТОЛСТЫМ

Всего один раз в жизни имела я счастие видеть и беседовать с графом Л. Н. Толстым, и так как разговор наш шел исключительно о Федоре Михайловиче, то я считаю возможным присоединить его к моим воспоминаниям.

С графинею Софией Андреевной Толстой я познакомилась в 1885 году, когда, в один из приездов в Петербург, она, доселе мне незнакомая, пришла просить моих советов по поводу издательства. Графиня объяснила мне, что до того времени сочинения ее знаменитого мужа издавал московский книгопродавец Салаев и платил за право издания сравнительно скромную сум-

му (если не ошибаюсь, двадцать пять тысяч). Узнав от своих знакомых, что я удачно издаю сочинения моего мужа, она решила сделать попытку самой издать произведения графа Льва Николаевича и пришла узнать от меня, представляет ли издание книг особенно много хлопот и затруднений? Графиня произвела на меня чрезвычайно хорошее впечатление, и я с искренним удовольствием посвятила ее во все «тайны» моего издательства, дала ей образцы подписных книг, объявлений, мною рассылаемых, предостерегла ее от некоторых сделанных мною ошибок и т. д. Так как подробностей было много, то мне пришлось посетить графиню у ее сестры Т. А. Кузминской, и графиня побывала у меня два-три раза, чтобы выяснить то, что казалось для нее туманным.

К моей большой радости, мои «издательские» советы пригодились графине Софье Андреевне: ее издание удалось превосходно и дало большую прибыль. С тех пор более двух десятков лет графиня сама с большим успехом издавала сочинения графа Льва Николаевича.

Частые встречи и беседы с графиней дали нам возможность узнать друг друга, и мы дружески сошлись, и я убедилась, что графиня София Андреевна была истинным ангелом-хранителем своего гениального мужа. Бывая в Петербурге, графиня посещала меня, я тоже, бывая в Москве, непременно заезжала к графине и впоследствии предоставила ей и ее семье возможность видеть из окон «Музея памяти Ф. М. Достоевского» перевезение тела почившего императора Александра III в Архангельский собор.

Я бывала в Москве большею частью или весною (ради посещения моего «Музея»), или осенью, возвращаясь из Крыма, и, навещая графиню, никогда не заставала графа Льва Николаевича: или уехал раннею весною в Ясную Поляну, или проводил там осень. Но, однажды зимой, приехав к графине вечером, узнала, что граф Лев Николаевич в Москве, но болен и никого не принимает. Поговорив со мною, графиня ушла к мужу, а я осталась беседовать с ее семьей. Минут чрез десять графиня вернулась и объявила, что ее муж, узнав о моем приходе, непременно хочет меня видеть и просит к нему прийти. Она предупредила меня, что у графа сегодня был приступ болезни печени, он чувствовал

себя весь день слабым, а потому она просит недолго с ним разговаривать. Мы пошли с графиней по каким-то чисто московским переходам из дома в дом, и пока я шла, то была даже не совсем довольна, что к нему иду. Несмотря на все желание увидеть гениального писателя, поэтическими произведениями которого я всегда восхищалась, мною овладел какой-то страх перед ним, и мне заранее казалось, что я произведу на него неприятное впечатление, чего мне вовсе бы не желалось.

Мы вошли в большую, но низенькую комнату, где на диване сидел граф Лев Николаевич, одетый в известную по фотографиям серую блузу. Страх мой мигом исчез при том радушном восклицании, которым он меня приветствовал.

— Как это удивительно, что жены наших писателей так на мужей своих похожи!

— Разве я похожа на Федора Михайловича? — радостно спросила я.

— Чрезвычайно! Я именно такою, как Вы, и представлял себе жену Достоевского!

Конечно, между моим мужем и мною не было никакого сходства, но ничем Толстой не мог бы доставить мне большей радости, как сказав сущую неправду, что я похожа на моего незабвенного мужа. Граф как-то сразу сделался для меня близким и родным.

Лев Николаевич посадил меня в кресло, рядом с собой, и, указывая на обложенную какими-то подушечками грудь (с горячею золою или овсом), пожаловался на свое нездоровье. Помолчали с минуту.

— Я давно мечтала увидеть вас, дорогой Лев Николаевич,— сказала я,— чтобы благодарить вас от всего сердца за то прекрасное письмо, которое вы написали Страхову по поводу смерти моего мужа. Страхов дал мне это письмо, и я его храню как драгоценность.

— Я писал искренно то, что́ чувствовал,— сказал граф Лев Николаевич.— Я всегда жалею, что никогда не встречался с вашим мужем.

— А как *он* об этом жалел! А ведь была возможность встретиться — это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном Городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. «Хоть бы я посмотрел на

него,— говорил тогда мой муж,— если уж не пришлось бы побеседовать».

— Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? [270] Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек * и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!

Вошла графиня. Помня ее предупреждение, я поднялась уходить, но граф удержал меня, сказав:

— Нет, нет останьтесь еще. Скажите мне, какой человек был ваш муж, каким он остался в вашей душе, в ваших воспоминаниях?

Я была глубоко тронута тем задушевным тоном, которым он говорил о Федоре Михайловиче.

— Мой дорогой муж,— сказала я восторженно,— представлял собою идеал человека! Все высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен — как никто! А его прямодушие, неподкупная искренность, которая доставила ему столько врагов! Был ли хоть один человек, который ушел от моего мужа, не получив совета, утешения, помощи в той или другой форме? Правда, если его заставали больным после припадка или во время серьезной работы, то он был суров, но эта суровость мигом сменялась добротою, если он видел, что человек нуждается в его помощи. И сколько сердечной нежности выказывал он, чтобы загладить свою резкость или суровость. Знаете, Лев Николаевич, нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в своей семье, и вот я скажу, что, прожив с ним четырнадцать лет, я могла только приходить в удивление и умиление, видя его поступки, и, вполне сознавая иногда всю их непрактичность и даже вред для нас лично, должна была признавать, что мой муж в известном случае поступил именно так, как должен был поступить человек, высоко ставящий благородство и справедливость!

---

* «Когда он (Достоевский) умер, я почувствовал, что он был для меня очень важный и дорогой человек» (Из воспоминаний о Л. Н. Толстом Валентина Сперанского.— «Речь», 1915, № 307, 7 ноября).

— Я всегда так о нем и думал,— сказал как-то задумчиво и проникновенно граф Лев Николаевич.— Достоевский всегда представлялся мне человеком, в котором было много истинно христианского чувства *.

Вошла опять графиня, и я встала, крепко пожала протянутую мне руку моего любимого писателя и ушла под впечатлением такого очарования, которое редко когда испытывала [271]. Да, этот человек умел покорять сердца людей!

Возвращаясь домой по опустевшим московским улицам и проверяя только что испытанное глубокое впечатление, я дала себе слово (и сдержала его) *никогда* более не видать графа Льва Николаевича, несмотря на то, что добрая графиня много раз звала меня даже гостить в Ясную Поляну. Я опасалась, что при следующем моем свидании я застану графа Льва Николаевича больным, раздраженным или безвольным, и я увижу в нем другого человека, и тогда навеки исчезнет во мне то очарование, которое я испытала и которое мне было так дорого! Зачем же лишать себя тех душевных сокровищ, которые судьба изредка посылает на нашем жизненном пути?

II

ОТВЕТ СТРАХОВУ

Вот и теперь, уже перед близким концом, приходится мне выступить в защиту светлой памяти моего незабвенного мужа против гнусной клеветы, взведенной на него человеком, которого муж мой, я и вся наша семья десятки лет считали своим искренним другом. Я говорю о письме Н. Н. Страхова к графу Л. Н. Толстому (от 28 ноября 1883 г.), появившемся в октябрьской книжке «Современного мира» за 1913 год [272].

В ноябре этого года, вернувшись после лета в Петроград и встречаясь с друзьями и знакомыми, я была несколько удивлена тем, что почти каждый из них

* Idem. То же самое говорит В. Сперанский в своей статье «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом».— «Речь», 1915, № 307, 7 ноября.

спрашивал меня, читала ли я письмо Страхова к графу Толстому? На мой вопрос, где оно было напечатано, мне отвечали, что читали в какой-то газете, но в какой — не помнят. Я не придавала значения подобной забывчивости и не особенно заинтересовалась известием, так как что́, кроме хорошего (думала я), мог написать Н. Н. Страхов о моем муже, который всегда выставлял его как выдающегося писателя, одобрял его деятельность, предлагал ему темы, идеи для работы? Только потом я догадалась, что никому из «забывчивых» моих друзей и знакомых не хотелось огорчить меня смертельно, как сделал это наш фальшивый друг своим письмом. Прочла я это злосчастное письмо только летом 1914 года, когда стала разбирать бесчисленные вырезки из газет и журналов, доставленные мне агентством для пополнения московского «Музея памяти Ф. М. Достоевского».

Привожу это письмо:

«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая. Но и нездоровится, и очень долго бы было вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь Биографию Достоевского[273] — прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!» Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику *гуманности* и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии *о правах человека.*

Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал

на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие,— это герой *«Записок из подполья»,* Свидригайлов в *«Преступлении и наказании»* и Ставрогин в *«Бесах».* Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать [274], а Достоевский здесь ее читал многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная музыка и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют *самооправдание,* доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости.

Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько: я только готов плакать, что это воспоминание, которое *могло бы быть* светлым — только давит меня!

Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно, не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно при близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. *Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты,* даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — боже, как это противно!

Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно

любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение, и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Достоевскому. Но не нахожу и не нахожу!

Вот маленький комментарий к моей *Биографии;* я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!

...Я послал Вам еще два сочинения (дублеты), которые очень сам люблю и которыми, как я заметил, бывши у Вас, Вы интересуетесь. Pressensé — прелестная книга, перворазрядной учености [275], а Joly, — конечно, лучший перевод М. Аврелия, восхищающий меня мастерством» [276].

Приведу ответ графа Л. Н. Толстого.

«Книгу Пресансе я тоже прочитал, но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади-красавицы: рысак — цена 1000 рублей, и вдруг заминка — и лошади-красавице, и силачу цена — грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, — за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Пресансе и Достоевский — оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого — ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского — и не за художественность, а за то, что без заминки» [277].

Приведу и ответное письмо Н. Н. Страхова от 12 декабря 1883 года.

«Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе. Как я жажду прочесть что-нибудь с такою глубокою подкладкою, как Ваша! А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других. В своих Воспоминаниях я все налегал на литературную сторону дела, хотел написать страничку из *Истории Литературы,* но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинст-

ва; но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало Вас занял. Сказать ли, однако, прямо? И Ваше определение Достоевского хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю — ничто, в точном смысле этого слова; так мне представляется его душа. О, мы, несчастные и жалкие создания! И одно спасение — отречься от своей души»[278].

Письмо Н. Н. Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке.

Меня удивило в письме Н. Н. Страхова, что «все время писанья (Воспоминаний) он боролся с подымавшимся в нем отвращением». Но зачем же, чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно, не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек? Не потому ли, что не желал поставить меня, издательницу, в затруднительное положение в деле приискания биографа? Но ведь биографию взял на себя писать Ор. Ф. Миллер, да и имелись в виду другие литераторы (Аверкиев, Случевский), написавшие ее для дальнейших изданий[279].

Страхов говорит в своем письме, что Достоевский был *зол,* и в доказательство приводит глупенький случай с кельнером, которым он будто бы «помыкал». Мой муж, из-за своей болезни, был иногда очень вспыльчив, и возможно, что он закричал на лакея, замедлившего подать ему заказанное кушанье (в чем другом могло бы выразиться «помыкание» кельнера?), но это означало не злость, а лишь нетерпеливость. И как неправдоподобен ответ слуги: «Я ведь тоже человек!» В Швейцарии простой народ так груб, что слуга, в ответ на обиду, не ограничился бы жалостными словами, а сумел и посмел бы ответить сугубою дерзостью, вполне рассчитывая на свою безнаказанность.

Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был «зол» и «нежно любил одного себя»? Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением «Времени», происшедшим благодаря неумело написанной статье («Роковой вопрос») самого же Страхова[280]. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти М. М. Достоевского, на плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти. Страхов был очевидцем и того, что Федор Михайлович долгое время помогал семье своего умершего брата М. М. Достоевского, своему больному брату Николаю Михайловичу и пасынку П. А. Исаеву. Человек со злым сердцем, любивший одного себя, не взял бы на себя трудно выполнимых денежных обязательств, не взял бы на себя и заботу о судьбе родных. И вот, зная мельчайшие подробности жизни Федора Михайловича, сказать про него, что он был «зол» и «нежно любил одного себя», было со стороны Страхова полною недобросовестностью.

Со своей стороны, я, прожившая с мужем четырнадцать лет, считаю своим долгом засвидетельствовать, что Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех, о несчастии, неудаче или беде которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своею помощью. Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова, И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приюты, скольких неудачников определил на места! А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел ни своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу.

Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр, но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело.

Страхов пишет, что Достоевский был *«завистлив»*. Но кому же он завидовал? Все, интересующиеся русскою литературой, знают, что Федор Михайлович всю жизнь благоговел пред гением Пушкина и лучшею статьею, возвеличившею великого поэта, была Пушкинская речь, произнесенная им в Москве при открытии ему памятника.

Трудно допустить в Федоре Михайловиче зависть к таланту графа Л. Толстого, если припомнить, что говорил о нем мой муж в своих статьях «Дневник писателя». Возьму, для примера, «Дневник» за 1877 год: в январском номере, говоря о герое «Детства и Отрочества», Федор Михайлович выразился, что это «чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный» *. В февральском выпуске муж называет Толстого «необыкновенной высоты художником» **. В «Дневнике» за июль — август Федор Михайлович выставил «Анну Каренину» как «факт особого значения, который бы мог отвечать за нас Европе, на который мы могли бы указать Европе» ***. Далее (там же) говорит: «он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа, в сцене смертельной болезни героини романа» ****. В заключение статьи муж говорит: «Такие люди, как автор Анны Карениной,— суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их» *****.

В знаменитом романисте Гончарове Федор Михайлович не только ценил его «большой ум» ******, но высоко ставил его талант, искренно любил его и называл своим любимейшим писателем *******.

---

* «Дневник писателя», 1877, изд. 1883 г., с. 34.[281]

** Idem, с. 55.

*** Idem, с. 230.

**** Idem, с. 234.

***** Idem, с. 258.

****** «Биография и письма», с. 318[282].

******* «Дневник писателя», 1877, изд. 1883 г., с. 229, 230.

Отношения моего мужа к Тургеневу в юности были восторженные. В письме к брату от 16 ноября 1845 года он пишет про Тургенева: «Но брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет,— я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец, характер, неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе» *. Впоследствии Федор Михайлович разошелся с ним в убеждениях, но Тургенев в письме своем от <28 марта (9 апреля) 1877 года писал: «Я решился написать Вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе»>**. В 1880 году на московском празднестве, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал: «Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже не повторялся в нашей художественной литературе — кроме, разве, образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева» ***.

Говорить ли об отношении Федора Михайловича к поэту Некрасову, который всегда был дорог ему по воспоминаниям юности и которого он называл великим поэтом, создавшим великого «Власа»? ****. Статья по поводу смерти Некрасова, в которой Федор Михайлович сказал, что «он в ряду поэтов (т. е. приходивших с «новым словом») должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым» *****, эта статья, по признанию знатоков русской литературы, могла считаться лучшею из статей, написанных по поводу кончины поэта.

Вот каковы были отношения моего мужа к талантам и произведениям наших выдающихся писателей, и слова Страхова, что Достоевский был завистлив, были жестокою к нему несправедливостью.

---

* «Биография и письма», с. 42.[233]

** Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1885, с. (315).[234]

*** «Биография. Воспоминания», с. 310.[235]

**** «Дневник писателя». 1877, изд. 1883 г., с. (390).

***** Idem, с. 387.

Но еще более вопиющею несправедливостью были слова Страхова, что мой муж был «развратен», что «его тянуло к пакостям, и он хвалился ими». В доказательство Страхов приводит сцену из романа «Бесы», которую «Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим».

Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям: К. П. Победоносцеву, А. Н. Майкову, Н. Н. Страхову и др., но не для похвальбы, как объясняет Страхов, а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена «чересчур реальна», то муж стал придумывать новый варьянт этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены. Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал) [286]. В сцене этой принимала преступное участие «гувернантка», и вот ввиду этого, лица, которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле «гувернантку» и идет таким образом против так называемого «женского вопроса», как когда-то упрекали Достоевского, что он, выставив убийцей студента Раскольникова, будто бы тем самым обвиняет в подобных преступлениях наше молодое поколение, студентов.

И вот этот варьянт романа, эту гнусную роль Ставрогина, Страхов, в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей, а мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках. Ссылка Страхова на профессора П. А. Висковатова для меня тем поразительнее, что профессор никогда у нас не бывал; Федор же Михайлович имел о нем довольно легковесное мнение, чему служит доказательст-

вом приведенный в письме к А. Н. Майкову рассказ о встрече в Дрездене с одним русским *.

С своей стороны, я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым «развращенности». Очевидно, большому художнику благодаря таланту не представляется необходимым самому проделывать преступления, совершенные его героями, иначе пришлось бы признать, что Достоевский сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно изобразить убийство двух женщин Раскольниковым.

С глубокою благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрезный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.

Прочитав клеветническое письмо Страхова, я решила протестовать. Но как это сделать? Для возражения против письма было упущено время: появилось оно в октябре 1913 года, я же узнала о нем почти через год. Да и что такое значит возражение, помещенное в газетах? Оно затеряется в текущих новостях, забудется, да и многими ли будет прочтено? Я стала советоваться с моими друзьями и знакомыми, из которых некоторые знавали моего покойного мужа. Мнения их разделились. Одни говорили, что к этим гнусным клеветам надо отнестись с презрением, которое они заслуживают. Говорили, что значение Федора Михайловича в русской и всемирной литературе настолько высоко, что клеветы не повредят его светлой памяти; указывали и на то, что появление письма не вызвало даже никаких толков в текущей литературе, до того большинству пишущих была ясна клевета и понятен клеветник. Другие говорили, что, напротив, мне необходимо протестовать, помня пословицу: «Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose!» **

* «Биография и письма», с. 171.

** «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется!» *(фр.)*

Говорили, что из того обстоятельства, что я, посвятившая всю свою жизнь служению мужу и его памяти, не нашла возможным опровергнуть клевету, могут вывести, что в ней заключалось что-нибудь верное. Мое молчание явилось бы как бы подтверждением клеветы.

Многие, возмущенные письмом Страхова, находили, однако, что одно *мое* опровержение недостаточно. Что следует друзьям и лицам, с добрым чувством помнящим Федора Михайловича, написать протест против взведенных на него Страховым клевет. Некоторые лица взяли на себя труд составления протеста и собирания подписей. Другие лица захотели выразить свое возмущение отдельными письмами. Многие из друзей моих высказали мнение, что, в противовес клевете, следовало бы приложить к протесту статьи (воспоминания), которые разновременно были напечатаны в журналах и рисуют Федора Михайловича, как необычайно доброго и отзывчивого человека. Следуя совету друзей, присоединяю как протест, так и статьи к моим воспоминаниям.

Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они представляют себе,— что побудило Страхова написать его письмо? Большинство склонялось к тому, что это было «jalousie de métier» *, столь обычное в литературном мире; что, вероятно, Федор Михайлович по своей искренности, а может быть, и резкости, обидел Страхова (последний и сам говорит об этом), и вот явилось желание отомстить, хотя бы и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так как знал, что вызовет против себя слишком много защитников памяти Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова. Одно из лиц, близко знавшее Страхова, высказало мне мысль, что своим письмом он хотел «очернить, принизить» Достоевского в глазах Толстого. Когда я усомнилась в этом предположении, мой собеседник высказал свое мнение о Страхове довольно оригинальное.

«Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип «благородного приживальщи-

---

* «профессиональная зависть» *(фр.)*.

ка», каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определенным дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало кому интересен, но он был всюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь новое о Толстом, другом которого он считался. Дружбою этою он очень дорожил, и, будучи высокого о себе мнения, возможно, что считал себя опорою Толстого. Каково же могло быть возмущение Страхова, когда Толстой, узнав о смерти Достоевского, назвал усопшего своей «опорой» и высказал искреннее сожаление, что не встречался с ним[288]. Возможно, что Толстой часто восхищался талантом Достоевского и говорил о нем, и это коробило Страхова, и, чтоб пресечь это восхищение, он решил взвести на Достоевского ряд клевет, чтобы его светлый образ потускнел в глазах Толстого. Возможно, что у Страхова была и мысль отомстить Достоевскому за нанесенные когда-то обиды, очернив его пред потомством, так как, видя, каким обаянием пользуется его гениальный друг, он мог предполагать, что впоследствии письма Толстого и его корреспондентов будут напечатаны, и хоть чрез много-много лет злая цель его будет достигнута».

Не разделяя исключительное мнение моего собеседника, я закончу этот тяжелый эпизод моей жизни словами письма Страхова: «в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости». <...>[289]

III

ВОСПОМИНАТЕЛИ

Много горя принесли мне на моем долгом веку «воспоминатели», то есть лица, которые знавали или будто бы знавали лично моего покойного мужа и написали о нем свои воспоминания. Каждый раз, когда я читала, что в таком-то журнале такое-то лицо в своих воспоминаниях говорит и о моем муже, у меня сердце сжималось от тоскливого предчувствия и я думала: ну, опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня. И я редко ошибалась. Не ошиб-

лась я и в том, что даже добросовестными воспоминателями не всегда были поняты истинный характер и поступки Федора Михайловича и верно оценены его нравственные качества. Конечно, я говорю лишь о личных воспоминаниях. Разборы художественной деятельности сюда не относятся; напротив, иные из них близко подходили к тому, как Федор Михайлович сам понимал и оценивал свои произведения.

Меня всегда поражал общий тон, сделавшийся почти шаблонным, воспоминаний о Федоре Михайловиче. Все воспоминатели, точно по уговору, представляли (вероятно, судя по его произведениям) Федора Михайловича человеком мрачным, тяжелым в обществе, нетерпимым к чужим мнениям, непременно со всеми спорящим и желающим нанести своему собеседнику какую-нибудь обиду; кроме того, чрезвычайно гордым и преисполненным своим «величием». Только немногие лица — В. Микулич *, московские родственники Федора Михайловича, г-н, помнящий его на даче близ Москвы, Н. Н. Фон-Фохт **—нашли возможным вынести и высказать о Федоре Михайловиче совсем иное впечатление, которое и соответствовало действительности.

Сколько раз приходилось мне и слышать, и читать, что Федор Михайлович входил в гостиную с мрачным видом, молча пожимал руки, не удостаивая никого словесным приветствием, усаживался в кресло и угрюмо молчал, чем тотчас же вносил холодную струю в общество, до его прихода веселое и оживленное. Промолчав «величественно» или только изредка одним-двумя словами отвечая на вопросы и приветствия целых полчаса, а иногда и более, Федор Михайлович наконец решался «снизойти» к простым смертным и начинал беседовать, но обыкновенно не с целым обществом, а выбрав когонибудь из лиц, заведомо для него ему подчинявшихся, или его поклонников, и вел втихомолку с ним беседу и только иногда бросал остальному обществу презрительное или унижающее кого-нибудь словечко. Оно тотчас подхватывалось, комментировалось собеседни-

---

* Встреча со знаменитостью. В. Микулич.[290]

** «Исторический вестник», 1901, декабрь. К биографии Ф. М. Д(остоевского).

ками, а затем, украшенное разными прибавлениями, переходило в литературные кружки как новый образец нетерпимости Федора Михайловича и его преувеличенного о себе мнения.

А между тем салонное поведение в обществе Федора Михайловича объяснялось очень просто: Федор Михайлович с возвращения из-за границы, вернее, с 1872 года страдал катаром дыхательных путей, эмфиземой. Болезнь эта, несмотря на его поездки в Эмс, усиливалась с каждым годом, его легкие все менее и менее могли вбирать в себя необходимый для них воздух, и даже сидя у себя дома, он иногда до того задыхался, до того неистово кашлял, что, казалось, грудь его не выдержит такого напряжения и последует катастрофа. Так оно и случилось: Федор Михайлович скончался вследствие кровоизлияния из легких.

И вот можно представить себе, что мог испытывать мой бедный муж, когда, проехавшись по морозу или, еще хуже, по сырости, он взбирался к кому-нибудь в третий (зала Кредитного общества, Благородного собрания), а иногда, как к Полонским, у которых он любил бывать, в пятый этаж. Он поднимался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке, задыхался и говорил мне иногда: «Не спеши, дай отдохнуть, дыхание пресеклось, дышу как через вчетверо сложенный шерстяной платок». Я, конечно, не спешила, и наше восхождение в третий-четвертый этаж длилось минут двадцать — двадцать пять, и все-таки Федор Михайлович приходил в гости ослабевший, измученный, почти задохнувшийся. Счастье наше, если снизу не возвещал звонком швейцар о новом госте и нам удавалось не спеша подняться по лестнице. Но так как гости сбираются приблизительно к одному времени, то нас часто обгоняли знакомые и извещали хозяев, что Федор Михайлович сейчас будет их гостем. А приходил Федор Михайлович иногда только чрез полчаса, отсиживаясь на стульях лестницы. «Ну, как же не «олимпиец», когда так долго заставляет ждать своего появления?» — думали и говорили неприязненно настроенные против него лица. Извещенные хозяева, а иногда и поклонники Федора Михайловича выходили навстречу к нему в переднюю, забрасывали его приветствия-

ми, помогали ему снять шубу, шапку, кашне (а больному грудью так тяжело проделывать лишние и ускоренные движения), и Федор Михайлович входил в гостиную окончательно обессилевший и не могущий произнести ни единого слова, а только старающийся хоть немного отдышаться и прийти в себя. Вот истинная причина его мрачной внешности в тех случаях, когда ему приходилось бывать в обществе. Большинству знакомых Федора Михайловича было известно, что он болен не одной эпилепсией, но так как Федор Михайлович никогда и никому не жаловался на свое здоровье, а всегда имел бодрый вид, никогда не отказывался ни от чтений в пользу благотворительных обществ или деловых и иных посещений, то большинство знавших его лиц до самого рокового конца не придавало значения его грудной болезни, а потому, по свойственной людям слабости, способно было объяснять его мрачность и неразговорчивость качествами, совсем не свойственными благородному, возвышенному характеру моего мужа.

Бывая на вечерах в семейных домах (гр. С. А. Толстой, Штакеншнейдер, Полонских, Гайдебуровых и др.), Федор Михайлович искал отдохновения от своей работы, возможности с кем-нибудь побеседовать, отвести душу, а потому (вовсе не из гордости или «олимпийства») любил втихомолку беседовать с лицами ему симпатичными, а иногда (особенно после припадка) даже неприязненно относился к знакомству с новыми лицами *.

Могу засвидетельствовать, напротив, что Федор Михайлович особенно не любил в обществе ораторствовать, начинать споры и говорить кому-нибудь в пику или в насмешку.

Помню, как неприятно и болезненно поразило меня в воспоминаниях И. И. Янжула ** упоминание о встречах его с Федором Михайловичем у Гайдебуровых на одном из их воскресных собраний. Г-н Янжул описал целую сцену, будто бы возмутившую всех присутствовавших, когда Федор Михайлович говорил о науке и ее

---

* «Воспоминания о Ф. М. Достоевском Всеволода Соловьева», 1881, Тип. А. Суворина.[291]

** (И. И. Янжул. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. Вып. 2. СПб., 1911) [292]

представителях. Впечатление от этого описания (не у меня одной) осталось такое, как будто бы у Федора Михайловича существовала зависть к лицам, получившим высшее университетское образование (сам ведь он окончил только Инженерное училище), и желание при случае обидеть и оскорбить кого-либо из представителей науки. Федор Михайлович истинное просвещение высоко ставил, и между умными и талантливыми профессорами и учеными он имел многолетних и искренних друзей, с которыми ему было всегда приятно и интересно встречаться и беседовать. Таковыми были, напр<имер>, Вл. И. Ламанский, В. В. Григорьев (востоковед), Н. П. Вагнер, А. Ф. Кони, А. М. Бутлеров. Посредственных же ученых (каких Федор Михайлович много знавал), не оставивших благотворного следа своей ученой или публицистической деятельности, он, конечно, в грош не ставил, и, кажется, имел на это право.

Зная привычку Федора Михайловича беседовать больше с отдельными лицами (о чем свидетельствуют многие воспоминатели) *, мне показалось странным, как мог И. И. Янжул услышать тихий (мой муж имел глухой и подавленный голос) разговор с хозяйкой дома и понять, что выходка Федора Михайловича относилась прямо к нему с целью его оскорбить.

К сожалению, воспоминания И. И. Янжула появились в то время, когда все свидетели этой сцены были уже умершими и точность ее не могла быть проверенною. Не менее странною показалась мне и вторая встреча «воспоминателя» с моим мужем. Не говоря о том, что Федор Михайлович слишком редко бывал в театре, и всегда со мной (а я этой встречи не помню), мой муж навряд ли бы сам узнал проф. Янжула, так как памятью на лица (особенно виденные им однажды) совсем не обладал.

В «Историческом вестнике» 1901 года (март) были помещены воспоминания студента С.-Петербургской Духовной Академии [294], где выдумка была на каждом слове. Он описывал, что встретил Достоевского в страстную пятницу, когда бывает вынос плащаницы, в соборе Александро-Невской Лавры. Могу удостове-

* Микулич, Вс. Соловьев, де Волан. [293]

рить, что на все великие службы страстной и пасхальной недель мы ходили с мужем всегда вместе (я боялась, не произошло бы с ним (от духоты и тесноты) припадка) и бывали или в правом приделе Знаменской церкви, а в последние три года — во Владимирской церкви. Поехать же в Невскую Лавру (от нашей квартиры верст пять) в весенний день, когда по Неве идет невский или ладожский лед, несущий с собою холод, не могло прийти в голову моему мужу, который последние годы очень оберегал себя от простуды.

Бюста Пушкина, виденного воспоминателем в углу кабинета мужа, при его посещении, не существовало, как и вообще у нас не имелось никаких бюстов.

Наконец, последнего целования покойному в церкви св. Духа воспоминатель отдать не мог, так как гроб не открывали для этого даже для близких, а лишь приподняли крышку гроба для «предания земле». Словом, я предполагаю, что все это воспоминателю приснилось во сне, а он принял сон за действительность и напечатал в воспоминаниях. Впрочем, я очень признательна этому воспоминателю за то, что он не приписал моему мужу каких-нибудь дурных привычек, как сделал это недавний «воспоминатель» Н. Н. Фирсов, поместивший в «Историческом вестнике» за 1914 год (июнь) статью под названием «Из воспоминаний шестидесятника»[295]. Автор статьи видел Федора Михайловича во время своего пребывания в Старой Руссе, где мой муж будто бы ежедневно приходил на вечернюю музыку и, в глубокой задумчивости, прогуливался, *волоча ноги,* вокруг военного оркестра, очевидно, под влиянием музыки обдумывая свои произведения, так как будто бы, приходя домой, он немедленно, опять-таки расхаживая по комнате, диктовал несколько страниц своего романа. Но всего любопытнее, что и при первом знакомстве с Достоевским в 1858—1859 годах в Москве, у поэта Плещеева, Федор Михайлович (которому тогда могло быть 37—38 лет) тоже *волочил ноги* (намек на кандалы), все время расхаживая по комнате. Тут что ни слово, то ложь. Федор Михайлович любил ходить пешком и мог ходить долго, но ног никогда не волочил, а ходил размеренно ступая, привычка, оставшаяся от его военной службы. Автор статьи не замечает несообразности своего описания: *волочат ноги* лишь люди, страдающие

ногами, а такие больные предпочитают сидеть на месте, а не разгуливать постоянно. В Старой Руссе на музыке Федор Михайлович никогда не появлялся, а или заходил в читальню просмотреть газеты, или ходил в парке Минеральных Вод, всегда вдали от публики. Военного оркестра в Руссе не существовало, а всегда имелся небольшой струнный оркестр (10—12 человек), вдохновиться игрою которого навряд ли было возможно. Да и прогуливаться вокруг оркестра, на виду собравшейся публики, было бы нелепо, а в комическое положение мой муж себя никогда не ставил. Я спрашиваю себя, для чего воспоминателю понадобилось сочинить всю эту небылицу, приплетя к ней имя Достоевского? <...>

К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение *.

Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание В. В. Розанова к письму Н. Н. Страхова от 5 января 1890 года в книге «Литературные изгнанники». Выписываю то примечание (стр. 208):

«Никто, ни даже «друг», исправить нас не сможет; но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, *всегда оставаясь собою* и нимало не вторя нам, не подделываясь (бывает!) к нам и не впутываясь своею душою *(и тогда притворною душою!)*

* Лица, читавшие письма моего незабвенного мужа ко мне, не сочтут мои слова за бахвальство.

в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку,— являл бы твердую стену и отпор нашим «глупостям» и «безумиям», какие у всякого есть. Дружба — *в противоречии,* а не в согласии. Поистине, бог наградил меня, как учителем, Страховым: и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую — я чувствовал, что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет».

Действительно, мы с мужем представляли собой людей «совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений», но «всегда оставались собою», нимало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своею душою — я — в его психологию, он — в мою, и таким образом мой добрый муж и я — мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня!» (то есть то, что для него было важнее всего). Его отношения ко мне всегда составляли какую-то «твердую стену, о которую (он чувствовал это), что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет».

Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило за пределы чего-нибудь необыкновенного.

Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все четырнадцать лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле.

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания А. Г. Достоевской целиком никогда не издавались. Наиболее полная их публикация осуществлена С. В. Беловым и В. А. Тунимановым в 1971 году — см.: А. Г. Достоевская. Воспоминания. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. В. Белова и В. А. Туниманова. М., «Худож. литература», 1971. В книгу вошло все, что было связано с жизнью Достоевского, а также две главы, относящиеся к детству и юности А. Г. Достоевской,— «Мое появление на свет божий» и «Образование», и две главы, относящиеся к жизни А. Г. Достоевской после смерти Достоевского,— «Разговор с Толстым» и «Ответ Страхову».

Первое научно комментированное издание «Воспоминаний» А. Г. Достоевской в серии «Литературных мемуаров» в 1971 году было отмечено рецензиями в советской и зарубежной печати[1] и переведено в Польше, США и Германской Демократической Республике.

Однако за десять лет, прошедших со дня выхода «Воспоминаний» А. Г. Достоевской в 1971 году, в научный оборот введено много новых фактов и материалов, имеющих отношение к биографии Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской и к «Воспоминаниям» жены писателя. Это прежде всего запись Достоевского о Н. Н. Страхове в 83-м томе *ЛН* (М., 1971), публикация переписки А. Г. Достоевской с современниками в журнале «Байкал» (1976, № 6), воспоминания З. А. Трубецкой «Достоевский и А. П. Философова» в журнале «Русская литература» (1973, № 3), публикация «Достоевский в неизданной переписке современников» в 86-м томе *ЛН* (М., 1973) и многие другие материалы, использованные в примечаниях к настоящему изданию.

---

[1] См. рецензии: В. Шкловский. Воспоминания А. Г. Достоевской.— «Смена», 1972, № 5, с. 31; Н. Никитина. Новое издание воспоминаний А. Г. Достоевской.— «Волга», 1972, № 5, с. 183—184; И. Смирнов.— «Звезда», 1972, № 9, с. 216.

Особо следует отметить публикацию таких важных документов, как «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской»[1] и ее письма к Ф. М. Достоевскому[2].

В настоящем издании «Воспоминаний», как и в издании 1971 года, печатаются главы, непосредственно относящиеся к жизни Достоевского (начиная с 1866 по 1881 г.). В книгу включены также наиболее интересные главы, относящиеся к периоду до 1866 года (до встречи Анны Григорьевны с Достоевским) и ко времени после 1881 года (то есть после смерти писателя). В воспоминаниях до 1866 года Анна Григорьевна подробно рассказывает о своем детстве и юности, о своих родителях, окружении, родственниках — это нехитрая семейная хроника. Из раннего периода в настоящее издание впервые включены главы: «Как меня «сватали»!» и «Мое намерение поступить в монастырь», выразительно рисующие быт 50-х годов прошлого столетия и дающие новые штрихи к пониманию характера будущей жены писателя. За пределами данного издания из глав до 1866 года остались главы «Соболий воротник» и «Артист», не прибавляющие ничего нового к биографии и личности А. Г. Достоевской.

Из воспоминаний после 1881 года в настоящее издание включена глава «Воспоминатели»[3]. За пределами данного издания из воспоминаний, относящихся к жизни Анны Григорьевны после смерти Достоевского, остались главы: «1881. Мое душевное состояние по кончине Федора Михайловича», «Врангель. Письма», «Письмо Толстого», «Первое время после смерти Федора Михайловича (по кончине)», «Странный посетитель», «Отец диакон», «Доктор и его пациентка», «Дама с усиками», «Неизвестная благодетельница», «Миллион», «Хороший» совет», «Журналист», «Коллекционер», «Издатель», «Спириты», «Одержимый идеей», «Неудобный» гость», «1881 г. Первое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского»[4], «Приезд Великого князя», «Литературный вечер», «Школа имени Ф. М. Достоевского»,

---

[1] «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской». Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской. Подготовка текста к печати, вступительная статья и примечания С. В. Житомирской.— *ЛН*, т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., «Наука», 1973, с. 155—290.

[2] Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка. Издание подготовили С. В. Белов и В. А. Туниманов. Л., «Наука», 1976; (Изд. 2-е). М., 1979.

[3] Эта глава была напечатана в первом издании «Воспоминаний» А. Г. Достоевской, под ред. Л. П. Гроссмана. М.— Л., Госиздат, 1925.

[4] Опубликована С. В. Беловым в сб. «Книга. Исследования и материалы», сб. 23. М., 1972, с. 193—202.

«1890 г.», «Литературные вечера», «Долг Федора Михайловича редакции «Отечественных записок», «Литературный фонд», «Интервьюер», «Продажа прав «Ниве»[1], «Кузьмин», «1898 г. Nina Hoffmann»[2], «1904. Два последних издания Полного собрания сочинений», «Новые «Записки из Мертвого дома», «Поклонники таланта моего мужа», «Сочувствователи», «Как меня не хотели признавать за жену или вдову Достоевского», «На литературном в<оскресном> чтении», «На погребении Ф. М. Достоевского», «В вагоне», «На Александринской площади», «Фамилии знаменитых писателей, которые мне привелось носить на своем веку», «Музей памяти Ф. М. Достоевского», «Библиографический указатель», «Музей (Инженерное училище)».

Большинство из этих глав не связаны непосредственно с самим Достоевским, а представляют собой отдельные эпизоды из жизни мемуаристки после смерти писателя, а те несколько глав, в которых речь идет о Достоевском, вошли так или иначе в основной текст воспоминаний. Наконец, многие из этих глав носят фрагментарный и незаконченный характер, и, судя по всему, А. Г. Достоевская и сама не предназначала их к печати.

А. Г. Достоевская писала свои «Воспоминания» с 1911 по 1916 год, на склоне дней, когда многое уже ушло из ее памяти и когда даже стенографических книжек и записей оказывалось не всегда достаточно для связного, последовательно развивающегося рассказа. Иногда в рукописи встречаются невольные повторения, вынужденные пропуски. Анна Григорьевна не успела окончательно подготовить рукопись к печати: она не разбила ее на крупные части, в чем ощущалась настоятельная необходимость; не всегда давала названия и к многочисленным отдельным главкам.

«Воспоминания» А. Г. Достоевской разделены на двенадцать следующих в хронологическом порядке частей, которые соответствуют наиболее важным этапам жизни семьи Достоевских. Заглавия частей — редакторские. Каждая часть, в свою очередь, разбита на главы, что, собственно, продиктовано авторской волей. Названия глав (за редким исключением) принадлежат автору.

По сравнению с рукописью в настоящее издание внесены следующие, вызванные логикой повествования, необходимые изменения в последовательное расположение отдельных глав и некоторых самостоятельных эпизодов, входящих в эти главы.

---

[1] Опубликована С. В. Беловым в сб. «Книга. Исследования и материалы», сб. 32. М., 1976, с. 147—158.

[2] Опубликована в «Красном архиве», т. 3, 1923, с. 286—290.

Из второй части перенесена по смыслу в третью часть глава I, *«1867 год»*. В седьмой части глава II, *«1874 год. Отъезд за границу»*, в рукописи повторяется с небольшими разночтениями дважды. В настоящем издании приводится более точный вариант. В книгу не вошла страница 348 рукописи, так как она повторяется и входит в связном изложении в V главу седьмой части издания. В восьмой части, в главе VI, *«1877 год. Покупка дома. Поездка в Мирополье. Предсказание Фильд»*, Анна Григорьевна делает довольно нечеткое примечание о том, чтобы в середину этой главы вставить предыдущую V главу, *«1877 год. Пропажа салопа»*. В связи с неопределенностью авторской воли эти главы остаются без изменений, в той последовательности, как они даны первоначально в рукописи. Глава VIII, *«Забывчивость Федора Михайловича»*, перенесена в девятую часть из последнего раздела рукописи А. Г. Достоевской. Глава II, *«Начало 1880 года. Литературные вечера. Посещение знакомых»*, десятой части включала в себя две якобы самостоятельные главы рукописи; но так как главки частично повторяют друг друга, то в настоящем издании они составили одну главу.

Рукопись «Воспоминаний» А. Г. Достоевской хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина и представляет собой 792 больших листа, переписанных рукою автора.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ [1]

Биография — Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883.

Волоцкой — М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского (1506—1933). М., 1933.

ГБЛ—Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

Гроссман — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935.

Гроссман. Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. М.— Пг., 1923.

Дневник Достоевской — А. Г. Достоевская. Дневник, 1867. М., 1923.

Документы — Документы по истории литературы и общественности, вып. 1. Ф. М. Достоевский. М., 1922.

---

[1] Употребляются во всем научном аппарате настоящего издания, кроме вступительной статьи.

Достоевский, 1926—1930 — Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений. Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева, т. I—XIII. М.—Л., 1926—1930.

Достоевский, 1956—1958 — Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в десяти томах. М., 1956—1958.

Достоевский — Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1972—

Достоевский, I — «Достоевский. Материалы и исследования», ред. А. С. Долинина, т. I. Пг., 1922.

Достоевский, II — «Достоевский. Материалы и исследования», ред. А. С. Долинина, т. II. Л., 1924.

Достоевский в воспоминаниях, I—II — «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1—2, сост. А. С. Долинин. М., 1964.

Замотин — И. И. Замотин. Ф. М. Достоевский в русской критике. Ч. 1. 1846—1881. Варшава, 1913.

ИВ — «Исторический вестник».

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

ЛН, т. 15 — «Литературное наследство», т. 15. М., 1934.

ЛН, т. 83 — «Литературное наследство», т. 83. М., 1971.

ЛН, т. 86 — «Литературное наследство», т. 86. М., 1973.

Л. Ф. Достоевская — Л. Ф. Достоевская. Достоевский в изображении его дочери, ред. А. Г. Горнфельда. М.— Пг., 1922.

Материалы, 1 — Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974.

Материалы, 3 — Достоевский. Материалы и исследования, т. 3. Л., 1978.

Материалы, 4 — Достоевский. Материалы и исследования, т. 4. Л., 1980.

ОЗ — «Отечественные записки».

Переписка — Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоевская. Переписка. Изд. подготовили С. В. Белов и В. А. Туниманов. Л., 1976; (Изд. 2-е). М., 1979.

Письма — Ф. М. Достоевский. Письма. Ред. А. С. Долинина, т. 1. М.— Л., 1928; т. 2. М.— Л., 1930; т. 3. М.— Л., 1934; т. 4. М., 1959.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

[1] Имеется в виду роман «Игрок».

[2] Речь идет о пасынке Ф. М. Достоевского, сыне его первой

жены М. Д. Исаевой — Павле Александровиче Исаеве. А. Г. Достоевская дает ему характеристику в письме к жене поэта А. Н. Майкова А. И. Майковой от октября 1867 г. (см.: «Достоевский в неизданной переписке современников». Публикация Л. Р. Ланского.— *ЛН, т. 86,* 408—409). Более подробно Анна Григорьевна рассказала о первой встрече с Достоевским в воспоминаниях «Первая встреча», написанных в 1883 г. (см.: «Неделя», 1971, № 38, 13—19 сентября. Публикация С. В. Белова).

[3] Чтение приговора петрашевцам о смертной казни состоялось 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге. В момент произнесения команды к расстрелу первый ряд осужденных был привязан к столбу. Как писал в день казни Ф. М. Достоевский в письме к брату, он вместе с С. Ф. Дуровым и А. Н. Плещеевым находился во втором ряду (см.: *Письма,* 1, 128). В первом ряду стояли М. В. Петрашевский, Н. А. Момбелли и Н. П. Григорьев (см.: Д. Ахшарумов. Записки петрашевца. М.— Л., 1930).

[4] Письмо от 22 декабря 1849 г. (*Письма,* 1, 128—131), которое вернул Ф. М. Достоевскому сын М. М. Достоевского, Михаил Михайлович Достоевский-младший.

[5] После смерти М. Д. Исаевой и М. М. Достоевского Ф. М. Достоевский был действительно «совершенно одинок и окружен» кредиторами по журналам «Время» и «Эпоха» (ср. с. 72).

[6] Роман «Игрок» первоначально был назван «Рулетенбург».

[7] Долги по журналу «Эпоха» (а не «Время») остались после прекращения журнала, издававшегося в 1864—1865 гг. вместо запрещенного (в апреле 1863 г.) журнала «Время». После смерти М. М. Достоевского (в июле 1864 г.) Ф. М. Достоевский принял на себя ведение «Эпохи». Как сообщает Достоевский в письме к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г., за журналом было тридцать три тысячи долга (см.: *Письма,* 1, 396—403). См. об этом в кн. В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975.

[8] А. Г. Достоевская имеет в виду издание Ф. Т. Стелловским произведений А. Ф. Писемского и В. В. Крестовского на весьма невыгодных для них условиях, а также покупку Стелловским всего за 25 р. сочинений М. И. Глинки у его сестры Л. И. Шестаковой в 1861 г. В 1866 г. между Стелловским и Шестаковой начался долгий судебный процесс по вопросу о выполнении договора (отчеты о процессе печатались в газ. «Голос», 1867, № 136; «Петербургские ведомости», 1867, № 108, 136). По этому поводу Достоевский писал о Стелловском А. Н. Майкову 19 марта (1 апреля) 1871 г.: «Денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если

захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых» (*Письма,* II, 338).

[9] Об А. Н. Майкове, А. П. Милюкове и И. Г. Долгомостьеве см. примеч. 37, 39, 189.

[10] Неточно. Воспоминания А. П. Милюкова были впервые напечатаны не в «Историческом вестнике», а в «Русской старине» (1881, № 3, 5), а затем вошли в кн. А. П. Милюкова «Литературные встречи и знакомства». СПб., 1890, с. 167—249. В своих воспоминаниях А. П. Милюков приводит такой диалог между ним и Достоевским:

«— А не хотите ли вот что сделать: соберемте теперь же несколько наших приятелей; вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, разделим по главам и напишем общими силами. Я уверен, что никто не откажется. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку: вы отдадите роман Стелловскому и вырветесь из неволи. Если же вам своего сюжета жаль на такую жертву, придумаем что-нибудь новое.

— Нет,— отвечал он решительно,— я никогда не подпишу своего имени под чужой работой».

[11] Об отношениях Тургенева и Достоевского см. примеч. 69.

[12] Арестованный 23 апреля 1849 г. по делу петрашевцев Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость и пробыл там до 24 декабря 1849 г., а затем был отправлен в Сибирь.

[13] Имеется в виду семья Веры Михайловны Ивановой, любимой сестры писателя. Достоевский писал к ней и ее мужу, А. П. Иванову 1/13 января 1868 г.: «А кто же милее и дороже мне (да и Анне Григорьевне, кроме своих) — как не вы и ваше семейство?» (*Письма,* II, 66). О семье В. М. Ивановой см.: *Волоцкой,* 187—247.

[14] Речь идет о Марии Дмитриевне Исаевой. О ней см.: Г. Прохоров. Романы Достоевского.— В кн.: «Литературно-художественный сборник «Красной панорамы», 1928, июль, с. 56—64; М. Л. Слоним. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953; Н. И. Якушин. Достоевский в Сибири. Кемерово, 1960; Л. П. Гроссман. Достоевский. М., 1962.

[15] Анна Григорьевна, вероятно, имеет в виду письмо Достоевского к А. Е. Врангелю от 18 февраля 1866 г., так как письмо от конца 1866 г. неизвестно, а письмо от 18 февраля 1866 г. напечатано в *Биографии,* на с. 288. В нем Достоевский пишет А. Е. Врангелю: «...Вы, по крайней мере, счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и *единственном* человеческом счастье...» (*Письма,* I, 432).

[16] История любви Достоевского к А. В. Корвин-Круковской рассказана в «Воспоминаниях детства» ее сестры С. В. Ковалевской (см.: С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., Изд-во АН СССР, 1961). Однако из этих воспоминаний не видно, чтобы А. В. Корвин-Круковская, как пишет Анна Григорьевна (здесь и далее, на с. 100), хотя бы и краткое время, была невестой Достоевского и что Достоевский из идейных соображений вынужден был затем «вернуть ей слово». По свидетельству Софьи Ковалевской, Анна Васильевна сразу же после предложения Достоевского говорила сестре: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить!» (С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., 1961, с. 120). Отношения Достоевского с А. В. Корвин-Круковской частично отразились в его художественном творчестве. Некоторые черты психологического и нравственного облика Корвин-Круковской можно узнать в образах Аглаи в «Идиоте» (см. об этом в кн.: Edward Hallet Carr. Dostoevsky. London, 1931), Ахмаковой («Подросток»), Катерины Ивановны («Братья Карамазовы»). Об отношениях Достоевского и А. В. Корвин-Круковской см. статью И. Шпадарука «Корвин-Круковские и Достоевский».— «Неман», 1966, № 11, с. 143—150.

[17] Роман «Игрок» во многом автобиографичен: в нем нашли отражение длительное увлечение Достоевского рулеткой во время заграничной поездки в 1862—1863 и 1865 гг. и его любовь к А. П. Сусловой (см. А. П. Суслова. Годы близости с Достоевским. М., 1928; А. С. Долинин. Достоевский и Суслова.— В кн.: *Достоевский,* II, 153—284).

[18] С казахским просветителем, этнографом и путешественником Чоканом Чингисовичем Валихановым Достоевский познакомился в феврале 1854 г. в Омске, где Чокан Валиханов учился в кадетском корпусе. Знакомство Достоевского с Валихановым перешло в тесную дружбу. Известно письмо Достоевского к Валиханову от 14 декабря 1856 г.: «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам» (*Письма,* 1, 200). Об отношениях Достоевского и Валиханова см.: В. Мануйлов. Друг Ф. М. Достоевского Чокан Валиханов.— «Труды Ленинградского библиотечного института», т. V, 1959, с. 343—369.

[19] Софья Александровна Иванова (в замужестве Хмырова) — племянница Достоевского, дочь Веры Михайловны Достоевской (по мужу Ивановой). Достоевский относился к ней с исключительной любовью, ценил ее за светлый ум и чистоту сердца, в письмах

к ней доверял ей свои творческие тайны и сообщал много фактов из личной жизни. Достоевский посвятил С. А. Ивановой роман «Идиот» и назвал в честь ее свою дочь. О С. А. Ивановой см.: *Волоцкой*, 194—199.

[20] Письмо А. В. Корвин-Круковской от первых чисел ноября 1866 г., в котором она делится с писателем своими личными переживаниями, сообщает планы литературных замыслов, признается в своих дружеских чувствах к Достоевскому (см. «Литературно-художественный сборник «Красной панорамы», 1929, май, с. 40—41).

[21] Анна Григорьевна носила траур по отцу.

[22] Высказываний самого Достоевского о драме А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» не сохранилось. Известно лишь, как пишет об этом Анна Григорьевна в конце своих мемуаров (см. с. 384 наст. изд.), что Достоевский собирался в начале февраля 1881 г. сыграть роль схимника в «Смерти Иоанна Грозного» в домашнем спектакле у С. А. Толстой. Дочь писателя вспоминает, что однажды «Достоевский стал нам читать стихотворения Пушкина и Алексея Толстого — двух поэтов, которых он больше всего любил» (*Л. Ф. Достоевская*, 89).

[23] Об этом писали Д. В. Григорович, В. В. Тимофеева (О. Починковская) (см.: *Достоевский в воспоминаниях, I,* 127, *II,* 126), Н. Н. Страхов (см. *Биография,* 317). Вместе с тем часто встречавшийся с Достоевским метранпаж М. А. Александров вспоминает: «Первое впечатление, произведенное на меня Федором Михайловичем, было похоже на те впечатления, какие он первоначально производил на большинство людей, имевших с ним дело впервые, и при каких оставались те из этих людей, которым не пришлось сойтись с Федором Михайловичем покороче» (*Достоевский в воспоминаниях, II,* 218).

[24] Детство Достоевского из-за отца, человека угрюмого и вспыльчивого, было не всегда таким «счастливым, безмятежным», как пишет Анна Григорьевна. В письме к А. Е. Врангелю от 9 марта 1857 г. Достоевский замечает: «Более всего беспокоит меня за вас, друг мой, отношения ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нестерпимы. <...> Характеры, как у вашего отца — странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нем; ибо знал в жизни, два раза, точно такие же отношения, как у вас с ним» (*Письма,* I, 215). Младший брат писателя, Андрей Михайлович, рисует в своих «Воспоминаниях» (Л., 1930) их мать, Марию Федоровну, как женщину редкой доброты, чуткую, нежную, обла-

давшую литературными и музыкальными способностями. Образ матери Алеши в «Братьях Карамазовых», возможно, навеян воспоминаниями о Марии Федоровне.

[25] Анна Григорьевна имеет в виду участие Достоевского в кружке петрашевцев, за что он был приговорен к смертной казни, замененной четырехлетней каторгой и пятилетней службой в Сибирском линейном батальоне.

[26] В рукописи «Воспоминаний» этого эпизода нет.

[27] Указание о том, что Ш.-В. Жаклар бежал в Германию из крепости вблизи немецкой границы, ошибочно. На самом деле Ш.-В. Жаклар содержался в тюрьме Шантье в Версале, откуда бежал в Женеву 7 октября 1871 г. Подробности побега Ш.-В. Жаклара и участие в его освобождении отца Анны Васильевны, генерала В. В. Корвин-Круковского, см. в кн.: И. С. Книжник-Ветров. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны. Л., 1964, с. 190—203.

[28] 22 марта 1887 г. Жаклар получил предписание министра внутренних дел в течение трех дней выехать из России. 2 апреля 1887 г. А. Г. Достоевская пишет письмо жене К. П. Победоносцева, Е. А. Победоносцевой, с просьбой продлить пребывание Жаклара в России недели на две-три. Ходатайство А. Г. Достоевской побудило К. П. Победоносцева сделать запрос о Жакларе, и 4 апреля 1887 г. начальник Департамента полиции И. Дурново доложил Победоносцеву, что он «вчера уже сделал распоряжение об отсрочке выезда его <Жаклара> из Петербурга на 10 дней» (см.: «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, кн. 2. М.— Пг., 1923, с. 680—682).

[29] *Письма,* II, 5—6.

[30] В письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 24 сентября (6 октября) 1882 г. Тургенев писал: «Прочел я также статью Михайловского о Достоевском («Жестокий талант»). Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление, а именно пресловутый маркиз де Сад» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 13, кн. 2. М.— Л., 1968, с. 49). Эту же мысль он высказал и в письме к П. В. Анненкову от 25 сентября (7 октября) 1882 г. Об отношениях Тургенева и Достоевского см. примеч. 69.

[31] О большом впечатлении, которое произвел роман «Преступление и наказание» на современников, см. воспоминания Н. Н. Страхова в кн.: *Биография,* с. 289—290 и А. Ф. Кони в кн.: А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 6, М., 1968, с. 430—431, а также кн.: *Замотин,* 83—115, где собраны отзывы русской периодической

печати на опубликование «Преступления и наказания». А. Ф. Кони вспоминает о своей встрече с А. Н. Майковым сразу же после выхода в свет романа: «Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только что вышедшей книжке «Русского вестника» первой части «Преступления и наказания». «Послушайте,— сказал он мне,— что я вам прочту. Это нечто удивительное!» — и, заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением, оживает во мне испытанное тогда и ничем не затемненное и не измененное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью». См. также комментарий Г. М. Фридлендера к академическому изданию романа в кн.: *Достоевский,* 9, 345—356.

[32] Сыновья М. М. Достоевского и Э. Ф. Достоевской: Михаил Михайлович младший и Федор Михайлович младший. О них см.: *Волоцкой,* 104—108. А. Г. Достоевская была недовольна денежными обязательствами, принятыми на себя Достоевским по отношению к детям М. М. Достоевского. В женевском дневнике А. Г. Достоевской есть запись: «Бедный Федя, как мне его жаль, ведь навязалась же эта проклятая обуза ему на шею, мало ему своей, так нужно еще кормить разных чужих щенят» (*ЛН, т. 86,* 174).

[33] За публикацию романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» Достоевский получил от редакции «Русского вестника» по 150 р. за лист; за роман «Подросток» от редакции «Отечественных записок» по 250 р. и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» от редакции «Русского вестника» по 300 р. (см.: Л. К. Ильинский. Гонорары Достоевского.— «Библиографические листы Русского библиографического об-ва», 1922, № 3, с. 4—9). За роман «Отцы и дети» И. С. Тургенев получал от «Русского вестника» по 400 р. за лист, «Дым» был предложен на тех же условиях (см. письма Тургенева к М. Н. Каткову от 23 марта (4 апреля) 1862 г. и 3 (15) августа 1866 г.— В кн.: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 4. М.— Л., 1962, с. 365; т. 6. М.— Л., 1963, с. 93).

[34] Действительно, большинство критиков не поняло новаторскую форму произведений Достоевского. Например, рецензент журнала «Дело» хвалит писателя за гуманные чувства, вдохновлявшие его при создании «Братьев Карамазовых», но сам роман признается крайне неудовлетворительным в художественном отношении («Дело», 1881, № 2—4), а бойкий критик В. В. Чуйко пишет о «Братьях Карамазовых»: «Роман местами блестит стра-

ницами поразительного таланта, но весь, в целости, состоит из каких-то несообразностей и нелепостей <...>, а потом до крайности надоедает длиннотами и повторениями» («Новости», 1880, № 347). Сам Достоевский относился порой к «масштабности» своих романов, их многотемности, как к «недостатку», вместе с тем понимая, что *иначе* он не может и не хочет писать: «Вы ужасно метко указали главный недостаток,— писал он Н. Н. Страхову.— Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился) совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. <...>Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам» (Ф. М. Достоевский. *Письма,* II, с. 358). Однако Достоевский одновременно и утверждал, что «не знает ничего реальнее именно этих вот тем...», то есть самых острых, самых «проклятых» (*там же,* т. IV, с. 57).

[35] Еще раньше, до встречи с Анной Григорьевной, Достоевский писал 17 июня 1866 г. А. В. Корвин-Круковской: «Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писали под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу, Тургенев умер бы от одной мысли.— Но если б вы знали, до какой степени тяжело портить мысль, которая в вас рождалась, приводила вас в энтузиазм, про которую вы сами знаете, что она хороша — и быть принужденным портить и сознательно!» (*Письма,* I, 438). См. также письма Достоевского по поводу романа «Идиот» к С. А. Ивановой от 10 апреля/30 марта 1868 г. и А. Н. Майкову от 7 ноября/26 октября 1868 г. (*Письма,* II, 111, 139, 141). Ср. также воспоминания А. Г. Достоевской «1881 г. Первое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского». Публикация С. В. Белова.— «Книга. Исследования и материалы», сб. 23. М., 1972, с. 193—202.

[36] Письма от 29 декабря 1866 г. и от 2 января 1867 г. (см.: *Письма,* I, 450—454).

[37] Дружественные отношения Достоевского с А. П. Милюковым, педагогом и писателем, завязались еще в 40-е годы; не прервались они и после возвращения Достоевского из ссылки (см. письма Достоевского к Милюкову от 10/XI 1860 г., июля 1866 г.; 13/II 1867 г.— *Письма,* I, 299, 442, 456). Однако духовной близости между ними не было. Об этом свидетельствуют не только слова Достоевского, приводимые Анной Григорьевной: «по пошловатому тону рассказа дело не обошлось без А. П. Милюкова», но и отрицательные отзывы Достоевского об А. П. Милюкове

в заграничный период (1867—1871) в письмах к Э. Ф. Достоевской, Н. Н. Страхову, А. Г. Достоевской. Однако точных данных о том, что именно Милюков был автором статьи в «Сыне отечества», нет. В 1890 г. появилась книга А. П. Милюкова «Литературные встречи и знакомства», в которой целая глава посвящена знакомству и дружбе с Ф. М. Достоевским.

[38] Неточно. Как указывает дальше сама Анна Григорьевна, пасынок Достоевского, П. А. Исаев, был лишь на несколько месяцев моложе ее.

[39] Переводчик и журналист Иван Григорьевич Долгомостьев являлся постоянным сотрудником журналов Достоевского «Время» и «Эпоха», одним из самых страстных, фанатичных сторонников «почвеннического» направления. Судя по воспоминаниям Страхова, он заболел навязчивой идеей отчасти из-за бесконечных многолетних мучительных споров и раздумий о «почвенничестве» (см.: *Биография,* 205—206). О Страхове см. ч. XII наст. изд. (гл. II. Ответ Страхову) и примеч. 289.

[40] П. А. Исаев родился в 1846 г.

[41] В июле 1842 г. и летом 1846 г. Ф. М. Достоевский ездил в Ревель к М. М. Достоевскому.

[42] О пребывании Достоевского летом 1866 г. на даче Ивановых в Люблине см. воспоминания Н. Н. Фон-Фохта, «К биографии Достоевского».— *ИВ,* 1901, № 12, с. 1023—1033. Пребывание Достоевского в Люблине Н. Н. Фон-Фохт называет счастливым временем в жизни писателя, когда он в играх и забавах с молодежью отдыхал от усиленной работы над «Преступлением и наказанием».

[43] О полицейском надзоре за Достоевским см. публикацию Ю. Г. Оксмана «Секретные инструкции о Достоевском» в кн.: «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, с. 36—38, а также ч. VII наст. изд.

[44] Более подробно о жизни Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской за границей в 1867 г. см. в *Дневнике Достоевской.* См. также: А. Г. Достоевская. Воспоминания. «Нитка». Публикация С. В. Белова.— «Дальний Восток», 1971, № 11, с. 131—135; Расшифрованный Дневник А. Г. Достоевской. Расшифровка Ц. М Пошеманской. Публикация С. В. Житомирской.— *ЛН,* т. 86, 155—290.

[45] В тексте «Воспоминаний» Анна Григорьевна не указала, какое письмо Достоевского к ней она имеет в виду. Это письмо, вероятно, не сохранилось, так как в письмах, вошедших в собрание «Писем» Достоевского в 4-х томах, этот эпизод не упоминается. Об этом же эпизоде Анна Григорьевна рассказывает и в *Дневнике Достоевской* (с. 105), относя его к 26 мая (7 июня) 1867 г.

[46] В *Дневнике Достоевской* за 18 апреля 1867 г. имеется запись: «Наконец Федя привел меня к Сикстинской мадонне. Никакая картина до сих пор не производила на меня такого впечатления, как эта. Что за красота, что за невинность и грусть в этом божественном лице, сколько смирения, сколько страдания в этих глазах. Федя находит скорбь в улыбке Мадонны» (с. 15). Сикстинская мадонна несколько раз упоминается в произведениях Достоевского. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов говорит о своей юной невесте: «А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой» (*Достоевский*, 6, 369).

[47] Анна Григорьевна имеет в виду работы В. М. Васнецова в конце 80-х — начале 90-х годов по росписи стен Владимирского собора в Киеве библейскими сюжетами.

[48] В *Дневнике Достоевской* имеется запись за 20 апреля о картине Тициана «Христос с монетой»: «Эта великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонною Рафаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание» (с. 19).

[49] Картины французского художника Клода Лоррена «Утро» и «Вечер» находятся не в Дрезденской галерее, а в Эрмитаже, в Ленинграде. Первая из них, «Утро», известна еще под названием «Встреча Иакова с Рахилью». «Золотым веком» Достоевский называл другую картину Клода Лоррена — «Асис и Галатея», находящуюся в Дрезденской галерее. Сюжетом картины «Асис и Галатея» послужил эпизод из XIII книги «Метаморфоз» Овидия — рассказ о любви Галатеи к юноше Асису. Достоевский трижды возвращается к этой картине в своих произведениях: в «Бесах» («Исповедь Ставрогина»), в «Подростке» (рассказ Версилова о первых днях европейского человечества) и в «Дневнике писателя» за 1877 г. («Сон смешного человека»).

[50] Скептическое отношение к музыке Вагнера подтверждается письмом Достоевского к Анне Григорьевне из Эмса от 7/19 августа 1879 г.: «Музыка здесь хоть и хороша, но редко Бетховен, Моцарт, а все Вагнер (прескучнейшая немецкая каналья, несмотря на славу свою) и всякая дрянь» (*Переписка*, 297). Антипатия к Вагнеру объясняется, по-видимому, тем, что Достоевский был воспитан на классической и романтической музыке Глинки, Бетховена, Моцарта. Надо учесть также, что Достоевский слушал Вагнера за границей лишь в концертном исполнении, в то время как наибольший успех имели оперы Вагнера в сценическом воплощении. В то же время в 1873 г. в примечании «От редакции» «Гражданина» к одной корреспонденции из Германии Достоевский писал: «А таких

явления, как распространение идей Шопенгауэра и полная глубоких задач музыка Вагнера, показывают, по крайней мере, что немецкое глубокомыслие и художественное творчество еще живы, еще одушевлены самыми высокими стремлениями» (*Достоевский, 1926—1930,* XIII, 456). См. подробнее в кн. А. А. Гозенпуда «Достоевский и музыка». Л., 1971.

[51] Герцена Достоевский читал много и постоянно. Он был для него одним из наиболее глубоких и проникновенных писателей-мыслителей. Важно отметить, что творчество Герцена оказало огромное, до сих пор еще недостаточно оцененное воздействие на Достоевского. Впервые он упомянул о Герцене в письме к М. М. Достоевскому в январе 1846 г., и, начиная с этого времени, Достоевский пристально следит за всеми без исключения произведениями Герцена. «Кто виноват?», «Доктор Крупов» и особенно «С того берега» и «Письма из Франции и Италии» становятся в ряд с любимыми Достоевским шедеврами русской и мировой литературы. Особенно ценил Достоевский публицистику Герцена, его статьи-исследования о Европе, близкие ему по антибуржуазному духу и глубине проникновения в сущность главнейших социальных и философских проблем и потрясений на Западе. Необыкновенно высоко отзывался Достоевский и о «Письмах об изучении природы» Герцена, в которых он находил «лучшую философию не только в России,— в Европе» (*Достоевский в воспоминаниях, II,* 138). В 1862 г. в Лондоне состоялась встреча Достоевского и Герцена, на обоих она произвела самое благоприятное впечатление. Впоследствии, когда политические симпатии Достоевского во многом изменились и очевиднее стали идеологические расхождения с Герценом, Достоевский в «Старых людях» даст весьма субъективную, но в то же время далекую от враждебности характеристику его личности: «Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр» (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 7). И в 1876 г. Достоевский, потрясенный известием о самоубийстве дочери Герцена, пишет о ее отце как о мыслителе и поэте: «Заметьте — это дочь Герцена, человека высокоталантливого, мыслителя и поэта. Правда, жизнь его была чрезвычайно беспорядочна, полная противоречий и странных психологических явлений. Это был один из самых резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких и с некоторыми вполне уж русскими чертами характера» (*ЛН, т. 86,* 86). Об отношении Достоевского к Герцену см. статьи А. С. Долинина «Достоевский и Герцен в его кн. «Последние романы Достоевского», М.—Л., 1963, и С. Д. Лищи-

нер. Герцен и Достоевский. Диалектика духовных исканий.— «Русская литература», 1972, № 2, с. 37—61.

[52] А. Г. Достоевская имеет в виду гл. XV — «Нечто о вранье» — «Дневник писателя» за 1873 г., которую Достоевский закончил так: «В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва. <...> Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее,* чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтобы *казаться.* Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?» (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 129). Анна Григорьевна не совсем точна, когда говорит, что положительное отношение к эмансипации женщин возникло у писателя значительно позже, в 70-х годах. Достоевский скорее отрицал внешний нигилизм, «кукшинского» типа. Вот что он писал С. А. Ивановой еще в 1868 г.: «Вопрос о женщине и особенно о русской женщине, непременно, в течение времени даже вашей жизни, сделает несколько великих и прекрасных шагов. Я не о скороспелках наших говорю...» (*Письма,* II, 73).

[53] Основатель стенографии в Германии и изобретатель новой ее системы Ф.-К. Габельсбергер остановился на мысли, что видимые знаки, передающие звуки языка, должны быть приноровлены к механизму человеческой речи. Ученики Габельсбергера основали после его смерти «Габельсбергерское главное стенографическое общество» и подготовили к переизданию важнейшее сочинение Габельсбергера «Lehrgebäude der Stenograhie» (München, 1850). Одним из первых преподавателей стенографии в России по системе Габельсбергера был учитель А. Г. Достоевской П. М. Ольхин, автор учебника «Руководство к русской стенографии по началам Габельсбергера» (Изд. 3-е, СПб., 1866), имевшегося в библиотеке Ф. М. Достоевского. Об А. Г. Достоевской как стенографистке см.: Б. Н. Капелюш и Ц. М. Пошеманская. Стенографические записи А. Г. Достоевской — в кн.: «Литературный архив», т. 6. М.— Л., 1961, с. 109—111.

[54] В рукописи далее пропуск. Сообщение о заседании стенографического общества в Дрездене 20 июня 1867 г., на котором присутствовала А. Г. Достоевская, появилось не в газете «Dresdener Mission — Nachrichten», а в газете «National Zeitung» от 22 июня 1867 г. В кн. *Дневник Достоевской* приводится отрывок именно из этого номера «National Zeitung»: «На последнем расширенном заседании Стенографического института присутствовала обучавшаяся по системе Габельсбергера русская дама, которая в Петербурге часто пользуется этой системой» (с. 145).

[55] Речь идет о выстреле польского эмигранта Антона Березовского в Александра II на всемирной выставке в Париже 25 мая (6 июня) 1867 г. Почти вся парижская пресса, а также парижские адвокаты, устроившие специальную демонстрацию с лозунгами «Vive la Pologne!», выступили в защиту А. Березовского, рассматривая его покушение как акт законной мести за свою порабощенную родину. 3/15 июля 1867 г. парижский суд присяжных приговорил А. Березовского вместо смертной казни к пожизненной каторге. Писатель, не признававший смертной казни, был, однако, возмущен попыткой суда присяжных оправдать Березовского, которые принимали во внимание главным образом смягчающие вину обстоятельства. Позиция присяжных противоречила учению Достоевского о личной ответственности человека за свои поступки. Свое резко отрицательное отношение к покушению Березовского и к процессу над террористом Достоевский выразил в письме к А. Н. Майкову от 28/16 августа 1867 г.: «Происшествие в Париже меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижские, кричавшие vive la Pologne. Фу, что за мерзость, а главное—глупость и казенщина! Еще более убедился я тоже в моей прежней идее: что отчасти и выгодно нам, что Европа нас не знает и так гнусно нас знает. А подробности процесса <...> Березовского! сколько гнусной казенщины...» (*Письма,* II, 27).

[56] Достоевский-публицист, действительно, в «Дневнике писателя» неоднократно ратует за союз народа и «царя-освободителя» Александра II. Однако Достоевский не всегда идеализировал личность Александра II. «Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым,— писал Достоевский.— Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит» (*Биография,* 366).

[57] По заключению генерал-аудиториата по делу петрашевцев 19 ноября 1849 г. Достоевский вместе с другими петрашевцами был лишен всех прав состояния, а 17 апреля 1858 г., то есть уже при Александре II, последовал высочайший указ Правительствующему сенату о возвращении Достоевскому прежних прав потомственного дворянства. Достоевский не сразу получил разрешение жить в Петербурге, а сначала, с августа по декабрь 1859 г., вынужден был поселиться в Твери, и лишь 2 декабря 1859 г. последовало разрешение Александра II на жительство Достоевского в Петербурге под секретным надзором полиции.

[58] См. *Письма, II,* 11—20.

[59] Анна Григорьевна пишет в «Дневнике», что Достоевский

уехал в Гомбург 4 мая 1867 г. и обещал вернуться через 4 дня, но пробыл там до 15 мая (*Дневник Достоевской,* 46, 86).

[60] См. *Достоевский, 1926—1930,* XII, 27—33.

[61] Анна Григорьевна, рассказывая об отношении Достоевского к Белинскому, опирается, видимо, на беседы с мужем, а также статью «Старые люди» в «Дневнике писателя» за 1873 г. (см. *Достоевский, 1926—1930,* XI) и письмо к Н. Н. Страхову от 18 мая 1871 г., в котором Достоевский уверял, что Белинский «ругал... Христа по матерну» (*Письма,* II, 364). По всей вероятности, принципиальные столкновения по религиозным вопросам между Белинским и Достоевским имели место, но не они явились главной причиной будущих идейных разногласий. Анна Григорьевна явно упрощает сложную эволюцию взаимоотношений Достоевского и Белинского. Наиболее серьезным влиянием, испытанным Достоевским в молодости, было влияние Белинского. Да и в течение всей последующей жизни Достоевского мы не найдем мыслителя или публициста, который бы столь глубоко вошел в его сознание. «Я страстно принял тогда все учение его»,— писал Достоевский (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 10). Первая встреча с Белинским (в мае 1845 г.), восторженный тон первой беседы и слова Белинского, сказанные о «Бедных людях»: «Да вы понимаете ль сами-то <...> что это вы такое написали! ...Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали... Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 31—32) — все это осталось навеки в памяти Достоевского. С течением времени менялось мировоззрение писателя, менялись в связи с этим и его ретроспективные оценки Белинского. Достоевскому случалось возводить и хулу на великого критика, но он никогда не мог ни забыть, ни отнестись равнодушно к вдохновенному учителю своей молодости. После идейного кризиса, пережитого на каторге, Достоевский и хотел бы освободиться от влияния Белинского, но он никогда не мог довести своего бунта против него до конца. Вместе с тем идейная эволюция писателя особенно сказывается на его отношении именно к Белинскому, который для Достоевского 60-х годов олицетворяет враждебный атеистический социализм. Достоевский начинает ожесточенную борьбу с учением Белинского, с «разрушительными идеями» 40-х годов (см., например, письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 28(16) августа 1867 г.— *Письма,* II, 24—36). Этот процесс «ниспровержения идеалов» достигает своей кульминации в период создания «Бесов», романа, содержащего попытку дискредитировать самую идею революционности (см. отзывы Достоевского о Белинском в запис-

ных тетрадях.— *ЛН,* т. 83). Однако за три года до смерти Достоевского наступает новый поворот в его отношении к Белинскому. В январе 1877 г. умирал Некрасов, сыгравший роль посредника в знакомстве автора «Бедных людей» с критиком «Современника». Достоевский уже, казалось бы, совсем отошедший от Белинского, вспоминая теперь свою первую встречу с ним, запишет в «Дневнике писателя» за 1877 г.: «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 32). Об отношениях Белинского и Достоевского см. кн. В. Кирпотина «Достоевский и Белинский». Изд. 2-е, М., 1976.

62 В феврале 1846 г. в «Отечественных записках» была опубликована статья Белинского о «Бедных людях» и «Двойнике», в которой наряду с признанием высоких художественных достоинств повестей (особенно «Бедных людей») содержались и критические замечания, в основном относящиеся к «Двойнику». Эта вполне благожелательная рецензия привела Достоевского в полное уныние. Отношения его с кругом «Современника» становятся все более натянутыми. Свою новую повесть «Господин Прохарчин» Достоевский на этот раз отдает не Некрасову, а Краевскому в «Отечественные записки». «Скажу тебе,— пишет Достоевский брату в ноябре 1846 г.,— что я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова. <...> Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалил меня» (*Письма,* I, 102). Однако неровное поведение молодого писателя, вызванное чрезмерной мнительностью, в тот момент оттолкнуло от него литераторов из среды «Современника», дало повод для иронии, насмешек и эпиграмм. Коллективному творчеству Тургенева и Некрасова принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

О взаимоотношениях круга «Современника» с Достоевским вспоминает А. Панаева: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он

нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности...» (*Достоевский в воспоминаниях, I,* 141).

[63] См.: *Письма,* II, 36—38.

[64] Письмо А. Н. Майкова от 3 ноября 1867 г. напечатано в кн.: *Достоевский, II,* 342—343. В примечаниях к письмам Достоевского Анна Григорьевна называет не книгопродавца И. Г. Соловьева, а А. Ф. Базунова (Ф. М. Достоевский. Письма к жене. М.—Л., 1926, с. 314).

[65] Вероятно, неточность, так как К. И. Бабиков умер в 1873 г. Статья вообще до Бабикова не дошла. Это подтверждается его письмом к Достоевскому от 31 декабря 1867 г., из которого ясно, что в течение всего истекшего года Бабиков тщетно надеялся получить обещанную статью (см. Б. Бурсов. Достоевский неизвестный.— «Литературная газета», 1970, 16 сентября; Л. Ланский. Утраченные письма Достоевского.— «Вопросы литературы», 1971, № 11, с. 201).

[66] Точно нельзя сказать, каков был замысел статьи Достоевского о Белинском. Можно лишь предположить, что эта работа частично воплотилась в «Дневнике писателя» 1873 г. в очерке «Старые люди» (см.: *Достоевский, 1926—1930,* XI). Майков, который читал статью, пришел к убеждению, что она не может быть опубликована. «Статья вот какое впечатление производит,— писал он Достоевскому,— автор взялся рассказывать все, да как стал писать и увидел, что рассказывать нельзя. Нет, это только в *посмертных* мемуарах можно» (*Письма,* II, 390).

[67] Письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 28/16 августа 1867 г.— *Письма,* II, 29).

[68] Достоевские встретили И. А. Гончарова 2/14 июля 1867 г. Мнение Анны Григорьевны о Гончарове, видимо, сложилось под влиянием неблагоприятных отзывов Достоевского о личности весьма уважаемого им, впрочем, писателя: «с душою чиновника, без идей, и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто на смех, одарил блестящим талантом» (письмо к А. Е. Врангелю от 9 ноября 1856 г.— *Письма,* I, 199).

[69] Изложение беседы см. в *Дневнике Достоевской,* с. 198—199, а также в письме Достоевского к А. Н. Майкову от 28/16 августа 1867 г.— *Письма,* II, 30—32. Эта ссора писателей, происшедшая 10 июля (28 июня) 1867 г., стала предметом литературной сплетни (см: Е. М. Гаршин. Воспоминания об И. С. Тургеневе.— *ИВ,*

1883, № 11, и уточнение этих воспоминаний в статье П. Бартенева в журнале «Русский архив», 1884, № 3). Подробнее об этой ссоре см. также примеч. А. С. Долинина к письму Достоевского А. Н. Майкову от 28/16 августа 1867 г.— *Письма,* II, 384—387. В Баден-Бадене произошло знаменитое «идеологическое» столкновение Достоевского с Тургеневым, закончившееся полным разрывом отношений. Разрыв в некоторой степени был подготовлен в 40-х годах, когда Тургенев выступил в роли одного из самых язвительных обидчиков Достоевского (см. примеч., 62). Между тем первое знакомство (середина ноября 1845 г.) на обоих писателей произвело самое отрадное впечатление, о чем Достоевский пишет своему брату 16 ноября 1845 г. (см. наст. изд., с. 415). Но этот период взаиморасположения был очень коротким. Расхождение Достоевского с кругом писателей «Современника» сказалось и на отношении к Тургеневу. Вскоре же явственно обнаружилось психологическое «несовпадение» их натур, темпераментов, во всех смыслах — и творческом, и просто человеческом. Достоевский «возненавидел меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру,— вспоминает Тургенев,— хотя я ничем не заслужил этой ненависти; но беспричинные страсти, говорят, самые сильные и продолжительные» (Тургенев. *Письма,* X, 39). Писатель очень точно, пожалуй, квалифицировал характер распри, длившейся почти всю жизнь, как «беспричинную страсть», главным образом со стороны Достоевского. Но на это психологическое и эмоциональное неприятие друг друга накладывались, бесспорно, идейные расхождения, обострившиеся с появлением «Дыма» Тургенева в 1867 г. Однако в сложной истории взаимоотношений Тургенева и Достоевского существовал период относительного сближения, творческого сотрудничества — это 1860—1865 гг., когда появляются «Отцы и дети», публикуются в «Эпохе» тургеневские «Призраки». В это время между Тургеневым и Достоевским ведется оживленная переписка. По словам Тургенева, именно Достоевский, как никто, понял Базарова. «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумленья — и удовольствия» (Тургенев. *Письма,* IV, 358). «Дым» Тургенева навсегда развел писателей. Достоевский-почвенник воспринял роман как явную «западническую» клевету на Россию. «Дым», по его словам, «подлежал сожжению от руки палача» (Тургенев. *Письма,* IX, 85). Гнев Достоевского обрушился на публицистические выступления «крайнего западника» Потугина, тенденциозно отождествленные оппонентом с авторской позицией. Страстный протест Достоевского вызвали развиваемые тургеневским героем мысли о необходи-

мости для России встать на путь европейской цивилизации, острая критика не только панславизма, но и некоторых взглядов Герцена, близких к славянофильским. Неправомерность такого рода пристрастной критики романа была отмечена современниками Тургенева, например, А. В. Никитенко («Дневник», т. III. М., 1956, с. 83). Создавая свой роман «Бесы», Достоевский литературные и идеологические споры перенес непосредственно в художественную сферу. Кармазинов — злая карикатура на Тургенева, автора «Призраков», «Довольно», «Казни Тропмана», содержащая также опасный намек на очевидные симпатии писателя к «нигилистам» и заговорщикам. Достоевский «аристофановски выводит меня в «Бесах»,— писал Тургенев. «Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию «Призраков»; в тех же «Бесах» он представил меня под именем Кармазинова, тайно сочувствующим нечаевской партии...» (Тургенев, *Письма,* X, 49, 39). Тургенев не принял шедевра Достоевского «Преступления и наказания» — гротескно сравнивая впечатление, производимое на него романом, с «продолжительной холерной коликой». Он также весьма резко отозвался о «Подростке» Достоевского, назвав его «хаосом», «никому не нужным» невнятным «бормотанием». В этих пристрастных желчных и несправедливых оценках сказалось не только полемическое раздражение писателя, но и принципиальное несогласие с творческим методом Достоевского, парадоксальными порой, с точки зрения Тургенева, крайностями его психологизма. Тургенев во многом субъективно, в соответствии со своим уравновешенным психическим складом, воспринимал трагический мир героев Достоевского, как своего рода болезненную апологию страдания (см. примеч. 30). Для Тургенева-художника Достоевский — «жестокий талант». С. Л. Толстой приводит в своих мемуарах характерное суждение Тургенева о «психологизме» Достоевского: «Насколько я помню, он так говорил про него,— вспоминал С. Л. Толстой: «Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе у Жюля Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место... А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои — в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь «этого не бывает» (*«Тургенев в воспоминаниях современников»,* т. II. М., 1969, с. 377). Пушкинские торжества 80-х годов явились новым поводом для идейных

столкновений. В своей оценке поэта Тургенев и Достоевский вновь оказались на разных идейных полюсах (см. примеч. 249). Почвеннические русофильские тенденции в истолковании Достоевского вызвали протест Тургенева. Но и речь Тургенева была воспринята Достоевским так тенденциозное «заигрывание» с демократической молодежью.

Однако, несмотря на глубокие принципиальные расхождения между Тургеневым и Достоевским (см. отзывы Достоевского о Тургеневе в записных тетрадях.— *ЛН, т. 83),* их объединяла искренняя большая любовь к русской литературе; этим объяснялось и неизменное взаимное признание таланта друг друга даже в период обострения вражды (см. письмо Тургенева к Достоевскому от 28 марта/9 апреля 1877 г. на с. 415 наст. изд.). Среди «выдающихся представителей русской словесности <...> Вы, конечно, стоите <...> на первом плане»,— писал Достоевскому Тургенев (Тургенев. *Письма,* XII, 129). Для Достоевского Тургенев — «несомненный», «бесспорный талант». В своей речи о Пушкине он назвал типы тургеневских женщин, подобные Лизе Калитиной, созданиями высокой поэзии. Известно, что Тургенев выразил желание написать некролог «о столь значительной личности», как Достоевский. К сожалению, замысел этот не осуществился. Об отношениях Тургенева и Достоевского см. их переписку под ред. И. С. Зильберштейна (Л., 1928), монографию Ю. Никольского «Тургенев и Достоевский. История одной вражды» (София, 1921), статьи А. С. Долинина «Тургенев в «Бесах» *(Достоевский, II)* и Н. Ф. Будановой «Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы» (*Материалы, I,* 164—188).

[70] См.: *Достоевский, 1956—1958,* VI, 463.

[71] Об огромном впечатлении, произведенном на Достоевского картиной Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», А. Г. Достоевская запишет также в «Дневнике 1867 года» от 24/12 августа *(Дневник Достоевской,* 366) и в «Примечаниях к роману «Идиот»: «В тамошнем городском музее Федор Михайлович увидел картину Ганса Гольбейна. Она страшно поразила его, и он тогда сказал мне, что «от такой картины вера может пропасть» *(Гроссман, Семинарий,* 59).

[72] А. Г. Достоевская ссылается на письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 16/28 августа 1867 г. — см., *Письма,* II, 34. О пребывании в Женеве А. Г. Достоевская подробно пишет в своем «Женевском дневнике». См.: «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской».— *ЛН., т. 86,* 155—290.

[73] В творчестве Бальзака Достоевского привлекали антибуржуазная направленность его полотен, глубина психологического

анализа, сочувствие к униженным и оскорбленным. Первым литературным произведением Достоевского был перевод «Евгении Гранде» Бальзака. В последнем своем создании, в Пушкинской речи, Достоевский вспоминает одного из главных героев «Отца Горио» — Растиньяка (см. вариант Пушкинской речи в кн.: *Достоевский, II),* который пытается разрешить ту же проблему, что и Раскольников: право сверхчеловека переступить через преступление для осуществления своего высокого предназначения. О близких, родственных чертах в творчестве Бальзака и Достоевского см. статьи Л. П. Гроссмана «Бальзак и Достоевский» в кн.: Л. П. Гроссман. Собр. соч., т. II, вып. 2. М., 1928; И. И. Лапшина «Братья Карамазовы» Достоевского и «Красный кабачок» Бальзака».— «Воля России». Прага, 1927, № 2; Л. П. Гроссмана «Бальзак в переводе Достоевского» — в кн.: О. Бальзак. Евгения Гранде. Перев. Ф. М. Достоевского. М. — Л., 1935.

[74] Жорж Санд оказала большое влияние на миросозерцание молодого Достоевского. Известно, что Достоевский летом 1844 г. переводил повесть Жорж Санд «La derniére Aldini». В июньском номере «Дневника писателя» за 1876 г., в некрологе, посвященном Жорж Санд, Достоевский писал: «Жорж Санд <...> заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе <...> Жорж Санд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц <...> более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь» *(Достоевский, 1926—1930,* XI, 311, 314—315). В. В. Тимофеева (О. Починковская) приводит слова Достоевского: «Писательница во всем мире только одна, достойная этого имени! Это Жорж Санд!» *(Достоевский в воспоминаниях, II,* 136). О влиянии Жорж Санд на творчество Достоевского см. статьи: A. Brinken. George Sand et Dostojevsky: contribution en probléme des emprunts littéraires.— «Revue de littérature comparée», Paris, 1933, Oct.—Dec., p. 623—629 и В. Комарович. Юность Достоевского.— «Былое», 1924, № 23.

[75] Ошибка: первой частью эпопеи «Les parents pauvres» является роман «Le cousine Bétte».

[76] А. Г. Достоевская называет ошибочно роман «Les Misérables» («Отверженные») В. Гюго обычным переводным заглавием «Униженных и оскорбленных» Достоевского «Les humiliés et les offensés». Мемуаристы неоднократно указывали на восторженное отношение Достоевского к роману «Les Misérables» (см., например, воспоминания В. В. Тимофеевой (О. Починковской) и

Н. Н. Страхова в кн.: *Достоевский в воспоминаниях, I,* 300 и *II,* 178—179, а также в настоящем издании — ч. VII). См. также: Г. М. Фридлендер. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 141—157.

[77] Как свидетельствует В. В. Тимофеева (О. Починковская), любимыми стихами Достоевского был рефрен из поэмы Н. П. Огарева «Тюрьма», написанной в 1857—1858 гг.:

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

(см.: *Достоевский в воспоминаниях, II,* 174).

[78] Первый конгресс «Лиги мира и свободы» проходил в Женеве с 9 по 12 сентября 1867 г.

[79] Неточно. Цитируемое письмо к С. А. Ивановой от 11 октября 1867 г. (*Письма,* II, 44—45) было опубликовано впервые в кн. VII журнала «Русская старина» за 1885 г. Достоевские присутствовали на заседании конгресса 11 сентября 1867 г. (см.: «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской» — *ЛН, т. 86,* 177). На этом заседании выступали деятели I Интернационала.

[80] Неточно. Письмо к С. А. Ивановой от 1 января 1868 г. (*Письма,* II, 71), отрывок из которого цитируется мемуаристкой, было опубликовано впервые в кн. VII журнала «Русская старина» за 1885 г.

[81] Письмо к А. Н. Майкову от 9 октября 1867 г. (*Письма,* II, 45).

[82] Письмо к А. Н. Майкову от 9 октября 1867 г. (*Письма,* II, 46).

[83] См. *Письма,* II, 54—55.

[84] О своем недовольстве первыми главами романа Достоевский писал А. Н. Майкову 12 января 1868 г. (*Письма,* II, 61—62). О ходе работы над романом «Идиот» см. кн.: «Из архива Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», под ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М.—Л., 1931, и комментарий И. А. Битюговой к академическому изданию «Идиота» — *Достоевский,* 9, 337—385.

[85] Материалы «Дела о дочери помещика Ольге Умецкой, обвиняемой в поджогах, и о родителях ее, Владимире и Екатерине Умецких, обвиняемых в злоупотреблении родительской властью» (газеты «Москва» 1867, № 136 и 137 от 23 и 24 сентября и «Голос», 1867, № 260—268 от 26—28 сентября), оказали известное влияние на формирование первоначального замысла романа «Идиот».

Дело каширских помещиков Умецких раскрывало картину диких издевательств родителей над детьми,— издевательств, вызвавших «бунт» дочери Умецких — пятнадцатилетней Ольги, четыре раза пытавшейся поджечь родительский дом. Ольга Умецкая явилась прототипом одной из героинь будущего романа — Миньоны, и хотя процесс Умецких в окончательном тексте романа «Идиот» не нашел отражение, но в семейной трагедии Умецких Достоевский почерпнул типические штрихи для разработки интересующей его темы «случайного семейства».

[86] В результате судебной реформы 1864 г. старые сословные суды были заменены судебными учреждениями, общими для всех сословий. В новых судах, в отличие от дореформенных, дела слушались при открытых дверях, с участием присяжных и адвоката. Отчеты о судебных заседаниях печатались в газетах. Интерес Достоевского к пореформенному суду широко отражен в романе «Идиот», а в дальнейшем в «Дневнике писателя» и особенно в «Братьях Карамазовых». См. об этом в кн. Т. С. Карловой «Достоевский и русский суд». Казань, 1975.

[87] *Письма,* II, 117.

[88] См.: *Письма,* I, 398.

[89] Перефразированная цитата из письма Достоевского к А. Е. Врангелю от 18 февраля 1866 г. (см. примеч. 15).

[90] См.: *Письма,* II, 122. В рукописи А. Г. Достоевской пропуск: приводится лишь первая строчка цитаты: «чем дальше идет время».

[91] Из письма Достоевского А. Н. Майкову от 2 августа 1868 г.: «Наконец я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (черт знает в чем), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать» (*Письма,* II, 130).

[92] В списке лиц, состоявших под полицейским надзором за 1867 г. наряду с деятелями демократического движения 60-х годов Ткачевым, Благосветловым, Писаревым, Елисеевым, Минаевым, В. Курочкиным значится и имя Достоевского (см. «Алфавитный указатель лиц, состоящих под полицейским надзором в СПб. за 1867 год», опубликованный М. Лемке в Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена, т. XX, с. 113—114). В инструкции III Отделения от 28 ноября 1867 г. за № 1292 было сказано: «Секретно. Господину начальнику Одесского жандармского управления. Поручаю вашему высокоблагородию, при возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Федора Достоевского, произвести у него самый тщательный осмотр и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение собствен-

ной его императорского величества канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение. Управляющий Отделением свиты его величества генерал-майор Мезенцов». Инструкция была передана начальнику Одесского таможенного округа, а тот, в свою очередь, «совершенно секретно» уведомил о ней Одесского градоначальника (см. сб. «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, с. 36—38).

[93] Это была вышедшая в 1868 г. в Вюрцбурге на французском языке книга Пауля Гримма «Les mystéres du Palais de Czars (sous l'Empereur Nicolas I) par Paul Grimm, propriété de l'éditeur». Vurzbourg, 1868 («Тайны царского двора времен Николая I»). В романе Пауля Гримма дана фантастическая картина последних дней царствования Николая I. События происходят в 1855 г. Достоевский изображен в романе одним из главных действующих лиц. Он вернулся из Сибири, куда был сослан по делу «Петрашевского-Петрушевича», и снова активно участвует в тайном революционном заговоре. Члены общества собираются в каком-то подвале, их выслеживают и арестовывают. На допросе в III Отделении Достоевский не желает назвать имена своих товарищей — участников заговора. Его подвергают телесным наказаниям и отправляют в Петропавловскую крепость. Жена Достоевского добивается аудиенции у Николая I, вымаливает у него прощение, но поздно. Достоевский тем временем, вновь приговоренный к ссылке в Сибирь, умирает в Шлиссельбурге. Убитая горем жена Достоевского уходит в монастырь. Николай I видит, что трон его шатается, и кончает самоубийством. В первые годы после выхода этой книги существовало подозрение, что ее автор Пауль Гримм — скрывшийся под прозрачным псевдонимом воспитатель великих князей Август Теодор Гримм (1805—1878), который в 1860 г. навсегда уехал из России в Германию. В письме к Достоевскому от 17 сентября 1868 г. А. Н. Майков категорически отверг предположение об авторстве А. Т. Гримма. (Отрывок из этого письма Майкова приводит в своих комментариях А. С. Долинин.— *Письма,* II, 433). О книге Пауля Гримма и о резко отрицательном отношении к ней Достоевского см. статью Н. Ф. Бельчикова «Ф. М. Достоевский — «член тайного общества» — в кн.: Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1936, с. 236—240.

[94] Черновик письма Достоевского хранится в *ЦГАЛИ,* ф. 212, оп. I, ед. хр. 6 и опубликован в кн.: *Письма,* II, 134—136.

[95] Из письма к Н. Н. Страхову от 12/24 декабря 1868 г. (*Письма,* II, 156.)

[96] О Н. Я. Данилевском см. примеч. 139.

[97] Из письма Достоевского к С. А. Ивановой от 25 января (6 февраля) 1869 г.: «Романом я недоволен; он не выразил и 10-й доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор» (*Письма,* II, 160).

[98] «Венера Медицейская» (музей Уффици, во Флоренции), созданная в Риме в последнем столетии до нашей эры, ошибочно приписывалась греческому скульптору Клеомену (I в. до н.э.).

[99] Воспоминания А. Г. Достоевской уточняет и дополняет письмо Достоевского к Н. Н. Страхову из Флоренции от 18/6 апреля 1869 г.: «Вы вот спрашиваете в письме Вашем, что я читаю. Да Вольтера и Дидро всю зиму и читал. Это, конечно, мне принесло и пользу и удовольствие..» (*Письма,* II, 186). Именно в конце 60-х годов, особенно в связи с замыслом романа «Атеизм» (см. о нем примеч. 102), усиливается интерес Достоевского к скептической философии Вольтера, а 24 декабря 1877 г., за год до начала работы над романом «Братья Карамазовы», Достоевский запишет: «Memento — на всю жизнь. I. Написать русского Кандида...» (см. с. 331 наст. изд.). Неосуществленный замысел «русского Кандида», по всей видимости, нашел свое воплощение в «Братьях Карамазовых». Об отношении Достоевского к Вольтеру см. статью Л. П. Гроссмана «Русский Кандид» (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского)».— «Вестник Европы», 1914, № 5, а также работу: A. R a m m e l m e y e r. Dostojevskij und Voltaire. — Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. XXVI, H. 2, 1958, S. 252—278. В этом исследовании на большом фактическом и текстологическом материале прослеживается воздействие богоборческой философии вольтеровского романа «Кандид, или Оптимизм» на создание образа Ивана Карамазова. Комментируя упоминавшееся письмо Достоевского к Страхову, в котором он сообщает о чтении Дидро и Вольтера, А. С. Долинин замечает: «Может быть, следовало бы с этой точки зрения обратить особое внимание на фигуру Гани (в «Идиоте»), кое-какие черты которого напоминают главного героя у Дидро» (*Письма,* II, 453). Касаясь «Записок из подполья», В. В. Розанов пишет: «Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет «Племянник Рамо» у Дидро (В. В. Р о з а н о в. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского, СПб., 1906, с. 31). О Достоевском и Дидро см. работу: А. Г р и г о р ь е в. Достоевский и Дидро (К постановке проблемы).— «Русская литература», 1966, № 4. См. также: «Достоевский — абонент флорентийской читальни».— *Материалы, 4,* 174—175.

[100] Из письма к Н. Н. Страхову от 14/26 августа 1869 г. (*Письма*, II, 200).

[101] Персонажи романа Ч. Диккенса «Давид Копперфильд», беззаботные при всех своих многочисленных долгах. В письме к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Достоевский также называет себя «мистер Микобер» (*Письма*, II, 262). Вероятно, не случайно Достоевский вспоминает этот образ в период работы над романом «Идиот»: «мистер Микобер» мог дать первоначальный толчок для создания образа генерала Иволгина.

[102] Еще не завершив работы над романом «Идиот», Достоевский в декабре 1868 г. во Флоренции задумал новый «огромный» философский роман «Атеизм» — о русском человеке, который «теряет веру в бога», «шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынно-жителям, по священникам ... и под конец обретает Христа, и русскую землю» (*Письма*, II, 150, 161, 195). Но замысел романа «Атеизм» не был осуществлен Достоевским и, претерпев ряд изменений, трансформируясь в план «Жития великого грешника», тоже неосуществленный, отчасти реализовался в романах «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

[103] А. Г. Достоевская ошибочно соединяет в одно два разных письма Достоевского к С. А. Ивановой (Хмыровой). Первая часть цитаты — до многоточия (кончается словами: «и в русской жизни участвовать непосредственно...») — из письма от 8/20 марта 1869 г.— *Письма*, II, 175. Вторая часть — после многоточия (от слов «...здесь же я потеряю даже возможность») — неточная цитата из письма от 25 января (6 февраля) 1869 г.— *Письма*, II, 161.

[104] Дочь писателя — Любовь Федоровна впоследствии стала беллетристкой, автором романов «Адвокатка», «Эмигрантка» и сборника рассказов «Больные девушки». В 1913 г. выехала за границу и больше в Россию уже не возвращалась. За границей жила литературным трудом и издала на немецком языке свои воспоминания об отце под названием «Dostojewski, geschildert von seiner Tochter» (München, 1920). В русском переводе под ред. А. Г. Горнфельда эта книга вышла в сокращенном виде под названием «Достоевский в изображении его дочери» (М.—Пг., ГИЗ, 1922. См. также две новые главы, опубликованные С. В. Беловым в *ЛН, т. 86*, 297—307). Книгу Л. Ф. Достоевской нельзя назвать мемуарной в точном смысле этого слова: ведь когда умер ее отец, ей было всего 11 лет. Поэтому Любовь Федоровна и озаглавила свою книгу «Достоевский в изображении его дочери». В тех случаях, когда автор мемуаров придерживается «в изображении» Достоевского документальных фактов, семейных преданий, мемуаров

современников и, что самое важное, запомнившихся ей рассказов отца и матери,— тогда это «изображение» достоверно. Однако там, где мемуаристка сознательно извращает известные факты из жизни Достоевского,— там ее книга приобретает явно тенденциозный характер. Например, вопреки очевидным фактам и документам, Любовь Федоровна настойчиво утверждает, что ее отец был не русского, а норманно-литовского происхождения. Вероятно, это объясняется тем, что такая «генеалогия» рода Достоевского давала возможность его дочери говорить о потомственном дворянстве, что больше и превыше всего ценилось в той эмигрантской среде, где находилась Любовь Федоровна в 1920-е годы. Вольное обхождение с фактами, несомненная тенденциозность—основной недостаток мемуаров Л. Ф. Достоевской — и в этом коренное отличие воспоминаний дочери от мемуаров А. Г. Достоевской, основанных на строго документальной и фактической основе. О Л. Ф. Достоевской см. статью С. В. Белова в *ЛН, т. 86,* 291—296.

[105] Неточная цитата из письма к А. Н. Майкову от 17 (29) сентября 1869 г.— *Письма,* II, 211.

[106] Из письма к Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1870 г.— *Письма,* II, 256.

[107] Анна Григорьевна пересказывает письмо Достоевского к А Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Ср.. «Общее название романа есть: *Житие великого грешника,* но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование божие...» (*Письма,* II, 263).

[108] В письме к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Достоевский пишет: «Хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского. <...> Авось выведу величавую, *положительную,* святую фигуру <...> Почем мы знаем: может быть именно Тихон-то и составляет наш русский *положительный* тип, который ищет наша литература...» (*Письма*, II, 264). Тихон Задонский, в мире Тимофей Савельевич Кириллов, сын бедного дьячка Валдайского уезда Новгородской губернии, учился в Новгородской семинарии и был оставлен при ней учителем, затем был ректором Тверской семинарии, а с 1763 г.— Воронежский епископ. В 1767 г. он поселился в Задонском монастыре. И здесь до самой смерти, старый, немощный телом, но сильный духом, Тихон Задонский явил пример глубочайшей деятельной любви к человеку; благотворительствовал, просвещал людей, ухаживал за больными, писал религиозно-нравственные сочинения (собрание духовных писаний Тихона Задонского выдержало 5 изданий: первое в 1825—

1826 гг., в 15 частях, пятое изд. в 1889 г.). Вероятно, в начале 60-х годов, если еще не в Сибири, Достоевский заинтересовался его сочинениями и жизнью. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский рекомендует читать всем, желающим познать душу русского народа, творения Тихона Задонского: «А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи» (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 184—185). Жизнь и творения Тихона Задонского оказали влияние на создание образов «старцев» у Достоевского: Тихона в неосуществленном замысле «Жития великого грешника», Тихона в «Бесах», Макара Долгорукова в «Подростке», Зосимы в «Братьях Карамазовых» (см.: Р. В. Плетнев. Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского) — в кн.: «О Достоевском» Сб. статей под ред. А. Л. Бема, т. II. Прага, 1933, с. 73—92. См. также комментарий Т. А. Лапицкой к академическому изданию «Жития великого грешника» — *Достоевский,* 9, 499—518).

109 В письмах к Н. Н. Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 г. и А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Достоевский подробно излагает план романа «Житие великого грешника» (*Письма,* II, 258, 263—264). Достоевский придавал этому роману значение исповеди, творческого итога: «Это будет мой последний роман» (*Письма,* II, 263). Из писем к Н. Н. Страхову и А. Н. Майкову видно, что работа над «Житием великого грешника» ведется параллельно с романом «Бесы» (см. также «Записные тетради Ф. М. Достоевского». М.—Л., 1935). Постепенно замысел «Жития» вытесняется «Бесами», правда, писатель еще твердо верит, что сразу же после окончания «Бесов» он приступит к работе над «Житием». Но Достоевский так и не осуществил своего намерения написать «Житие великого грешника» (см. Н. Бродский. Угасший замысел — в кн.: *Документы,* 47—59; П. Бицилли. Почему Достоевский не написал «Жития великого грешника»? — в кн.: «О Достоевском». Сб. статей под ред. А. Л. Бема, т. II. Прага, 1933, с. 25—30; А. Долинин. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.— Л., 1963).

110 Письмо Н. Н. Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 г.— *Письма,* II, 257.

111 Роман «Бесы» опубликован в №№ 1, 2, 4, 7, 9—11 за 1871 г. и в №№ 11 и 12 за 1872 г. журнала «Русский вестник».

112 Из письма Достоевского к С. А. Ивановой от 14/26 декабря 1869 г. видно, что брат Анны Григорьевны — Иван Григорьевич Сниткин, студент Петровской сельскохозяйственной академии, приехал в Дрезден в середине октября 1869 г. (*Письма,* II, 240).

[113] Действительно, многие иностранные, а особенно немецкие, газеты (Kölnische Zeitung», «Allgemeine Zeitung», «Neue Preussische Zeitunq») писали в то время о якобы существовавшей в России широко разветвленной сети заговорщических организаций и о скором восстании (подробнее об этом см. в статье Ф. Евнина «Роман «Бесы»— в сб. «Творчество Достоевского». М., 1959), но о том, что Достоевский предвидел, где именно должны начаться волнения (в Петровской академии), сведений в других источниках, кроме воспоминаний А. Г. Достоевской, нет.

[114] Сюжет «Бесов» тесно связан с конкретным фактом — убийством под Москвой 21 ноября 1869 г. слушателя Петровской сельскохозяйственной академии И. Иванова, члена тайного общества «Народная расправа». Убийство было совершено организатором «Народной расправы» С. Г. Нечаевым при участии членов ее — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева. Нечаев послужил прототипом образа Петра Верховенского в «Бесах». Вероятно, Достоевскому были известны составленные Нечаевым анархистские «Общие правила организации», так как действия Петра Верховенского — фанатическое следование нечаевским «правилам» (см. об этом — *Письма,* II, 483—485): подробнее о конкретно-исторической основе романа см.: «Записные тетради Ф. М. Достоевского» (М.—Л., 1935); А. Успенская. Воспоминания шестидесятницы.— «Былое», 1922, № 18; В. Розенблат. К пересмотру некоторых литературных ценностей (Об отношении к роману «Бесы»).—«Русская литература», 1965, № 3; комментарий В. А. Туниманова к академическому изданию «Бесов».— *Достоевский,* 12, 192—218.

[115] См. описание парка и грота в третьей части «Бесов», гл. 6: «Многотрудная ночь»— *Достоевский, 1956—1958,* VII, 621—622. Замысел «Бесов» не сводится только к «нечаевскому делу». Творческая история «Бесов» прошла ряд этапов. Она в равной мере связана как с неосуществленными замыслами «Жития великого грешника», «Атеизма», так и с «нечаевским делом». Как подчеркивает сам Достоевский в письме к М. Н. Каткову от 8/20 октября 1870 г., процесс Нечаева послужил лишь одним фактом, которым он воспользовался для подтверждения своих идей *(Письма,* II, 288).

[116] О своей работе над «Бесами» Достоевский писал Н. Н. Страхову 2/14 декабря 1870 г.: «Весь год я только рвал и переиначивал. Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова» *(Письма,* II, 298). О творческой истории романа «Бесы» см.: «Записные тет-

ради Ф. М. Достоевского» (М.—Л., 1935); Н. Л. Бродский. Творческая история романа «Бесы» — в кн.: «Свисток», кн. I. М., 1922, с. 83—119; Г. Чулков. Как работал Достоевский. М., 1939, с. 198—239; комментарий Н. Ф. Будановой к академическому изданию «Бесов».— *Достоевский,* 12, 161—192.

117 Депеша 17/29 октября (а не 19) 1870 г. извещала кабинеты о решении России уничтожить 2-ю статью Парижского трактата 1856 г. о нейтрализации Черного моря. Все великие державы согласились подвергнуть пересмотру эту статью Парижского договора и вновь предоставить России держать военный флот в Черном море, что и было утверждено Лондонской конференцией 1871 г.

118 См. письма к А. Н. Майкову от 15 (27) и 30 декабря 1870 г. К письму от 30 декабря приложена доверенность Достоевского А. Н. Майкову на получение со Стелловского денег за отдельное издание «Преступления и наказания» (*Письма,* II, 302—310).

119 А. Н. Майков обратился в Литературный фонд с просьбой выдать Достоевскому 500 р. под иск, предъявленный к Стелловскому. В Литературном фонде ответили, что могут дать не под иск, а «взаймы, с поручительством». Майков советовал Достоевскому просить «у фонда 400 руб.» (а не сто: вероятно, ошибка телеграфа). См. об этом письмо Майкова Достоевскому от 4 апреля 1871 г. в кн.: *Достоевский,* II, 353—354.

120 Анна Григорьевна преувеличивает, когда пишет о тенденциозном недоброжелательном отношении к Достоевскому со стороны Литературного фонда. Литературный фонд не возражал против желаемой Достоевским ссуды; однако потребовал поручительство, по всей вероятности, потому, что писатель находился свыше четырех лет за границей и связи его с русскими литературными кругами почти прекратились. Об отношениях Достоевского с Литературным фондом см. речь председателя фонда В. П. Гаевского в память Достоевского 2 февраля 1881 г. в кн.: *Биография,* 99—100, и статью Р. Б. Заборовой «Достоевский и Литературный фонд»—«Русская литература», 1975, № 3, с. 158—170.

121 Вероятно, описка, так как письмо А. Н. Майкова от 4 апреля 1871 г. (опубликовано в кн.: *Достоевский,* II, 353—354), а ответное письмо Достоевского от 21 апреля 1871 г.

122 У А. Г. Достоевской в рукописи не приведен ответ Достоевского А. Н. Майкову на его письмо от 4 апреля 1871 г., хотя она явно собиралась это сделать. Восстанавливаем этот ответ по письму Достоевского от 21 апреля 1871 г. (*Письма,* II, 354).

[123] Неточная цитата из письма Достоевского к А. Г. Достоевской от 28 апреля 1871 г. (*Переписка,* 40).

[124] Эти спасенные записи к романам «Идиот» и «Бесы» были опубликованы: «Из архива Достоевского. Идиот. Неизданные материалы». Под ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М.—Л., 1931; «Записные тетради Ф. М. Достоевского». М.—Л., 1935; *Достоевский,* 9, 11, 12.

[125] Сын писателя Федор Федорович Достоевский впоследствии окончил гимназию в Петербурге, а затем два факультета Дерптского университета: юридический и естественный. Служил по коннозаводству и одно время имел в Петербурге довольно большую скаковую конюшню. В области коннозаводства считался одним из крупнейших в России специалистов, и имя его часто встречается в специальных справочниках и изданиях по русскому коневодству.

[126] Достоевский ездил в Москву за получением гонорара от редакции «Русского вестника» не «в конце августа», а в конце июля — первых числах августа. Из письма Достоевского к С. А. Ивановой от 9 августа 1871 г. видно, что после поездки в Москву он уже несколько дней находится в Петербурге (*Письма,* II, 368). См. также *Переписка,* 45.

[127] Весной 1917 г., во время работы над рукописями Достоевского в Московском историческом музее, Л. П. Гроссману удалось найти тетрадь, в которую А. Г. Достоевская внесла список всех книг библиотеки Ф. М. Достоевского в последний период его жизни. Список этот послужил материалом для составления каталога книг Ф. М. Достоевского в последние годы его жизни (см.: Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского (по неизданным материалам и приложениям каталога библиотеки Достоевского). Одесса, 1919). В 1958 г. Г. М. Фридлендер в *ИРЛИ* впервые изучил оставшуюся неизвестной Л. П. Гроссману, составленную А. Г. Достоевской вторую тетрадь с перечнем книг Достоевского (см.: Л. П. Десяткина, Г. М. Фридлендер. Библиотека Достоевского.— *Материалы,* 4, 253—271).

[128] Записные книжки к «Преступлению и наказанию» изданы: «Из архива Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы». М.—Л., ГИХЛ, 1931; Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Изд. подготовили Л. Д. Опульская и Г. Ф. Коган. М., «Наука», 1970, с. 427—597; *Достоевский*, 7, 5—212. В архиве А. Г. Достоевской книги по ведению журналов «Время» и «Эпоха» не обнаружены, но подобная книга в конце 1920-х годов была передана в Музей-квартиру Достоевского Е. М. Достоевской, дочерью М. М. Достоевского, и в настоящее время хранится в *ГБЛ.*

[129] Более точная фамилия Гинтерлах (см.: Гроссман, 145; *ЛН, т. 83*, 181, 185, 194, 216, 218; *Переписка, 46)*.

[130] О долговом «доме Тарасова», грозившем неоднократно Достоевскому, имеются упоминания в его письмах. Например, в письме к А. Н. Майкову от 16(28) августа 1867 г. Достоевский пишет: «Оно положим — (и говорю не для красы и не для словца) — *долговое отделение* с одной стороны было бы мне даже очень полезно: действительность, материал, второй Мертвый дом, одним словом, материалу было бы, по крайней мере, на 4 или на 5 тысяч рублей, но ведь я только что женился и, кроме того, выдержал ли бы я душное лето в доме Тарасова?— Это составляло неразрешимый вопрос. Если же бы мне писать в доме Тарасова, при припадках усиленных, было нельзя,— то чем бы я расплатился с долгами?» *(Письма,* II, 25—26).

[131] См. примеч. 7.

[132] См. примеч. 7.

[133] См. примеч. 33.

[134] Николай Михайлович Достоевский — младший брат Ф. М. Достоевского, по образованию гражданский инженер и архитектор, служил первое время в Ревеле, затем в Петербурге, но уже в начале 60-х годов оставил службу по болезни. Ф. М. Достоевский всегда относился к нему с особенной любовью и состраданием, постоянно помогал ему, почти нищенствовавшему всю свою жизнь. О Н. М. Достоевском см.: *Волоцкой,* 348—355.

[135] Славянофильские убеждения В. В. Григорьева, равно как и интерес Достоевского к Востоку и восточной миссии России (Россия одновременно — великая европейская и азиатская держава) способствовали их сближению. А. С. Долинин высказал предположение о некотором влиянии статей В. В. Григорьева (особенно сборника «Россия и Азия». СПб., 1875) на политические фельетоны «Дневника писателя», где речь идет о «восточном вопросе». А. С. Долинин отмечает также близость характеристики Т. Н. Грановского как ученого в «Дневнике писателя» за 1876 год (статьи «Идеалисты-циники» и «Постыдно ли быть идеалистом?») — в связи с восточным вопросом — с ранней статьей В. В. Григорьева, нашумевшей в свое время: «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» («Русская беседа», 1856) — и указывает, что «образ Грановского, нарисованный Григорьевым, имеет столько общих черт с С. Т. Верховенским (в «Бесах»), что невольно напрашивается мысль о знакомстве Достоевского с этой статьей, а может быть, и с автором ее, еще до заграничного периода» *(Письма,* III, 298).

[136] О В. П. Мещерском и о сотрудничестве Достоевского в «Гражданине» см. дальнейший текст воспоминаний А. Г. Достоевской (ч. VI) и примеч. 149.

[137] Государственный и общественный деятель, писатель и публицист Тертий Иванович Филиппов в 50-х годах был одним из видных участников кружка молодого «Москвитянина». Он оказал довольно сильное влияние на Аполлона Григорьева, Островского, Писемского, Погодина своими славянофильскими идеями о необходимости возвращения России к допетровскому строю и быту, «ко дням Котошихина» с патриаршеством и соборами. Славянофильские идеи и концепции Т. И. Филиппова по восточному и церковному вопросам произвели известное впечатление на Достоевского в эпоху «почвенничества» (вероятно, не без участия Аполлона Григорьева). В ноябре 1871 г. Достоевский через А. Н. Майкова обращается за консультацией к Т. И. Филиппову как к знатоку церковной истории, и с этого времени между ними начинается духовное сближение и дружба (см.: *ЛН, т. 15,* с. 149—156, где опубликованы письма Т. И. Филиппова к Достоевскому).

[138] Сблизившись с Достоевским в год работы писателя в «Гражданине», К. П. Победоносцев стремился использовать талант художника и публициста в политических целях. («Красный архив», 1923, т. II, 252). В известной мере Достоевским — автором «Дневника писателя» — Победоносцев мог быть довольным, имея в виду реакционные тенденции публицистики Достоевского 70-х годов. Но Достоевский — художник, романист внушал тревогу верноподданному царедворцу; наиболее ярко это выразилось в его письме к Достоевскому с отзывом о 5-й книге «Братьев Карамазовых» «Pro и contra». Победоносцев даже советует предать огню бунтарские страницы романа. «Когда художнику не удалась его статуя, или он не доволен, весь металл идет опять в горнило. Впрочем и то сказать, что всякий художник творит по-своему, и вы, если бы выжидали, может быть, никогда и не решились бы выпустить свое произведение» (*ЛН, т. 15,* с. 139). Об отношениях Достоевского и Победоносцева см. статьи: Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 70-х годов.— *ЛН, т. 15;* В. А. Туниманов. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя».— В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 165—210; Ц. Стоянов. Геният и неговият наставник. София, 1978.

[139] В 40-е годы Николай Яковлевич Данилевский посещал кружок петрашевцев, где с увлечением изучал систему Фурье (см.

изложение им учения Фурье в кн. В. Лейкиной «Петрашевцы». Под ред П. Е. Щеголева. М., 1924). В 1849 г. он был арестован по делу Петрашевского. Проведя сто дней в Петропавловской крепости, Данилевский представил оправдательную записку, в которой доказал свою политическую невиновность, и был освобожден от суда, но выслан из Петербурга, сначала в Вологду, а затем в Самару. С 1853 г. Данилевский сотрудничал в различных периодических изданиях, публикуя статьи как по своей специальности (ботаника), так и на различные общественные, политические и философские темы. В 1869 г. Данилевский печатает в журнале «Заря» свой главный труд: «Россия и Европа» (отдельные издания 1871, 1888, 1889 гг.). Занимающие большую часть книги рассуждения Данилевского об упадке Европы и о своеобычных особенностях России (православие, община и т. п.) не представляли ничего нового по сравнению с тем, что было уже высказано славянофилами. Более оригинальными для своего времени явились политические взгляды Данилевского, особенно предложенный им проект разрешения восточного вопроса, заключающийся в образовании славянской федерации, во главе со столицей Константинополем. О влиянии труда Данилевского на мировоззрение Достоевского 70-х годов, автора «Дневника писателя», начавшего выходить через четыре года после появления книги «Россия и Европа», см. в кн. Д. В. Гришина «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского». Мельбурн, 1966, с. 132—135.

140 Основатель знаменитой картинной галереи Павел Михайлович Третьяков всю жизнь оставался большим почитателем творчества Достоевского. Особенно сблизился он с Достоевским в Москве в июне 1880 г., когда в качестве городского головы принимал активное участие в организации Пушкинского праздника. Об этом свидетельствуют дружеские письма Достоевского к П. М. Третьякову от 14 июня 1880 г. и к его жене, В. Н. Третьяковой, от 13 июня 1880 г. (см. в кн. А. П. Боткина «Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве». М., 1960, с. 239—240. Ср. также С. В. Белов. Несобранные письма Достоевского.— В кн.: «Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX вв.» Л., 1971). После смерти Достоевского П. М. Третьяков писал И. Н. Крамскому 5 февраля 1881 г.: «Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это помимо великого писателя был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно Вы его назвали, это был пророк, это был всему доброму учитель, это была наша общественная совесть. («Переписка И. Н. Крамского и П. М Третьякова.

1869—1887». М., 1953, с. 277.) См. также: И. С. Зильберштейн. Достоевский и Третьяковы.— *ЛН., т. 86,* 118—128.

141 О своей работе над портретом Достоевского в конце апреля — первой половины мая 1872 г. Василий Григорьевич Перов сообщал в письмах к П. М. Третьякову (см.: «Письма художников П. М. Третьякову. 1870—1879». М., 1968, с. 76—77). Достоевский дважды пишет о творчестве В. Г. Перова: первый раз по поводу его картины «Проповедь на селе» в статье «Выставка в Академии художеств» за 1860—1861 год» (см. *Достоевский, 19,* 151—168) и второй раз об «Охотниках на привале» в «Дневнике писателя» за 1873 г. в статье «По поводу выставки» *(Достоевский, 1926—1930,* XI, 73—74). Подробнее о работе В. Г. Перова над портретом Достоевского см. в статье И. С. Зильберштейна «Новонайденные и забытые письма Достоевского».—*ЛН, т. 86,* 118—124.

142 О пребывании Достоевского в Старой Руссе в 1872 г. и в последующие годы см. подробно в кн.: Л. М. Рейнус. Ф. М. Достоевский в Старой Руссе. Л., 1971. См. также повесть Д. А. Гранина «Обратный билет».— «Новый мир», 1976, № 8.

143 Кроме указанной выше книги Л. М. Рейнуса — о священнике И. Румянцеве, см. некролог «Друг Достоевского.— «Новости», 1905, 12(25) февраля, № 36, и статьи А. В. Круглова «Поездка в Старую Руссу».— *ИВ*, 1895, № 4, где приводятся также краткие воспоминания самого И. Румянцева о встречах с Достоевским в Старой Руссе, и Г. Л. Боград. Неизвестные автографы Достоевского.— «Лит. Россия», 1978, № 4, 27 января.

144 Старорусским доктором был А. А. Ройхель, директор Старорусских минеральных вод, а военным врачом, приезжавшим в Старую Руссу, К. А. Шенк (см. дальнейший текст «Воспоминаний» А. Г. Достоевской и письмо Достоевского к А. Г. Достоевской от 27 мая 1872 г.— *Переписка,* 48—50).

145 *Письма, III,* 32—33. Переписку Ф. М. и А. Г. Достоевских за этот период см. в кн.: *Переписка,* 48—63.

146 «Бесы» были встречены почти единодушно отрицательно как либеральной, так и демократической прессой. Резко критические рецензии появились в журнале «Сияние» (1873, т. 1), газетах «Биржевые ведомости» (1872, № 83), «Новое время» (1873, № 61), «Голос» (1873, № 18). Статьи и рецензии, пародии и выпады «по поводу» появились в демократических журналах «Дело» и «Искра»: из них наиболее известны статьи Д. Минаева («Дело», 1871, № 11) и П. Ткачева («Больные люди».—«Дело», 1873, № 3—4). Даже в реакционном «Русском мире» в статьях В. Г. Авсеенко симпатии к тенденциозным сторонам романа сочетались с упреками Достоевскому в нехудожественности, растянутости и

«фантастичности» («Русский мир», 1872, № 315; 1873, № 5). Правда, Авсеенко значительно смягчил критические замечания в статье «Общественная психология в романе».—«Русский вестник», 1873, № 8. Мягче и сдержаннее были статьи В. П. Буренина в «С.-Петербургских ведомостях», 1872, № 15, 345; 1873, № 6, 13 (о Буренине см. примеч. 153). Следует отметить, что либеральная критика переусердствовала в нападках на роман Достоевского: предавая проклятию произведение, она, в сущности, отказалась от анализа самого романа. Единственной статьей, сохранившей объективный и спокойный тон и давшей наиболее обстоятельный разбор «Бесов» в полемической борьбе вокруг романа в 1871—1873 гг., явилась статья Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки».— *ОЗ,* 1873, № 2. См. кн.: *Замогин,* 131—167, где собраны отзывы периодической печати о «Бесах». См. также примеч. 149 и комментарий В. А. Туниманова к академическому изданию «Бесов».— *Достоевский,* 12, 257—272.

[147] С писателем и публицистом Николаем Петровичем Семеновым Достоевский познакомился, по-видимому, через его брата, знаменитого путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского, с которым сблизился еще в 40-е годы в обществе петрашевцев и потом встречался в семипалатинской ссылке. Н. П. Семенов был членом редакционной комиссии для составления положения о крестьянах, и, вероятно, на эту тему ему приходилось беседовать с Достоевским.

[148] Как свидетельствует сам Достоевский в письмах к А. Е. Врангелю от 8(20) ноября 1865 г. и С. И. Ивановой от 29 сентября (11 октября) 1867 г., мысль об издании «Дневника писателя» зародилась у Достоевского еще до отъезда за границу (см.: *Письма,* 1, 424; II, 44).

[149] В. П. Мещерский начал издавать еженедельную газету-журнал «Гражданин» в 1872 г.; в конце года он решил привлечь Достоевского в качестве редактора. Ходатайство об утверждении Достоевского редактором «Гражданина» было возбуждено 15 декабря 1872 г. Так как Достоевский считался бывшим «государственным преступником» и находился под негласным надзором полиции, Мещерский лично обратился к управляющему и к главному начальнику III Отделения П. А. Шувалову и А. Ф. Шульцу (см. статью Р. Кантора «Новое о Достоевском».— «Вестник литературы», 1921, № 11, и публикацию Ю. Г. Оксмана «Достоевский в редакции «Гражданина».— В кн.: «Творчество Достоевского». Одесса, 1921). Согласие Достоевского редактировать «Гражданина» было вызвано не только расстроенным материальным положением писателя, как пишет дальше А. Г. Достоевская, но и стремле-

нием непосредственно включиться в литературную и политическую борьбу. Достоевского привлекала сама возможность выступать со своими публицистическими статьями, занимая главенствующее положение в журнале. Решение Достоевского, автора романа «Бесы» (воспринятого демократической и даже либеральной критикой как пасквиль на революционное движение и современную молодежь) стать редактором реакционнейшего еженедельника, союз писателя с ретроградом В. П. Мещерским, непреклонно отстаивавшим феодально-дворянские привилегии, яростным противником реформ (за что и был прозван «князем-точкой»), расценивалось почти всеми петербургскими органами печати как закономерный переход Достоевского в лагерь реакции. Принимая редакторство «Гражданина», Достоевский надеялся на полную свободу действий и независимость. Однако ему пришлось вскоре горько разочароваться в своих надеждах: опека и частое вмешательство Мещерского, усилившиеся нападки петербургской прессы мало способствовали свободной редакторской деятельности и чрезвычайно ухудшили положение Достоевского в литературно-журнальном мире. «Нравственные страдания» вынес Достоевский в год редакторства «Гражданина» не от одних только «врагов» князя В. П. Мещерского, а к таковым следует отнести подавляющее большинство русской журналистики, за исключением разве «Домашней беседы» и «Русского вестника» (см. об этом «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Вс. Соловьева.— *Достоевский в воспоминаниях, II,* 196—197). Постепенно обострялись и внутренние разногласия; особенно острое «идеологическое» столкновение между Достоевским и Мещерским, приведшее к разрыву, произошло в связи со статьей последнего, в которой была высказана мысль о желательности установления надзора за студенческой молодежью. Достоевский возмущенно писал Мещерскому в ноябре 1873 г.: «Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце» *(Письма,* III, 88). О работе Достоевского в «Гражданине» см.: В. П. Мещерский. Мои воспоминания, ч. 1. СПб., 1898 (крайне тенденциозные воспоминания, в которых Мещерский сознательно умолчал о столкновениях и расхождениях с Достоевским); мемуары В. В. Тимофеевой (О. Починковской) и М. А. Александрова в кн.: *Достоевский в воспоминаниях, II,* и специальную работу В. В. Виноградова «Ф. М. Достоевский как редактор «Гражданина» и как автор анонимных фельетонов в нем»— в его кн. «Проблема авторства и теория стилей». М., 1961.

[150] Александр Устинович Порецкий познакомился с Достоевским еще в 40-е годы (см. письма Достоевского к Порецкому за

40-е годы.— *Письма,* I). В. В. Тимофеева (О. Починковская) вспоминает: «К этому человеку я питаю особенное доверие,— признавался мне Федор Михайлович,— во всех тяжелых, сомнительных случаях моей жизни я всегда обращаюсь к нему и всегда нахожу у него поддержку и утешение» (*Достоевский в воспоминаниях, II,* 162). В 60-х годах Порецкий вел отдел «Внутреннее обозрение» в журнале братьев Достоевских «Время», а после смерти М. М. Достоевского (10 июля 1864 г.) он состоял официальным редактором «Эпохи» до прекращения журнала. Н. И. Страхов в своих воспоминаниях характеризует А. У. Порецкого как человека «очень умного и образованного, отличавшегося сверх того редкими душевными качествами, безукоризненной добротою и чистотою сердца, сочувствовавшего всею душою направлению «Эпохи» (*Биография,* 272). О роли А. У. Порецкого в «Эпохе» см. статью А. С. Долинина «К цензурной истории первых двух журналов Достоевского».— В кн.: *Достоевский, II,* 574—577, и кн. В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975.

151 Евгений Александрович Белов — педагог, историк-славянофил, автор популярной монографии «Русская история до реформы Петра Великого» (1896), где он подробно изложил свои славянофильские взгляды и убеждения. Интересно, что в молодости Е. А. Белов увлекался утопическим социализмом и в своем мировоззрении фактически проделал ту же эволюцию, что и Достоевский. В 1873 г. Белов был одним из деятельных сотрудников «Гражданина» по отделу «Библиографии». Ему принадлежит несколько рецензий в «Гражданине» за 1873 г. (№ 21, 26, 30, 31, 32). См. также письмо Е. А. Белова к Достоевскому от 24 августа 1873 г. в статье Л. Ланского «Утраченные письма Достоевского».— «Вопросы литературы», 1971, № 11, с. 212—213.

152 См. письма к М. М. Достоевскому от 31 декабря 1843 г., января и апреля 1844 г. и от октября 1846 г. (*Письма,* I, 68, 67—68, 70—71, 100—101).

153 Анна Григорьевна, видимо, имеет в виду резкие отзывы современной критики о романе «Бесы» (см. примеч. 146) и равнодушный прием романа «Идиот». Достоевский, конечно, часто делился с Анной Григорьевной своими мнениями о современных критиках, которых он, по большей части, склонен был зачислять в стан своих «врагов». И молчание, и враждебные отзывы одинаково остро воспринимались Достоевским. Тенденциозным и неглубоким критическим статьям писатель противопоставлял мнение обыкновенных читателей; об этом, в частности, говорит дневниковая заметка в записной тетради 1876 г.: «Меня всегда поддерживала не критика, а публика, кто из критики знает конец «Идио-

та» — сцену такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика ее знает» (*ЛН*, т. 86, 605).

Что касается В. П. Буренина, то он писал о Достоевском, начиная со второй половины 60-х годов, часто и много, в основном в газетах «С.-Петербургские ведомости» и «Новое время», однако далеко не всегда глубоко и доброжелательно. Так, роман «Идиот» он расценил как «беллетристическую компиляцию, составленную из множества нелепых лиц и событий, без всякой заботливости хотя бы о какой-либо художественной задаче» («С.-Петербургские ведомости», 1868, № 250). Целой серией статей Буренин откликнулся на роман «Бесы» («С.-Петербургские ведомости», 1872, № 15, 345; 1873, № 6, 13). Критик либеральной газеты, хотя и осудил памфлетические тенденции романа, однако решительно не согласился с теми рецензентами, которые ставили «Бесы» в один ряд с романами Лескова, Авсеенко, Маркевича. Буренин писал, что даже наиболее тенденциозные страницы романа Достоевского «плод искреннего убеждения, а не низкопоклонства пред грубыми и плотоядными инстинктами толпы, как у беллетристических дел мастеров» («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 13). Именно это суждение Буренина и произвело благоприятное впечатление на Достоевского, выделившего статью Буренина особо за то, что критик «в разборе моего романа «Бесы» пропустил мысль, что если я и изменил мои убеждения, то произошло это во мне искренно (т. е. не из видов и, стало быть, честно), и <...> фраза эта меня даже тронула» (*Достоевский*, 12, 271). Видимо, этим обстоятельством частично и следует объяснить упоминание Буренина в одном ряду с Белинским и Добролюбовым в воспоминаниях Анны Григорьевны. Добротные статьи Буренина о «Братьях Карамазовых» («Новое время», 1879, № 1087, 1273, 1357), в которых критик весьма положительно отозвался о новом произведении Достоевского и даже писал, что роман по глубине и свежести истолкования русской жизни «оказывается в десять раз современнее самых современнейших повестей, романов, драм и комедий», видимо, способствовали росту симпатий Достоевского к критику, что и нашло отражение в воспоминаниях жены. А в письме к Буренину от 15 мая 1888 г. А. Г. Достоевская писала: «Покойный муж мой так уважал Вас; он ценил Ваши отзывы о нем и находил, что Вы, из всех писавших о нем, наиболее понимали его мысли и намерения» («Переписка А. Г. Достоевской с современниками». Публикация С. В. Белова.— «Байкал», 1976, № 5, с. 140).

Однако гораздо с большим основанием, чем Буренина, Анна Григорьевна могла назвать в ряду современных критиков — иссле-

дователей творчества Достоевского — В. Н. Майкова, который еще в статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» *(ОЗ,* 1847, т. 50), отметив сходство реализма Гоголя и Достоевского, тонко указал на их различие: «Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический».

[154] *Письма,* III, 70. Как свидетельствует сам Достоевский в этом письме (от 29 июля 1873 г.), он полностью переписал статью Мещерского о Тютчеве. Статья Мещерского «Свежей памяти Ф. И. Тютчева», с редакторскими поправками Достоевского, была напечатана в «Гражданине» № 31 от 30 июля 1873 г. (см. об этом: Н. Бельчиков. Достоевский о Тютчеве. С приложением статьи В. Мещерского «Свежей памяти Ф. И. Тютчева».— «Былое», 1925, № 5).

[155] Вс. Соловьев пишет в своих «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском»: «Его редакторская деятельность, на которую он возлагал такие надежды в первое наше свидание, оказалась не вполне удачной, что, впрочем, можно было сразу предвидеть, зная характер его и обстоятельства. Репутация журнала была уже составлена, против него уже резко и даже неприлично высказалась почти вся тогдашняя журналистика. На нового редактора со всех сторон посыпались насмешки, глупые и пошлые. Автора «Преступления и наказания» и «Записок из Мертвого дома» называли сумасшедшим, маньяком, отступником, изменником, приглашали даже публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных» *(Достоевский в воспоминаниях, II,* 196—197). О работе Достоевского в «Гражданине» см.: *Переписка,* 67—96.

[156] Статья Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге» была напечатана в «Гражданине» № 5 от 29 января 1873 г. В ней сообщался следующий эпизод: «Старший из депутатов, Султан Магомет <...> начал произносить речь, которая была им самим от имени всего народа составлена; произнес первоначально твердо и правильно: «Ваше императорское величество»,— но на этих словах, когда государь возразил: «А ты говоришь по-русски?», Магомет до того переконфузился, что далее мог произнести тихо только несколько слов по-киргизски из приготовленной благодарственной речи и потом положительно онемел» (см. об этом эпизоде: Ю. Г. Оксман. Ф. М. Достоевский в редакции «Гражданина».— В кн.: «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, с. 69—71).

[157] А. Г. Достоевская ошибочно пишет, что Достоевский, «конечно, признал свою виновность». Суд над Достоевским состоялся утром 11 июня 1873 г. Достоевский явился в суд, но не признал

себя виновным; его защитник, присяжный поверенный, председатель Литературного фонда В. П. Гаевский, заявил, что цензурный комитет вообще не имел юридического права возбуждать дело (см.: «Голос», 1873, № 162, 13 июня).

158 Об этом эпизоде А. Ф. Кони рассказал в своем мемуарном очерке «Ф. М. Достоевский»; правда, он неточно указывает, что Достоевский был осужден за напечатание «сведения о путешествии государя» (см.: А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 6, М., 1968, с. 432). Случайное знакомство с А. Ф. Кони в 1873 г. положило начало многолетней дружбе писателя и выдающегося русского юриста. Для автора «Преступления и наказания», которого особенно интересовали проблемы нарушения нравственных и общественных норм, А. Ф. Кони был крайне интересен как крупный судебный деятель. Благодаря ему Достоевский получил возможность присутствовать на нескольких судебных процессах в Петербурге в 70-е годы, Кони организовал Достоевскому поездку в колонию для малолетних преступников в 1875 г.; наконец, «Братья Карамазовы» (книга девятая «Предварительное следствие» и книга двенадцатая «Судебная ошибка») многим обязаны профессиональным советам Кони. Кроме очерка «Ф. М. Достоевский», Кони написал о Достоевском две статьи мемуарного характера: «Федор Михайлович Достоевский» и «Еще о Достоевском» (см.: А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 6. М., 1968).

159 См. *Письма,* III, 77.

160 Неточно. Речь идет о Петербургском славянском благотворительном комитете, из которого в 1877 г. образовалось Славянское благотворительное общество для оказания материальной помощи балканским славянам и обеспечения добровольцев, отправляющихся на театр русско-турецкой войны.

161 Хотя знакомство Достоевского с Вл. Соловьевым действительно состоялось в самом начале 1873 г. (письмо Вл. Соловьева к Достоевскому от 24 января 1873 г.— *ГБЛ,* ф. 93, П. 8. 120б) речь по всей вероятности, идет о старшем брате Вл. Соловьева, писателе и критике Всеволоде Соловьеве, который в это время как раз и сблизился с Достоевским (см.: «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Вс. С. Соловьева.— *Достоевский в воспоминаниях, II,* 186—209). Владимир Соловьев, защитив в 1874 г. свою магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», вскоре почти на два года уехал за границу, так что более тесное знакомство Достоевского с Вл. Соловьевым началось в 1877 г., по возвращении Вл. Соловьева в Петербург. Чаще всего они встречались с конца 1877 г. по осень 1878 г., когда Достоевский регулярно посещал «чтения о Богочеловечестве»,— лекции, которые Вл. Соловьев с огромным

успехом читал в Соляном городке в Петербурге. В июне 1878 г. во время совместной поездки в Оптину пустынь Достоевский изложил Вл. Соловьеву «главную мысль», а отчасти и план целой серии задуманных романов, из которых были написаны только «Братья Карамазовы» (см. об этом: Вл. Соловьев. Собр. соч., т. 3. СПб., 1912, с. 197). 6 апреля 1880 г. Достоевский присутствовал на защите Вл. Соловьевым докторской диссертации «Критика отвлеченных начал». Писатель с интересом отнесся к теориям молодого философа. Особенно привлекала Достоевского близкая ему по своей сути мысль, высказанная Соловьевым, о том, что «человечество <...> *знает гораздо более,* чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве» (Письмо Достоевского к Е. Ф. Юнге от 11 апреля 1880 г.— *Письма,* IV, 136).

В *ГБЛ,* ф. 93, оп. 8, ед. хр. 121 вместе с письмами Вл. Соловьева к А. Г. Достоевской сохранилась ее записка под заглавием «К письмам ко мне Вл. Соловьева»: «Владимир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума, сердца и таланта моего незабвенного мужа и искренно сожалел о его кончине. Узнав, что в память Федора Михайловича предполагается устройство народной школы, Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров. Так, он участвовал в литературном чтении 1 февраля 1882 года; затем в следующем году, 19-го февраля, произнес на нашем вечере в пользу школы (в зале Городского кредитного общества) речь, запрещенную министром, и, несмотря на запрещение, им прочитанную, и имел у слушателей колоссальный успех. Предполагал Владимир Сергеевич участвовать в нашем чтении и в 1884 году, но семейные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение. По поводу устройства этих чтений мне пришлось много раз видаться и переписываться с Владимиром Сергеевичем, и я с глубокою благодарностью вспоминаю его постоянную готовность послужить памяти моего мужа, всегда так любившего Соловьева и столь много ожидавшего от его деятельности, в чем мой муж и не ошибся. А<нна> Д<остоевская>».

После смерти Достоевского Вл. Соловьев выступил с тремя весьма тенденциозными речами, в которых подчеркнул религиозность идеалов и творчества писателя: «Итак — церковь, как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел, и всенародный подвиг, как прямой путь для осуществления этого идеала — вот последнее слово, до которого дошел Достоевский, которое озарило всю его деятельность пророческим светом» (Вл. Соловьев. Три речи в память Достоевского. М., 1884, с. 10). Есть, однако, серьезные основания усомниться

в полной искренности Вл. Соловьева, которому во многом чужды были идеалы писателя и о религиозных взглядах которого он чрезвычайно резко писал К. Н. Леонтьеву: «Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел» (В. Розанов. Из переписки К. Н. Леонтьева.— «Русский вестник», 1903, № 5, с. 162). О Достоевском и Вл. Соловьеве см. статьи Э. Л. Радлова «Соловьев и Достоевский» в кн.: *Достоевский, 1* и Н. И. Пруцкова «Достоевский и Вл. Соловьев («Великий инквизитор» и «Антихрист»)». В кн.: «Русская литература 1870—1890 гг.» Сб. 5. Свердловск, 1973, с. 51—78.

162 Достоевский познакомился с Иваном Николаевичем Шидловским весной 1837 г. в первый приезд вместе с братом, М. М. Достоевским, в Петербург. В первые годы пребывания в Инженерном училище Достоевский находился под сильным влиянием Шидловского, который пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви, вдохновенно говорит о царствии божием и сладостно мечтает о самоубийстве. Достоевский восторженно рассказывает о Шидловском брату: «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической <...>. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее <...>. В последнее свиданье мы гуляли в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали. <...> Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни <...>. Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я!» (Письмо от 1 января 1840 г.— *Письма,* 1, 56—57). Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский вскоре уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большое исследование по истории русской церкви. Небезынтересно отметить, что Ордынов — герой ранней повести Достоевского, возможно, психологический портрет Шидловского, тоже пишет работу по истории церкви. В 50-х годах Шидловский поступает послушником в Валуйский монастырь, затем предпринимает паломничество в Киев, после чего возвращается домой, в деревню, где и живет до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности.

Вс. С. Соловьев вспоминает, что, когда он попросил Достоевского сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем, писатель ответил: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы его имя не пропало» (*Достоевский в воспоминаниях, II,* 191). В сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шидловского. Ордынов в повести «Хозяйка» начинает линию романтических героев Достоевского; Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее. О Шидловском и Достоевском см. кн.: М. П. Алексеев. Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921.

[163] Английский проповедник оправдания верой, Гренвилль Редсток, с 1874 г. выступал в Петербурге. Под влиянием его проповедей в России образовалась секта, известная под именем пашковцев. Сущность учения Редстока об оправдании верой заключалась в том, что «не за добрые дела дается прощение грехов, грехи могут быть смыты святою кровью, которая уже пролита и омывает всякого, кто принимает Христа как единого спасителя и единого ходатая между богом и человечеством». Свое отрицательное отношение к проповедям Редстока Достоевский выразил в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Настоящий успех лорда Редстока зиждется единственно лишь на «обособлении нашем», на оторванности нашей от почвы, от нации. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества,— теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своеобразность, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной веры» (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 242).

[164] До сих пор неизвестно ни одного письма Достоевского к Ю. Д. Засецкой. По поводу их переписки А. Г. Достоевская указывает в «Примечаниях к сочинениям Ф. М. Достоевского»: «У наследников Юлии Денисовны (ее сыновей и дочерей) или сестры ее графини Висконти могли бы найтись и ответы Федора Михайловича на письма Засецкой, преимущественно по вопросам религии» («Творчество Достоевского». Одесса, 1921, с. 34). Анна Григорьевна не случайно пишет, что эти письма Достоевского «преимущественно по вопросам религии», а в дальнейшем в своих «Воспоминаниях» (см. с. 371 наст. изд.) подчеркивает, что Достоевский «постоянно вел с Ю. Д. Засецкой горячие, хотя и дружеские, споры по поводу ее религиозных убеждений». Дело в том,

что Ю. Д. Засецкая переменила свои религиозные убеждения, перейдя из православия в лютеранство, а Достоевский же пытался ее снова обратить в православие. О их религиозных спорах см. воспоминания Н. С. Лескова «О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом».— В кн.: Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 11. М., 1958, с. 147—155. См. также письма Ю. Д. Засецкой к Достоевскому в статье Л. Ланского «Утраченные письма Достоевского».—«Вопросы литературы», 1971, № 11, с. 216—217.

[165] Е. А. Штакеншнейдер познакомилась с Достоевским в начале 60-х годов, в 70-е годы их знакомство возобновилось, и Достоевский часто бывал в доме Штакеншнейдер, переписывался с ней (см.: *Письма,* IV, 62, 182). Встречи с Достоевским отражены в дневнике Е. А. Штакеншнейдер и в начатых в 1884 г. и неоконченных воспоминаниях о Достоевском (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., 1934). О посещениях Достоевским дома Е. А. Штакеншнейдер см. также воспоминания: В. Микулич. <Л. И. Веселитская>. Встречи с писателями. Л., 1929.

[166] Неточно. Об этом Вс. Соловьев пишет в мартовском (№ 3) номере «Исторического вестника» за 1881 г., с. 614.

[167] В апреле 1874 г. Достоевский перестал быть редактором «Гражданина», но фактически уже в конце 1873 г. он выполнял лишь номинально функции редактора, о чем и писал М. Н. Погодину 12 ноября 1873 г.: «...я составляю №, читаю статьи, переделываю их и изредка пишу сам — вот моя работа. Что же до всего прочего, то если бы я и захотел,— не могу о том иметь понятия» (*Письма,* IV, 302).

[168] Речь идет о «Подростке».

[169] Речь идет об «Отечественных записках», так как «Современник» перестал выходить в 1866 г. О дружбе с Некрасовым в 40-е годы, о первой «вечно памятной» встрече Достоевский рассказал в «Дневнике писателя» за 1877 г. (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 29—32; см. также воспоминания Д. В. Григоровича в кн.: *«Достоевский в воспоминаниях, I,* 132—133). Но вскоре между ними возникли и недоразумения, связанные главным образом с изменившимся отношением Белинского и его кружка к Достоевскому (см. об этом воспоминания А. Панаевой в кн.: *Достоевский в воспоминаниях, I).* Однако разрыва еще не произошло. В журнале братьев Достоевских «Время» появляются «Крестьянские дети» и «Смерть Прокла» Некрасова. В начальную пору «Времени», когда его «почвенническое» направление еще смутно вырисовывалось, не только Некрасов, написавший шутливое послание

«Гимн Времени», но и Чернышевский относился к новому журналу благожелательно. В дальнейшем, главным образом благодаря нетерпимо и воинственно настроенным ведущим сотрудникам журнала Н. Н. Страхову и Ап. Григорьеву, а с другой стороны, с приходом в «Современник» такого острого и непримиримого полемиста-сатирика, как Салтыков-Щедрин, идейная борьба между «Временем» (позднее «Эпохой») и «Современником» заметно усилилась, а после смерти Добролюбова и ссылки Чернышевского приняла чрезвычайно острые формы. Это, естественно, не могло не сказаться и на ухудшении отношений между Некрасовым и Достоевским; однако враждебными их отношения не были никогда. Даже в 1873 г., когда Достоевский упрекал Некрасова в «мундирности» и иронизировал над поэмой «Русские женщины», он тем не менее не скрывал своего сочувствия «к одному из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов» (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 23). Анна Григорьевна прямолинейно, без конкретных оснований относит к числу недоброжелателей Достоевского сотрудников «Отечественных записок» Н. К. Михайловского, А. М. Скабичевского, Г. З. Елисеева, имея в виду преемственность традиций «Отечественных записок» и «Современника». Между тем Скабичевский и Елисеев, если не считать отдельных упоминаний, ничего о Достоевском в «Отечественных записках» не писали, а Михайловскому принадлежит единственная спокойная и объективная статья о «Бесах» (*ОЗ,* 1873, № 2). О полемике «Современника» с журналами «Время» и «Эпоха» см. «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» (*Биография,* 275—276); С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М., 1956; У. Гуральник. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов.— В сб.: «Творчество Достоевского». М., 1959. См. также; М. Гин. Достоевский и Некрасов.— «Север», 1971, № 11, с. 103—123; № 12, с. 106—123.

[170] *Письма,* III, 102. Вероятно, отзыв Достоевского «холодная аллегория» относится к картинам В. Каульбаха «Битва гуннов» и «Разрушение Иерусалима», которыми расписан вестибюль Берлинского королевского музея.

[171] *Письма,* III, 103.

[172] *Письма,* III, 108, 110.

[173] См. об этом дальше, шестую главу седьмой части настоящего издания.

[174] *Письма,* III, 127. Переписку Ф. М. и А. Г. Достоевских за за этот период см. в кн.: *Переписка,* 102—139.

[175] *Письма,* III, 114, 131.

[176] Полемику с журналами «Время» и «Эпоха» вел некрасовский «Современник», так как Некрасов стал редактором «Отечественных записок» в 1868 г., а последний номер «Эпохи» вышел в 1865 г.

[177] См. примеч. 169. Анна Григорьевна не случайно написала «отчасти Плещеев», очевидно, зная, что, несмотря на идейные разногласия, между Достоевским и А. Н. Плещеевым (который занимал в 1874 г. пост секретаря «Отечественных записок») сохранились вполне дружеские личные отношения, возникшие еще в 40-е годы в кружке петрашевцев. См. об этом предисловие Л. С. Пустильник к письмам А. Н. Плещеева к Достоевскому.— В кн.: «Литературный архив», т. 6. М.—Л., 1961, с. 252—255. Об отношениях Достоевского и А. Н. Плещеева см. также работу В. Л. Комаровича «Юность Достоевского».—«Былое», 1924, № 23, с. 3—43.

[178] *Письма,* III, 145.

[179] Появление «Подростка» в радикальных «Отечественных записках» Щедрина и Некрасова фактически опровергает это мнение Анны Григорьевны. Достоевский сочувствовал в 70-е годы политической ориентации «Русского вестника» и публицистической деятельности Каткова. Однако отношения между Катковым и Достоевским нередко были натянутыми: серьезными конфликтами сопровождалось печатание в «Русском вестнике» «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых». С другой стороны, принципиальные идеологические расхождения с направлением «Отечественных записок» не мешали Достоевскому испытывать чувство глубокой симпатии к Некрасову — как другу юности и большому поэту.

[180] См. примеч. 160.

[181] *Письма,* III, 152. См. дальше, с. 295 наст. изд.

[182] *Парфений* (в мире Петр Агеев) — постриженник Афона, иеромонах, автор упоминаемой в мемуарах широко известной книги «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле инока Парфения». С этим произведением, которое высоко ценили Салтыков-Щедрин, Анненков, Тургенев, Достоевский мог познакомиться еще в Семипалатинске. Поэтичность и подкупающая простота описаний Парфением своих странствий по Востоку произвели большое впечатление на Достоевского. По утверждению Страхова (см. *Биография,* 298), уезжая за границу в 1867 г., Достоевский взял с собой, среди других книг, и «Странствия инока Парфения». Эта книга была использована Достоевским для лексики и фразеологии Макара Ивановича в «Подростке». В письме к Н. А. Любимову от 7/19 августа 1879 г.

по поводу «Братьев Карамазовых» о главке из 6-й книги романа, под рубрикой «О священном писании в жизни отца Зосимы» Достоевский замечает: «Эта глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения из книги странствований инока Парфения» (*Письма,* IV, 92). О влиянии книги Парфения на творчество Достоевского см. работы Р. В. Плетнева «Dostojevskiy und der Hieromonach Parfenij».— «Zeitschrift für slavische Philologie», Band XIV, Heft 1—2, 1937, s. 30—46, и С. В. Белова «Об одной книге из библиотеки Достоевского».—«Альманах библиофила», вып. 2. М., 1975, с. 183—188.

183 Дело о секретном надзоре за Достоевским во время его пребывания в Старой Руссе опубликовано: А. З. Жаворонков и С. В. Белов. Дело об отставном подпоручике Федоре Достоевском.—«Русская литература», 1963, № 4.

184 *Письма,* III, 131.

185 Как установила В. С. Нечаева, у А. Г. Достоевской здесь ошибка. Секретный надзор с Достоевского был снят еще летом 1875 г., о чем сам Достоевский не знал до 1880 г. Весной 1880 г. через «высокопоставленное лицо», то есть через публициста А. А. Киреева, состоявшего при великом князе Константине Николаевиче, Достоевский представил свое ходатайство о снятии с него надзора, после чего ему сообщили, что он освобожден от надзора еще в 1875 г. (см.: В. С. Нечаева. Когда был снят секретный надзор над Достоевским.— «Русская литература», 1964, № 2).

186 *Письма,* III, 149.

187 *Письма,* III, 147.

188 *Письма,* III, 151—152.

189 В письме к А. Г. Достоевской от 12 февраля 1875 г. Достоевский прямо указывает на расхождение с А. Н. Майковым и Н. Н. Страховым из-за печатания «Подростка» в «Отечественных записках» Некрасова (см. *Письма,* III, 155). Аполлон Николаевич Майков — большой друг Достоевского еще со второй половины 40-х годов, с того времени, когда он также был во многом близок к петрашевцам. Именно Майкову Достоевский доверяет тогда секретнейшие сведения о готовившемся государственном перевороте, а именно: рассказывает о намерении петрашевцев Спешнева, Мордвинова, Момбелли, Филиппова, Григорьева, Милютина и его,— выделиться из кружка Петрашевского и «образовать особое тайное общество с тайной типографией <...> с целью произвести переворот в России» (см. «Исторический архив», 1956, т. III, с. 224—225; см. также письмо А. Н. Майкова к проф.

П. А. Висковатову.— *Достоевский, I,* 266—271). Дружественные отношения Достоевского и Майкова продолжались и в 50-е и 60-е годы, причем, как справедливо указывает А. С. Долинин, «когда в конце первой половины 60-х годов началось у Достоевского перерождение убеждений, которые постепенно стали принимать славянофильскую окраску, то на этом пути он должен был еще ближе сойтись с Майковым, пережившим ту же эволюцию несколькими годами раньше (в конце 50-х годов)» *(Письма,* I, 519). Лишь во второй половине 70-х годов, в связи с публикацией «Подростка» в «Отечественных записках», между Достоевским и Майковым наступает некоторое охлаждение, особенно после ответа Достоевского на обеде профессоров и литераторов в честь Тургенева 13 марта 1879 г. на вопрос «кого-то из молодого поколения»: «Зачем только Вы печатаете в «Русском вестнике»?»—«Потому что там денег больше и вернее и вперед дают». В этот же день А. Н. Майков написал письмо — протест Достоевскому, где с горечью спрашивал: «Я ждал, Вы, как независимый, должны были сказать, по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов <...>. Вы уклонились, не сказали. Как? из-за денег Вы печатаете у Каткова?» *(Достоевский,* II, 364). Однако, несмотря на некоторое охлаждение, Майков до конца своих дней высоко отзывался о писательском таланте Достоевского (см.: «Из неизданных писем А. Н. Майкова о Достоевском». Публикация И. Г. Ямпольского.— *Материалы,* 4, 281). О Страхове см. ч. XII наст. изд. (гл. II. Ответ Страхову) и примеч. 289.

190 *Письма,* III, 180. Переписку Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской за этот период см. в кн.: *Переписка,* 165—211.

191 Очевидно, внимание Достоевского привлек главный герой романа — Николай Павлович Соловой, сильная волевая личность. Автор этого романа — С. И. Смирнова, писательница, жена актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова. В 1870-е годы она активно сотрудничала в «Отечественных записках», где, кроме «Силы характера», печатались ее романы «Огонек», «Соль земли», «Попечитель учебного округа», «У пристани». Смирнова познакомилась с Достоевским в начале 70-х годов и оставалась в дружеских отношениях с ним до конца жизни писателя. Об этом свидетельствуют дневниковые записи С. И. Смирновой за 1878—1880 гг. (см.: Н. Н. Мостовская. Достоевский в дневниках С. И. Смирновой (Сазоновой).— *Материалы,* 4, 271—278).

192 Неточно. В романе письмо начинается так: «Милостивый Иван Павлыч!» (*ОЗ,* 1876, апрель, с. 457).

193 Интерес к спиритизму был главной причиной сближения

Достоевского с Николаем Петровичем Вагнером — страстным пропагандистом медиумизма и спиритизма, напечатавшим две нашумевшие статьи в их защиту в «Вестнике Европы» (1875, № 4) и в «Русском вестнике» (1875, № 10). В 70-х годах XIX в. в русском обществе началось увлечение спиритизмом. В Петербург часто приезжали медиумы, в основном из Англии, устраивали спиритические сеансы, в которых принимали участие известные ученые и писатели: Бутлеров, Боборыкин, А. Н. Аксаков, Вагнер, Лесков (см об этом: Н. Лернер. Таинственные узелки. Случай с Достоевским.— В сб.: «Красная панорама», 1928, октябрь, с. 36—42). Увлечение было настолько сильным, что Физическим обществом при Петербургском университете была создана комиссия во главе с Д. И. Менделеевым с целью научного обследования спиритических явлений. Именно к этому времени относится письмо Достоевского в редакцию газеты «Новое время»—«Вопрос о четвертом измерении» (*Письма,* IV, 10—11), свидетельствующее и об интересе писателя к спиритизму (см.: В. П-ва <В. И. Прибыткова>. «Воспоминания о Достоевском».—«Ребус», 1885, № 25, с. 230—232; № 26, с. 240—245). Однако три заметки Достоевского о спиритизме в «Дневнике писателя» за 1876 г. говорят о том, что он постепенно охладел к спиритизму. В последней заметке — «Опять только одно словцо о спиритизме» Достоевский дважды упоминает имя Н. П. Вагнера (*Достоевский, 1926—1930,* XI, 274—275). А. Г. Достоевская ошибочно относит факт знакомства Достоевского с Н. П. Вагнером к лету 1876 г. На самом деле они познакомились летом 1875 г. Об этом свидетельствуют пять писем Достоевского к Н. П. Вагнеру, не вошедшие в четырехтомное собрание «Писем» Достоевского под ред. А. С. Долинина (1928—1959) и опубликованные первоначально в Чехословакии чешским литературоведом Ф. Каутманом в кн.: «Sbornik Národniho Muzea v Praze», Sv. VII (1962), čis. 4, а затем в СССР (см.: С. В. Белов. Письма Достоевского.—«Советские архивы», 1969, № 2). Еще одно письмо Достоевского к Н П. Вагнеру, примыкающее по хронологии к этим пяти письмам и также не вошедшее в четырехтомное собрание «Писем», опубликовано Ф. Каутманом в чешском журнале «Literárni archiv», 1967, № 2, и С. В. Беловым в «Вопросах литературы», 1967, № 5. (см. также письмо Н. П. Вагнера к Достоевскому от 9 октября 1877 г., опубликованное И. Волгиным в статье «Письма читателей к Ф. М. Достоевскому».—«Вопросы литературы», 1971, № 9, с. 190—191).

[194] В «Братьях Карамазовых» отмечается время продолжения судебных прений — с 8 часов вечера, когда начал говорить прокурор,— до момента ухода присяжных в 1 час ночи.

[195] *Письма,* III, 235.

[196] А. Г. Достоевская неточно излагает этот эпизод с долгом Тургеневу. В письме от 3(15) августа 1865 г. из Висбадена Достоевский просил Тургенева срочно одолжить ему сто талеров, а не 50, как пишет А. Г. Достоевская (см.: *Письма,* I, 410). Однако Тургенев послал Достоевскому 50 талеров, за которые Достоевский благодарил письмом от 20 августа (см.: *Письма,* I, 410).

[197] Письмо А. Ф. Онегина к А. Г. Достоевской от 19 декабря 1883 г. (а не 1888 г.) опубликовано Л. Ланским в статье «Коллекция автографов А. Г. Достоевской.— В кн.: «Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник. 1976. М., 1977, с. 71.

[198] Имеется в виду «Дневник писателя».

[199] А. Г. Достоевская ошиблась на год. Александр Карлович Гриббе скончался 1 января 1876 г., следовательно, и покупка его старорусской дачи, о чем Анна Григорьевна пишет дальше, происходила не в 1877 г., а в 1876 г. (см.: Л. М. Рейнус. Достоевский в Старой Руссе. Л., 1971, с. 35; *Гроссман,* с. 248).

[200] Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

[201] О поездке Достоевского в Даровое 20—21 июля 1877 г. см. воспоминания крестьянина Дарового И. Макарова в статье: Д. Стонов Сельцо Даровое.— «Красная нива», 1926, № 16. и статью В. С. Нечаевой «Из литературы о Достоевском (Поездка в Даровое)».—«Новый мир», 1926, № 3.

[202] О визите вместе с Достоевским к гадалке Фильд Всеволод Соловьев рассказал в своих «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» (см.: *ИВ*, 1881, № 4, с. 849).

[203] Русско-турецкая война 1877—1878 гг. приковала внимание русской общественности к так называемому восточному, или славянскому, вопросу. Достоевский решал «восточный вопрос» в духе развиваемых им «почвеннических» идей, рассматривая участие России в войне как начало осуществления исторической миссии русского народа, которому предстоит объединить все человечество — и в первую очередь славянские народы — на христианских началах любви и братства (см.: «Дневник писателя» за 1876 г., июнь.— *Достоевский, 1926—1930,* XI, 316—333).

[204] Поэма «Несчастные» не относится к числу последних стихотворений Некрасова, как пишет А. Г. Достоевская: она была опубликована в пятой книжке «Современника» за 1856 г. Возможно, что именно о поэме «Несчастные» вспоминает Достоевский, когда пишет о встрече с Некрасовым в «Дневнике писателя» за 1877 г.: «Когда я воротился из каторги, он <Некрасов> указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об Вас тогда написал»,— сказал он мне» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 33).

[205] Сестра Некрасова, А. Буткевич, пишет в своем дневнике о свидании Достоевского с больным поэтом 23 марта 1877 г.: «Пришел Ф. М. Достоевский. Брата связывали с ним воспоминания юности (они были ровесники), и он любил его. «Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту, мне приятно его видеть». Достоевский посидел у него недолго. Рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидев в тюрьме у арестанток «Физиологию Петербурга». В тот день Достоевский был особенно бледен и усталый; я спросила его о здоровье. «Нехорошо,— отвечал он,— припадки падучей все усиливаются; в нынешнем месяце уже пять раз повторились; последний был пять дней тому назад, а голова все еще не свежа; не удивитесь, что я сегодня все смеюсь; это нервный смех, у меня всегда бывает после припадка» («Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников». М., 1971, с. 441). Сам Достоевский упоминает о последнем свидании с Некрасовым во второй половине ноября 1877 г. в «Дневнике писателя» за 1877 г. (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 346).

[206] Большинство петербургских газет в своих статьях по поводу смерти Некрасова писали не столько о значении поэзии Некрасова, сколько о его «практичности», «пороках», двойственности образа. В этом смысле статья Достоевского о Некрасове в «Дневнике писателя», действительно, по словам Анны Григорьевны, «представляла лучшую защитительную речь Некрасова как человека». Эта статья заканчивалась так: «Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его, как поэта, на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 363). Именно как «защитительную речь» восприняли выступление Достоевского о Некрасове такие ведущие сотрудники «Отечественных записок», как Михайловский и Скабичевский. О впечатлении, которое произвела на современников речь Достоевского о Некрасове, см. воспоминания: А. А. Плещеев. 30-летие со дня смерти Некрасова.— «Петербургская газета», 1907, № 355, 27 декабря; Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 2. М., 1958, с. 206—209; В. Г. Короленко. История моего современника. М., 1965, с. 429—431. См. также: В. А. Туниманов. Достоевский и

Некрасов.— В кн.: «Достоевский и его время». Л., 1971, с. 33—66.

[207] Тема лекций: «чтения о Богочеловечестве». По свидетельству самого Достоевского, это были «лекции, посещаемые чуть не тысячною толпою» (письмо Достоевского к Н. П. Петерсону от 24 мая 1878 г.— *Письма,* IV, 9).

[208] Эта лекция Вл. Соловьева, на которой присутствовали Достоевский и Толстой, состоялась 10 марта 1878 г. Толстой был так же искренне огорчен тем, что Страхов ему не сообщил о присутствии на лекции Достоевского. См. об этом подробнее в XII части наст. изд. в гл. «Разговор с Толстым».

[209] То есть «Братьев Карамазовых».

[210] См. *Письма,* IV, 29. Достоевский ездил в Оптину пустынь с Вл. С. Соловьевым с 23 по 29 июня 1878 г. См. об этой поездке воспоминания Вл. С. Соловьева (Вл. С. Соловьев. Собр. соч., т. 3, СПб., 1912, с. 197) и очерк Д. И. Стахеева «Группы и портреты».— *ИВ,* 1907, № 1, с. 84—88. Оптина пустынь — старинный монастырь, основанный, по преданию, еще в XIV в. возле древнего калужского города Козельска. Этот монастырь, наряду с такими обителями, как Саровская пустынь (Тамбовской губ.), Глинская пустынь (Курской губ.), Белобережская пустынь (Орловской губ.), возродил особый тип русского монашества — старчество (старец в православии — руководитель совести). Старцы Оптиной пустыни неизменно привлекали к себе внимание выдающихся деятелей литературы и искусства. В Оптиной пустыни бывали: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. Н. Апухтин, В. А. Жуковский, Вл. С. Соловьев, П. В. и И. В. Киреевские, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев, А. К. Толстой (см.: Д. П. Богданов. Оптина пустынь и паломничество в нее русских писателей.— *ИВ,* 1910, № 10. См. также ст. Н. Павлович. Оптина Пустынь в кн.—«Прометей», 1980, № 12). Интересно, что в библиотеке Достоевского имелись книги: «Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва)». М., 1876, и «Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни», изд. 3-е. М., 1876. Об Оптиной пустыни Достоевскому мог рассказать подробно также Н. Н. Страхов, ездивший туда в 1877 г. вместе с Л. Н. Толстым.

[211] В «Примечаниях к сочинениям Ф. М. Достоевского» А. Г. Достоевская, приведя слова Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну, и супруга твоего за здравие помяну» *(Достоевский, 1956—1958,* IX, 66), пишет: «Эти слова передал мне Федор Михайлович, возвратившись в 1878 году из Оптиной пустыни; там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и

плачем по недавно умершему нашему мальчику. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу «помянуть на молитве Алешу» и «печаль мою», а также помянуть нас и детей наших за здравие». Федор Михайлович был глубоко тронут беседою со старцем и его обещанием за нас помолиться» (*Гроссман. Семинарий,* 67). Старец Амвросий послужил в известной мере прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Интересно сравнить главу «Тлетворный дух» в седьмой книге «Братьев Карамазовых» со словами старца Амвросия, которые Достоевский мог слышать в Оптиной пустыни, так как их часто повторял Амвросий: «Много я от людей славы при жизни принял, и потому от меня будет смрад». По Оптиной пустыни воспроизведена обстановка скита и кельи Зосимы, его окружение. О старце Амвросии, как прототипе Зосимы, см. работы Р. В. Плетнева «Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского)».— В кн. «О Достоевском». Сб. статей под редакцией А. Л. Бема, т. II, Прага, 1933, с. 73—92, и С. В. Белова «Зосима и Амвросий».—«Наука и религия», 1974, № 4, с. 76—78.

212 См., например, воспоминания: фельдшерицы А. Доганович о выступлении Достоевского на литературном вечере фельдшерской школы («Наблюдатель», 1885, октябрь, с. 332—334); Е. А. Штакеншнейдер — о выступлении Достоевского на литературном вечере в женской гимназии (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., 1934, с. 463—464). Жена физиолога И. П. Павлова — С. В. Павлова — вспоминает о выступлении Достоевского на литературном вечере Петербургских педагогических курсов в 1879 г.: «Вдруг я услышала громкий голос и, выглянув на эстраду, увидела «Пророка». Лицо Достоевского совершенно преобразилось. Глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой!.. Музыка, пение на этом вечере были только прелюдией пророческой речи Достоевского. Все время твердила я: «Да, он зажег сердца людей на служение правде и истине!» («Новый мир», 1946, № 3, с. 116—117).

213 Обращение «К читателю» о временном прекращении «Дневника писателя» появилось не в предпоследнем, то есть ноябрьском, номере «Дневника писателя» на 1877 г., а в октябрьском номере (см.: *Достоевский, 1926—1930,* XII, 265). В период напряженной работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский временно прекратил издание «Дневника писателя».

214 Знакомство Достоевского с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским произошло в 1846 г. Они подружились, хотя внутренней духовной близости между ними не возникло. Янов-

ский всю жизнь сохранял к Достоевскому самые искренние и теплые чувства. В 1859 г., когда Достоевский приехал из Семипалатинска в Тверь, Яновский, как он сам писал об этом, «первый из близких его знакомых посетил его в этом городе <...> единственно с целью увидеть и обнять дорогого мне Федора Михайловича» («Новое время», 1881, 24 февраля/8 марта, № 1793). С. Д. Яновский оставил «Воспоминания о Достоевском», напечатанные в «Русском вестнике», 1885, № 4, с. 796—819. А. Н. Майков писал Достоевскому по поводу сюжета «Вечного мужа»: «узнал историю Яновского и его характер» (*Письма,* II, 476).

[215] Из письма Достоевского к С. Д. Яновскому от 17 декабря 1877 г.— *Письма,* III, 285. Начиная с 60-х годов в письмах Достоевского можно встретить гневные, полные сарказма, отзывы об А. А. Краевском и его газете «Голос». В 70-х годах в «Голосе» заметно усилилась полемика с консервативной печатью, особенно с газетой М. Н. Каткова «Московские ведомости». В фельетонах-статьях под заглавием «Литературные и общественные курьезы» (1872—1873) и «Литература и жизнь» резко критиковались «Гражданин» В. П. Мещерского и «Русский вестник» М. Н. Каткова, то есть как раз те органы, где активно сотрудничал Достоевский. С либеральных позиций «Голос» А. А. Краевского выступал против помощи сербам и черногорцам в их военном конфликте с Турцией в 1876 г. и против самого участия русского народа в войне с Турцией в 1877—1878 гг. В статьях «Голоса» высказывались взгляды, полностью противоположные позиции Достоевского, объяснявшего политику России братскими чувствами русского народа к славянам. Именно отрицательное отношение «Голоса» к участию России в войне с Турцией и имеет в виду Достоевский в письме к С. Д. Яновскому. По собственному признанию Достоевского, «мерзкий «Голос» «бесил» его (*Письма,* IV, 95). Подробнее о взаимоотношениях Достоевского с А. А. Краевским и его газетой «Голос» см. специальную работу В. В. Виноградова «Достоевский и А. А. Краевский».— В кн.: «Достоевский и его время». Л., 1971, с. 17—32.

[216] Избрание Достоевского в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению русского языка и словесности состоялось 2 декабря 1877 г.; 29 декабря избрание было оглашено на торжественном годовом собрании Академии, а 6 февраля 1878 г. непременный секретарь Академии К. С. Веселовский уведомил об этом Достоевского официальным письмом с приложением почетного диплома на латинском языке. (Латинский текст диплома опубликован Б. Л. Модзалевским в статье: «Достоевский — член-корреспондент Академии наук».—«Достоевский». Однодневная газета

Русского библиологического общества. Пг., 1921, 12 ноября). Среди русских писателей второй половины XIX в. Достоевский позже других удостоился этого звания, к тому времени членами-корреспондентами Академии наук уже был Лев Толстой, Гончаров, Островский, Алексей Толстой, Аполлон Майков, Тютчев, К. Аксаков, Хомяков.

[217] Достоевский познакомился с Николаем Николаевичем Бекетовым и близко сошелся в 1846 г. (благодаря его брату, Алексею Николаевичу, товарищу по Инженерному училищу). По собственному признанию Достоевского (тяжело переживавшего разрыв с «Современником»), у Бекетовых он возрождается «не только нравственно, но и физически» (*Письма,* I, 103). О дружбе Достоевского с Бекетовыми в 40-е годы см. «Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича (М., 1961, с. 90—93) и статьи В. Комаровича «Юность Достоевского» («Былое», 1924, № 23) и Р. Н. Поддубной «Бекетовско-майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов».—«Освободительное движение в России», вып. 8, 1978, с. 23—24.

[218] Это письмо Достоевского к Н. Н. Бекетову не сохранилось. Ответное письмо Н. Н. Бекетова от 18 августа 1878 г. хранится в *ГБЛ,* ф. 93, II, 1, 75. А. С. Долинин на основании ответного письма Н. Н. Бекетова, в котором он сообщает сведения о Л. А. Ожигиной, делает вывод, что в главе «Приезд поклонницы» в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской речь идет о Л. А. Ожигиной — беллетристке, напечатавшей в «Отечественных записках» (1869, № 3, 5—7) роман «Своим путем. Из записок современной девушки» (см.: *Письма,* IV, 344).

[219] «Рассказ по секрету»— это «Исповедь горячего сердца. В стихах»— 3-я глава третьей книги первой части «Братьев Карамазовых». В. В. Тимофеева (О. Починковская) вспоминает о выступлении Достоевского на вечере 9 марта 1879 г.: «Он читал главу из «Братьев Карамазовых»—«Рассказ по секрету», но для многих, в том числе и меня, это было чем-то вроде откровения всех судеб... Мне слышались под звуки этого чтения две фразы, все объяснявшие мне и в Достоевском, и в нас самих. Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешептывались между собою:

— Маниак!.. Юродивый!.. Странный...

А голос Достоевского с напряженным и страстным волнением покрывал этот шепот...

— Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает *великая мысль!*

И этот проникновенный, страстный голос до глубины потрясал нам сердце... Не я одна,— весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживал их от невольных рукоплесканий. И как наконец загремели эти рукоплескания... Все хлопали, все были взволнованы. Эти внезапные рукоплескания, не вовремя прервавшие чтение, как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились все громче, все продолжительнее. Тогда он поднялся, как бы с трудом освобождаясь от сладкого сна, и, сделав общий поклон, опять сел читать» (*Достоевский в воспоминаниях. II*, 182—183).

[220] О выступлении Достоевского на вечере 16 марта 1879 г. см. воспоминания актрисы М. Г. Савиной в сб. «Тургенев и Савина», с предисл. и под ред. А. Ф. Кони. Пг., 1918, с. 68—69; воспоминания Д. Н. Садовникова в сб. «Русское прошлое», 1923, № 1, с. 75—76, и письмо Н. А. Соловьева-Несмелова И. З. Сурикову — «Достоевский в неизданной переписке современников». Публикация Л. Р. Ланского.— *ЛН, т. 86,* 476—477. Букет Достоевскому преподнесла дочь А. П. Философовой — М. В. Каменецкая.

[221] На этом судебном заседании присутствовал Д. Д. Минаев, который сразу же после окончания заседания в присутствии Достоевского прочел А. И. Трофимову шуточный экспромт:

О, из судей столицы Невской
Счастливей всех ты, без сомнения,
Коль от тебя сам Достоевский
Ждал справедливого решения!

(*ИВ,* 1909, № 9, с. 925)

Об этом эпизоде из жизни Достоевского см. также воспоминания Н. Репина «Достоевский и босяк».—«Петербургская газета», 1903, № 333, 4 декабря.

[222] Фребелевское общество было создано в России последователями известного немецкого педагога Фридриха Фребеля. Во время работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский обращается к лучшим образцам педагогической литературы, в том числе к трудам Фребеля. В черновых тетрадях к роману есть запись: «О Песталоцци, о Фребеле. Статью Льва Толстого о школьном современном обучении...» (*Достоевский,* 15, 199).

[223] *Письма,* IV, 74. В ответном письме от 30 июля 1879 г. А. Г. Достоевская писала из Старой Руссы в Эмс: «Здравствуй,

мой дорогой и золотой муженек, как ты поживаешь, мое золотое сокровище, как твое здоровье? <...> Я ужасно рада, милочка моя, что ты благополучно доехал и уже начал свое леченье. Господи, если б оно принесло тебе пользу! Ничего бы я более этого не желала! Я думаю, Орт преувеличил и для пущей важности объявил, что у тебя «сердце не на месте». Бог даст, воды принесут тебе пользу и ты вернешься здоровый. Ради бога, лечись хорошенько и не скупись для своего лечения» (*Переписка,* 287).

[224] См. примеч. 215.

[225] *Письма,* IV, 95.

[226] *Письма,* IV, 98—99.

[227] *Письма,* IV, 102.

[228] Достоевский читал отрывок из «Великого Инквизитора» на литературном утре в пользу Общества вспомоществования студентам Петербургского университета, состоявшемся в Благородном собрании. Сохранилась программа литературного утра, в котором, кроме Достоевского, приняли участие также Д. В. Григорович и П. И. Вейнберг. О глубоком впечатлении, произведенном на публику чтением Достоевского, свидетельствуют отклики: письмо к Достоевскому от комитета Общества вспомоществования студентам за подписью председателя комитета П. Семенова и сообщение комитета Общества (оба документа находятся в *ГБЛ,* ф. 93, II, 5). Однако попечитель Петербургского учебного округа М. С. Волконский остался недоволен восторженной реакцией публики и запретил в дальнейшем читать «Великого Инквизитора». Достоевский писал В. П. Гаевскому: «Сам попечитель присутствовал на чтении. Но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он впредь мне его запрещает читать. Таким образом, Инквизитора безусловно нельзя теперь читать. Стало быть, надо взять что-нибудь другое» (*Письма,* IV, 133).

[229] С Софьей Сергеевной Кашпиревой.

[230] Это был известный впоследствии ленинградский книготорговец Петр Григорьевич Кузнецов, оставивший воспоминания о своей работе мальчиком в книжном магазине Ф. М. Достоевского. См.: П. Г. Кузнецов. Служба у Достоевского. Публикация С. В. Белова.—«Книжная торговля», 1964, № 5, с. 40—41; П. Г. Кузнецов. На службе у Достоевского в 1879—1881 гг. Публикация И. С. Зильберштейна.— *ЛН, т. 86,* 332—336.

[231] Посылая в «Русский вестник» очередные главы «Братьев Карамазовых», Достоевский писал редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову 30 января 1879 г.: «Я же эту *третью книгу,* теперь высылаемую, *далеко не считаю дурною,* напротив, *удавшеюся*

(простите великодушно маленькое самохвальство. Вспомните Ап<остола> Павла: «Меня не хвалят, так я сам начну хвалиться»)». (*Письма,* IV, 46).

[232] Докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал» Владимир Соловьев защитил 6 апреля 1880 г. в Петербургском университете.

[233] О выступлении Достоевского 19 октября 1880 г. см. «Дневник и записки (1854—1886)». Е. А. Штакеншнейдер (М.—Л., 1934). О выступлениях Достоевского в 1880 г. см. также: «Письма П. И. Вейнберга к Достоевскому». Публикация Г. В. Степановой.— *Материалы,* 4, 239—252.

[234] Интересно, что сам Достоевский, по свидетельству современников, часто говорил об особом характере своих литературных чтений: «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!» (А. Мошин. Новое о великих писателях... Изд. 2-е. СПб., 1908, с. 73).

[235] С. А. Венгеров рассказывает об одном из литературных вечеров, состоявшихся 9 и 16 марта 1879 г. в зале Благородного собрания. Тургенев на первом вечере прочел «Бурмистра», на втором — рассказ «Бирюк» и, вместе с М. Г. Савиной, отрывок из комедии «Провинциалка» (см.: «Голос», 1879, № 70, 11 марта; № 77, 18 марта; сб. «Тургенев и Савина». Пг., 1918, с. 68—69, 80).

[236] См.: Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., 1934.

[237] О знакомстве и встречах с Достоевским Л. И. Веселитская оставила воспоминания: В. Микулич. Встреча со знаменитостью. М., 1903. Эти воспоминания вошли в ее кн.: «Встреча с писателями». Л., 1929.

[238] Софья Андреевна Толстая создала в своем доме литературный салон, который посещали Гончаров, Тургенев, Вл. Соловьев. Достоевский относился к ней с большим уважением и теплотой, о чем свидетельствует его письмо к С. А. Толстой от 13 июня 1880 г. (*Письма*, IV, 174). Л. Ф. Достоевская пишет в своей книге «Dostojewski, geschildert von seiner Tochter» (München, 1920) в главе «Салон графини Толстой»: «Среди литературных салонов Петербурга, которые посещал Достоевский в последние годы своей жизни, самым значительным был салон графини Толстой, вдовы писателя Алексея Толстого». Как свидетельствует дочь писателя, Достоевский говорил, что, по его мнению, Толстая обладала проницательным умом, «острым, как сталь». «После того как графиня Толстая поселилась в Петербурге, она стала принимать в своем доме всех прежних друзей своего мужа, поэтов и писателей, и попыталась завязать новые литературные знакомства. После того как она встретила моего отца, она поспешила при-

гласить его и была с ним очень любезна. Мой отец обедал у нее, ходил на ее вечера, согласился прочесть в ее салоне некоторые главы из «Братьев Карамазовых» до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине Толстой во время своей прогулки, чтобы обменяться новостями дня. Моя мать, хотя и была немного ревнива, но соглашалась с тем, что ее муж часто посещал графиню, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы. Всегда одетая в черное, с вдовьей вуалью на седых волосах, совсем просто причесанная, графиня пыталась нравиться только своим умом и своим любезным обхождением. Она очень мало выходила и к четырем часам всегда была уже дома, готовая предложить Достоевскому его чашку чаю. Графиня была очень образованна, много читала на всех европейских языках и часто обращала внимание моего отца на какую-нибудь интересную, появившуюся в Европе, статью. Достоевский много времени тратил на создание своих романов и естественно не мог так много читать, как он бы этого хотел <...> Вежливый и любезный тон, царивший в салоне графини, был приятным разнообразием по сравнению с тривиальностью других литературных салонов <...> Мой отец <...> предпочитал комфорт и сдержанную элегантность салона Толстой». «Л. Ф. Достоевская об отце». Публикация С. В. Белова.— *ЛН, т. 86,* 303—304).

[239] В кн.: «Толстовский музей», т. 1. «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857—1903». СПб., 1911, приводятся воспоминания А. А. Толстой о встречах с Достоевским. Судя по этим воспоминаниям, А. А. Толстая, сблизившись с Достоевским незадолго до его смерти, знакомила его с новыми взглядами Л. Н. Толстого, давала читать его письма.

[240] Биографы Достоевского до сих пор не обращали внимания на упоминание имени Лавровской в числе знакомых писателя в последние годы его жизни. А между тем речь идет о выдающейся русской певице Елизавете Андреевне Лавровской, пользовавшейся редкой популярностью в кругах русской художественной интеллигенции. Ее талант высоко ценили И. С. Тургенев и П. И. Чайковский, который считал Лавровскую одной из крупнейших представительниц русской вокальной школы (см.: П. И. Чайковский. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1953), он посвятил ей 6 романсов, ор. 27 (1875) и вокальный квартет «Ночь» (1893). В *ГБЛ* (ф. 93, II, 9.111) хранится письмо Лавровской к Достоевскому, где она благодарит его за присланный портрет, за речь о Пушкине и «Дневник писателя».

[241] Дружеские отношения известной общественной деятельницы А. П. Философовой и Достоевского, к которому она относилась

как к своему «дорогому нравственному духовнику» (см. мемуары Философовой в кн.: *Достоевский в воспоминаниях, II,* 322—324), представляют несомненный интерес. В 70-е годы Философова была настроена весьма оппозиционно: в ее квартире хранилась нелегальная литература, существует предположение, что у нее скрывалась после суда Вера Засулич. «Я ненавижу настоящее наше правительство <...> это шайка разбойников, которые губят Россию»,— писала Философова своему мужу, главному военному прокурору (сб. «Памяти А. П. Философовой», т. I. Пг., 1915, с. 326). Достоевский относился к Философовой с большим уважением, писал о ее «прекрасном умном сердце» (*Письма,* IV, 66—67) и, судя по рассказу ее дочери, М. В. Каменецкой, очень волновался, узнав о возможном аресте Философовой (см.: *Достоевский в воспоминаниях, II,* 326. См. также: З. А. Трубецкая. Достоевский и А. П. Философова. Публикация С. В. Белова.—«Русская литература», 1973, № 3, с. 116—118).

242 Из числа наиболее известных писателей, кому было послано приглашение, на пушкинских празднествах в Москве не присутствовали М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров и Л. Н. Толстой. В письме к С. А. Юрьеву от 8 мая 1880 г. Салтыков-Щедрин объяснил свой отказ приехать в Москву болезнью, однако позднейшие высказывания Салтыкова-Щедрина о Пушкинском празднике свидетельствуют о том, что не только и не столько болезнь помешала ему принять участие в Пушкинских торжествах. Салтыков-Щедрин был, по-видимому, недоволен тем, что демократические силы не возглавили организацию торжеств. 25 июня 1880 г. он писал А. Островскому: «Пушкинский праздник вызвал во мне некоторое недоумение. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу».— М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 19, кн. I. М., 1976, с. 157. Л. Толстой, за которым специально ездил в Ясную Поляну Тургенев, также отказался принять участие в Пушкинских торжествах. По словам К. М. Станюковича, «этот отказ вполне последователен. Гр. Толстой высказывал не раз, что наша литература служит приятным времяпрепровождением для обеспеченных людей, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет» («Дело», 1880, № 7, с. 107).

243 Впервые об этом эпизоде, не называя имени Достоевского, рассказывал И. И. Панаев в «Современнике» (1855, № 12, с. 235). Вторично об этом же написал П. В. Анненков в апрельском номере «Вестника Европы» за 1880 г. А. С. Суворин возразил Анненкову в «Новом времени» (1880, 4 апреля и 2 мая), сообщив, что в «Петербургском сборнике» 1846 г. «Бедные люди» напечатаны без вся-

кой «каймы». В ответ на опровержение «Нового времени» редакция «Вестника Европы» (а не Анненков, как пишет Анна Григорьевна,— он был за границей) в майском номере за 1880 г. ответила, что речь шла не о «Бедных людях», а о «Рассказе Плисмылькова», предназначавшемся Достоевским для задуманного Белинским сборника «Левиафан». Но на самом деле, как утверждало «Новое время» в заметке от 5 мая 1880 г., никакого «Рассказала Плисмылькова» у Достоевского не было: для «Левиафана» им были задуманы «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях». В письме к А. С. Суворину от 14 мая 1880 г. Достоевский просит еще раз выступить с заявлением по поводу «каймы» (*Письма,* IV, 143). 18 мая (а не 16, как указано в мемуарах) 1880 г. в «Новом времени» появилось от имени Ф. М. Достоевского заявление: «Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым насчет «каймы», не было и не могло быть...»

[244] См.: *Письма,* IV, 152—165. В письме к А. Г. Достоевской от 25/26 мая 1880 г. Достоевский, решив выехать в Петербург 27 мая, пишет: «Сижу теперь в страшном затруднении и беспокойстве: с одной стороны, упрочнение влияния моего не в одном Петербурге, а и в Москве, что многое значит, с другой — разлука с вами, затруднения по Карамазовым, расходы и проч.» (*Письма,* IV, 151).

[245] См. письмо А. Г. Достоевской к Достоевскому от 6 июня 1880 г. (*Переписка,* 344) и ответное письмо Достоевского от 8 июня (*Переписка,* 347).

[246] Первоначально чествование памяти Пушкина было приурочено ко дню его рождения и назначено на 26 мая 1880 г., но было отложено из-за смерти императрицы. Торжества устраивались Обществом любителей российской словесности и продолжались четыре дня: 5 июня 1880 г. в зале Московской думы состоялся прием депутаций Комитета по сооружению памятника и доклад Я. К. Грота; 6 июня в Москве на Тверской площади произошла церемония открытия памятника, день закончился литературно-музыкальным вечером в зале Благородного собрания; 7 июня в том же зале состоялось первое публичное заседание с чтением речей, 8 июня — заключительное заседание, на котором и выступил Достоевский. О Пушкинских торжествах см. специальный сборник «Венок на памятник Пушкину», составленный Ф. Булгаковым (СПб., 1880).

[247] О своих непосредственных впечатлениях от Пушкинской речи Достоевский написал А. Г. Достоевской 8 июня 1880 г.

и С. А. Толстой 13 июня (*Письма*, IV, 171—172; 174—175). Сохранились многочисленные воспоминания современников о Пушкинской речи Достоевского. Например: Н. Н. Страхов. Воспоминания о Достоевском.— *Биография*, 308—312; А. Барсукова. Письмо о Пушкинской речи Достоевского.— В кн.: «Звенья», т. I. М.—Л., 1932; Д. Любимов. Из воспоминаний.— «Вопросы литературы», 1961, № 7; А. Амфитеатров. И теперь еще слышу речь Достоевского.—«Литературная Россия», 1965, 2 июня.

[248] О фотографии М. М. Панова, которая хранится в Пушкинском доме, писал И. Н. Крамской: «В последние годы его <Достоевского> лицо сделалось еще знаменательнее, еще глубже и трагичнее, и очень жаль, что нет портрета последнего времени равного Перовскому по художественным достоинствам. Недостаток этот, к счастью, совершенно случайно восполнен фотографией. Московский фотограф Панов сделал именно эту фотографию. Портрет в смысле фотографической техники, быть может, неважный, у Панова есть портреты в этом отношении гораздо лучше Достоевского, но что в нем примечательно — это выражение. По этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значения и глубины мысли. Фотографии редко дают сумму всего, что лицо человеческое в себе заключает: в фотографии Панова явилось счастливое и редкое исключение. Можно догадываться, что в данном случае в помощь фотографии явился такой момент в жизни Достоевского, как Пушкинский праздник в Москве: портрет этот снят после его знаменитой речи о значении Пушкина» (И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887. СПб., 1888, с. 669).

[249] Пушкинская речь Достоевского, по единодушному свидетельству современников, произвела на слушателей неизгладимое впечатление, чему в немалой степени способствовало великолепное чтение этой речи самим Достоевским и его излюбленная мысль о том, что для успокоения мятущегося, ищущего русского скитальца нужно всемирное, всечеловеческое счастье. «Всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслию о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе»,— писал Глеб Успенский в статье «Праздник Пушкина» (Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1953, с. 425). Однако, когда речь Достоевского была напечатана в «Московских ведомостях» (1880, 13 июня) и других газетах и журналах, а затем с авторскими разъяснениями и ответом А. Д. Градовскому помещена в «Дневнике писателя» («Единственный выпуск на 1880 год, август»), она вызвала многочисленные отклики разноречивого характера. Критики из

либерального и демократического лагеря порицали оторванность идеалов Достоевского от современной русской жизни и отвлеченный характер провозглашенного им принципа «всечеловечности». Особое возражение со стороны прогрессивных публицистов рождал призыв Достоевского к смирению и религии. Все статьи, написанные по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 г., в том числе отзывы на речь Достоевского, приведены в специальном библиографическом указателе В. И. Межова (СПб., 1885), а наиболее важные из них приводятся в кн.: *Замотин,* с. 287—321. См. также воспоминания М. А. Веневитинова — «Достоевский в неизданной переписке современников». Публикация Л. Р. Ланского.— *ЛН, т. 86,* с. 502—507.

[250] *Письма,* IV, 197. К. Н. Юханцев, чиновник особых поручений министерства финансов, был судим 23—25 января 1879 г. в Петербургском окружном суде за растрату крупной суммы Общества взаимного поземельного кредита (А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 3. М., 1967, с. 397—411).

[251] Известный русский профессор государственного права Петербургского университета, публицист и критик Александр Дмитриевич Градовский отметил в речи Достоевского «две вещи: оценку Пушкина как народного поэта и некоторое исповедание веры самого оратора». Признавая за Достоевским глубокое проникновение в суть пушкинской поэзии, критик вместе с тем утверждал, что Достоевский не дал разбираемым им в речи пушкинским типам «полного объяснения именно потому, что связал их не со всем последующим движением нашей литературы, а исключительно со своим миросозерцанием, представляющим много слабых сторон». Обращаясь к основному положению Достоевского, то есть к его пониманию «народных идеалов», А. Д. Градовский касается «самого важного пункта» в своем «разномыслии» с Достоевским: «Требуя смирения перед народной правдой, перед народными идеалами, он принимает эту «правду» и эти идеалы, как нечто готовое, незыблемое и вековечное. Мы позволим себе сказать ему — нет. *Общественные* идеалы нашего народа находятся еще в процессе *образования, развития.* Ему еще надо много работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много <...> остатков векового рабства засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский ..» Вместо мессианского возвеличения русского народа до роли творца «окончательной гармонии»,— возражал Достоевскому критик,— «правильнее было бы сказать и современным «скитальцам» и «народу» одинаково: *смиритесь*

перед требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой вы, слава богу, приобщились, благодаря реформе Петра...» («Голос», 1880, № 174).

Достоевский в ответе А. Д. Градовскому в «Дневнике писателя» («Единственный выпуск на 1880 год, август») резко отверг либеральную программу профессора, высмеяв его «западнические представления» о народе, который по мнению Достоевского, «просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 392). Полемические выпады Достоевского против Градовского и православные идеи, проповедуемые писателем, были осуждены демократической критикой (см.: Н. К. Михайловский. Литературные заметки 1880 г.— *ОЗ,* 1880, № 9).

252 Далее А. Г. Достоевская частично повторяет сказанное на с. 365 наст. изд.

253 Описка. Мария Федоровна в это время еще не была императрицей.

254 По воспоминаниям А. С. Суворина, героем еще одного романа Достоевского о Карамазовых «будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером» (А. С. Суворин. Дневник. М.—Пг., 1923, с. 16). По воспоминаниям детского писателя А. М. Сливицкого, «роман «Дети», по замыслу Достоевского, составил бы продолжение «Братьев Карамазовых». В нем должны были выступить главными героями дети предыдущего романа...» (*Достоевский в воспоминаниях, II,* 355). Некоторые сведения о продолжении «Братьев Карамазовых» имеются также в книге о Достоевском немецкой исследовательницы Н. Гофман, приезжавшей в Петербург и собравшей ряд материалов у самой А. Г. Достоевской. Исследовательница так записала рассказ жены Достоевского о том, как развивались бы события в предполагавшемся продолжении романа: «Алеша должен был — таков план писателя — по завещанию старца Зосимы, идти в мир, принять на себя его страдание и вину. Он женится на Лизе, потом покидает ее ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нем «карамазовщину». После бурного периода заблуждений, сомнений и отрицаний, оставшись одиноким, Алеша возвращается опять в монастырь. Он окружает себя детьми — им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь: искренне любит их, учит, руководит ими. Кому не придет здесь в голову связь с рассказом Мышкина о детях; кто не вспомнит маленького героя, все те восхитительные детские черты, которые открываются толь-

ко любви» (см.: N. Hoffmann. Th. M. Dostojewsky. Eine biographische Studie. Berlin, 1899, S. 427. Ср.: С. В. Белов. Еще одна версия о продолжении «Братьев Карамазовых».—«Вопросы литературы», 1971, № 10, с. 274—275).

[255] Последний выпуск «Дневника писателя» (январь, 1881) — «завещание» Достоевского, исполненное жгучей тревогой за будущее историческое развитие России, народа: «Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажда нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь <...> И вот что главное: народ у нас один, т. е. в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно «начальство...» (*Достоевский, 1926—1930,* XII, 433—434). Высказал здесь Достоевский и свою утопическую мечту о депутации «серых зипунов», призванных преобразить в демократическом духе институт земства и спасти Россию. Одновременно Достоевский нарисовал такую широкую картину разложения всего русского общества, что, боясь, очевидно, за судьбу январского выпуска, просил начальника Главного управления по делам печати Н. С. Абазу переменить для «Дневника писателя» цензора (им должен был быть Н. Е. Лебедев). Н. С. Абаза взял на себя цензурирование январского выпуска («Петербургский листок», 1881, № 24, 3 февраля).

[256] Этот рассказ А. Г. Достоевской не может считаться полностью достоверным и является более поздней версией обстоятельств, вызвавших предсмертное заболевание Достоевского. Анна Григорьевна не указывает на одну очень важную причину, ускорившую смерть писателя: речь идет о семейных раздорах из-за куманинского наследства. По особому распоряжению о земельном имуществе А. Ф. Куманиной, тетки писателя, скончавшейся в 1871 г., Достоевский в январе 1881 г. был введен во владение частью ее рязанского имения при условии выплаты денежных сумм своим сестрам, не участвовавшим в этом разделе. Сестра Достоевского Вера Михайловна Иванова обратилась с просьбой к писателю — отказаться в пользу сестер от своей доли в рязанском имении. По воспоминаниям дочери писателя между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Кончилось тем, что у Достоевского из горла хлынула кровь, а через два дня его не стало (см.: *Л. Ф. Достоевская,* 96—97. Правда, Л. Ф. Достоевская ошибочно относит этот разговор не к 26 января, а к 25). Воспоминания Л. Ф. Достоевской о крупном разго-

воре писателя с сестрой В. М. Ивановой подтверждаются также и рассказом самой А. Г. Достоевской о смерти мужа, приведенном в ее письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г. Это письмо опубликовано в кн.: *Гроссман,* с. 352. О предсмертной болезни Достоевского см. также воспоминания Я. Б. фон Бретцеля «О Достоевском». Публикация Н. З. Серебряной.— *ЛН., т. 86,* 309—314.

[257] Как установил Л. П. Гроссман, у А. Г. Достоевской ошибочно названа «Стрекоза». Достоевский показывал детям репродукцию юмористических рисунков из серии «Охота пуще неволи» (два рыболова), которая была помещена на обороте объявления о подписке на журнал «Осколки» на 1881 г. На экземпляре объявления, который в настоящее время хранится в Пушкинском доме, есть карандашная пометка А. Г. Достоевской: «Этот рисунок Федор Михайлович рассматривал в день своей болезни 26 января 1881 года» *(Гроссман, с. 320).*

[258] Не точно. Жену декабриста М. И. Муравьева-Апостола звали Мария Константиновна; но речь идет не о ней, а о жене декабриста А. М. Муравьева — Жозефине Адамовне Муравьевой (урожд. Бракман), которая в это время жила в Тобольске. См.: М. Д. Францева. Воспоминания.— *ИВ,* 1886, № 6. О встрече Достоевского в Тобольске с женами декабристов см. также воспоминания И. Л. Ястржембского.— *Биография,* 127 и статью Е. Евсеева и А. Лейфера «Сибирские встречи».— «Сибирские огни», 1971, № 11, с. 162—176.

[259] Об этом вспоминал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г., в статье «Старые люди» *(Достоевский, 1926—1930,* XI, 10).

[260] 1 марта 1881 г. народовольцами был убит Александр II.

[261] Б. Маркевич в своих воспоминаниях «Несколько слов о кончине Ф. М. Достоевского» («Московские ведомости», 1881, 1 февраля, № 32) указал время смерти — 8 часов 36 минут. О смерти Достоевского см. также мемуары А. С. Суворина «О покойном» *(Достоевский в воспоминаниях, II,* 417—418), некролог памяти Достоевского, написанный А. С. Сувориным («Художественный журнал», 1881, № 2), письмо А. Г. Достоевской к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г. (в кн.: *Гроссман,* с. 352), воспоминания дочери писателя *(Л. Ф. Достоевская,* 98—99), воспоминания Н. Н. Страхова *(Биография,* 323—324).

[262] Вероятно, неприязнь Анны Григорьевны к Б. М. Маркевичу шла от самого Достоевского. Маркевич — постоянный сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткова — в своих фельетонах выступал с политическими доносами на дея-

телей русского освободительного движения и русских писателей, в частности, на М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева; последнего он обвинял в сношениях с «русскими нигилистами» и террористами. И хотя не сохранилось каких-либо отрицательных отзывов Достоевского об этом деятеле, но тем не менее ясно, что для него Маркевич, как и В. Г. Авсеенко и В. П. Мещерский, были представителями «золотой», «светской» литературы, к которым он питал непреодолимую антипатию. Оголтелая крайность их реакционных взглядов, оскорбительная форма самих выступлений также могли отталкивать Достоевского. Например, «Московские ведомости» постоянно печатали грубые статьи Б. М. Маркевича о близкой к радикально-демократическим кругам видной общественной деятельнице А. П. Философовой; к ней же Достоевский всегда относился с искренним уважением. О пасквильных статьях Маркевича против А. П. Философовой могла знать и А. Г. Достоевская.

263 См. Незнакомец <А. С. Суворин>, «О покойном».—«Новое время», 1881, 1 февраля, № 1771.

264 В «Историческом вестнике» (1881, № 3, с. 487—488) опубликована заметка о работе И. Н. Крамского над этим портретом, который в настоящее время хранится в Пушкинском доме: «Уведомленный о смерти Ф. М. Достоевского на другой день рано утром одним из приятелей последнего, Крамской тотчас же отправился на квартиру покойного, устроил там подмостки и в несколько часов написал карандашом и тушью портрет, одно из лучших своих произведений. Сходство этого портрета поразительное. Попытки фотографов снять этот портрет с покойного в маленькой комнате, при слабом свете и притом, при необходимости, в профиль совершенно не удались. Оригинал портрета Крамской просил вдову покойного принять от него как слабый дар за те часы наслаждения, которые доставляли художнику произведения Достоевского».

265 Л. А. Бернштам собирался вылепить бюст Достоевского еще при жизни Достоевского. Д. В. Григорович просил Достоевского дать свое согласие в письме к нему от 6 ноября 1880 г. и в письме к А. Г. Достоевской от 20 января 1881 г. (см.: «Из архива Достоевского. Письма русских писателей». Пг., 1923, с. 26—27).

266 Полный перечень русской периодической печати, поместившей описание похорон Достоевского, см. в кн.: А. Г. Достоевская. Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоев-

ского... 1846—1903 (Спб., 1906), а воспоминания современников в указателе: С. В. Белов. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Библиографический указатель.—«Ученые записки Педагогического института им. А. И. Герцена», т. 320, с. 274—316. Наиболее полное описание похорон Достоевского дано в журнале «Всемирная иллюстрация», 1881, № 631. См. также: Г. Я. Галаган. Кончина и похороны Ф. М. Достоевского. (В письмах Е. А. и М. А. Рыкачевых).— *Материалы, I,* 285—304; Л. И. Кузьмина. Петербург не видал ничего подобного.— В кн.: «Достоевский и его время». Л., 1971, с. 305—307; И. Ф. Тюменев. Из дневника. Публикация Н. Н. Фоняковой.— *ЛН, т. 86,* с. 336—343.

[267] 24 февраля 1879 г. К. П. Победоносцев в письме к Ф. М. Достоевскому сообщил, что «сейчас у меня был о. архимандрит Симеон и привез, для передачи вам, выписанные им из книг подробности монашеского погребенья, о которых он при свидании запамятовал объяснить вам» (*ЛН, т. 15,* с. 135). Выписки эти, очевидно, послужили Достоевскому для описания погребения старца Зосимы в главе «Тлетворный дух» («Братья Карамазовы», ч. III, кн. VII, гл. I).

[268] Речь И. Л. Янышева во время отпевания Достоевского напечатана в «Церковном вестнике», 1881, № 6, 7 февраля. Достоевский познакомился с И. Л. Янышевым в 1865 г. в Висбадене и с тех пор неизменно питал к нему искренние и дружеские чувства (см. 1-й том «Писем» Достоевского, где напечатаны два его письма к И. Л. Янышеву).

[269] См. брошюру: «Федор Михайлович Достоевский. Биография.— Его сочинения.— Последние минуты его жизни.— Проводы тела, похороны его и овации русского общества». М., 1881.

[270] Эта лекция Вл. Соловьева, на которой присутствовали Толстой и Достоевский, состоялась 10 марта 1878 г. Ранее Анна Григорьевна приводила слова Страхова о том, что Толстой сам просил его ни с кем не знакомить (см. с. 335 наст. изд.). Возможно, это противоречие объясняется тем, что Страхов ревниво, по собственной инициативе, не хотел знакомить Толстого с писателем, ибо уже тогда он испытывал неприязнь к своему «другу», пытаясь в то же время сохранить видимость искренних приятельских отношений с Достоевским; вся неприглядность и двойственность поведения Страхова окончательно прояснилась в известном его письме к Толстому от 28 ноября 1883 г. (см. след. главу наст. изд.— «Ответ Страхову»).

[271] Судя по письму А. Г. Достоевской к сыну Ф. Ф. Достоевскому от 25 февраля 1889 г. (см.: Л. Ланский. Коллекция ав-

тографов А. Г. Достоевской.— Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977, с. 74), эта встреча А. Г. Достоевской и Л. Н. Толстого произошла в феврале 1889 г.

[272] Письмо Страхова к Толстому от 28 ноября 1883 г. напечатано также в кн.: «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», т. 2. СПб., 1914, с. 307—310.

[273] Речь идет о кн.: Ф. М Достоевский. Полн. собр. соч., т I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883 Эта «Биография» была составлена Ор. Ф. Миллером и Н. Н. Страховым по просьбе Анны Григорьевны. О работе Ор. Ф. Миллера и Н. Н. Страхова над этой «Биографией» Достоевского см. их переписку с А. Г. Достоевской. Публикация С. В. Белова.—«Байкал», 1976, № 5, с. 138—140.

[274] Имеется в виду глава «У Тихона», в которой рассказывается об исповеди Ставрогина и о его неудачной попытке искреннего покаяния, самоочищения. По первоначальному замыслу Достоевского, эта глава должна была следовать за главой «Иван-Царевич» и была уже набрана, но редактор «Русского вестника» М. Катков воспротивился напечатанию ее.

[275] О какой книге протестантского богослова Прессансе идет речь, точно сказать нельзя Известно, что Толстой пользовался его книгами: «Historie des trois premiers siécles de l'Eglise Chrétienne» (1856—1859) и «Iésus Christ, son temps, sa vie») (1865).

[276] Имеется в виду парижское издание известного философского произведения Марка Аврелия «Наедине с собою»: «Pensées de l'empereur Marc-Auréle-Antonin. Trad du grec. par. m. de Ioly». Paris, 1803.

[277] Письмо Толстого Страхову от 5 декабря 1883 г. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 63. М., 1934, с. 142. Точный текст письма впервые приводится в кн. Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год». М., 1970, с. 221.

[278] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», т. 2. СПб., 1914, с. 310.

[279] См: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1 Повести и рассказы. Краткий очерк жизни и писательства Ф. М. Достоевского, сост. Д. В. Аверкиевым. СПб., 1885; Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1. Повести и рассказы. Очерк жизни и деятельности Достоевского, сост. К. К Случевским. СПб., 1888 Об очерке Случевского см.: Т. П. Мазур. Достоевский и Случевский.— *Материалы, 3,* 209—217.

[280] В 1863 г., после апрельской книжки, журнал «Время» был прекращен по высочайшему повелению из-за статьи «Роковой вопрос», подписанной псевдонимом «Русский» и принадлежавшей Н. Н. Страхову. Эта статья касалась польского вопроса, который рассматривался в официально-патриотическом духе. Однако статья была превратно понята, в ней увидели возвеличение польской цивилизации в ущерб русской национальности (см.: А. С. Долинин. К цензурной истории журналов Достоевского.— В кн.: *Достоевский, II,* 423—430). См. также: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972.

[281] «Дневник писателя», 1877 г., который Анна Григорьевна цитирует в этой главе, см. также по изданию: *Достоевский, 1926—1930,* XII.

[282] Из письма Достоевского к Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г.— *Письма,* III, 206.

[283] *Письма,* I, 84.

[284] В рукописи этой цитаты нет, однако, судя по ссылке Анны Григорьевны на «Первое собрание писем» Тургенева (правда, год издания неточно указан, вместо «1884»—«1885») и прежде всего, исходя из смысла цитаты, Анна Григорьевна недописала именно этот отрывок из письма Тургенева к Достоевскому от 28 марта (9 апреля) 1877 г.

[285] См.: *Достоевский, 1956—1958,* X, 447.

[286] Не исключено, что этот эпизод выдумал сам Достоевский, чтобы «позлить», мистифицировать Тургенева. Во всяком случае, И. И. Ясинский в своих мемуарах совершенно определенно рассказывает о том, как однажды Достоевский пришел к Тургеневу, чтобы покаяться якобы в совершенном им преступлении: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших этических взглядов измерить бездну моей низости!» И когда Тургенев пришел в негодование от рассказа, Достоевский, уходя, сказал: «А ведь это я все изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения». По словам И. И. Ясинского, Тургенев, уже после ухода Достоевского, согласился с тем, что писатель весь этот эпизод выдумал (см.: И. И. Ясинский. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.—Л., 1926, с. 168—169). По свидетельству С. В. Ковалевской, подобный сюжет был задуман Достоевским еще в 1863 г. (см.: С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., 1961, с. 107). Внучка А. П. Философовой, З. А. Трубецкая, приводит рассказ Достоевского в конце 1870-х годов в салоне А. П. Философовой: «Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — «это ужасно,—

говорил Достоевский,— но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление». И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах» (З. А. Трубецкая. Достоевский и А. П. Философова. Публикация С. В. Белова.— «Русская литература», 1973, № 3, с. 117). Историю этой клеветы Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг В. Н. Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского». Петрозаводск, 1978, с. 75—109.

287 Анна Григорьевна имеет в виду письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 16/28 августа 1867 г., где писатель рассказывает о встрече в Германии с одним русским, который постоянно живет за границей, ненавидит Россию и ездит на родину только для того, чтобы получить доход с имения (см.: *Письма,* II, 28). Однако на каком основании Анна Григорьевна считает, что речь идет здесь о П. А. Висковатове,— неизвестно.

288 Из письма Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову от начала февраля 1881 г.: «Я никогда не видел этого человека <Достоевского> и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. <...> Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу». (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 63, М., 1934, с. 43).

289 С философом и критиком Н. Н. Страховым Достоевский познакомился в декабре 1859 г., сразу же после возвращения в Петербург из ссылки. С 1861 г. Страхов был ближайшим сотрудником журнала братьев Достоевских «Время», а затем «Эпохи», полностью разделяя ту систему общественно-политических взглядов Достоевского, которую обычно называют «почвенничеством». Из философских работ Страхова, в которых он является последователем Гегеля, наибольшую известность получили книги «Мир

как целое» (изд. 2-е, 1892), «Философские очерки» (1895), «Об основных понятиях психологии и физиологии» (изд. 2-е, 1894). Из литературно-критических работ Страхова важнейшими являются: «Критические статьи о Тургеневе и Толстом» (изд. 2-е, 1895) и «Борьба с Западом в нашей литературе» (изд. 3-е, 1898), а также первая большая биография Достоевского в первом томе полного собрания сочинений писателя (1883). О жизни и деятельности Страхова см. кн.: Б. Никольский. Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк. Пб., 1896; С. В. Белов, Е. Б. Белодубровский. Библиотека Н. Н. Страхова.— Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977, с. 134—140.

Несмотря на всю идейную близость Достоевского и Страхова, на их принадлежность к лагерю «почвенников», они все же никогда по-настоящему не были близки друг к другу. Это особенно ярко вскрылось в известном письме Страхова к Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 г. (см.: «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», т. 2. СПб., 1914, с. 307—310), перед которым Страхов кается в том, что так односторонне обрисовал фигуру Достоевского в своих «Воспоминаниях» о нем (см.: *Биография,* 177—329). Хотя и в «Воспоминаниях» Страхова о Достоевском уже намечалась (правда, очень осторожно) «обличительная» тенденция, так полно развившаяся в письме к Толстому. Но и Достоевский далеко не идеализировал Страхова. Вот что он, например, говорил в одном из своих писем: «Это скверный семинарист и больше ничего: он уже раз оставлял меня, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления» (*Письма,* III, 155).

В 83-м томе *ЛН* впервые приводится запись Достоевского о Страхове, датируемая 1877 г.: «Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (*ЛН,* т. 83, 620).

Комментируя эту антистраховскую запись Достоевского, Л. М. Розенблюм справедливо предполагает, что Страхов видел эту запись, когда А. Г. Достоевская предоставила ему и О. Ф. Миллеру возможность ознакомиться с архивом Достоев-

ского для подготовки первого тома посмертного собрания сочинений писателя. Было решено издать также большую часть последней тетради Достоевского.

Совершенно очевидно, замечает Л. М. Розенблюм, что А. Г. Достоевская не заметила этой антистраховской записи, иначе она упомянула бы о ней в заявлении по поводу письма Страхова к Толстому. «Страхов, конечно, понимал,— пишет Л. М. Розенблюм,— что со временем не только последняя тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный «ответ» Достоевскому» (*ЛН, т. 83,* с. 23).

А. Г. Достоевская обратилась к целому ряду лиц, хорошо знавших Достоевского, с просьбой подписать протест против этого письма Н. Н. Страхова (см., например, письмо А. Г. Достоевской к писательнице А. Н. Пешковой-Толиверовой от 16 июля 1916 г. Публикация С. В. Белова.—«Байкал», 1976, № 5, с. 144). Этот протест подписали А. В. Круглов, С. В. Аверкиева, Ж. А. Полонская, Х. Д. Алчевская, А. А. Штакеншнейдер, С. С. Кашпирева, академик М. А. Рыкачев и др.

«С чувством искреннего негодования,— гласил протест,— мы, лично знавшие покойного писателя, Федора Михайловича Достоевского, прочли письмо Н. Н. Страхова к гр. Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 года, напечатанное в журнале «Современный мир», октябрь 1913 года.

В письме этом Н. Н. Страхов говорит, что Ф. М. Достоевский был «зол, завистлив и развратен».

Не говоря уже об известном всему литературному миру факте, что Федор Мих<айлович> взял на себя, после смерти своего брата, М. М. Достоевского, все долги по журналу «Время», в количестве более двадцати тысяч рублей, и выплачивал их до самой своей смерти, существуют свидетельства многих лиц, что он, сам больной и необеспеченный, помогал своему пасынку П. А. Исаеву, больному брату Николаю и семье умершего М. М. Достоевского.

Но не одни только близкие пользовались добротою Федора Михайловича: существуют многочисленные свидетельства, печатные и устные, что никто из обращавшихся к нему незнакомых ему людей не уходил от него без дружеского совета, указания, помощи в той или другой форме. Мог ли поступать подобным образом человек, «нежно любивший одного себя», как о нем пишет Н. Н. Страхов?

Федор Михайлович, по словам Н. Н. Страхова, был «завистлив». Но лица, интересующиеся русскою литературой, помнят и знаменитую его «Пушкинскую речь» и восторженные и защитительные статьи и отзывы его в «Дневнике писателя» о Некрасове, гр. Л. Толстом, Викторе Гюго, Бальзаке, Диккенсе, Жорж Занде, которым он, очевидно, не «завидовал». Подозревать Федора Михайловича в зависти к чинам, карьере или богатству других людей было бы странно, когда он сам, во всю свою жизнь, ничего для себя не искал и добровольно раздавал нуждающимся все, что имел.

Но еще поразительнее для нас в письме Н. Н. Страхова — это обвинение Федора Михайловича в «разврате». Лица, близко знавшие его в молодости в Петербурге и в Сибири (А. П. Милюков, Ст. Д. Яновский, д-р Ризенкампф, бар. А. Е. Врангель и др.), в своих воспоминаниях о Федоре Михайловиче ни единым намеком не обмолвились о развращенности его в те отдаленные времена. Мы же, знавшие Федора Мих<айловича> в последние два десятилетия его жизни, можем засвидетельствовать, что знали его как человека, больного тяжкою болезнию (эпилепсией) и вследствие ее иногда раздражительного и неприветливого, всегда поглощенного в свои литературные труды и часто удрученного житейскими невзгодами, но всегда доброго, серьезного и сдержанного в выражении своих мнений. Многие из нас знают Федора Михайловича и как прекрасного семьянина, нежно любившего свою жену и детей, о чем свидетельствуют и его напечатанные письма.

Все сказанное Н. Н. Страховым в вышеупомянутом письме до того противоречит тому представлению, которое Вы вынесли о нравственном облике Ф. М. Достоевского, из более или менее близкого с ним знакомства, что мы считаем нравственным долгом своим протестовать против этих ни на чем не основанных и голословных обвинений Н. Н. Страхова» («Переписка А. Г. Достоевской с современниками». Публикация С. В. Белова.—«Байкал», 1976, № 5, с. 144).

Этот протест не был напечатан отдельно, а был положен А. Г. Достоевской в основу специальной главы ее «Воспоминаний» «Ответ Страхову». Об отношениях Достоевского и Н. Н. Страхова см. статьи: А. С. Долинина в его кн. «Последние романы Достоевского» (М —Л., 1963, с. 307—343), Б. И. Бурсова «У свежей могилы Достоевского (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым)».—(«Ученые записки Педагогического института им. А. И. Герцена», т. 320, Л., 1969, с. 254—270), В. Я. Кирпотина «Достоевский, Страхов и Евгений Павлович Радомский».—(«Знамя», 1972, №№ 9, 10) и вступительную статью к настоящему

изданию. Письма Страхова к Достоевскому см., в кн.: «Шестидесятые годы» М.—Л., 1940, с. 255—280.

290 См примеч. 237.

291 Воспоминания Вс. С. Соловьева были первоначально опубликованы в *ИВ*, 1881, № 3, № 4, а затем в 1881 г. вышли отдельным изданием в Петербурге, в типографии А. С. Суворина. О встречах с Достоевским см. также «Дневник» Вс. С. Соловьева.—«Достоевский в неизданной переписке современников». Публикация Л. Р. Ланского.— *ЛН*, т. 86, 423—426.

292 А. Г. Достоевская оставила здесь место для ссылки на воспоминания И. И. Янжула, но забыла их указать. Крайне недоброжелательный тон воспоминаний о Достоевском профессора Московского университета И. И Янжула объясняется тем, что И. И. Янжул, как и большинство профессоров Московского университета, принадлежал к либералам-западникам, резко осуждающим религиозные идеи Достоевского. В письме к А. Г. Достоевской из Москвы от 28/29 мая 1880 г., за несколько дней до открытия памятника Пушкину, Достоевский писал: «Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни Любители р<оссийской> словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность» (*Переписка*, 328). Под «враждебной партией» из Московского университета Достоевский мог иметь в виду не только социолога и историка профессора университета М. М. Ковалевского (1851—1916), оставившего, кстати, также отрицательные отзывы о «Пушкинской речи» Достоевского (см.: К. А. Тимирязев. Избр. соч., т. 2. М., 1957, с. 538—558), но и И. И. Янжула.

293 Воспоминания журналиста, этнографа и путешественника Г. А. Де-Воллана были опубликованы в журнале «Голос минувшего», 1914, № 4, с. 122—135 под названием «Очерки прошлого» (Ф. М. Достоевский. Г. И. Успенский...).

294 Эти воспоминания под названием «Три встречи с Достоевским» принадлежали перу А. А. Зеленецкого, впоследствии церковного историка. Отрывок из этих воспоминаний хранится в *ИРЛИ*, р. III, оп. 1, № 1081. А. А. Зеленецкий вспоминает:

«Я был еще совсем юным студентом С.-Петербургской духовной академии.

Была пятница Страстной недели. Мне вздумалось пойти к вечерне в лаврскую церковь. Нужно заметить, что в Александро-Невской лавре церемония выноса плащаницы совершается осо-

бенно торжественно. плащаница не *выносится,* а *переносится* из одной церкви (Св. Духа) в другую (Троицкий собор). При переносе плащаницы, которую несет сам митрополит, поет хор в 120 человек. «Тебе одеющагося» при этом исполняется настолько в совершенстве, что это дивное исполнение многие приезжают послушать издалека. Разумеется, чтобы видеть всю церемонию с начала и до конца, нужно идти в Свято-Духовскую церковь, откуда берется плащаница, потом с народом сопровождать ее в Троицкий собор. Но я имел обыкновение заходить сначала в собор, чтобы приложиться к мощам св. Александра Невского, потому что потом, при большом стечении народа, это трудно уже бывает сделать.

Войдя в собор и приложившись к мощам, я направился уже к выходу, как вдруг заметил человека в меховом пальто, который, очевидно, чего-то ждал и беспокойно осматривался кругом, ища чего-то своими острыми, бегающими глазами. Черты лица его показались мне знакомыми. Заметив, что он чего-то ждет или ищет, я подошел к нему.

— Если вы мощей ищете, то они вон там, у правого клироса,— сказал я и показал рукою.

— Нет,— сказал он,— я жду выноса плащаницы; но странно, что народа никого нет, а между тем уже два часа. Незаметно никаких приготовлений.

— Вынос плащаницы будет не из этой церкви, а из другой сюда и после вечерни, во время которой и будут сделаны все приготовления.

— А вы не можете мне сказать, из какой церкви будет вынос? Их здесь не одна.

— Да пойдемте со мною: я вам покажу, а мне все равно по дороге.

— Вот очень вам благодарен,— обрадовался незнакомец,— пойдемте, пойдемте.

Мы вышли и скоро дошли до Свято-Духовской церкви. Я указал ему вход.

— Большое вам спасибо! Не знаю, чем и отблагодарить вас. Если у вас будет какое-либо затруднение, или нужда, я помогу. Вот моя карточка. Заходите без церемоний.

На карточке стояло: «Федор Михайлович Достоевский».

Я бросился за ним в церковь.

В это время выносили из алтаря плащаницу. Достоевский стоял у колонны, смотрел на плащаницу и часто, часто крестился. Слезы градом катились из его глаз. Выражение лица его было растроганное, умиленное <...>

Затем народная волна подхватила меня и скрыла из моих глаз Федора Михайловича <...>

Третья и последняя моя встреча с Ф. М. Достоевским произошла по следующему случаю.

Я начал тогда пописывать. Стихи свои я печатал в то время в журнале «Слово», издаваемом Коропчевским. Но мне показалось недостаточным, что я печатал стихотворения, я затеял еще написать поэму. Это было неуклюжее и нескладное создание, все проникнутое любовью к народу и учащейся молодежи. Когда я писал ее, мне казалось, что из нее выйдет нечто великое, но когда кончил и прочел, то и сам нашел, что в поэме что-то неладно. И меня взяло сомнение относительно того, есть ли у меня талант.

Этот вопрос меня сильно беспокоил. Другой вопрос, который волновал меня не менее, если не более, первого, был об истине бытия божия, о бессмертии души и о необходимости нравственной жизни.

В детстве я был очень религиозен, но когда мне минуло 16 лет, общее увлечение молодежи Дарвином, Спенсером и теорией эволюции увлекло и меня — и я сделался скептиком, хотя по привычке и продолжал ходить в церковь. Нравственности я не отвергал, хотя и чувствовал, что без религии одной нравственности недостаточно. Да и в самой системе атеизма, по моему крайнему разумению, были большие пробелы. Кроме того, меня занимал вопрос о народничестве.

И вот я решил отправиться за разрешением своих сомнений к Ф. М. Достоевскому.

Достоевский охотно принимал тогда молодежь, особенно обращавшуюся к нему за разрешением каких-либо вопросов.

Жил он тогда в Кузнечном переулке.

Я взошел по лестнице и позвонил.

Вышла горничная.

— Вам кого угодно?

— Федора Михайловича.

— Как о вас доложить?

— Скажите, что студент такой-то.

Через минуту она вернулась.

— Пожалуйста.

Я вошел в кабинет Достоевского. Помню, что в первое время я не обратил внимания на обстановку и уже после заметил широкий письменный стол у окна, этажерку с книгами, массу бумаг на столе и бюст Пушкина в углу, на тумбочке. Все внимание я обратил на самого хозяина этого кабинета. Большой, белый, от-

крытый, слегка лысоватый лоб, русское лицо, светло-русая, рыжеватая, довольно редкая, с проседью, борода. На правой щеке родинка, Глаза серые, умные и проницательные.

— Здравствуйте! Ну, что вам?— обратился он ко мне задушевным тоном, видя, что я смешался и не знаю, что говорить.

— Садитесь, пожалуйста.

Тут я молча полез в боковой карман своего сюртука и достал свою поэму и несколько мелких стихотворений.

— Вот, Федор Михайлович, если не трудно вам будет, то, пожалуйста, потрудитесь посмотреть и сказать, есть ли у меня талант.

— Печатаетесь?

Я сказал.

Он пробежал стихотворения.

— Стихи продолжайте, со временем еще больше усовершенствуетесь... А это что такое? Поэма? Да нынче их никто и не пишет.

Он быстро перелистовал ее, посмотрел начало, середину и конец.

— Ну, вот это слабо. Видно, что вы жизни не знаете, что вы совсем зеленый мальчик. Я бы вам советовал поэмы бросить, писать стихи, а повестей не писать до тех пор, пока не узнаете жизни. Слог у вас, очевидно, есть, но с жизнью вы еще совсем не знакомы. Да если и познакомитесь, вы будете писать лучше такие вещи, которые сами пережили, чем такие, о которых приходится слышать: у вас талант, что называется, субъективный. Еще раз повторяю: подождите прозой писать, наблюдайте жизнь, вдумывайтесь в ее явления, а пуще всего прислушивайтесь к движениям собственной души... Лет через пять — десять можете начать писать прозой.

Я поблагодарил Федора Михайловича.

— Это все, что вы имели мне сказать?— спросил он.

— Нет, я не сказал вам самого главного, зачем я пришел.

— Что же это?

Тут я подробно изложил ему свою исповедь и то, в чем была моя вера.

Я кончил и замолчал, тревожно глядя на Федора Михайловича.

Он молчал, грустно и укоризненно качая головой <...>.

— Из какого вы учебного заведения?

Я сказал.

— Боже мой! Даже и туда закралось неверие?..

И он снова грустно покачал головой...

23-го января 1881 года Достоевского не стало. Мы с одним из товарищей отправились на квартиру Достоевского. Встретила нас на этот раз жена Достоевского, Анна Григорьевна, и, отирая градом катившиеся слезы, повела нас к гробу, в котором покоился Федор Михайлович <...> Отпевали его в той самой церкви, где бог судил мне впервые с ним встретиться; там же я дал ему и прощальный поцелуй» (*ИВ*, 1901, № 3, с. 1021—1022, 1025—1026, 1028—1029).

[295] Воспоминания известного писателя, переводчика и публициста Н. Н. Фирсова, выступавшего в печати под псевдонимом «Рускин Л.», назывались «В редакции журнала «Русское слово» (Из воспоминаний шестидесятника)».

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН *

---

* В указатель вошли имена, встречающиеся только в тексте воспоминаний. Цифры, обозначающие страницы вступительной статьи и примечаний, набраны курсивом. Сведения об именах, раскрытых в примечаниях, в указателе не повторяются

Указатель составили С. В. Белов и В. А. Туниманов.

СОДЕРЖАНИЕ

Достоевская А. Г.

Д 70 Воспоминания./Вступ. статья, подгот. текста и примеч. С. В. Белова и В. А. Туниманова.— М.: Правда, 1987.— 544 с., 8 л. ил.

Д $\frac{4702010100-1472}{080(02)-87}$ 1472—87 84 Р1

Анна Григорьевна ДОСТОЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
И. С. Захаров

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 1472

Сдано в набор 09 09 86 Подписано к печати 23 04 87.
Формат 84×108[1]/32 Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная» Печать высокая.
Усл. печ л 29 40 Усл кр -отт 30 66. Уч -изд л. 30 04.
Тираж 500 000 экз (5-й завод: 400 001—500 000 экз).
Заказ № 5191. Цена 1 р. 90 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, А-137. Москва улица «Правды», 24

Отпечатано в типографии изд-ва «Советская Сибирь»,
630048, г Новосибирск 48,
ул. Немировича-Данченко, 104.